

Поэль Карп

**СВОБОДА –
ОПОРА ПОРЯДКА**

Петербург

Поэль Карп

**СВОБОДА –
ОПОРА ПОРЯДКА**

Петербург
2013

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)
К26

Поэль Карп.

Свобода – опора порядка. Статьи разных лет. – СПб., 2013. – 443 с.

ISBN 978-5-98709-666-6

Здесь собраны некоторые статьи из опубликованных после 1985 в отечественных и зарубежных печатных и электронных изданиях, включая персональный сайт автора. Это статьи о происшедшем в СССР, и потом в России, после тамошнего кризиса конца семидесятых – начала восьмидесятых, не замеченного миром. В надежде его преодолеть КПСС, владычица СССР, обновила свою тактику. Объявила перестройку и гласность. Разрешила публично судить о происходящем. Дозволила даже полемику о необходимости и возможности смягчить коммунистическую тоталитарную систему. Полемизировали, так сказать, патриоты и, так сказать, демократы, так сказать, государственники и, так сказать, либералы. Со временем демократы нередко оборачивались патриотами, а либералы государственниками. Ветер возвращался на круги своя, и отличия 2013 года от 1991 и 1985 велят вспоминать отличия 1937 и 1929 от 1917. Но в 1917 все же была революция и ее растоптали сами победители, а в нынешней революционной ситуации правящий класс сумел удержать власть.

Автор писал, чтобы показать, что вовсе не социализм заменяют капитализмом, как уверяла власть, рядившаяся реформаторской, и, с ней заодно, осуждавшая ее за это твердолая коммунистическая оппозиция, а лишь придают советскому тоталитаризму иную форму, в надежде, что она позволит правящему классу править и дальше.

Авось статьи, написанные по ходу событий, хотя бы отчасти этот процесс запечатлели.

Содержание

Воздух ученого.....	5
Метрополия или республика	12
Ассоциация поддержания власти	26
Паралич всевластия	31
Лимит времени исчерпан.....	36
Имена и реальности.....	41
Причуды «командно-административной» системы.....	56
Мне милее Дмитрий Донской	63
Решать за себя	70
Скромное обаяние российской демократии	74
Свобода — опора порядка	79
Антисемитизм XX века	87
Не запутайтесь в кулисах власти.....	94
Ищу русского националиста.....	101
А был ли посткоммунизм?	111
Внутреннее дело	122
Власть и маска.....	129
Русские в рассеянии и разделении	136
Уроки экстремизма	142
Право выбора	156
Проклятие реформаторов	164
Обличья реванша	170
Предварительный итог	177
Числа низкой жизни.....	192
Игры в социальном пространстве.....	207
Патриотизм без границ	230
Несостоявшаяся революция	238
Одинокий голос либерала	257
Банкротство Ельцина	263
Крот истории	267
Социализм или демократия?	271
Памяти Буртина	275
Страна все та же, другой нет	279
Технология, как идеология	283
Такие разные «левые».....	287
Новое платье тоталитаризма	292
Продолжение истории	300
Солженицын и еврейский вопрос	317
Перспективы русской демократии	352
Путин и правовое государство	358
Плоды безотчетности	360

Что потеряла Россия в Чечне?	362
Добровольная Россия	364
Террор – это страх	369
Забытая миром резня	373
Такие разные национализмы	377
Уважайте чувства неверующих.....	381
Сколько народов в нации и в народе наций?	384
Слева направо.....	386
Вместо пророчеств.....	402
Парадокс русской революции	423
Вместо заключения	436
Место и время публикации.....	441

ВОЗДУХ УЧЕНОГО

Говорят, в спорах рождается истина! И все? То-то и оно, что не все, — рождается еще картина спора, то есть, картина мира, где спор идет. Истина ведь не сразу сжимается в формулу, по которой, как по линейке, можно проверять мироустройство, лупя этой линейкой нерадивых учеников. Бесконечность знания простирается не только на дальние звезды. На нее поминутно натыкаешься в обыденной жизни. Уразуметь ее лучше всего помогает наглядность споров. Не только тем, что расширяется палитра мнений, но на свет выходят все новые факты, новые детали картины, даже ключевые для понимания.

Редактор ленинградской газеты на встрече с читателями объясняет, что не намерен ничего печатать о «ленинградском деле», уже освещаемом другими изданиями, поскольку мы не все об этом деле знаем, а «фактологией» он заниматься не желает. Мы и впрямь не все об этом «деле» и вообще о нашей истории знаем. Но никогда и не узнаем, если не будем достоверно устанавливать, широко обнародовать и коллективно обдумывать факты. Нет пути к истине в обход фактов. Как они ни противоречивы, только зная их, можно знать правду. «Факты – воздух ученого» – сказал тоже ленинградец, великий Павлов. Истина нуждается в воздухе и непостижима в духоте секретности.

Мы не все знаем о «ленинградском деле», но знаем, что Вознесенский, Кузнецов, Попков, Родионов, Капустин и другие партийные и советские работники казнены незаконно. И пусть даже обнаружатся те или иные их ошибки и заблуждения, факт их безвинной гибели признан, и люди, особенно ленинградцы, должны это знать. Даже когда речь идет о казни таких несомненных преступниках, как Ягода, Ежов или Берия, важно точно обозначить их реальные преступления: произвольные аресты, противозаконные методы следствия, бессудные расправы и т.п., но и с них должны быть сняты вымышленные обвинения в том, что они агенты международного империализма. Никаких фактов, подтверждающих такое обвинение, нет. Да и неужто во главе наших органов безопасности четверть века непрерывно стояли агенты империализма? Такие официальные мифы создают почву для стихийных мифов, овладевающие душами. Идеологические работники всплескивают потом руками – откуда только в народном сознании такой вздор! А все оттуда же, от нежела-

ния считаться с фактами, точно их излагать и публично обсуждать.

Валентин Распутин говорил о «Детях Арбата»: «... более интересно бы для литературы было исследование психологии власти таких могущественных при Сталине теневых фигур, как Каганович. Мы как-то легко ищем причину всех преступлений того времени лишь в Сталине. Думаю, он один создать столь совершенный аппарат подавления не смог бы, для этого требовалась направленная идеология». Вот уж действительно только руками разведешь! Конечно, Сталин создал аппарат подавления не в одиночку, и психология такого подручного, как Каганович, верно служивший хозяину даже после гибели двух родных братьев, очень любопытна, но что это, однако, за направленная идеология, которая у Кагановича была, а у Сталина, оказывается, и быть не могла? Писателю стоило как-то ее определить, а то ведь толкает читателя на мифические «догадки», не имеющие под собой почвы.

И еще одно. Нельзя, конечно, всю вину за былое зло взвалить на одного Сталина. Были у него и учителя, и единомышленники, и подручные, и холуи и люди, шедшие за ним ради карьеры, и не так их было мало. Но зачем же изображать Сталина пешкой в чужих руках, бездарным дураком или безумцем? Конечно, лучшее, что было сделано в те годы, как правило, сделано вопреки Сталину. Но там, где его личные интересы совпадали с ближайшими интересами партии, армии и страны, и он порой отстаивал их умно и хитро. Однако, где не совпадали, на первый план выходили личные цели, и ради них он наносил ущерб отечеству. В пределах обозримых последствий, он не действовал в ущерб себе (другое дело, что порой выходило в конечном счете!), а это первый признак душевного здоровья и смелости.

Всем сердцем радуясь победе нашей страны над нацистской Германией, не стоит забывать, что одновременно она была победой Сталина над нашей страной, продлившей его незаконную власть. Я бы скорее упрекнул Рыбакова в том, что у него это смазано, Сталин идеализирован и, пусть дурными средствами, все же хочет достичь благородной социалистической цели. И все-таки «Дети Арбата» при всех возможных оговорках, при всем беллетризме, открывают читателю типические ситуации той поры, типические факты.

Василий Белов выступил с прекрасным призывом: «Возродить в крестьянстве крестьянское!» Он сказал немало верного о тяжком положении крестьян и жестокостях по отношению к крестьянству, вершившихся с конца двадцатых годов. Говоря о деревенской жизни писатель выступает во всеоружии фактов и справедливо протестует против взгляда на деревню как нечто «низшее», подсобное для бесконечного производства средств производства. Но вот он переходит к обобщениям, для чего обращается к фактам явно известным ему хуже и объявляет Сталина главным троцкистом! Так и сказано: «Сталин разгромил Троцкого организационно – убрал его как соперника личной власти. Но суть троцкизма Сталин и его окружение взяли на свое вооружение». Ни Сталин, ни Троцкий – не мои герои, и хрен редьки не слаще, но это не значит, что хрен и редька одно и то же. Отождествляя столь разных политиков, надо бы все-таки сопоставить их позиции, в частности показать, где и когда Троцкий выступал за резкое свертывание НЭПа, осуществленное Сталиным, если Белову такие выступления известны. Да и будь Сталин впрямь троцкистом, жаждавшим лишь устранить сильного соперника, ему достаточно было бы убрать самого Троцкого, ну, может, еще кучку лично преданных тому людей, но остальные троцкисты Сталина бы поддержали, раз уж он осуществлял дорогие им замыслы. А Сталин уничтожал их всех без разбора, значит не только личное соперничество разделяло.

Возводя коллективизацию к созданным в ходе Гражданской войны, якобы по инициативе Троцкого, – на деле по инициативе Третьей армии (командующий М.С.Матиясевич), одобренной Лениным, — трудовым армиям, а трудовые армии — к военным поселениям времен Александра I, Белов утверждает, что последние «идеологически обосновал» и «проводил на практике известный в то время общественный деятель Сперанский». Не будем входить в зыбкие параллели колхозов с трудармиями и трудармий с военными поселениями. Одно, во всяком случае, бесспорно: военные поселения создал не Сперанский, а граф Аракчеев. Сперанский же, напротив, создал проект реформ по превращению неограниченной монархии в конституционную, предоставлявших гражданские права не только дворянам, но и городскому мещанству, и государственным крестьянам и ограничивающих, хоть и не отменявших полностью, крепостное право на помещичьих крестьян, — Сперанский предполагал, что оно

будет упраздняться по мере развития страны. Реформы эти встретили яростное сопротивление крепостников. Сперанского отстранили и сослали. Из Нижнего, а потом из Перми, где он находился под строгим полицейским надзором, он писал Александру и Аракчееву, оправдывая свои намерения и, признавая правомерность действий своих адресатов, соглашаясь в частности с военными поселениями. Но разве мало низвергнутых политиков потом каялось и, стремясь спастись, признавало правильным то, против чего они, стоя у власти, действовали? Стоит ли слабость потерпевшего поражение провозглашать инициативой по насаждению того, против чего он на свободе боролся?

Изображение Сперанского отцом военных поселений не случайная ошибка. Если о Троцком узнать правду нелегко, то о Сперанском сообщают энциклопедии. И стремление непременно связать с жестокими мерами против крестьянства сторонника буржуазных реформ и выгородить виновного представителя феодальной реакции, — это не ошибка, а позиция, и ее занимает не один Белов.

Другая газета посмертно публикует статью Мих.Лифшица, уверяющего, что сталинская неразборчивость в средствах, военно-административные методы в хозяйстве и культуре и прочие его дела имеют «чисто буржуазное происхождение». Буржуазность у нас бранят все. Но если социализм по Марксу выступает против реакционного в буржуазном, то феодализм не менее страстно выступал против прогрессивного в буржуазном, и само осуждение буржуазности еще не говорит о позиции судьи. А важна позиция.

После Октября, Декрета о земле, а затем установления НЭПа, у нас было допущено определенное развитие буржуазных начал. Ленин считал, что социалистические начала в экономическом соревновании одолеют буржуазные. Но социалистические и буржуазные тенденции не были в ту пору единственными. Могучим осталось в сознании и влияние феодального наследства. И полезно поразмыслить, что мешало развитию сильней — «пережитки капитализма» или «пережитки феодализма».

Желающим понять трагизм происходившего с нашей страной, стоит помнить историю освободительной борьбы, ее исходные цели и принципы. Хотя бы того же Маркса. Но его сочинения, к сожалению, не полностью изданы по-русски. Даже второе издание их собрания не стало полным.

«История тайной дипломатии XVIII века» или речи и статьи о Польше все еще недоступны советским людям, не читающим на иностранных языках. Это факт. А знакомство с ними помогало бы понять корни трагедий, происшедших у нас, и не только у нас. При Мао совершались дела, подобные сталинским, а Пол Пот, пожалуй, и Сталина обошел. Это тоже факт. И знание таких фактов помогает понимать нашу историю.

Когда Ленин умирал, классовая борьба шла в стране как экономическое соревнование, с одной стороны – государственных самоуправляющихся трестов, а с другой – нэпманов, кустарей, кулаков и средних крестьян. «Диктатура пролетариата» гарантировала большевикам, что допущение частной собственности не приведет буржуазию к власти. Но с 1929 года и нэпманов, и кустарей, и кулаков, ликвидировали, на селе началась сплошная коллективизация, и все хозяйство страны практически стало вскоре государственным, даже социалистическим. По Марксу это должно было умирить классовую борьбу, ей надлежало утихать, а государству понемногу отмирать. От принципа, «когда будет социализм, не будет государства!», и Ленин не отказался.

Между тем, советское государство, напротив, все более укреплялось, сосредотачивая власть в центре. Тресты лишались самоуправления. Советские и партийные организации глядели вверх, ожидая указаний. Сталин объявил, что классовая борьба по мере ликвидации враждебных классов должна все сильнее обостряться. Советское государство после 1929 года создавало внеэкономическую административно-командную систему. Не пытаясь политическими методами разрешить проблемы, вставшие перед страной, не допуская даже мысли о передаче власти товарищам по партии, которые рискнули бы продолжать экономическое соревнование с буржуазными участниками хозяйства, Сталин взял за образец вековой опыт российской феодальной реакции. Опора для этого была. Если в наши дни в иных умах деревня, известная по Бунину, Чехову, Глебу Успенскому, – это «Лад», можно понять, что многих, даже и бедных людей, страшил отход от привычных, пусть и несправедливых порядков. Чеховский Фирс и отмену крепостного права считал «несчастьем». Такие люди легко уходили от предприимчивости к привычному послушанию.

Марксистская антибуржуазность, отвергшая частную собственность на средства производства – краеугольный

камень капитализма, дорожила, однако, плодами буржуазного развития, отвоеванными буржуазией у феодалов правами и свободами. Большевики ими уже не так дорожили, и партия не восстала против Сталина, когда он подменил марксистскую антибуржуазность феодальной, никакой человеческой инициативы не допускавшей, требовавшей подчинения беспредельной власти утвержденного свыше авторитета.

В «Коммунистическом манифесте» феодальный социализм описан как чисто литературное течение, которому в Англии высокое развитие капитализма не дало шансов на победу. Но в России буржуазия была слаба и даже за сугубо буржуазные преобразования боролась робко. Тем более, ей было не по силам отстаивать их при советской власти. Но и при ней буржуазное развитие до года великого перелома 1929 продолжалось. Еще существовала вероятность его подъема до высших ступеней, а там вероятным, возможным, если не считать его утопией, мог казаться переход к социализму в понимании Маркса, как пост-капиталистическому строю.

Но после 1929 года, с прекращением буржуазного развития, об этом не могло быть и речи. Социализм, который большевики собирались после революции строить в стране, сделавшей при НЭПе лишь некоторые шаги к развитию капитализма, можно скорее счесть пост-феодальным. Его строительство выглядит прагматичнее, состоящим больше в административных установках и указаниях партии, чем в общественных преобразованиях, совершаемых по Марксу непосредственно рабочим классом, составляющим большинство граждан. Это административно-прагматическое представление о строительстве социализма куда больше отвечало мировоззрению большевиков, чем экономическая конкуренция с буржуазной, нэповской, кулацкой частью хозяйства страны. Оно и побудило заменить НЭП прагматичным феодальным социализмом. Не зря Сталин черпал «положительные примеры» именно из феодального прошлого, вплоть до Ивана Грозного и Малюты Скуратова.

Такой идеал, однако, не был мил всей стране, после коллективизации и большого террора обреченной молчать. Даже среди коммунистов не все понимали социализм так. Известны письма Рютина и Раскольниковы. Да и в докладе Хрущева на XX съезде, и в докладе Косыгина на сентябрьском Пленуме ЦК в 1965 году выплескивалось стремление к иному социализму. Еще четче его заявила перестройка, вы-

ступив сознательным движением за возврат на путь, с которого свернули ошибочно.

Обсуждение возможных шагов – проблем собственности, денежного обращения, кооперативного движения и других, так или иначе обращает к прояснению стертых Сталиным различий феодальной и социалистической антибуржуазности, к выяснению того, что из достигнутого капитализмом, как первым в истории экономическим строем, присуще лишь ему, а что – неременная принадлежность любого будущего строя, живущего на экономических, а не внеэкономических, как феодализм, началах. Поэтому в истории лучше разбираться не отвлеченно, а конкретно, видя, что у нас было в прошлом, и что сегодня. А это не углядеть, довольствуясь формулами, не считаясь с фактами, не вглядываясь в них.

МЕТРОПОЛИЯ ИЛИ РЕСПУБЛИКА?

В дни Съезда народных депутатов, ненадолго отлипая от телевизора, я искал ответы на вопросы, которые Съезд поминутно задавал. Когда предложенная Председателем Совета Союза на пост его заместителя кандидатура Н. М. Мгалоблишвили была забаллотирована агрессивным, по верному слову Ю. Афанасьева, но, вопреки ему, не во всем послушным большинством, я вспомнил ленинскую записку «К вопросу о национальностях или об "автономизации"», и вдруг поразился первой же, многократно читанной фразе: «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик». Дальше речь идет о Грузии, о русском великодержавном шовинизме, об уважении прав малочисленных народов, — но не перед ними чувствует Ленин себя «сильно виноватым», тем более, что за них-то и вступается, а перед рабочими России, явно имея в виду русских рабочих, которым, по неоднократно высказанной им мысли, великодержавный шовинизм тоже грозит бедой.

Великодержавный шовинизм издавна служил империи образцовым социальным громоотводом. Ленин там же писал: «Стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не назовут иначе, как полячишка, как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, — как «кавказский человек».

Возвышение над инородцем компенсировало унижение перед собственными господами. И польскому рабочему или узбекскому дехканину виновником его бед нередко казался тоже не только русский завоеватель, но и всякий вообще русский. Федерация республик надлежало покончить и с великодержавным шовинизмом, и с национальной ущемленностью. Народы должны были стать свободными и в силу этого равными.

А нынче говорят, что и самый большой, составляющий половину населения страны, — русский народ не обрел ни свободы, ни равенства. Говорят, к примеру, что нет русского телевидения, — есть лишь всесоюзное, хотя на деле нет как раз всесоюзного, а только русское. В Москве можно принимать пять программ — четыре московские (две из них идут

на всю страну) и одну ленинградскую, и все пять — порусски, а главное — характер передач всюду московский. А будь телевидение всесоюзным, все республики имели бы свои регулярные ежедневные программы, пусть даже на русском языке, но информирующие всесоюзного зрителя о Литве, Грузии и Узбекистане с точки зрения литовцев, грузин и узбеков, а не только московских корреспондентов в Вильнюсе, Тбилиси и Ташкенте. Этого нет, и наше телевидение не вправе было покамест называться всесоюзным. К тому же такого могучего пятипрограммного вещания, как русское, ни в одной республике нет. А ведь всерьез говорят, что нет как раз русского телевидения. Говорят еще, что нет русской Академии, хотя важные учреждения Академии наук СССР расположены почти исключительно в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске и т. д. Говорят даже, что надо бы побольше русских парработников. хоть они-то занимают посты даже там, где не знают языка местных жителей.

И в ряду подобных надуманных сетований не всегда в полной мере доходит, что жизнь русского рабочего, русского крестьянина, русского интеллигента, за вычетом небольшой кучки, вцепившейся в государственную кормушку, жизнь рядового человека на русской земле и впрямь мучительно трудна, нередко не менее, а где и более, чем жизнь рядового человека в иных республиках, считающих себя, — и тоже не вовсе без основания — страдающими от русской власти.

Чтобы в этом парадоксе разобраться, надо вернуться ко времени, когда Ленин сражался против сталинского проекта «автономизации», тогда отвергнутого, но потом на практике составившего почву для неравенства советских народов, расставленных ныне на пяти уровнях зависимости: народы союзных республик, зависящие непосредственно от всемогущего центра, народы автономных республик, автономных областей, округов и народы рассеяния, диаспоры. Автономные округа и области подчинены областным и краевым советам, автономные республики — союзным, никто из них не входит в Союз непосредственно. По тому же принципу Сталин объединил и союзные республики, а самый большой народ страны выражал у него не столько свои интересы от лица своей, подобной другим автономии, сколько якобы всеобщие, от лица самого объединения, самого Союза.

Наш государственный гимн начинается словами: «Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь...». И сразу охватывает недоумение: если республики

свободны, если сами вступили в добровольный союз, отчего же не просто сами сплотились, а сплотила их все-таки одна, и к тому же не равная остальным, а великая? Этим наперед снято доверие к равенству республик, сколько бы о нем потом ни пели. Русская держава, пришедшая из прежних времен, стала при Сталине синонимом нового Союза. Историки уверяют, что предки Сигизмунда Сераковского или Салавата Юлаева вовсе и не были покорены, а добровольно влились в Русскую державу, словно она с незапамятных времен уже была Советским Союзом, словно Пушкин не писал «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!», словно Шевченко не «купа в калюжі» Богдана, а Суриков не изображал покорение Сибири Ермаком. Понятия «всесоюзное» и «русское» как бы отождествились. «Антирусский» зазвучало как «антисоветский», хотя «антигрузинский», «антиузбекский», «антитатарский», не говоря уже «антисемитский», так отнюдь не звучат, а должны бы, если народы равны. Напоминание, что были все же русские цари, русские помещики, русские колонизаторы, русские капиталисты, русские жандармы, стало крамолой. Как воплощение целого русский народ призывался решать за других, как им жить, и одновременно жертвовать собой ради них. Слова «первый среди равных» обнажили сталинское понимание национальных отношений: русские, по Сталину, — народ метрополии, остальные — народы больших или меньших ступенчатых автономий. И за это свое особое положение, за право воплощать государство в его целостности, русскому народу сплошь и рядом приходилось платить отказом от благополучия в собственном доме.

Скажут: да есть же отдельная Российская республика! Но эта республика тоже не национальная, тоже федеративная, в ней опять же объединены десятки народов, и русский здесь опять олицетворяет единство федерации, как там — единство Союза, и снова оказывается народом незримой метрополии, — даже внутри РСФСР нет Автономной Русской республики, и единый народ раздроблен по мелким областям и краям. Великодержавное начало дважды берет в его судьбе верх над национальной самостоятельностью. И это худо не только другим народам, которым положено знать свое место в присутствии «старшего брата», но и самому русскому народу.

Латыши страдают оттого, что стали в своей республике меньшинством, и недовольных латышей именуют националистами, а многие русские, желая жить в Латвии «без Рос-

сий, без Латвий», считают себя интернационалистами. Споры о национальных проблемах оборачиваются у нас выяснением отношений малочисленного народа с Союзом как целым, то есть фактически нерусских с русскими. Но еще разбирая старое грузинское дело, Ленин заметил: «Тут встает уже важный принципиальный вопрос: как понимать интернационализм». Поймем же, что интернационализм состоит не, как мы привыкли, в подчинении малого большому и части целому, и не в том, что интернационально объединившееся целое вольно потом обходиться с любой своей составляющей, с меньшинством, как сочтет нужным, — и выживать его с исконной земли, и хоть газами травить.

Но за бурным отстаиванием прав русских в Латвии забывается другая сторона той же, в сущности, проблемы — нехватка людей в России, пустующие земли, безысходная бедность, забывается, что на Смоленщину ныне едут работать дагестанцы, в отличие от русских в Латвии, отнюдь не считающие, жизнь вдали от родных мест большой удачей.

Эта сторона русской жизни не заинтересовала тех, кто страстно боролся против русофобства в Грузии, где его отродясь не бывало, или в Афганистане, где его тоже прежде не было и могло не быть ныне, кабы не миллион погубленных афганцев. Вот бы патристичному генералу Родионову не о Грузии, не об Афганистане рассуждать, а подумать о Смоленщине и о тех, кто оттуда уходит. Вот бы сперва поразмыслить, почему недостает любви к России у ее коренных жителей, а уж после спрашивать, почему порой нет любви к ней у других. Русские уходят из России, уходят в Латвию и другие республики. Нет, я вовсе не к тому, чтобы кого-то насильственно удерживать или переселять обратно, — человек волен жить, где хочет, и не только в пределах своей страны. Я только про то, что пора уразуметь — не оттого ли они уходят, что груз дважды особой роли русского народа — и в составе СССР и в составе РСФСР — оказался ему непомерно тяжок и обременил непримиримыми противоречиями национальное самосознание.

Еще Энгельс сказал когда-то о русском народе: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы», — и это, конечно, верно. Но только и тогда ведь не весь народ, а лишь определенные его сословия угнетали другие народы. Крепостные мужики, покамест их не обряжали в мундиры, были не угнетателями, а угнетенными. Но они, и впрямь по Энгельсу, не могли обрести свободу, покуда покоряемые

народы склонялись перед силой державного оружия, и лишь поражение в Крыму привело к давно необходимому стране освобождению крестьян. А прежние великие победы, укреплявшие державу, крепили, тем самым, и крепостное рабство, а значит, обрекали на отставание и ослабляли Родину, как выяснилось, даже в сугубо военном отношении. И значит, царские генералы насмерть стоявшие за нерушимость крепостного строя, по сути дела, нарушали свой воинский долг, хоть и думали, что его исполняют.

Прекрасное понятие «Родина» у нас обезличилось до песенки «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!». Общее опять оказывается всем, а отдельное — ничем, свой дом, своя улица, своя республика, выходит, не нужны ни туркам-мехетинцам, ни русским. С турками — дело понятное: им надо вернуть их дом. Но и русским, чтобы обрести равенство вместо нынешней смеси превосходства с униженностью, тоже надо создать свой дом, Русскую советскую республику, отдельную от Татарской, Якутской, Чувашской и прочих, входящих ныне в РСФСР, которым тоже пора обрести равные с Белоруссией или Киргизией права. Русская республика, наравне с другими входящая в единый Союз, окажется, понятно, поменьше, чем нынешняя РСФСР, но она все равно будет у нас самой большой по территории и населению, а главное, она станет, наконец, не выше других официально и не беднее их фактически. За чем же дело стало?

Да за тем, что за особое положение, за этот источник всех бед русского народа, некоторые упорно держатся. На Съезде народных депутатов В. Распутин даже пригрозил народам, ратующим за свои национальные права, что и русские могут выйти из Союза, давая понять, что без них остальные пропадут. Легко доказать, что не пропадут, хоть и это не повод разводиться. Любопытен, однако, сам ход мысли писателя. Он обратил к «смутьянам», жаждущим экономических реформ, афоризм не названного им отечественного государственного деятеля: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая страна». Но не говорил Петр Аркадьевич Столыпин «нам нужна великая страна»! Он четко сказал: «Нам нужна великая Россия», и все понимали, что нужна ему Российская империя, в которой равенство народов не предполагалось. Эту империю он, впрямь, старался спасти буржуазными экономическими реформами, которые не по сердцу были двору и положение в стране изменили

лишь отчасти, преимущественно в местах, куда крестьян переселяли, давая землю. А «великие потрясения», так им и не предотвращенные, настали вовсе не из-за его экономических реформ, а наоборот — из-за их медленности и запоздалости.

Ныне величию любой империи всюду в мире противостоит любовь к своей родине и забота о ней. Ленин понял, что идет к этому, почему всеми силами и боролся против сталинского имперского проекта «автономизации». После революции Ленин хотел видеть на месте Российской империи союз родин, союз народов, в котором каждый, сохраняя право на самоопределение, объединялся с другими ради разрешения общих забот, отнюдь не отдавая в полное распоряжение общему все свои дела и права, чтобы потом выпрашивать разрешение на каждый шаг в отдаленном центре.

Но разве нужды экономического развития не толкают сегодня народы к слиянию, к объединению? Разве Европа, прежде разорванная на несшиваемые клочки, не объединилась ныне в экономическое сообщество, внутри которого теряют значение государственные границы, хозяйство глубоко интегрируется, создается общая валюта? Стоит ли нам идти в обратную сторону? Не лучше ли оставить все, как есть, и даже полней унифицировать державу?

Чтобы найти ответ, вспомним, что объединенное хозяйство складывалось в Европе еще в 1943 году, и тогда в него входили не только западные страны (кроме Англии), не только запад Германии, но и ее восток, и Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия и советские земли до Волги и Кавказа. Но это «интегрированное» гитлеровским насилием единое хозяйство вызывало у народов Соппротивление, и не устояло в войне. Интеграция не достигается насилием, вот оно как! В основу нынешнего Европейского сообщества положен принцип взаимности, согласия, консенсуса, а не механического затаптывания и «захлопывания» меньшинства большинством. Именно взаимность привела Европейское сообщество к успехам, каких было не достичь силой!

Именно ради интеграции, необходимой и нам, надо вернуть народам право на самоопределение. Тогда они вступят в экономические отношения ради взаимной выгоды, а не просто подчиняясь абстракциям общей цели, во имя которой некто их некогда сплотил. Если бы от Русской республики зависело, посылать ли людей подымать целину в

Казахстане или приложить эту силу к орловским и воронежским землям и самой дать стране хлеб, если бы Русская республика решала, затыгивать ли людям пояса, чтобы строить новый завод в Латвии, где нет рабочей силы, или лучше ставить новые станки на старый завод в Ленинграде с его квалифицированным рабочим классом, польза была бы, думается, не только русским, но всей стране. Тем более, что и Казахстан, и Латвия тоже сами нашли бы лучшее применение своим землям и рабочим рукам.

Оттого, что из Азербайджана выкачали нефть, лучше стали жить не азербайджанцы, но ведь и не армяне, не русские, не украинцы. Оттого, что Узбекистан замордован хлопком, выиграли опять же не узбеки. но и не турки-месхетинцы, не таджики, не казахи. И так можно долго продолжать, ибо в бесхозном, ничьем хозяйстве богатства страны не идут на пользу ее жителям.

Вот и пора кончать с пятиступенным неравенством, с неравенством татар с туркменами, бурят с молдаванами, и так далее, и так далее. Признай мы за всеми народами хотя бы право на место их обитания, народы Крайнего Севера не дошли бы до нынешнего трагического положения. Нельзя было бы с ними не считаться там, где они живут. Выделение конкретных участков тайги для добычи полезных ископаемых или промышленности они бы сами контролировали, и с этими участками обходились бы куда тщательнее, и платили бы за ущерб местной, национальной власти, так что северяне не только терпели бы меньший ущерб, но от развития своих земель выигрывали и средства для совершенствования традиционной жизни и развития культуры получали. К этому, а не к созданию резерваций, надо бы стремиться и ныне.

Для восстановления равенства народов придется, конечно, учесть сложившиеся меж ними отношения, выяснять, хотят ли, скажем, чеченцы и ингуши жить и дальше вместе или предпочтут врозь, хотят ли кабардинцы, черкесы и адыгейцы жить врозь, в разных республиках, да еще объединяясь там совсем с другими народами? Об этом придется спросить у них, не решая за них, не пугаясь уточнения национальных границ в спорных случаях на референдумах, где решающий голос должен принадлежать не сезонным рабочим-лимитчикам, а, независимо от национальности, тем, чьи семьи живут в этих местах достаточно долго.

Есть и вещи очевидные. Если в искусственно созданной Еврейской автономной области за полвека добровольно поселилось чуть более половины процента (0,56%) всего еврейского населения СССР, да из этой половины процента к тому же лишь одна седьмая часть владеет национальным языком, ясно, что это никакая не национальная область (среди ее населения евреи составляют лишь 5,3%), да и никаких исторических оснований ей там быть нет.

Живучие государственные образования складываются не только в силу общности национальной культуры, при всей важности последней, но и по историко-экономическим обстоятельствам. В условиях демократии люди могут мирно жить вперемешку, в одном здании могут работать разные национальные школы, в одном издательстве — выходить книги на разных языках. Вот и у нас ничто все же не побудило русских жителей Крыма оттуда выезжать, когда он росчерком пера был передан из РСФСР в УССР, — как видим, вопреки нынешним разговорам о неприкосновенности внутренних границ между республиками, когда хотели, их меняли с легкостью. В демократическом обществе люди спокойно живут в инонациональной среде, вступают в смешанные браки, ассимилируются или сохраняют родительскую культуру, — и это естественно, никого никуда не надо силой пересаживать. Но следует считаться с самобытными обстоятельствами жизни компактных масс каждого народа и его навыками. Многие нынешние национальные конфликты выросли из пренебрежения этой элементарной истиной.

Причина их не сводится к личным качествам того, кто «мог на целые народы обрушить свой державный гнев». Так можно стало поступать оттого, что взаимоотношения народов свелись у нас к отношениям каждого из них с центром, а друг с другом — тоже через центр. Рассматривая национальные отношения как вертикальные, в них различали лишь центростремительные и центробежные тенденции. Русский народ, внесенный таким подходом к национальным проблемам в центр, попал в заведомо ложное положение, поскольку никто его не спрашивал, хочет ли он быть воплощением державы, всеобщим опекуном и благодетелем — или предпочел бы не столь громогласную, но более плодотворную самостоятельную жизнь для себя, своих детей и отцов, своего хозяйства и культуры. А для истинного Союза важны не вертикальные, а, наоборот, горизонтальные связи.

Наладь Русская республика взаимовыгодные горизонтальные связи с Узбекской и Татарской, с Армянской и Якутской, и так далее, и так далее, а они, в свою очередь, меж собой, опираясь эти их связи не на директивы сверху, а на эквивалентный стоимостный обмен, быстро бы выяснилось, что Союз наш крепче, чем самим нам кажется, и наши республики на деле нуждаются друг в друге не меньше, чем страны Европейского сообщества. Вот и нам нужен свой общий рынок вместо несправедливой и неэффективной системы вертикального распределения сверху. Абсурдность этой постройки лишь подчеркивается тем, что народ, поставленный в центр, в массе своей не только не получает от этого прибыли, но зачастую еще и терпит убытки.

Для реальной перемены национальных отношений мало, однако, под флагом регионального хозрасчета раздробить громоздкое всесоюзное командное хозяйство на пятнадцать или даже двести национальных командных хозяйств. Хоть порядка кое-где и прибавится, большего проку не будет. Для существования межреспубликанского рынка необходимо, прежде всего, существование внутриреспубликанского рынка, состязание меж заводами в качестве машин и меж крестьянами в дешевизне масла.

Формирование подлинно экономических отношений на современном уровне предполагает, прежде всего, отделение хозяйства от государства. Иначе командная система никуда не денется, как ее ни переименовывай. Государственный завод подтвердит свою экономическую эффективность, лишь отказавшись от монополии, вступив в равноправное соревнование с негосударственными, — при одном социальном строе они будут частными, при другом — общественными, но это уже иная сторона дела. Лишь отделившееся, как церковь, от государства, хозяйство вынуждено стать экономическим и ориентироваться на реальный общественный (и государственный, и личный) платежеспособный спрос. Тогда отпадет нужда вымеривать, кто у кого на иждивении, какая республика больше вкладывает в общее хозяйство и какая больше получает, — стоимостные отношения сами будут поддерживать необходимое равновесие, а помощь для преодоления отсталости или катастроф в тех или иных регионах будет идти за счет пропорциональных отчислений всех республик в общесоюзную кассу, то есть на равных началах. Лишь равные правовые нормы свободной эко-

номической деятельности всех народов станут опорой их политического равенства.

У М. Горбачева на Съезде то и дело требовали средств на какие-то, возможно, и впрямь важные вещи, словно дело лишь за его доброй волей. Почти никто, однако, не требовал создать условия, чтобы на свои нужды можно было заработать, не обременяя высшую власть. Кругом говорят: «Надо воспитывать в людях чувство хозяина!» Но ведь это чувство не обретишь иначе, как став хозяином. Кастрату недоступны радости любви, и, занимаясь регулярной кастрацией умов и душ, не стоит приговаривать, что любовь прекрасна, и ждать увеличения числа семей и роста народонаселения. Уклоняясь от возвращения людям права строить свою жизнь, как они хотят, права быть хозяевами своей судьбы, их освобождают от чувства ответственности за себя и страну, зато все громче требуя такой ответственности. Социальные язвы трудно преодолеть не столько потому, что они глубоки и запущены, сколько потому, что для этого нужно социальное мышление, вытесненное у нас технологическим, — а социальной называют сферу потребления, подразумевая удовлетворение повседневных нужд.

Обострение национальных проблем — как раз и есть наглядное проявление бессилия технологического сознания, пагубности представления об обществе, как о механизме, шестеренки которого должны лишь точно передавать по инстанциям руководящую волю. Кругом спорят, кому должна принадлежать власть. Но кому бы она ни принадлежала, общество состоит из людей, а не из шестеренок и винтиков. Как их ни стараются дисциплинировать, дисциплинировать удастся лишь исполнение, да и то без личного интереса — весьма относительно, но инициатива, предприимчивость, озарения разума, приходят не по команде. Поэтому власти, даже всемогущей в разрушении, созидать удастся, лишь обретая хоть какое-то согласие с конкретными стремлениями рядовых граждан и интересами их сегодняшней, а не одной лишь послезавтрашней жизни.

Едва ли не важнее вопроса о власти вопрос о структуре общества, о наличии у людей возможности стать во имя своих интересов созидателями, производителями того, что нужно другим людям и обществу в целом, и, в этой связи, об их традициях и навыках созидательной деятельности, или, иначе говоря, о национальном характере хозяйствования, обусловленном, понятно, не биологически, но конкретно-

исторически. У нас переоценено значение власти и недооценено значение общественной структуры, отчего мы перестаем понимать, какие силы на самом деле формируют нашу жизнь, какие силы ведут ее к застоям и катастрофам. Из этого непонимания и растет социальная неуверенность и жажда сыскать наглядных виновников зла, — неважно, кажутся ли таковыми «коррупцированные члены Политбюро» или «масоны», — замешанная на уверенности, что любая общественная структура в решении любых задач может быть одинаково эффективной, лишь бы в ней действовали безупречные люди, а это, как показала история человечества, вовсе не так. Мы слепо веруем во власть Постановлений, Пленумов, Конференций, Съездов, а потом торопимся разочароваться, уповая опять на новые Постановления. А меня, откровенно сказать, пугает не столько рост видимой власти М. Горбачева, тем более что она растет все же параллельно возможности эту власть критиковать, сколько ни на йоту не ослабевшая невидимая власть хода вещей в монопольной хозяйственной структуре, слившейся с государственным аппаратом, меня пугает определяемый ею характер производственных отношений, препятствующий качественному развитию производительных сил, хотя все вокруг именно к такому развитию призывают. И будь у Председателя Верховного Совета еще в три раза больше власти — пока монопольная структура не разъята, не перестала быть монопольной, ее реальную власть ему не то что не одолеть, а даже не углядеть, до того мгновения, когда ее факелы вдруг озаряют то Уфу, то Фергану, то атомные подлодки в Северном море.

Наша все еще сталинская общественная структура, пронизанная верой во всемогущество власти, всемогущей по преимуществу растратой природных и человеческих, общественных ресурсов, десятилетиями не считалась не только с собственно экономическими, но и с другими традиционно сложившимися факторами общественной жизни: ни с личностью, ни с семьей, ни с народом. Кратковременные мобилизационные эффекты до поры давали рассматривать людей как винтики, песчинки, лагерную пыль. Важна была лишь указующая рука власти и сила державы. Старые мысли Маркса о производственных отношениях, тормозящих развитие производительных сил, и в частности науки и техники, смолкли пред роскошным мундиром генералиссимуса и блеском его алмазных и золотых звезд. Ленинские сужде-

ния о равноправном союзе народов тоже стали лишь словами для торжественных случаев, никем не принимаемыми всерьез. Нынче мы поминутно за это платимся.

И все равно поныне не признаем, что национальные проблемы — прежде всего, проблемы социальные. При коренном отличии моих взглядов от взглядов В. Распутина, я высоко ценю, что, выступая на Съезде народных депутатов в защиту своих взглядов, он честно довел дорогу ему мысль о великой державе до логического завершения, до царского трона, и у меня, убежденного республиканца, эта безоглядная искренность вызывает уважение. Обычно искренностью и не пахнет, и консерватизм выдают за исконное свойство русского народа, якобы с готовностью взявшегося за навязанное ему назначение олицетворять державный союз народов, крепко держа эти народы.

Но разве русские только писатель Распутин и генерал Родионов? Разве академик Сахаров не русский? И не жизни русских мальчишек прежде всего, защищал он, выступая против афганской войны, когда демонстративные певцы русского народа как-то не находили слов? И разве не в русском городе Ленинграде, известном активностью своей «Памяти», близкий единомышленник В. Распутина, баллотировавшись в народные депутаты, набрал всего-навсего треть процента голосов? Я не к тому, чтобы пренебречь зловещей деятельностью «Памяти» и ее бурно плодящихся филиалов, но народное голосование все же предостерегает от отождествления «Памяти» и русского народа.

Создание своей республики как раз и позволило бы народу разобраться, в чем состоят его подлинные интересы, и я не думаю, что большинство увидит в Русской республике лишь опору для прежнего «особого назначения», что верх возьмут распространяемые ныне бредовые идеи «очищения» русской национальной территории, то есть выселения нерусских, или «русификации» русской литературы, то есть изъятия из нее всяких там инородцев, мертвых и живых. Я, напротив, думаю, что шовинистическая пыль уляжется, как явная помеха развитию, воспрянет старый космополитический русский дух, от которого народ всегда выигрывал. Я думаю, что Русская республика, обернувшись вовнутрь себя, налаживая свое хозяйство, привлечет к себе свою обширную диаспору и в нашем Союзе и за его границами, — русские люди станут не уходить, а добровольно возвращаться.

А как же Союз? Ему тем более придется создать новые, воистину союзные органы, и, образовавшись на основе союзного договора, сделать эти федеральные органы куда демократичнее нынешних. Если уже сегодня заседания нового Совета Национальностей проходят явно демократичнее, чем заседания Совета Союза, то вызвано это, конечно, не только личными качествами Председателей, но и тем, что в Совете Национальностей меньше надежд на поддержку сплоченного большинства, и приходится искать согласия.

Координация экономических отношений республик, укрепление их горизонтальных связей и взаимной помощи, имеющей, в отличие от нынешней, неперемное стоимостное выражение, создадут благоприятные условия для успокоения межнациональных отношений. Их портили внеэкономические директивы, и возрождать дружбу надо, устанавливая экономические связи, в которых всякий товар оплачивается сообразно его общественной необходимости и вложенному в него труду, который тоже оплачивается. Мы прожили эпоху, когда сильный центр лишал республики самостоятельной силы, что обернулось не только экономическим застоем, но и межнациональными распрями. Опираясь на самостоятельную силу республик и сделав центр координатором их общих дел — и финансовых, и военных, и международных, — мы сделаем его по существу сильнее, увеличим его влияние, но сила центра будет идти уже не во вред, а на пользу создавшим его республикам.

Важно, конечно, обеспечить центру подлинно союзный, многонациональный характер, не допуская даже и чисто внешнего его отождествления с какой-либо из республик. Для этого придется не только изменить государственный гимн, но, видимо, как кто-то уже предлагал, завести новую союзную столицу в особом округе, не входящем ни в одну из республик. Из этой новой столицы на всю страну сможет вещать воистину всесоюзное телевидение, там откроются и театры дружбы народов, и музеи, и культурные представительства, и много еще другого, не говоря о коммерческих учреждениях, способствующих товарному и техническому обмену. Можно будет даже открыть там воистину всесоюзную Академию Наук, если, впрочем, в ней возникнет нужда, — я отнюдь не уверен, что науке на пользу открытие еще одного бюрократического заведения; академиком у нас хватает, и заботиться бы надо не об их количестве, а о качестве. Но, так или иначе, важно понять, что «союзное» — это

значит, прежде всего, межреспубликанское, или, еще точнее, в масштабах нашей многонациональной страны, — международное.

Роль русского народа и Русской республики в Советской федерации в любом случае будет весьма значительной, но важно и тут определить не столько количественные, сколько качественные параметры роли. История привела русский народ к нелегкому выбору — равняться ли на генерал-полковника Родионова, отдававшего приказы в Тбилиси, или на генерал-лейтенанта танковых войск Шапошникова, в 1962 году, в еще более сложной ситуации, на аналогичный приказ ответившего: «Я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Хоть он и тяжело поплатился за эту бессмертную фразу, но спас честь русского, советского офицерства, как подобает герою Отечественной войны.

Два генерала олицетворяют два представления о патриотизме. Один — державный, приведший русский народ к его сегодняшнему состоянию, другой — запечатленный еще в древних, но поныне волнующих словах «О, русская земля, ты уже за холмом!». Успешно создать Русскую республику, — не Российскую, не федеративную, а именно Русскую, — можно, лишь отрекшись от авантюрных побуждений наставлять половцев или афганцев и всецело отдавшись заботе о своей земле, на которой жили отцы, деды и прадеды, которая под ногами, самое дальнее — за холмом. С возникновением вместо нынешней потайной метрополии такой республики упрочится и равенство меж всеми народами страны, и на деле, а не на словах, силой взаимной необходимости, а не силой саперных лопаток, упрочится наш Союз.

АССОЦИАЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЛАСТИ

Мы долго жили в полной уверенности, что всем ясно, что к чему, только сказать не дают. Евтушенко писал:

Ученый, сверстник Галилея,

Был Галилея не глупее.

Он знал, что вертится земля,

Но у него была семья.

Нынче все заговорили, и выяснилось, что "сверстник Галилея" и не подозревал, "что вертится земля". Но мало дать слово Галилеям и Сахаровым. Величайшие умы не побоят невежество в одиночку, нужны и другие ученые, пусть и "глупее", были бы честны, и, до поры не подозревая, что земля вертится, могли бы ощутить доказательства. Истина наперед неизвестна, и наука нуждается в демократии. Общественная наука - не исключение. Когда же, решив, что, коль скоро намерения власти - благие, в демократии нет нужды, насаждают единомыслие, наука обращается хорошо если в необременительную религию, а то ведь и в орудие массового гипноза. Чумак и Кашпировский вошли в общественную жизнь и делают свои пассы, но легче жить не становиться.

Не так уж велика разница меж требующими наделить Горбачева абсолютной властью и бранящими его за нерешительность. И те и другие верят, что кризис можно разрешить директивно, и указывают, что Горбачев почти всегда добивается желаемого и на съезде, и в Верховном Совете. Удивительным образом они не видят, что Горбачев выражает лишь те свои желания, которые может осуществить, поскольку политика — искусство возможного. Сталин, конечно, в полной мере отвечал за Жданова, ведь Жданов проявлял самостоятельность, не переступая пределов данных великим вождем указаний. Но отвечает ли Горбачев за Гидаспова, уже не столь понятно.

Это и не понять, не осознав трансформаций, пережитых партией, к которой оба принадлежат. Традиционный марксизм, обращавшийся к рабочему классу, то есть в перспективе к большинству, подобных партий не предполагал. Возникнув в крестьянской по преимуществу стране, где массы и думать не думали о марксовом постбуржуазном социализме, ленинская партия особого типа взялась привести народ к такому идеалу. Власть она взяла, но первые же годы показали, что вопрос о праве решать за других не является лишь

моральным. Легкость революционной победы побудила партию, прежде не намеревавшуюся торопиться, немедленно приступить к практическому внедрению коммунизма (военного), потерпевшего, однако, крах. Это побудило Ленина к коренному пересмотру всей своей точки зрения на социализм. Однако Ленин умер, пересмотр не состоялся, и военный коммунизм, а точнее сказать, феодальный социализм под водительством Сталина все же восторжествовал. Политические методы общественной жизни, едва начавшие утверждаться в России в начале века, были вновь вытеснены насильственными. Об этом нынче пишут все, кому не лень, но нигде не прочесть, что же при этом произошло с самой ленинской партией, а не просто с отдельными ее деятелями. А она в большинстве была расстреляна. И как ни относиться к ее программам и методам, нельзя не признать, что это партия расстрелянных, что борцы за ее идеалы разделили участь других российских социалистов, и меньшевиков, и эсеров, и прочих.

Под тем же именем, лишь позднее измененным, стала действовать другая, по существу, организация, которую и партией-то в общепринятом смысле называть странно. Это была скорее ассоциация поддержания власти Сталина. Не зря она стала огромной. Не зря занятие сколько-нибудь важных должностей потребовало членства в партии. Не зря съезд партии не стало нужды собирать – съезд был в 1934-м, а следующий в 1956-м — партия 22 года не обсуждала свои дела, не выбирала руководителей. Но себя расстреливала

Смысл нынешнего кризиса прежде всего в том, что такой порядок стал тормозом в развитии производства. Как некогда двинувшая производство предпринимательская деятельность потребовала от общества демократических гарантий, так ныне научная и научно-техническая деятельность требуют еще большей демократии, а мы ведь не достигли и уровня, необходимого на предыдущем этапе. Дело не в том, что бобовиковы и калашниковы плохие люди, злоупотребляющие привилегиями. Будь даже они честны и скромны, покуда управляющие независимы от управляемых, неизбежно ускоряющееся отставание от мирового уровня.

Не случайно даже и голосовавшие за сохранение шестой статьи не однородны. На XIX партконференции Горбачев предложил, сосредоточив власть в советских органах, предоставить партии возможность рекомендовать своих ли-

дерев на руководящие посты в Советах, оставляя, однако, последнее слово за избирателем. Но уже различимо стремление не только жить по-прежнему, но обойтись без демократической видимости.

Первое лицо в нашем городе отказалось баллотироваться и в областной, и в городской Совет. Как бы оно ни объясняло свое решение, по объективному смыслу получается, что оно собирается нами править, не получив вотума доверия в городе и области.

И ведь не оно одно требует власти просто в силу принадлежности к ассоциации поддержания власти — уже, понятно, не сталинской, а собственной. Это и есть принципы, которыми не хотят поступиться. Требуя прямых выборов делегатов на партийный съезд и в руководство партии, партийные комитеты отнюдь не торопятся так проводить партийные выборы у себя в городе и области. А ведь такие выборы покончили бы с порядком, при котором две сотни членов обкома и горкома, безальтернативно избранных в свое время партконференцией, делят меж собой руководящие посты. Прямые выборы изменили бы облик партийного руководства. А главное, пойдя на такие выборы, ассоциация поддержания власти стала бы вновь превращаться в политическую партию, вынужденную так или иначе усваивать интересы граждан.

Партия не зря всегда боролась с «безыдейностью». Этим прикрывали реальную безыдейность значительной части ее членов, их равнодушие к любым идеям, кроме продвижения по службе. До Маркса и Ленина, до того, в чем те были правы, а в чем не правы, множеству членов партии не стало дела. Люди, вступавшие в партию чистосердечно влекомые ее лозунгами, особенно во время войны, рано или поздно это обнаруживали. Вот партия и оказалась — вопреки недавним заверениям в полном единстве и верности красному флагу — вместилищем весьма различных идейных тенденций. Кажется, что противостоят лишь консервативная и перестроечная, но на деле ни та, ни другая, в полной мере еще не определились и не рискнули разорвать взаимную связь. Но все не так просто. Наши консерваторы, строго говоря, даже и не консерваторы, а просто реакционеры.

Консерватором можно назвать лишь того, кто хочет сохранить по крайней мере жизнеспособный, пусть и не самый лучший порядок. А сталинско-брежневский, даже отвлекаясь от того, что его придется и дальше скреплять кровью, не

может уже принести ни благополучия гражданам, ни научно-технического прогресса стране. Не зря за ним проступает новая тенденция. Тайная симпатия Сталина к национал-социализму, которую мы постигаем в основном по косвенным признакам, нашла сегодня продолжение в организациях с национал-социалистическими программами, пользующихся благожелательной поддержкой.

Обозначилось течение внутри партии, называющее себя радикальным. Именно оно чаще всего бросает Горбачеву упрек в нерешительности. Оно даже провозгласило себя оппозицией. Однако воистину радикальной программы ни оппозиция, ни межрегиональная группа в целом так и не предложили. Ирония в том, что и на этом фланге «крайние» — Ю.Афанасьев, Г.Попов и даже во многом Б.Ельцин, — если отвлечься от личных моментов, как раз и есть самые твердые сторонники программы Горбачева, расходящиеся с ним не столько в программных, сколько в тактических вопросах, в которых, не принимая реальных решений, легче опущать себя свободным. Горбачев еще возражая против обсуждения вопроса о шестой статье на Съезде, дал понять, что в самом скором времени выступит за ее отмену, а за отказ от прямого партийного управления и за превращение Советов в реальные органы власти он как раз первым и выступил. Приходится с горечью признать, что все ширящийся протест народных масс, проявившийся в забастовках шахтеров, выплеснувшийся на улицу в Волгограде и других местах, оппозиция не сумела своевременно перевести на политический язык, который вынудил бы консерваторов к отступлению.

При всем различии ситуаций мы вновь, как в 1917 году, страдаем от слабости демократических сил, и споры на практике часто идут о том, какая из антидемократических возьмет верх — прямое управление, опирающееся на штурмовые отряды, или армия опять получит приказ... «Четвертая власть» (партийная), должна раз и навсегда отказаться от претензий править в обход трех общепринятых (законодательной, исполнительной и судебной) и честно бороться за проведение на свободных состязательных выборах своих депутатов в представительные органы. Авторитет партии упал не в пору перестройки, а тогда, когда она стала действовать, игнорируя мнение миллионов собственных членов, а страх перед ассоциацией поддержания беспощадной власти, который все эти годы существовал и далеко не у всех еще прошел, странно именовать «авторитетом». Падение

такого «авторитета» не только не губительно, но в той мере, в какой партия сама от него отступится, лишь и дает ей надежду обрести доверие.

Так же и "пятая", главная власть, хозяйственная, бросит сопротивляться экономическим реформам лишь перестав быть монопольной, когда каждое предприятие и каждый труженик узнают подлинную цену того, что они создают, приобретают, тратят и теряют, и у них возникнут стимулы лучше работать, чтобы больше заработать и лучше жить.

Сегодня в неудачах реформ больше всего винят их инициатора Горбачева. Не то чтобы он безгрешен, но, может быть, стоит оборотиться и на себя? Ведь это нам, а не Горбачеву не хватает решительности, чтобы, подобно волгоградцам, добиться отставки тех, кто тормозит демократические перемены и активно противодействует перестройке.

Осознание необходимости перестройки еще не проявляло, какие силы способны ее совершить. Слишком живучей оказалась вера в аппаратную «революцию сверху». Мощь ненасильственного народного волеизъявления начала наступать лишь на пятом году. Проявись она раньше и отчепливей, думается и Горбачев действовал бы смелее и, главное, демократические преобразования стали бы в самом деле радикальными и прочными.

ПАРАЛИЧ ВСЕВЛАСТИЯ

Кто рискнет утверждать, что без перестройки жилось бы лучше? Ведь шла бы война в Афганистане, да и прочим прогрессивным диктатурам мы, как повелось, давали бы танки и самолеты в долг без отдачи.

Еще великий Сталин бесстыдно благодарил народ за терпение. Но в войну терпели потому, что речь и в самом деле шла о жизни и смерти. Если в первые дни войны у кого-то и были иллюзии, то своими действиями немецкие войска вели практическую пропаганду в пользу Советской Армии как единственного спасителя. Сегодняшние выдумки о кознях неформалов, масонов и прочих таинственных сил – это попытки возродить в мирное время военную модель, опять безосновательно, убеждая нас, что без прежних порядков будет еще хуже.

Но большинство уже смекнуло, что противопоставленный Западу, включившему в себя и обходящий нас Восток, наш «особенный путь» ведет лишь к дальнейшему обнищанию. И дело не только в том, что народ не в силах больше жить послезавтрашними благами. Перестройка – не акт милосердия. Просто в современной промышленности, сельском хозяйстве и науке человек, опутанный повседневными нуждами, несвободный и не уверенный в завтрашнем дне, не может себя эффективно реализовать, отчего проигрывает не только он, но и его единственно возможный работодатель – государство. А мы все укрепляем и развиваем наше неэффективное хозяйство, работа в котором и впрямь требует доблести и героизма. Но в нормальной жизни не должно быть места подвигу.

Пять лет назад было сказано о человеческом факторе, новом для нашей страны, привыкшей считать, что незаменимых нет. Но учесть человеческий фактор пытаются по-старому: здесь корень собственных неудач перестройки. О просчетах антиалкогольной кампании все вроде сказано. Но главное зло – не ошибки в подсчетах, а прежняя вера в приказы и запреты, которыми будто бы можно избавить людей от нарастающей при нашей невыносимой жизни потребности расслабиться, хотя бы и таким пагубным способом. Я понимаю, что государство не могло начать перестройку с того, чтобы на прибыль от водки строить плавательные бассейны, позволяющие прийти в себя, не разрушая собственное здоровье. Но догадаться, что борьба с алкоголизмом и даже

сталинизмом сталинскими методами идет на пользу только сталинизму, все-таки было возможно. И еще не поздно теперь.

Мы опять не соизмеряем цели и средства. Ленин уже в 1921-1922 годах сознавал свои заблуждения 1918 года, о чем мы долго не хотели вспоминать. Но о заблуждениях Ленина мы уже говорим открыто, а собственные признать не спешим. Кажется, что перестройка буксует лишь по вине сил ее тормозящих, а ей недостает сил движущих, которые на слово не верят. Сказывается и то, что демократические силы часто прекраснодушны и политически наивны.

Медлительность перемен объясняют нерешительностью Горбачева в проведении собственной инициативы. Между тем, перестроить наше хозяйство предлагал еще Косыгин, однако разумные идеи реформаторов преимущественно двигались по московским служебным коридорам, что и позволило их успешно раздавить на улицах Праги, а дальше ветру ничего не стоило вымести их и у нас. Горбачев вовлек в раздумья о переменах народ, и то, что зовут его «нерешительностью», как раз дало вскрыться разнообразию наших интересов и мнений, то есть, в конечном счете социальных и политических сил.

Прежде люди либо принимали политику КПСС, либо, поскольку это было уголовно наказуемо, отвергали ее втихомолку — героев, возражавших вслух, было, естественно, немного. Казалось, мы и впрямь делимся лишь на тех, кто «за», и тех, кто «против», — «настоящих советских людей» и «антисоветчиков». Сегодня обнажилась палитра социальных отношений, которую надлежит осознать, и то, что эту палитру можно разглядывать и обдумывать, а не действовать вслепую, — историческая заслуга Горбачева. Его так называемая «нерешительность» — способ прояснения реальности.

Сложнее как раз там, где он проявляет решительность, — поскольку, естественно, одним краскам открывшейся социальной палитры сочувствует, а другим — противостоит. Это еще раз проявилось в формировании Президентского совета. Наряду с известными политическими деятелями туда вошли ученые, и литераторы, и практики. Но если С.Шаталин или Ч.Айтматов стоят в центре нашего политического спектра, то В.Распутин или В.Ярин, конечно, представляют его фланг. А представителей противоположного фланга в Президентском совете нет. Указывать на это приходится

ся, понятно, не за тем, чтобы навязать нежеланных советников, но, чтобы взвесить, в какой мере этот институт считается с распространенными в народе стремлениями: не секрет, к примеру, что русский народ на свободных выборах отказал в доверии и так называемым «национально-патриотическим силам», и «объединенному фронту трудящихся». А в Президентском совете они представлены.

Эффективность и устойчивость демократической системы зависят прежде всего от соблюдения процедур ее функционирования. Но у нас и Верховный Совет, и даже Съезд народных депутатов, принимая законопроект к обсуждению, уже считают его как бы частью Конституции и при первом постатейном обсуждении для поправки к проекту требуют две трети голосов. В итоге формулировки, поддерживаемые большинством, отвергаются, а поддерживаемые меньшинством – входят в закон. Законы обретают юридическую силу, но уважение к власти падает. Строго соблюдать разумную и понятную гражданам процедуру необходимо ради сохранения целостности общества и полноценной активности всех его членов, какие бы противоречия их по тому или иному пункту ни разделяли. А на то, что у всех на глазах воля большинства оказывается ничего не значащей, люди отвечают пассивностью не только на очередных выборах, но и на работе.

Нынче многие сетуют на ослабление власти и даже на ее паралич. Но имеет место совсем другое... Хозяйственный кризис наглядно обозначил пределы доступного власти. У сегодняшней власти ничуть не меньше возможностей, чем у Сталина, отправить разговорившихся ученых на стройку очередного канала, но в отличие от Сталина она уже знает, чем за такое платит страна, и не помышляет идти на такое. Расплачиваться за успехи, достигнутые такой ценой, нам опять пришлось бы всем. Произвол плох не только тем, что противоречит идеалам и нарушает права человека, но и тем, что подрывает саморегуляцию общественной системы.

Увы, вместо того, чтобы искать компромиссы, все еще исходят из того, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, и предварительным условием переговоров выставляют безоговорочную капитуляцию. Есть силы, совершенно очевидно желающие «задавить» Литву. На словах они призывают литовцев остаться в СССР. Но своими действиями внушают обратное. Страх и безнадежность толкают к отчаянью, а оно к безоглядности. Спрашивают: что

будет с Литвой? А стоило бы додумать, что будет с Россией, если она вновь покорит Литву...

Воля к победе сверху донизу вытесняет стремление к компромиссу с рядовыми людьми: и беспартийными, и коммунистами. После избрания нового Ленсовета бюро обкома КПСС распорядилось общими прежде изданиями: богатую «Ленинградскую правду» взяло себе, а куда менее богатый «Вечерний Ленинград» уступило Ленсовету. Почему бы ленинградскому обкому сперва не обсудить раздел имущества с совладельцами, не говоря о подписчиках? И это – паралич власти?

Нередко из речей о параличе власти выступает привычка к всевластию. Исполнительная власть у нас поныне тотальная и ведает не только финансами, иностранными делами и армией или еще даже социальным обеспечением, здравоохранением и школой; она ведает и промышленностью, и сельским хозяйством, и наукой, и музеями, и библиотеками, и театрами, и печатью, и парикмахерскими, и всем вообще. А всевластие неизбежно ведет к анархии, поскольку обратная связь есть лишь при демократии. Пока химические заводы в Уфе принадлежат союзному правительству, наивно ожидать, что местный горсовет без всесоюзного скандала помешает им отравлять население. Это удастся, лишь если заводы в рамках закона будут самостоятельны – тогда местная власть сможет судебным порядком вынудить их соблюдать закон, а с правительством страны ей судиться трудно.

Перестройку тормозят не столько «плохие аппаратчики», сколько тотальный аппарат как таковой. В других странах куда больше людей, чем у нас, занято в «непроизводительной» сфере, но там их не считают нахлебниками. Там они не столько передают сверху вниз эстафету команд, сколько согласовывают взаимоотношения промышленных, культурных и прочих самостоятельных и независимых образований. Циклопическое правительство, командующее всем, и есть воплощение и опора административной системы, кто бы в него ни входил. Мало что изменит и передача тотальных функций от Союза республикам или даже областям и городам. Не многое изменится и от того, что тотальная власть и в самом деле перейдет от партийных органов к советским. Порочна сама по себе тотальность, подменяющая взаимность свободы единообразием неволи. Смысл перестройки в упразднении тотальной власти – лишь тогда административные отношения отступят перед воистину эконо-

мическими. А власть, наконец, проявит себя там, где, к сожалению, не играет у нас существенной роли, – она станет блюстительницей закона. Сокращение исполнительной власти, переход большинства ее нынешних функций непосредственно к гражданам и их добровольным объединениям, должны сопровождаться повышением роли власти судебной во всех внутренних отношениях.

Минувшая пятилетка подтвердила, что главная преграда на пути перестройки – тотальное всевластие, само по себе стреноживающее и не дающее продвинуться никому. Чтобы страна выжила, с тотальностью надо расстаться. Но этого, видимо, придется ждать уже от следующей пятилетки.

ЛИМИТ ВРЕМЕНИ ИСЧЕРПАН

Прервав отпуск, Горбачев сразу погрузился в обсуждение долгожданных реформ. По телевизору он сказал: «Лимит времени исчерпан» — и это чистая правда. Стоит лишь вспомнить, как мы время провели. Оно ушло на временные решения, призванные помочь обреченному продержаться. Хозяйственный механизм не обретал ни новых участников, ни новых стимулов.

Споры о реформе обременяет общая уверенность, что реформа и даже революция происходят по воле вождя, или партии, или народа. А они между тем плоды долгого подспудного хода вещей, который мы вольны лишь подтолкнуть к тому или иному руслу, но не остановить и не заменить. Советскому человеку, отравленному культом воли и власти, свято верующему, что все наладится, если всех расстрелять, горько убеждаться, что власть объективной реальности выше и самой могучей государственной власти.

Каторжники принципов

Правительство сегодня жаждет повысить цены и налоги, чтобы свести концы с концами, словно не оно само выбросило и продолжает бросать в обращение неумную массу денег. Оно сулит вернуть скудный достаток брежневских дней, оплаченный нефтяными долларами, словно не ориентация на сырьевой экспорт обнажила бесплодность нашего хозяйствования. Правительству кажется, что, стоит обратиться к людям до нитки, и они опять безгласно побегут старательно трудиться на прежних условиях. Начав с экспроприации экспроприаторов, тотальная хозяйственная машина не может остановиться и повседневно экспроприрует трудящихся. Дело тут не в недостатке компетентности, а в принципах. Наш образованный и сообразительный министр финансов отлично знает, у кого что взять. Он только не хочет знать, что при хищнических налогах и ценах честный труд теряет смысл. О фундаментальных знаниях Леонида Абалкина и говорить нечего, да только он пользуется ими, не беря в расчет живых людей, без доброй воли и активности которых современное хозяйство невыносимо. Каторжная эксплуатация трудящихся государством как бы и не эксплуатация вовсе, и это тоже никак не по невежеству, а из убеждения. Команда Шаталина вроде бы (мы недостаточно знаем ее про-

ект) старается вырваться из рамок привычного, но коня и трепетную лань впрягают в одну телегу. Или не впрягают?

Говорят, что враз перейти к рыночному хозяйству нельзя, что надо сперва стабилизировать положение. Однако переходить к рыночному хозяйству потому и приходится, что иначе положение не стабилизировать. Вот и надо отказаться от привычных понятий о стабильности как единственно о повиновении властям.

К рынку враз не перейти не потому, что страна разорена, а потому, что она все еще в руках тотальной хозяйственной машины, сросшейся с партийно-государственной властью. Предварительная стадия и впрямь нужна, но лишь затем, чтобы отделить хозяйство от государства.

Толкучка у входа на рынок

Государственную собственность обещают обратить в акционерную, удержав, правда, контрольный пакет, но частично и прямо распродать, — даже, если захотим, нам самим. А ведь государственное, если верить тому, что столько лет внушали, — это и без выкупа наше, общее! Выходит, опять, нас не спрашивая, наше имущество продают, то есть нас опять экспроприируют. А раз даже в ходе приватизации экспроприация продолжается, недоверие растет. Признав несостоятельность государственного способа хозяйствования, надо воротить государственную собственность конституционным владельцам, то есть всем нам. Можно ее поделить поровну, можно учесть дополнительные обстоятельства — главное, чтобы реформа не стала для одних способом «первоначального накопления», а для других — окончательного обнищания. В соответствии со стоимостью доли отдельного человека в нашем общем государстве советские граждане охотно бы принимали желаемое — кто акции, если государство откажется от контрольного пакета, кто землю, кто персональный компьютер, кто дом для жилья, кто помещение для работы, кто страховку на черный день. И хотя, конечно, такая реальная приватизация пойдет и за наличные деньги, государственное имущество не сосредоточится в руках уцелевших рашидовых и медуновых, а позволит всем нам стать полноправными участниками экономической жизни и, в частности, даст каждому некоторую социальную гарантию.

Для стабилизации надлежит сбалансировать стоимость приобретений и затрат, но это невозможно, пока правительство в праве вести хозяйство, не зарабатывая в честном со-

ревновании, а постоянно экспроприруя да еще само и деньги печатая. В тотальном хозяйстве оценка целесообразности затрат отчуждена от граждан, вот мы и живем не по средствам, помогаем тем, кто богаче нас, выбрасываем на ветер миллиарды – и даже не по идеологическим догмам, что тоже было бы нелепо, а сплошь и рядом вооружая тех, кто как раз расстреливает своих коммунистов. В Афганистан мы влезли не просто в силу личных недостатков Леонида Ильича, а потому что сама возможность затрат, не проверяемых на эффективность, причащает не стоять за ценой, и от этого даже здравые поначалу люди шалеют. Само собой, государственная власть не должна безучастно созерцать упадок хозяйства, но ее дело — экономическими методами его корректировать, а не внеэкономически им дирижировать. Без решительного отказа от внеэкономического управления реальных перемен нам не видать. Затем и нужно рыночное хозяйство, чтобы признать объективный ход вещей, их всамделишную стоимость.

Многолетнее централизованное игнорирование реальности привело к национальным распрям, к тому, что ныне именуют сепаратизмом. Но свыше опять атакуют симптом, замалчивая болезнь. Между тем недавно Чехословакия, Венгрия, Югославия, Италия и Австрия образовали экономическое сообщество. Оно, как видим, охватывает земли давно распавшейся Австро-Венгерской империи, от которой Италия освободилась более 100 лет назад, а остальные – более 70. Империю именовали лоскутной, но, оказывается, экономические интересы вопреки пертурбациям века поныне толкают входивших в нее друг к другу. Части нашей империи экономически связаны еще крепче, и то, что ныне именуют сепаратизмом, — протест против притязаний центра на внеэкономическую деформацию этих связей. Глава правительства любит рассуждать о странности того, что у нас норовят разделяться, когда развитые страны объединяются. А ведь стремление республик к суверенитету вызвано именно желанием соединиться подобно развитым странам, то есть, свободно, добровольно, а не по распоряжению свыше. Различия между браком по любви или даже по расчету и насильственной случкой ощутимо сказываются на общественной жизни. Наши экономические реформы упираются в социальные процессы, оставляемые вне поля зрения.

Между тем каждый труженик одновременно и покупатель, и, пусть опосредованно, продавец. Эти две его ипоста-

си способен уравновесить лишь рынок. Произвольные экспроприации деформируют стоимостные эквиваленты. Баланс, а с ним и цены, как его выражение, не могут быть установлены раз и навсегда, их смысл в подвижности, обнажающей состояние хозяйства, его удачные и уязвимые участки, и автоматически побуждающей корректировать последние. Рынок поэтому не может свестись к рынку товаров, он должен непременно быть и рынком капитала, и рынком рабочей силы, что мы признаем с большим скрипом.

Плюрализм как производственная необходимость

Современному рынку и этого мало. Ему надлежит стать еще рынком идей, которые, в свою очередь, обращаются в предмет собственности. Нам такое вообще непонятно. Мы веруем, что любая высказанная мысль — всеобщее достояние, и легко присваиваем чужое, не сознавая контекста, в котором оно справедливо и эффективно.

Привычное нам деление общества на эксплуататоров и эксплуатируемых, помещиков и крепостных, капиталистов и пролетариев, аппаратчиков и рабочих, недостаточно для понимания современной жизни. Дело не только в том, что оно несводимо к классовой борьбе, отнюдь, впрочем, не исчезающей, а пронизано одновременным классовым сотрудничеством. Технологизированное общество вообще стало сложнее. В силу побуждаемой научно-техническим развитием непрерывной трансформации социальных структур современный человек сплошь и рядом разом принадлежит к разным социальным слоям, его положение противоречиво и подвижно. Часто лишь рынок в конечном счете выясняет реальную стоимость того, что человек делает. Отсюда — немислимая прежде значимость социальных гарантий, не черпывающихся поддержкой безработных, расходами на медицину, образование и тому подобное. Именно рыночному обществу, считающему реальности, а не фантомы, удастся разумно субсидировать деятельность, в обозримом будущем вообще не окупающуюся, однако общественно необходимую, ибо отказ от дублирующих путей развития, самоограничение предпочтенным, может оказаться роковым. Плюрализм — давно уже не абстракция свободы, а производственная необходимость и способ сотрудничества противостоящих, но нуждающихся друг в друге частей общества. А мы потому и попадаем зачастую впросак, что идем,

хоть то и дело меняющимся, но всегда единственно правильным путем.

Упрямство власти

Нынешний кризис обострил интерес к былым. Разгораются споры, надо ли было в Октябре совершать революцию. Одни вопреки всему еще рисуют Ленина святым, другие ополчаются на памятники. И те, и эти, однако, забыли, что революция не зависела от чьих бы то ни было замыслов и желаний. Ее красный конь был вскормлен столетним упрямством власти. Даже после 1905 года царь разогнал первую Думу с ее радикально-буржуазными проектами аграрных реформ и согласился лишь, да и то нехотя, на предложения Столыпина. Временное правительство восемь месяцев медлило, когда земля уже горела под ногами красного коня. На него мог сесть и Борис Савинков, и генерал Корнилов. и неведомо кто, — конь бы все равно понес. Точнее других ощутить социальную почву, Ленин вскочил в седло. И как ни судить о его дальнейших действиях и их последствиях, революция была не заговором, а революцией, не Ленин ее создал, а она, если угодно, Ленина, то есть, была следствием предшествующей и лишь в силу этого причиной последующей истории.

Нынешняя ситуация при всех отличиях сильно смахивает на тогдашнюю. Конь перемен давно бьет копытом. И лучше осуществить эти перемены миром, чем прийти к ним или, напротив, опять помешать им, железом и кровью. В обоих случаях, хоть и по-разному, это сулит стране лишь дальнейшее отставание и обнищание. Поэтому не надо соединять проекты Абалкина и Шаталина и другие, быть может, имеющиеся, а лучше, четко их изложив, вынести на компетентный суд общества. Сознательный общественный выбор, если, понятно, с ним посчитаются, только и станет залогом подлинной стабилизации.

ИМЕНА И РЕАЛЬНОСТИ

Русский и русскоязычный

Давно сказано: определите значения слов, и вы избавите мир от половины заблуждений. Но заблуждений все больше, и не в последнюю очередь потому, что определить значения слов нелегко. Сами эти значения не стоят на месте, а смещаются, плывут, и всякий понимает их по-своему. Ухватить реальность словами не просто и при лучших намерениях. А в смутные времена, как наше, немало охотников прятать реальность за неточными словами.

Когда профессор Гулыга учит, что называть православного священнослужителя «святой отец» неграмотно, не стоит сетовать, что профессор не ощущает иронии, — чувство юмора не обязательно для получения профессорского звания. Не будем напирать и на то, что без всякой иронии «святыми отцами» называют православных священнослужителей герои Пушкина — и царь Борис, и князь Шуйский, и летописец Пимен. Ну, запомятовал профессор, Пушкина читал давно, а в словарь языка Пушкина, где прямо сказано, что слово «святой» «употребляется при почтительном обращении или упоминании лиц из духовенства», не было ему нужды в пылу страсти заглядывать. Вот он и приписал мне, грешному, нововведение, издавна существующее в русском языке. Говорю это, однако, не затем, чтобы по принципу «сам дурак» обвинить профессора в неграмотности. Не в ней тут главная беда.

Профессор поучает меня от имени ортодоксального христианства, но дышит в его речах не столько христианство, сколько ортодоксальность как таковая, лишь надевшая поверх партийной «сталинки» рясу. Ортодоксальность, привычка к мышлению по схеме, и побуждает профессора уверять, что делить литературу на русскую и русскоязычную — то же самое, что делить на немецкую и германо-язычную. А ведь германистика — его профессия, и он наверняка знает, что в отличие от России, единство которой, даже если исчислять с Василия III, завершившего объединение русских земель, длится чуть не полтысячелетия, немецкое национальное государство, объединяющее все немецкоязычные земли, так никогда и не сложилось. Чтобы счесть таковым Священную Римскую империю германской нации, понадобится немало натяжек, а, главное, ее фактический распад намного опередил расцвет новых литератур на немецком

языке, судьбы которых уже поэтому не могли не оказаться разными. Швейцарцы или австрийцы с таким же правом отрицают свою принадлежность к литературе собственно немецкой, как американцы или австралийцы — к английской. Вот если советские переселенцы в Израиль или в Германию в следующих поколениях сохранят русский язык и возникнет израильская или германская литература на русском языке, правомерно будет называть ее, в отличие даже от тамошней эмигрантской, русскоязычной, а не русской. Но никому, кроме фашистов, еще не приходило в голову утверждать, что в отличие от шваба Фридриха Шиллера или пруссака Иоганнеса Бехера евреи Генрих Гейне или Лион Фейхтвангер принадлежат не к немецкой, а лишь к германоязычной литературе. Делить литературу, рождающуюся не только на одном языке, но в одной стране, в одном городе, часто в одном и том же издательстве или журнале, на русскую и русскоязычную — нечто принципиально иное, чем отмечать различия, обусловленные традициями и историческими судьбами их стран, между, скажем, Генрихом Бёллем и Фридрихом Дюрренматтом. Профессор Гулыга это знает не хуже меня, но говорит противоположное. Вот и не стоит сводить проблему к ляпсусам — она в установке на безответственность, иррациональность, свободу от реальности.

Можно, оказывается, из рассказа о том, что кто-то за моей спиной крикнул: «Русский ушел, можно разговаривать!», то есть по внешности не счел за русского меня, сделать вывод, что «с русскими он (то есть я сам! — П. К.) себя не идентифицирует» и приписать мне неприязнь к России! Начав с того, что до меня на проблему русофобства «намекали, говорили обиняками, а тут разговор начистоту», профессор Гулыга удивительным образом умалчивает, что я-то выступаю против русофобства и прямо говорю, что его распространение было бы ужасно! Вот как интересно вышло: первое, по словам самого Гулыги, открытое выступление против русофобства он объявил проявлением русофобства и неприязни России!

«Нет ни еллина, ни иудея...»

Моя неприязнь к русофобству вызвана убеждением, что в русском народе есть не один великодержавно-шовинистский, бьющий сегодня в нос дух, но и совсем другой, исторически даже более ему свойственный, связанный как раз с христианством, космополитический. На полученное

мною не так давно письмо, извещавшее, что «жидам не место в России», и грозящее изготовить из моей «вонючей шкуры прекрасный абажур», отвечать ненавистью ко всем русским так же нелепо, как на гибель моей бабушки в Бабьем Яру отвечать ненавистью ко всем немцам, ибо не было и нет единой русской, как и единой немецкой или единой еврейской, единой английской идеологии. Но то-то и оно, что для профессора Гулыги таковая есть, этническое для нашего философа неразрывно с идеологическим, и вопреки элементарным понятиям христианства его новоявленный защитник провозглашает православие русской верой, то есть рассуждает хоть о совсем других, конечно, вещах, но совершенно по той же логике, что и подписавший угрожавшее мне письмо от имени всего народа — «Русские».

Не входя здесь в собственно религиозную несообразность провозглашения православия русской и, вообще, христианства — национальной верой, тем более что об этом со знанием дела в «КО» уже писала О. Газизова, нельзя миновать научно- историческую несообразность такого заявления. Испытывая несомненные национальные и социальные воздействия всюду, где оно распространялось, что сыграло свою роль в разделениях и расколах, христианство оставалось во всех этих превращениях христианством лишь в той мере, в какой не обращалось в национальную религию, но оставалось мировой, вселенской.

Даже до революции, когда в документах отмечалась не национальная принадлежность, а исповедание, отнюдь не каждый православный считался русским, — он бывал и грузином, и румыном, и даже арабом, равно как католик бывал и французом, и итальянцем, и литвином. Это иудея, независимо от этнического или расового происхождения, не только до, но и после революции, одинаково объявляли «лицом еврейской национальности». Даже в самых патриотических порывах христианство не национальные особенности обожествляло, но, напротив, воспринимало родной край воплощением Святой земли, и рядом с Москвой был выстроен Новый Иерусалим, так именно и названный, да и самих себя люди воспринимали продолжением тех, кому некогда явился Иисус, и самыми распространенными на Руси оказались еврейские имена Иван да Марья. Нет, не вера была русской, а русские **приняли** эту веру тысячу лет назад, — вроде бы азбучный факт, недавно возобновленный открытыми празд-

нствами по этому поводу и профессору явно известный! Ан нет, и знает, а говорит наоборот!

Апостол Павел пишет колоссянам: «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного; но все и во всем Христос». А профессор Гулыга в словах «нет ни Еллина, ни Иудея» видит лишь возможность отказаться от своей языческой или иудейской веры и принять русскую. Но апостол не о том, и нигде в писании не сказано, что, став христианином, человек также перестает быть рабом или свободным или, тем более, обрезанным или необрезанным. Все эти земные различия, и национальные в том числе, никуда не деваются, но они, по апостолу Павлу, ничто для христианина, их нет перед лицом единения людей во Христе. Можно, уверовав, войти в это единение, можно, оставаясь свободомыслящим, оценить влияние мысли о всечеловеческой общности на дальнейшую жизнь, не только религиозную, можно в конце концов не оценить и даже не знать о ней. Но гоже ли объявлять православие национальной верой как раз там, где в писании речь о том, чтобы подняться над национальными и социальными различиями к общечеловеческим ценностям?

Национальный состав злодеев

Справедливости ради, надо сказать, что среди авторов «Нашего современника» профессор Гулыга, допускающий возможность сменить веру, выглядит либералом. А он ведь еще и графу «национальность» в анкетах предлагает... ну, конечно, не упразднить, но заполнять по усмотрению каждого. И даже восклицает: «Добро пожаловать в любую нацию, милости просим — в русскую, кто решился разделить ее многострадальную судьбу». И весь либерализм от этой оговорки рушится! Неужто с моей стороны было бы подвигом, а не подлостью ловкача, сменить свою судьбу на Гулыгину? И разве тяжкая судьба нерусских народов России легче тяжелой судьбы русского? Профессор утверждает, что легче: «Хуже русских никто в нашей стране не живет!». Ну, как же все-таки никто? Разве и крымским татарам лучше? И немцам Поволжья? И узбекам? И армянам? И народам Севера?

И что в этом контексте означает призыв профессора к инородцам: «Не пытайтесь нами командовать, не навязывайте нам чуждые стереотипы поведения, не оплевывайте нашу культуру, не переиначивайте нашу историю!». Да неужто главный грех, коли все это грех, тут на инородцах? Сла-

ва богу, как православный и германист, профессор не осуждает ни Владимира Святого, тысячу лет назад навязавшего русскому народу чуждые ему тогда стереотипы, ни Петра Великого, зазывавшего в Россию немцев. Меня такая беспринципность радует. Но под лозунгом «не навязывайте нам чуждые стереотипы» нынче есть уже не могущие поступиться принципами охотники и Крещение Руси осудить: все-таки Спаситель — из жидов, а Богородица и вовсе жидовка, — и Петру Алексеевичу не оставить никаких заслуг!

И кто у нас всем командовал совсем еще недавно? Разве не русские люди Брежнев с Суловым? И кто назвал русскую нацию нацией рабов? Разве не русский человек, да еще попович? И разве в «Нашем современнике» забыли, что главным переиначивателем истории там всегда считали М. Н. Покровского — опять же русский человек! Но, всерьез говоря, в чем смысл непрременной грани между участниками российской жизни, в которой, если честно считать, национальный состав злодеев не слишком отличается от национального состава праведников? Не иначе как в том, чтобы, валя зло на инородцев, их сегодня попридержать! А то зачем бы делить сограждан на русских, которым якобы хуже всех, и нерусских, которые командуют, навязывают, оплевывают и переиначивают?

Не один профессор Гулыга занят такой сепарацией. Есть и еще более старательные. К бывшему члену Политбюро А. Яковлеву в родную деревню на Ярославщину приезжали даже проверять, впрямь ли он оттуда, впрямь ли деревенский, а то ведь держали за еврея. Слава богу, разобрались, и сам В. Тюлькин, объявивший носителями зла тех, кто не может чисто выговорить слово «российский», такого упрека Александру Николаевичу на съезде не бросил.

«Без меня народ неполный»

В этой атмосфере особо примечательно выступление В. Бондаренко, теоретически фундирующего в «Московском литераторе» № 15 свой прежний приговор: «Не лезьте в душу чуждого для вас народа!». Бондаренко уверяет, что те, кто «раздували миф о могуществе полумифической "Памяти", а сегодня раздувают более страшный миф о русском фашизме», его, Владимира Бондаренко, «причислили к фашистам» облыжно, поскольку его слова о чуждом народе относились прежде всего к А. Синявскому, а «кровь у Синявского такая же, как у меня, — славянская!». И подчеркивает,

что лично ему до содержания крови никогда не было дела. Лично я готов последнему поверить. Но Бондаренко напрасно думает, что это снимает с него ответственность за страшную фразу «Не лезьте в душу чуждого для вас народа!».

Как-то стало забываться, что фашисты преследуют евреев, цыган и вообще «чужих» не затем, чтобы действительно создать биологически однородную нацию, что практически и невыполнимо. Ратуя за биологическую однородность, они стремятся к идеологической, к предельной покорности народа, над которым хотят господствовать, то есть прежде всего своего народа, а на примере расправ с иностранцами и самим азартом этих расправ демонстрируют, что ждет непокорных, неоднородных. Еврей на роль этой показательной жертвы подходит больше всех. Живет на той же улице, давно ассимилирован, язык коренного населения и для него родной, работает и развлекается тут же и так же, даже русскую водку пьет, и все же его всегда опознают, да он преимущественно и не прячется. Моя жена и дети — светлые, но я — черный, с горбатым носом и еще картавлю, то есть не могу чисто выговорить слово «русский», как, впрочем, и слово «еврейский», и невольно их выдаю. То и дело бросаемое мне: «Убирайся в свой поганый Израиль!» коснется их из-за меня, даже если пятый пункт не то что станут заполнять по Гулыге, но и вовсе отменят.

Лишь немногие борцы за национальную однородность не стали жертвами собственной пропаганды и спешат построить свой народ в железные когорты, не размениваясь на евреев, и шагать напрямиком к заветной цели. Даже либеральному Гулыге не удалось, и Бондаренко — редкое исключение. Он вроде и не замечает, что фашизм, хоть и весь пронизан юдофобством, к нему не сводим. На первых порах среди национал-патриотов даже попадаются евреи, надеющиеся, что их это спасет, — так было в свое время в Италии, есть такое и у нас. Тщетность подобных надежд проявляется по мере созревания фашизма.

Бондаренко открещивается от обвинений в фашизме, ссылаясь на то, что от русского народа он отлучает не еврея, а русского, православного человека. Но по какому праву он совершает отлучение? Брежнев считал, что право лишать других гражданства ему дала должность. Бондаренко присваивает это право «неформально», поскольку осуществить его на деле покамест, слава богу, не властен. Между

тем у Андрея Платонова герой говорил жене: «Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет. А без меня народ неполный». Вот чего никак не возьмут в толк ни Бондаренко, ни Гулыга, ни их вовсе закусившие удила единомышленники! «Без меня народ неполный!» Вот и без Синявского, которого отнюдь не обязательно любить, народ неполный, и без многих, кто убит, кто изгнан, кому заткнут рот, народ неполный! А вы все норовите провести очередную чистку, то ли по взглядам, то ли по крови опять установить, кто настоящий русский, а русских — сто пятьдесят миллионов, не считая россиян инородного происхождения, и без каждого народ неполный. И без Горбачева, и без Полозкова, и без Ельцина, и без Сахарова, и без Солженицына, и еще не счесть, без скольких. Потому Россия и совмещает в себе несовместимое, а ее то и дело стригут на один лад, твердя, что наконец-то ножницы верные и фасон подходящий. Но важна не так разница между прическами, как то, что стригут весь народ под одну гребенку, то монархическую, то большевистскую, то национал- патриотическую, то еще какую придумают. И ссылка Бондаренко на то, что он-то объявил чуждым России русского, как раз и есть самый убийственный, а во все не оправдательный для него довод, ибо тот, кто отказывает людям в праве быть разными, тот и есть фашист.

«Наш современник», «Московский литератор» и другие издания этого ряда помогли мне рационально понять то, что долгие годы живет во мне бессознательно. Я понял, почему вопреки всем разумным доводам не уехал. Когда перебираешь все, что пришлось перетерпеть мне, моим родителям, кажется, что это просто глупость. Но для меня уступить нарастающему фашистскому давлению означало согласиться, что моя родина — страна одних Бондаренок и Гулыг, чего я не думаю, ужасаясь тому, что они берут верх.

Обличая, заодно с Синявским, Юнну Мориц, Бондаренко ее цитирует: «Ни один современный писатель не может жить там, где его не печатают», и делает вывод: «Получается, по Мориц, что родина там, где печатают». Логика хромает. На деле получается, что, если на родине не печатают, приходится жить на чужбине. Но я даже до этого не дошел. И не печатают, и на работу не берут, и на улице оскорбляют, и письма с угрозами шлют, я терплю; авось угрозы — тоже

метод давления, не убьют же в самом деле¹ Но полную . гарантию, как известно, дает лишь страховой полис. В Сумгаите убивали, и в Душанбе, и в Оше. А евреев-то убили в нашем веке более шести миллионов, и возникла чуткость на сигналы. Вот люди и бегут, пока есть возможность.

Бондаренко цитирует Солженицына: «Эмиграция — это всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам, — и не будем выставлять это подвигом...». О подвиге и говорить нечего. В одно только Бондаренко не вдумался, — видимо, оттого, что для него это чужая забота, а для Солженицына была своя. Говоря о слабости, писатель не забыл о насильнике. Свою слабость можно одолеваять, пока насильник свою силу не вполне обозначил, а как обозначил — и сам Александр Исаевич оказался за границей, а там и жена с детьми за ним последовали, и правильно сделали, не то было бы ему совсем плохо. Троцкий, говорят, когда его также выдворяли, отказался сойти на турецкий берег с борта советского корабля, и храбрые матросы его на руках вынесли. Солженицын демонстраций не устраивал, сам шел к самолету, сам выходил. Понимал, где сила. Вот и отъезжающие евреи понимают. Им это много лет объясняли — и борьбой с космополитами, и делом врачей, и по-всякому. Да и нынче, стремясь умерить так называемую «утечку умов», хоть у нас умы, даже и не еврейские, пропадают без толку, публикуют жалкую статью С. Рогова, где, выдавив из себя, что «ряд литературных изданий в последние месяцы открыто ассоциируется с антисемитскими позициями», не хотят эти издания назвать! Не хотят обижать редколлегию, в которой и член Президентского совета, и член ЦК КПСС, и другие почтенные лица.

«Привилегия» любить

Нет, эмиграция не подвиг и не благодать, а бедствие. Просто бывают бедствия еще горшие — не одна Треблинка, не одни Тайшет и Колыма, но и повседневный страх перед расправой, который и поднял уже не сотни, а сотни тысяч.

¹ Пока статья находилась в редакции, вслед за угрозами стали на деле убивать. Первая жертва политического терроризма — проповедовавший христианство как вселенскую, а не исключительно русскую веру, священник Александр Мень. Такое направление церковной деятельности кому-то оказалось неуютно, и подлое убийство открыло новый, иной, чем даже обозначенный мегафоном в Союзе писателей, период жизни страны. Скорбь не должна мешать сознать это.

Бондаренко уверяет, что «Память» — это миф. Сколько реальностей провозглашено у нас мифами — миф о насильственной коллективизации, миф о сталинских застенках, миф о Катыни, миф о тайных соглашениях с Гитлером, миф о советском антисемитизме — и сколько других! Бондаренко уверяет, что исход евреев из России идет по вине «Московских новостей» да «Огонька», рассказавших раза три о митингах и лидерах «Памяти», словно никто не читает «Наш современник», и «Молодую гвардию», и «Москву», и другие журналы и газеты, каждый номер которых сеет страх.

Еще повторяют: «Россия без любого из нас обойдется, но нам без нее не обойтись». Что говорить, вечная разлука с родиной — тяжкое испытание. Прочтите «Машеньку» Набокова, самого независимого из бесчисленных российских эмигрантов за все века, и боль перехода к другой жизни, навсегда отрезающего все, что дорого сердцу, уже не отпустит. Судьба беженцев наглядна и внутри одной страны. Давно сказано: «попыню пахнет хлеб чужой». Но так ли хорошо обойдется Россия? Так ли хорошо обошлась она без Набокова и Бунина, без Чайнова и Вавилова и тысяч, миллионов, десятков миллионов других, которых запросто вынуждала бежать и сама изгоняла, вымаривала голодом, пристреливала, запирала в лагерные бараки, отправляла в Афганистан? Мы-то по праву рождения зовем родину матерью, но наша родина не дорожит своими детьми. Ее неисчислимы бедствия подобны бедам матери, раскидавшей детей и вопреки естественному родительскому чувству (сперва дети, а потом я) требовавшей, чтобы они жертвовали для нее всем, даже обликом человеческим.

В. Бондаренко сетует, что с ним не хотят «свободно полемизировать на самые острые литературные и политические темы». Но, помилуй бог, сам же заявил: «Не лезьте в душу чуждого для вас народа!». Полемика между западниками и славянофилами была возможна потому, что при самых резких расхождениях оставалось сознание нечуждости, общности любви. Ни Ивану Киреевскому, ни Хомякову не приходило в голову выступать монополистами любви к России, отлучать от нее инакомыслящих, а Герцену тем более. Нынче же право на любовь обратилось в привилегию, — дает ли такую привилегию принадлежность к высшей расе или лучшему сословию, дворянству или рабочему классу, — ею наперед уничтожается возможность демократического спора, остается место лишь для борьбы или гражданской вой-

ны, которую как раз В. Бондаренко и его единомышленники и разжигают. А надобно бы в самом деле спорить, не замалчивая и малейших разногласий, ведь только в спорах рождается истина. Но чтобы спорить, надо сперва признать, что и без оппонента — народ неполный.

Ненужный президент

Мне вот приходится спорить с академиком В. Гинзбургом, который в № 30 «КО» пишет, что моя квалификация его статьи в «Известиях» является «в лучшем случае недоразумением». Увы, его политическая декларация, опубликованная в правительственной газете, вызывает отнюдь не частные возражения, и странно, что, обозначив свою позицию столь отчетливо, академик мог думать, что статья прошла незамеченной. Я потому и не указал, где она напечатана, что было бы обязательным, не привлеки она всеобщее внимание или появившись, скажем, в «Успехах физических наук».

В. Гинзбург пишет: «Если П. Карп считает, что Президента на съезде избирать было не нужно, то так бы и сообщил». Но если бы академик прочел не только те три абзаца, где он поминается, а всю статью, с которой полемизирует, он убедился бы, что П. Карп «сообщил», что Президента, на его взгляд, избирать не нужно не только на съезде, но что, вообще, нашей стране президентская форма правления не подходит, что она мешает преобразованиям, начатым в 1985 году М. Горбачевым, который, кстати, не зря долго уклонялся от учреждения президентского поста. В. Гинзбург, разумеется, вправе думать иначе, но в «КО» он только досадует, что решение об избрании Президента съездом прошло большинством лишь в 45 голосов, доказательств своей правоты опять не дает, но настаивает: «Я выступал не за "единомыслие" или "одобрительный хор", а за политическую зрелость и мудрость». Опять знакомый метод полемики: бездоказательно объявить свою позицию мудрой, требуя, чтобы все ее поддержали, — перевеса в 45 голосов мало! Но что в этой позиции мудрого? Наперед было ясно, что на Президента взвалит ответственность за неразрешенность проблем, которые и невозможно решить указами, а это подорвет надежду на разумные реформы и помешает формированию лево-демократического центра, только и способного поддержать трудные преобразования.

Наши ответственные лица не сознают взаимообусловленности экономических и политических структур. Они ве-

рят, что с разрешением экономических проблем, с чем тоже не торопятся, решатся и национальные. Но продовольственные трудности в мусульманских районах не уменьшатся, сколько свинины туда ни завози. Чтобы разрешить экономические проблемы, надо осознать национальные противоречия, в которых гипертрофия центральной власти наиболее наглядна. А еще больше усилив централизацию, привязав Президента к пятнадцати, если не больше, рвущимся вразброд лошадям, дело не поправить.

Президент может возглавлять единую издавна Францию или Соединенные Штаты, хоть и многонациональные, но наново и вразброс заселенные, а не соединившие исторически устойчивые национальные образования. Чтобы сохранить наше содружество, надо обратить страну из унитарной в союзную, а точнее в союз стран. В Германии, населенной, хоть и единым, но трудно создававшим единое государство народом, защите целостности успешно служит федеративное устройство, считающееся с различиями между Баварией, рейнскими землями и Шлезвиг-Голштинией. Тем более в содружестве разнонациональных государств наличие единого сильного главы будет восприниматься как ущемление их самостоятельности, и даже разумные решения центра, принятые без предварительного демократического согласия, будут выглядеть неубедительно.

В.Гинзбург пишет, что отношение к избранию Президента — «это важный вопрос той или иной оценки действий демократов». С этим я целиком согласен. Но только надо сперва определить, можно ли считать демократами тех, кто стоит за усиление центральной, наднациональной и даже авторитарной власти, за учреждение должности главы государства без всенародного референдума и за избрание на эту должность без всенародного голосования? Все у нас нынче демократы, гуманисты, защитники прав человека, но, к сожалению, все менее ясно, что эти наименования на деле нынче означают. Демократия — это власть народа, то есть власть, для осуществления которой все граждане на равных правах регулярно избирают своих сменяемых представителей. Никакой другой порядок, движимый даже самыми лучшими побуждениями и утверждаемый от имени народа и ради его блага, демократическим не явится. Тут нужна полная ясность.

Демократия без демократии

Мы справедливо браним Сталина за античеловечный режим, а Сталин, возможно, верил, что трудился для народа. Мы открыто говорим и об ответственности Ленина за гигантские гекатомбы, а Ленин-то уж наверняка искренне верил, что все это для народного счастья. Наши беды сегодня норовят объяснить тем, что они, дескать, злодеи. Но исследователям еще надлежит разобраться, как и почему не только Ленин или Сталин, но и миллионы, шедшие за ними, сочли, что массовые убийства приведут к всеобщему благоденствию, а многие так думают по сей день! Однако придется также объяснить, почему Ленин, а потом и Сталин победили.

Нынче никто не хочет признавать, что произошло это потому, что демократические силы в России и после отмены крепостного права всерьез не сформировались, и многие достойные люди, всей душой ратая за демократию, часто способствовали утверждению антидемократических начал, поддерживали царскую власть, с народом не считавшуюся. Временное правительство, проведя у власти восемь месяцев, не сделало элементарных шагов для укрепления демократии, не провело выборы в Учредительное собрание и обусловленную ими земельную реформу. Вот и провел то и другое Ленин, получив тем самым возможность разогнать Учредительное собрание и ввести продразверстку.

Беспомощность российской демократии, ее склонность искать авторитарные опоры и медлительность в проведении реформ, способных открыть людям путь к самостоятельности и свободному труду, различима и в наши дни, хоть всюду, где выборы были воистину свободны, народ показал, что хочет перемен. Но создание должности Президента, не говоря даже о блокаде Литвы и подобном, дало покамест лишь проект Н. Рыжкова — Л. Абалкина, ничего, кроме всенародного возмущения, не вызвавший. Это мудрость? Это демократия?

Выступая недавно по телевидению с новым обличением А. Синявского, член-корреспондент АН СССР И. Шафаревич сказал, что возражавшее ему в этой связи письмо покойного Ю. Даниэля было опубликовано «в левой французской газете "Монд"». «Монд», по общему суждению, отражающая интересы крупной буржуазии, газета отнюдь не левая, а типично центристская. Левая «Монд» звучит примерно, как диссидентская «Правда». Но понятия «левый» и «правый» зави-

сят от точки отсчета, и, если за норму, за центр, счесть фашистское движение Ле Пена, «Монд» и впрямь левая.

Конечно, называя «Монд» левой, И. Шафаревич демонстрирует, что элементарная буржуазная демократия для него чрезмерно радикальна. Однако и В. Гинзбург, считая себя демократом, выступает за утверждение президентской должности и выборы Президента в обход народа и без альтернативных кандидатов. А казалось бы, между политическими взглядами двух именитых ученых — пропасть. Менее всего я, понятно, собираюсь утверждать, что позиции и стремления И. Шафаревича и В. Гинзбурга идентичны. Но, чтобы уразуметь, откуда все же столь странные сближения, надо видеть сходство их методов мышления об обществе, технологических по своей природе. Технологизм, идущий от веры во всемогущество власти, присущ не им одним, а многим разным нашим политикам, депутатам, публицистам, подчас яростно спорящим меж собой о том, кому стоять у власти и кого этой власти казнить, кого миловать.

Но и у самой сильной власти, даже сталинской, не стоящей за ценой, есть пределы созидательных возможностей (ломать, конечно, можно беспредельно), обусловленные характером общественных отношений. Нежелание с этим считаться — едва ли не главная черта нашей жизни. Прекрасный урожай стал у нас национальным бедствием, и его убирают медленнее и хуже, чем более скромный. Объясняют, что мало комбайнов — при том, что по комбайнам мы впереди планеты всей, мало машин, мало людей — при том, что более четверти их живет в деревне, а в США — 4%. Сердце разрывается, когда видишь эти горы зерна, обреченного сгнить. Премьер-министр с искренней слезой в голосе просит народ помочь, вот ведь какая незадача — хлеб уродился! И ни единого слова о том, где корень этого безумия!

А я еще помню, что у каждого в деревне был амбар, и в этот амбар, а не на дальний элеватор, складывали обмолоченный хлеб, и ничто ему не грозило, и не надо было собирать грузовики со всей страны, чтобы его спасти. Но Сталин сказал: «Взять у них хлеб!». И с тех пор, собрав урожай, его тут же сдают государству. Егор Кузьмич, отстаивая колхозный строй, и не заикнулся, чтобы хлеб хранить хотя бы в колхозе.

Социальное мышление

Марксово понятие «отчуждение» считается абстракцией, а в нем вся наша повседневная практика. Отчуждая человека от хлеба, который он вырастил, государство пожирает то, что посеяло. Но человек участвует в жизни общества прежде всего тем, что предлагает обществу хлеб, или машины, или научные открытия, или музыку, и, покамест дело его рук не будет в его руках, пока у него все можно «взять», у нас не будет общества, а будет только государство со схватками за то, кому у кого «взять».

Один за другим стране предлагают магические способы спасения: то ликвидировать «малый народ», то назначить Президента, то не поступаться принципами, то молиться Богу. А надо бы от технологического мышления переходить к социальному, разобраться, какие общественные группы стоят за ту или иную структуру хозяйства и общества, какова их природа, в чем состоят реальные интересы составляющих их людей, каковы возможности и каково место человека в нашей стране, и в чем должен состоять социальный компромисс, способный ее спасти, а этого в нынешних спорах и недостает, об экономике судят отдельно, о социальном порядке — отдельно, о политическом — отдельно.

Имена и реальности

Недавно радио «Свобода» передало беседу с нашим молодым журналистом, опубликовавшим ряд недурных статей. Он справедливо говорил, что побежденная Германия живет лучше нас, победителей, потому что там изменился общественный строй. И неожиданно продолжил: если бы победил Гитлер, общественный строй изменился бы и у нас, и Гитлер стал бы нашим спасителем. Страшна в этом суждении не дерзость — рядом с откровениями «Памяти» оно звучало скромно, излагалось в сослагательном наклонении с вопросительными интонациями. Поражало полное непонимание того, что, если бы Гитлер победил, наш общественный строй был бы, конечно, перекрашен, но отнюдь не изменен, как не были распущены на оккупированных территориях колхозы. То-то и оно, что национал-социалистический порядок был весьма близок к сталинскому социалистическому и прибавиться могло лишь национальное угнетение русского народа да уничтожение евреев и цыган. Для нас эта война была не социальной, а воистину Отечественной. Но победа, драгоценность которой, с какой стороны ни смот-

ри, под сомнение поставить невозможно, заслонила нам социальные проблемы; вот они и дошли до нынешней остроты. Чтобы их решить, надо перейти от расплывчатых слов — то ли во здравие, то ли за упокой — к конкретному разговору о сложившейся у нас реальности и называть вещи их настоящими именами.

ПРИЧУДЫ «КОМАНДНО-ДЕКОРАТИВНОЙ» СИСТЕМЫ

В какой-то ленинградской газете недавно уверяли, что Керенскому надлежало впустить Корнилова в Петроград, — впустил бы, дескать, и сильная генеральская власть вскоре бы обратилась во вполне конституционную монархию. Нынче наведения порядка требуют в любой очереди, да еще с комментариями: кого — стрелять, кого — выселять, кого — лишать продовольственных карточек, раз уж их ввели.

Люди словно не помнят, что истинный порядок наступал лишь тогда, когда общественные противоречия обретали легальные выходы и переставали будоражить народ. Предшественникам Горбачева удавалось такими противоречиями пренебрегать потому, что очень уж велики у нас природные и были людские запасы. Казалось, можно не считать, сколько людей поубивали и сколько нефти продали. После сталинских и брежневских растрат богатства уже не лежат на поверхности, а нужда в них растет. Борьба за военное превосходство над всем остальным миром во имя своей безопасности стала смертельно опасной для нас самих.

Раздавленные надежды

Пять лет назад, обладая беспредельной тогда властью Генерального секретаря ЦК КПСС, Горбачев понял, что беспредельная сила власти перед лицом непомерных задач, взваленных на страну, уже неэффективна и действовать нужно иначе. Почему же положение не только не улучшилось, но еще ухудшилось? Почему официальное осуждение ввода танков в Будапешт и Прагу не помешало им войти в Вильнюс? В Будапеште они раздавили надежды, поданные XX съездом КПСС, в Праге — надежды, связанные с реформой Косыгина. Нет нужды перечислять раздавленное на улицах Вильнюса. Чувства, вызванные происшедшим там, охватили многих. Но железную связь меж надеждами на революцию сверху и передвижением танков наше общество все не берет в толк. Выясняют, кто приказал стрелять, но не задают вопроса, почему? Все острее ощущая необходимость в переменах и даже смело к ним приступая, власть сама же их и пресекает.

Говорят, командно-административную систему стали ломать, не создав иной, способной ее заменить. Прежний глава правительства дал этому даже теоретическое объяс-

нение: «Приоритет идеологии над экономикой — это не мелочь, не частность, не волюнтаризм, не глупость тех или иных руководителей — это суть той модели, с которой мы жили, ее устои». Волюнтаризм помянут зря, ибо примат идеологии над реальностью — это и есть последовательный волюнтаризм, но в остальном каждое слово — правда. Однако прав был и Маркс, утверждавший, что общественное сознание определяется не спускаемой сверху идеологией, а общественным бытием, что самая красивая идеология не накормит, не оденет, не станет крышей над головой, а без этого люди перестают признавать ее священный характер и, главное, святость нормативов, которые она предписывает хозяйству. На сей раз люди утратили доверие к власти, когда, следуя своей идеологии (конечно, перенявшей у Маркса некоторые положения, но ушедшей от него подальше, чем христианство от Платона), правительство выпустило несообразное с наличием товаров количество денег, чем и довело прилавки до нынешнего состояния. А вину теперь валять не на идеологию, не на тех, кто велел печатать деньги, а на некие «деструктивные силы» — прежде это были «вредители», «враги народа».

Власть единого концерна

Объединив все хозяйство страны и вручив власть над ним государству, волюнтаристская идеология внушает, что власть от этого становится превыше не только всяких там конституций, но и объективных законов экономики и природы. После великого перелома 1929 года наше государство стало единым концерном, администрация которого сама издает законы, сама их исполняет, сама вершит суд и расправу и сама указывает, сколько производить болтов, сколько гаек. Все в одних руках. Монополистический характер этого концерна, внутри которого, естественно, не может быть объективных регуляторов, лишил и предприятия, и людей — за вычетом сугубых идеалистов — элементарных стимулов к труду, к повышению его качества и производительности. Когда цена товара определяется не объективной стоимостью, которую без рынка не выявить, а соображениями разных начальников, пропадает смысл честно трудиться и нужны искусственные стимулы к труду.

Их возбудителем стала партия, опять же единая, сама занявшаяся хозяйственными делами. Она всюду ставила своих членов, не часто рисковавших перечить даже и пагуб-

ным распоряжениям, поскольку исключение из партии делало человека еще бесправнее, чем беспартийный. Стимулом к труду была и угроза ГУЛАГа, где размещались производства, особенно беспощадные к казавшейся даровой рабочей силе. Оба рычага действовали, однако до известного предела, — пока люди были в изобилии, а техника относительно проста, и казалось, что незаменимых нет. Уже в шарашке, где требовался умственный труд, режим приходилось смягчать, — не зря шарашка названа «кругом первым». Все более ощутимая несообразность такой системы с нуждами обновления, обусловленного и техническими, и человеческими аспектами научно-технической революции (наша идеология долгое время ее вообще отрицала), без которого страна выпала бы из числа не то что великих, но и просто независимых держав, сильнее, чем прежде, толкнула к не раз отвергавшимся прежде реформам.

Не мешайте прокормиться...

В Литве фактически спорят не литовцы с русскими, а местная власть с экстерриториальным производством, и такое происходит по всей стране. Хозяйство подчинено всесоюзным ведомствам, под покровительством которых пренебрегает даже попытками защитить экологические нормы, не говоря уже о налогах в местный бюджет. После великого перелома Советы утратили власть и лишь формально утверждали партийные распоряжения. Рычагов власти у них нет, они приспособлены лишь к тому, чтобы одобрять спущенное сверху. Сколько бы достойных людей в Советы ни выбрали, не отобрав у центра хотя бы часть реальной власти, республики останутся декоративными, пусть даже достигая художественного уровня декораций Коровина или Головина. Нашу систему зовут «командно-административной», но точнее, по-моему, звать ее «командно-декоративной». Пока предприятия остаются государственными, никакой реальной власти у Советов быть не может, и против безоружных Советов танки всегда наготове. Но никакая танковая атака не упразднит требование наших производительных сил завести другие производственные отношения. Особенно если иметь в виду, что танки должны быть боеспособны не только в мирных городах, но и на всамделишной войне.

Поскольку хозяйство и государство срослись в единую химеру, государство, чтобы возродить объективные критерии

рии хозяйственной жизни, надо оттолкнуть хозяйство от себя и поощрить его части к самостоятельной деятельности, отказавшись на будущее покрывать прорехи, списывать долги, обеспечивать сырьем и госзаказом. Помогать надо потерявшим работу людям, а не плохо работающим предприятиям. Но они привыкли быть иждивенцами государства и требуют от него — накорми, а требовать надо — не мешай прокормиться. Когда хозяйство плюралистично, законодательные и финансовые функции государства позволяют различить, что на деле происходит, и корректировать слабости экономически, то есть, в самом деле управлять. Вся беда — во всеобщей уверенности, будто циклопическим хозяйством огромной страны можно управлять как единой фабрикой. Потому кругом и требуют суверенитета, что Белоруссия или Узбекистан, будучи самостоятельными, может быть, еще поддадутся управлению нынешними методами, а Союз уже не поддается. Хозяйство распадается не от недостатка власти над ним, а, напротив, от ее избытка.

Две вековые преграды

Но отчего это все? Где причина того, что нечего есть? В 1921 году понятно — гражданская война. В начале 30-х понятно — коллективизация. В первой половине 40-х — Отечественная война. Ну а нынче-то что? Ни войн, ни особых недородов, ни особых безумств начальства, сопоставимых с прежними, после смерти Сталина вроде не было. Отчего же хозяйство, как начало в 70-е годы скудеть, так и пошло? И разумные призывы к эффективности, к перестройке, к рынку, не действуют. Оскудение лишь нарастает. Нет, не «деструктивные силы», не демократы и даже не «черные полковники» тому виной, а длительное отвержение всей страной реальности, привычка видеть лишь то, что предписано идеологией. И не случайно у нас часто уклоняются от реформ, боясь непредвосхитимых последствий, но не боятся непредвосхитимых последствий бездействия.

Известный председатель колхоза заявил на Съезде народных депутатов, что колхозник, желающий стать фермером, должен свой участок у колхоза выкупить. И огромный зал с изображением Ленина глазом не моргнул. Никто не вскочил, не сказал оратору, что в октябре 1917 года произошла революция и приняли Декрет о земле, по которому она безвозмездно передавалась нуждающимся крестьянам. В предчувствии стихии захватов и конфискации было даже

особо оговорено, что «земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются».

Кто-то другой объяснил прибалтам, что референдум не проводился не только при их присоединении к СССР, но и при обретении ими самостоятельности. И опять же ни одна душа не напомнила, что через три дня после революции 1917 Съезд Советов принял «Декларацию прав народов России», и все они обрели право на свободное самоопределение, вплоть до отделения, и многие тогда им воспользовались. Неужто позволительно сказать сегодня финнам или полякам, что их независимость не вполне законна, поскольку получена без референдума? А разве эстонцы хуже финнов, разве литовцы хуже поляков? Независимость им дала революция, они это помнят, а мы забыли.

На пути нормального развития нашего Отечества веками лежали две преграды — аграрный вопрос и национальный вопрос. Но даже в роковые часы царской власти не шла дальше частичных уступок. Гордиевы узлы, которые никто не удосужился развязать, были разрублены в Октябре Декретом о земле и «Декларацией прав народов России».

Что сохранять?

Если впрямь хотеть порядка, а не декорировать призывами к нему другие стремления, надо дорожить органично складывающимися очагами порядка, а это сегодня прежде всего национальные очаги, которым удастся сплотить людей для самозащиты от монопольного промышленного бронтозавра, вытаптывающего всю страну, не считаясь ни с кем. Будь центр на деле озабочен порядком, он пошел бы навстречу республикам, получив взамен от каждой гарантии соблюдения прав человека независимо от национальности...

Когда говорят «надо сохранить Союз», меня смущает не слово «Союз» — народы только выиграют от равноправного содружества, не менее тесного, чем европейское, где по дороге из Кёльна в Лондон приходится четыре раза предъявить паспорт, но передвигаться это не мешает. Меня смущает слово «сохранить», ибо лестница неравноправия, на которой даже и «первый среди равных» ущемлен и принужден то и дело жертвовать собой и своими сыновьями, чтобы удержать лестницу, — это не Союз. Идеология и тут торжествует над реальностью. Напрасно смеются над парадом национальных суверенитетов. Народы должны обрести се-

бя, чтобы прийти к добровольному согласию. Кто попирает добровольность, тот и мешает сложиться Союзу.

Когда говорят «надо сохранить социализм», меня опять же смущает не слово «социализм». Им часто обозначают общество социальных гарантий, А современное производство неэффективно без них, без долга общества перед человеком, а не только человека перед обществом, как прежде. Наша социалистическая практика свободой развития каждого не дорожит, но пророки социализма говорили: «свободное развитие каждого — условие свободного развития всех». Горьковская ссылка Сахарова пример нарушения не только прав человека, но его свободного развития. А эта гениальная голова могла бы, скажем, сыскать путь к решению проблемы термоядерной энергии, избавив мир от энергетического кризиса. И ведь десятки миллионов, пусть не столь одаренных, не имеют возможности для свободного развития, хоть нам внушают, что мы живем при социализме. Что же нам сохранять?

Спазм системы

Мы быстро покончили с завоеваниями Октября: земля стала колхозной. народы бесправными, а счастливое царство социализма так и не наступило.

И вот, исчерпав ресурсы, система испытывает глубокий спазм, явно не облегчающийся от сокращения одного лишь внешнеполитического груза. Но в спорах о том, что делать, первенствует страх за социализм. Между тем перед лицом нашей феодальной системы страх этот столь же нелеп, сколь нелепы были при провозглашении нэпа упреки Ленину в отступничестве. Сотни тысяч коммунистов сдали тогда партбилеты, не желая отречься от военного коммунизма. Большинство их и сегодня не задумывается почему Ленину пришлось отказаться от военного коммунизма, и почему по Марксу путь к социализму идет через развитый капитализм.

Я сознаю, что самое допущение того, что в Октябре было хоть что-то уже неизбежное, а не только злонамеренное, вызовет сегодня у многих лишь ярость или высокомерное презрение. Для них Октябрь — лишь начало последующих ужасов: от разгона Учредительного собрания до кровавого воскресенья в Вильнюсе с ГУЛАГом посередине. Размышлять, почему выплеснувшееся в Октябре не обрело задолго до него более спокойное русло, нынче не принято. Коммунисты, напротив, объявили завоеванием Октября вовсе не то,

что свершалось в октябрьские дни, а насильственное строительство социализма в крестьянской стране и не желают от этой выдумки отступить. Но в революционных декретах II Съезда Советов существовала возможность иной, чем наша, жизни, упущенная прежде всего потому, что люди тех лет — и большевики, и эсеры, и белые генералы, — очень уж верили в свое право решать за других, верили, что сильная власть одолеет пробелы социального развития. А ей их не одолеть, она их лишь усугубляет. Между тем отказ от реформ снова вызвал тягу к сильной власти, отказ даже от осторожной программы Шаталина-Явлинского привел к событиям в Литве. Надо это понимать, ведь только осознав бесплодность силовых решений, страна обретет новую надежду.

Царское упрямство вызвало к жизни 9 Января и три революции за двенадцать лет. Столыпинская формула «начала успокоение потом реформы» не спасла ни страну, ни самого Петра Аркадьевича. Так стоит ли снова дразнить демона истории и уповать на Корнилова или очередного начальника гарнизона? Не разумней ли наконец вызволить хозяйство из-под непосредственного управления государства и упразднить всеисильные феодальные ведомства, сковавшие жизнь по рукам и ногам, чтобы люди смогли жить своим трудом? Ведь только достойный уровень жизни честных граждан приносит стране успокоение.

МНЕ МИЛЕЕ ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ...

Большинство участвовавших в референдуме ответило Союзу «да». Получи такую оценку внешняя политика М.Горбачева, это была бы убедительная победа. На сей раз, однако, речь о нашем внутреннем устройстве, о Союзе, а в подобной ситуации не так важно мнение большинства, на что напирают и государственные мужи, и телевизионные комментаторы, как мнение каждого предполагаемого участника Союза. В церкви ли, в ЗАГСе ли, о согласии вступить в брачный союз каждого спрашивают по отдельности.

Отнесемся с уважением к воле Туркмении, где на референдум явилось 97 процентов и 97 процентов из них сказали «да», к воле Таджикистана, где пришло 94 процента и «да» сказало 96. Но у Эстонии и у Грузии есть своя воля. Реши мы даже все единогласно, что, скажем, Афганистан тоже должен войти в наш Союз, пришлось бы считаться с волей афганцев, а ее мы уже проверили. Лишь девять республик из пятнадцати сказали «да», и не всюду это «да» убедительно. Украина и Казахстан отяготили его жесткими оговорками, а в России с ее многочисленными автономиями разноречивой особенно велик, да еще, явно для защиты от Союза, там решено завести своего президента. Крупнейшие русские города, начиная с Москвы, Ленинграда, Свердловска, расколоты пополам. Не стоит от этого отвлекаться. Лучше понять причины неблагополучия в нашей семье.

Хорошо ли в тюрьме тюремщику

В западных странах нарастает координация, сближение, складываются новые сообщества. В Восточной Европе — и у нас, и в Югославии, и даже в Чехословакии — растут раздоры. Объяснение, видимо, в том, что движение к надобному всем единству идет противоположными путями. У нас единство понимается как подчинение общему центру, в Европе — как поиск взаимной согласованности. Вот и новый Союзный договор стоит на том, что республики отдают определенные права центру, то есть сами этих прав — одних полностью, других частично — лишаются. Спор между М.Горбачевым и Н.Назарбаевым или Л.Кравчуком идет лишь о том, больше или меньше прав отдавать. Б.Ельцин не оспаривает существование общего центра, но хочет свести его к минимуму. А западный опыт показывает, что реальному единству служит не распорядительно-распределительный

центр, но усилия в согласительных организациях, где повседневно совершаются взаимовыгодные уступки.

Россия, Украина, Казахстан и другие республики могли бы решать вместе даже больше вопросов, чем предусмотрел Союзный договор, лишь бы эти вопросы именно они сообща решали, а не просто выполняли ценные указания парящего над ними центра. От этого мы и погрязли в спорах.

Накануне голосования уверяли, что мы решаем судьбу государства Российского, вместе с которым якобы Союз возник, и сказать «нет» — осквернить память Александра Невского. Ну что ж, первым большим многонациональным государством на нашей нынешней территории и впрямь была Золотая Орда, покорившая Русь, и князь Александр впрямь был ее преданным вассалом, не поддавшимся даже на происки папы римского, подбивавшего русских воевать с Ордой. Но при всем почтении к дарованиям князя Александра мое сердце как-то больше лежит к его праправнуку Дмитрию Донскому, не желавшему пребывать в ордынском «союзе» и вышедшему на Куликово поле за суверенную Русь. Конечно, лишь сто лет спустя эта суверенность утвердилась, но опять же именно эта пора, пора Андрея Рублева и строительства Кремлевских палат и соборов, мне милей других в отечественной истории.

А потом, при Иване Грозном, началось новое многонациональное государство. В отличие от голландской, британской, французской колониальных империй, тоже хорошо пограбивших, наша империя ради покорения иных народов закрепостила собственный. Эта империя просуществовала более трех веков. И в то время, как Польша или Дагестан мечтали освободиться от русских, самих русских на родине, как скот, продавали с торгов. Жители угнетенной Финляндии имели больше прав и свобод, чем жители русских земель. Российская империя была тюрьмой народов, но русскому от этого становилось не лучше, а хуже. Оттого — и это негоже забывать — к равноправию народов, а не к одним лишь социальным переменам стремились в 1917 году не только угнетенные, не только поляки, украинцы, латыши, армяне, евреи, грузины, но и числившиеся угнетателями русские. Отсюда и первая попытка создать в 1922 году Союз равноправных народов.

Национальные армии при Сталине

Получилось не слишком ладно. Многое решалось оружием: Польша себя защитила, а Грузия не смогла. И все же отношения строились по-новому. Тогда во главе стояли четыре (позднее семь) равноправных Председателя ЦИК от каждой республики, теперь — единый Президент; тогда не было единого официального языка (Ленин еще в 1914 году писал: «Что означает обязательный государственный язык? Это значит практически, что язык великороссов.. навязывается всему остальному населению России»), теперь официальным языком провозглашен русский. Чем дальше, тем меньше оставалось от равноправия. Целые народы выселялись, и земли заселялись другими, а ныне уверяют, что права новых поселенцев превыше прав выселенных. Но и Сталин, хоть то и дело нарушал лозунг дружбы народов, отбросить его не мог.

1 февраля 1944 года даже наркомат обороны был преобразован из союзного в союзно-республиканский в связи с принятием закона о создании воинских формирований союзных республик. Одновременно так был преобразован Наркоминдел. Как видим, не «плохой» Ельцин и не «еще худший» Ландсбергис додумались до воинских формирований союзных республик, а Сталину в трудный час войны пришлось признать, что они необходимы для освобождения нашей Родины, что в освобожденные республики должны войти национальные армии. Конечно, потом он и национальные формирования упразднял, и освобожденные народы переправлял в Сибирь, но республиканские Наркоминделы продолжали сверкать чистотой окон и бронзой дверных ручек. Считалось необходимым делать все же вид, что наши республики самостоятельны. А ныне крамолрой объявлена самая мысль о республиканских воинских формированиях, и желание Исландии или Дании установить контакты с республиканскими МИДами официально трактуется как враждебный акт. Но если Украина и Белоруссия остаются полноправными членами ООН, почему же Литве или России заказано установить отношения даже с отдельными странами? Да потому, что замысел обновления Союза на деле состоит в закреплении унитарности и увеличении роли центра не только на практике, где она всегда была подавляющей, но и официально в самой структуре государства.

Между тем единственная надежда на спасение страны — в преодолении унитарности, в поисках компромиссов,

в достижении согласия, в гражданском мире, в повседневном диалоге. Именно в них и состоит демократия. Но у нас слова «пошел на компромисс» в обиходе значат «капитулировал». Нас и компартия всегда вела и все еще хочет вести от победы к победе, и идеология у нас преобладает единственно правильная, а в результате нашим согражданам с большим трудом удается признавать, что с людьми, думающими и верующими по-своему, следует считаться. Но, чтобы демократии быть эффективной, демократическое сознание должно пропитать обыденную жизнь.

Тому, кто за рулем, все можно?

В Лондоне, едва вы ступаете на пешеходный переход без светофора со знаком «зебра», огромный красный двухэтажный автобус застывает, позволяя спокойно перейти улицу. Неподалеку от моего дома в Ленинграде есть такая же «зебра», по которой машины несутся, не замедляя хода. Водители убеждены, что дорогу им уступит пешеход, как более слабый. Когда иностранные гости спрашивают, почему за шесть лет мы так и не совершили перехода к иным отношениям, а мне смерть как не хочется никого персонально винить, я веду их к этой «зебре», и мы переходим улицу. Вопросы о политике на этом чаще всего кончаются, и можно спокойно полюбоваться замечательным собором Растрелли и другими красотоми нашего города.

Надо бы разобраться, что всегда мешает нам совершить желанный переход — даже перейти улицу. А мешает засевавшая за столетия в мозгах апология силы, абсолютизация власти, сидящей за рулем. При таком сознании компромисс, да и то временный, возможен лишь с более сильным, но уже не с равным и, тем более, не с тем, кто явно слабей. Вот мы и не можем даже установить, сколько в нашем Союзе равноправных участников: то ли, по Конституции, пятнадцать, то ли уже девять, то ли все-таки около сорока. В стране более ста народностей, но немногим более пятидесяти национально-территориальных государственных образований, в том числе восемь автономных областей и десять округов, совсем уже бесправных. Территориальные автономии часто учреждались произвольно, разрывая один народ и соединяя разные по старому принципу «разделяй и властвуй». Лучше бы не настаивать на нерушимости искусственных границ, а позволить всем народам спокойно на местных, а не глобальных, референдумах сообразно со своей истори-

ей разобраться, как им дальше мирно жить. Какие-то автономии, как, скажем, беспочвенную Еврейскую автономную область, стоит и вовсе упразднить. Где-то люди предпочтут мнимой территориальной автономии строго соблюдаемую культурную, где-то народы, разорванные по разным республикам, соединятся, — все это, разумеется, решать исключительно самим этим народам, а не большинству сторонних голосов.

Новая Русь

Лишь добровольно самоопределившиеся государственные образования смогут стать субъектами компромиссов и определять, в каких отношениях им быть с другими государственными образованиями.

У нас ведь права на самостоятельность лишены даже самый многочисленный народ страны — русский. Внутри Союза он выступает лишь сообща с другими народами РСФСР, но и внутри РСФСР, в отличие от Татарстана или Карелии, не имеет никакой государственной самостоятельности. Не случайно в РСФСР как в зеркале повторяются национальные проблемы Союза, и, стремясь ослабить Российскую Федерацию в ее борьбе за суверенность, союзное руководство отлично этим пользуется. А сторонники национального суверенитета России повторяют автономным республикам все, что Союз говорит союзным. М.Горбачев бранит «сепаратистов», а Р.Хасбулатов или Н.Травкин упрекают автономии в том, что они «разваливают Россию». Но и русский народ вправе обладать голосом, звучащим не только вместе с другими или за других, но и отдельным, суверенным. Отношения внутри Российской Федерации этим только прояснятся, а стало быть, улучшатся.

Ельцин ощутил эту проблему и сам призвал автономии брать столько суверенных прав, сколько им по силам. Однако и он не говорит, с кем же государства татарского, якутского, башкирского и других народов образуют Российскую Федерацию — с государством русского народа или с существующими по отдельности Смоленской, Иркутской, Рязанской, Томской и другими областями. И вот наряду с законными национальными уже возникают наивные областные суверенитеты. С другой стороны, именно потому, что у русского народа нет своей республики, союзная власть выступает от его имени поверх всех республик. Ельцин это ощущает. Он сознает, что возглавить суверенную Россию

куда плодотворнее, чем насилуем укреплять Союз, как раз этим его и разваливая. Он ищет не державных, а взаимоуважительных отношений с другими народами — поездка в Таллинн это подтвердила. Отсюда и неприязнь, которую к Ельцину начали испытывать «наши», защитники унитарной державы.

Русский народ тоже вправе заботиться о своей земле, иметь свои частные интересы, а общие определять вместе с остальными. Для этого он вправе, не ломая Российскую Федерацию, объединиться внутри нее, создав Русскую Республику, не сводимую, понятно, к старинному Московскому государству, но включающую в себя нынешние русские области. Не будем наперед решать, как именовать эту современную Русь и как ее строить, — пожалуй, все же не из мелких областей, а из крупных исторически определившихся земель. Вряд ли также есть нужда особо оговаривать, что в демократической самостоятельной Руси, как и в Литве, или Татарстане, или других республиках, все граждане независимо от национальности, должны, конечно, пользоваться равными правами.

Всеобщий ОМОновец?

Не ломлюсь ли я в открытую дверь? Вроде бы нет недостатка в радеющих за русское государство, их тьма — от И.Полозкова с А.Прохановым до И.Шафаревича с И.Сычевым. Пресса этого направления тоже обильна, есть коммунистическая, есть антикоммунистическая, но все сходится в главном: русское государство для них — вовсе не государство русского народа, они всегда примысливают державный припек. Умеренные хотят целиком РСФСР, где прочие народы на ролях опекаемых подлежат дальнейшему растворению. Для других русская держава — весь Советский Союз, где число опекаемых соответственно вырастает. Для некоторых — еще и страны, отпавшие после Октябрьской революции и занятые Советской Армией в ходе войны. Ради такой державы они зовут русский народ не только убивать в Кабуле и Вильнюсе, но и самому весь век нищенствовать, не видеть ни приличного родильного дома, ни школы, ни больницы, ни мяса, ни овощей, ни одежды, ни жилья, ни пристойного отхожего места, ни места на кладбище. Так лучше, уверяют они, сохранить дух в чистоте! И цены тоже надо поднять, чтобы побольше отдать державе, словно она разбогатеет, если ее граждане станут нищими.

Это державное сознание разоряло русский народ в век Ивана Грозного и в наш век, и спасение в том, чтобы в противовес ему построить русское демократическое государство, стремящееся не учить других, а добиться сытной, здоровой и осмысленной жизни для своего народа. Возможно, отношения с Бурятией у Руси будут теснее, чем с Узбекистаном, а с ним — теснее, чем с Литвой, но и это не стоит наперед предугадывать. Я уверен, что при всеобщей самостоятельности связи станут крепче, чем нынче кажется. А русский народ, от которого так долго требуют быть то дойной коровой, то всеобщим ОМОНовцем, не станет больше исполнять ни ту, ни другую, не нужную ему роль.

РЕШАТЬ ЗА СЕБЯ

В эти роковые три дня обнажилась несостоятельность одной из самых живучих иллюзий, той самой, которая вроде бы рухнула еще во время первой русской революции, — и как нарочно, решающие события свершались по соседству с мемориалом 1905 года, — вновь пропала вера в доброго правителя. Вроде бы на сей раз все наоборот, не правитель, не преданные ему лица, повернули солдат против народа, а узурпаторы, но тем самым обозначился предел возможностей революции сверху. Стало очевидно, что никакой правитель не в силах сделать совершаемое им необратимым.

Ненужность добрых правителей

Народ состоит из людей. И судьба народа зависит от совершаемого каждым выбора. Не только у избирательных урн, а непрерывно. Нет заведомо правильного выбора — лишь ход жизни обнаруживает, где было прозрение, а где заблуждение. Возможность выбора и называется свободой, потому-то без нее народу и не сообразоваться с реальностью, не наладить жизнь, да и сам народ без нее теряет лицо.

Янаев, Павлов и прочие возвращали страну к чрезвычайному положению, в котором она провела семьдесят с лишним лет. Чрезвычайное положение в том ведь и состоит, что возможность выбора отнята. Люди за долгие годы привыкли, что начальству видней, поскольку оно газеты читает и в телефон разговаривает, что вся правда напечатана в газете «Правда», что там написано, то и правда, хоть про себя и знаешь, что это не так.

Не случайно другая партийная газета — «Советская Россия» опубликовала «Слово к народу», открыто звавшее к перевороту и откровенно подписанное его будущими участниками Тизяковым, Варенниковым, Стародубцевым. Главный председатель всех колхозов отлично сознавал, что процветание его колхоза держится на отсутствии у остальных крестьян выбора — быть им в колхозе или вести свое хозяйство. Даже новыми законами дозволенное фермерство на практике поставлено в жесткую зависимость от колхоза или совхоза. Появись реальный выбор — в сельском хозяйстве, в промышленности, в науке или искусстве, — система ценностей тотчас бы изменилась. Вот почему не только в военно-промышленном комплексе, но в любой области труда,

стародубцевы насмерть будут стоять за монопольную систему, в которой жизненные блага не зарабатываются, а распределяются по известным начальству заслугам. Отсюда и тяга к правителю, который будет строг, но справедлив.

Однако семьдесят лет показали, что никакое чрезвычайное положение, никакое насилие, не может в эпоху компьютера накормить и одеть людей, обеспечить порядок и безопасность. Чрезвычайное положение вводится для защиты чрезвычайных привилегий. Тем, у кого привилегий нет, чрезвычайные меры ничего хорошего не приносят. Сколько бы Валентин Павлов, только что взвинтивший цены раза в четыре, ни обещал после переворота их снизить, а зарплату повысить, верить ему невозможно не только потому, что он всегда лгал, но и потому, что его обещания, даже исполнившись, не принесли бы ничего, кроме нарастания инфляции. А у ограбленного нет выбора. Он рад подаянью и покорен. Вот нас и грабили.

От ЦК до ГКЧП

Чрезвычайное положение не зря начинается с запрета газет. Монопольным властителям хозяйства огромной страны не нужны другие мнения, кроме ласкающих их слух речей Проханова, Бондарева или Кургиняна.

Зачем противозаконно захватывали власть люди, и без того стоявшие у власти, занимавшие, кроме президентского, все высшие посты в союзных органах? Чтобы опять решать за других, отнять у народа право на выбор, а то, глядишь, простым голосованием он прогонит грабящих его правителей.

Нельзя поверить, что Горбачев при его замечательном тактическом чутье настолько слеп, чтобы в последнее время ошибаться подряд во всех поднимаемых им наверх людях, хоть ныне он сам в этом кается. Ведь именно он в свое время привлек к руководству страной таких незаурядных людей, как Яковлев, Шеварднадзе или Ельцин. Но люди незаурядные, естественно, не могли быть «просто исполнителями», как аттестовал себя бывший зам. премьера Щербаков. Они идеям президента противопоставляли свои идеи, а ничтоже-ства, смолкавшие при первом окрике, противопоставляли идеям насилие, отключение телефонов и запрет газет.

В нашей печати Янаева с товарищами успели обозвать кучкой заговорщиков. Это неверно. Будь они кучкой, секретариат ЦК КПСС вряд ли призывал бы коммунистов содей-

ствовать ГКЧП. Он тоже не мог поступиться привычным способом установления своей неизменной правоты, священной коммунистической благодатью решать за других.

Если даже допустить, что, когда очень хочется, можно совершить «социалистический выбор», то все равно народ у нас никогда его не совершал, и за большевиками в 1917 году шел лишь в надежде на решение аграрного и национального вопросов, по сей день не решенных. Революция обернулась трагедией не потому, что ее знаменем был социализм — именно социалисты, начиная с Плеханова и Мартова, острее и пронизательнее всех критиковали тогда большевиков, — а потому, что КПСС, по самой своей организационной природе, именуемой демократическим централизмом, не способна предоставить своим членам и людям вообще возможность индивидуального выбора. То, что Горбачев сообразил, куда при этом катится страна, и отступил, пусть недостаточно, от привычки решать за всех, вызвало не только ярость Нины Андреевой и Виктора Тюлькина, но и нынешний призыв секретариата ЦК поддерживать ГКЧП и самое создание этого комитета, — иначе он был бы создан законным порядком.

Единство волков и ягнят

Обсуждая новую, недурно выглядящую программу, партия одновременно исторгала из себя и Александра Яковлева, и Александра Руцкого. Это выражало ее позицию куда точнее, чем слова о терпимости и многообразии взглядов. Но и в этом винят лишь руководство партии, выгораживая миллионные массы рядовых коммунистов. Ведь вступить в КПСС издавна означало на всю оставшуюся жизнь доверить всякий выбор руководству. Различия во взглядах и поведении существовали всегда, их-то и пересиливало коммунистическое послушание, добровольный отказ рядовых членов партии, выпестованной Сталиным, от собственных мнений. А это как раз и позволяло руководству партии пренебрегать и моралью, и законом.

Да и не только руководство КПСС, но и рядовые коммунисты бросили своего генсека на произвол судьбы. Арестами лидеров латиноамериканских компартии, бывало, возмущались, а у нас хоть бы горстка партийцев вышла на демонстрацию с требованием освободить Горбачева!

Понятно, юридической ответственности эта беспринципность за собой не влечет, и преследовать человека только за то, что он состоит в КПСС, было бы беззаконием и безумием. Но и считать членство в КПСС невинным отличием от беспартийности как-то странно. Именно безгласность ря-

довых членов партии была почвой и прежних преступлений, и нынешнего заговора. Партия, в которой прогрессисты уживались с реакционерами, социал-демократы с национал-социалистами, имела немало случаев расколоться, то есть сделать разногласия открытыми, дать каждому выбор. Но она пуще глаза берегла свое единство, единство волков и ягнят, — оттого тайное выяснение отношений и доросло до государственного переворота.

Любовь к революциям

В нашем массовом сознании глубоко сидит вера в революции: и перестройку именовали революцией, и битву у Белого дома. Мы справедливо гордимся тремя погибшими молодыми людьми и стоявшими рядом семью десятками тысяч других, тоже готовых погибнуть за правду. В ту роковую ночь было видно, что наш народ — уже не народ рабов.

Но ведь и в 1917 году Декрет о земле и Декларация прав народов России нашли отзвук в сердцах не только у самих большевиков, но у миллионов людей, сознававших глубокую несправедливость прежнего общества. Великий поэт, глядя на красногвардейцев, даже счел, что «впереди Иисус Христос». А не прошло полугода, и Учредительное собрание разогнали, и настала жизнь, которой мы так или иначе живем до сей поры.

Сводя перемены в жизни общества к революциям, мы совершаем выбор лишь в минуты роковые, надеясь, что кто-то за нас осуществит избранное. А чтобы оно осуществилось, выбирать надлежит еще много раз, и, уклоняясь от участия в этом повседневном и не всегда заметном выборе, мы сводим свой революционный выбор на нет. Будем помнить и о том, что решать за других любят не одни коммунисты. Тоталитаризм еще неотделим в нашем сознании от КПСС, но он бесчинствует и под другими знаменами.

Свобода печати, кроме, понятно, призывов к насилию, не зря признана краеугольным камнем демократии — именно она, обеспечивая всестороннюю и взаимопроверяемую информацию, создает каждому возможность сознательного выбора. И пока мы от этой свободы не отказываемся, покуда не воображаем, что заботу о демократии можно полностью возложить на так называемые правоохранительные органы, останется надежда совладать с любыми переворотами и диктатурами, и не только в песне, а на самом деле никогда не быть рабами. Ведь это значит каждому решать за себя.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Еще живы в памяти громы победы по случаю подавления путча, но реформы, проведению которых противились нынешние узники Матросской Тишины, с места не сдвигаются. Упования редуют, но и для осознания этого почти не стало места. Не слышать демократических протестов, звучавших еще в прошлом сентябре, когда президент СССР собрал свою реакционную команду, отстранившую его в нынешнем августе от власти. Либералов, защитивших законность и занявших вроде бы важные посты, уже сызнова бранят сторонники авторитарности. И, как всегда, оппозиция либерализму дозволена у нас только реакции, только консерваторам, только справа. На сей раз Невзоров сказал правду: на телевидении его программа и впрямь единственная систематически оппозиционная. Столь же открытая оппозиционность властям с другой, демократической, стороны на экран допускается лишь как исключение. Даже возвращение Татьяны Митковой и Дмитрия Киселева все еще не состоялось. А ожидать, что хоть полчаса в неделю будут регулярно давать Леониду Баткину или Сергею Ковалеву, и во все бессмысленное мечтание. В газетах и журналах демократическая критика пробивается чаще, но и там преобладают голоса со стороны Невзорова, представляющего «миллионы "наших", для которых первое воззвание опереточного комитета было все же словом надежды». Даже в либеральных «Известиях» одна за другой появились статьи Алексея Кивы, Александра Ципко, Гавриила Попова, смешным образом возвращающие общество к идеям Павлова, Лукьянова и Крючкова. Уцелевшие после будущего переворота смогут оценить эти статьи, как мы оценили «письмо 53-х» или «Слово к народу».

Примечательно, что ГКЧП в своих воззваниях отнюдь не ратовал за марксизм-ленинизм или социалистический выбор. Заговорщики сознавали, что наряжаться надо уже иначе. Ратующие за авторитарный порядок нынче сами часто объясняют, что идеи социализма у нас потерпели экономический крах, и это, конечно, правда. Но крах потерпел не только так называемый марксизм-ленинизм, провалилась сама по себе более широкая идея социальной инженерии.

Политологи и экономисты обсуждают десятки общественных моделей, спорят, какая лучше и какую внедрять, совершенно не желая считаться ни с хозяйственной, ни с со-

циальной реальностью. Как ни поносят они Маркса и Ленина, как ни восхваляют Господа Бога и государя императора, они остаются большевиками. Большевизм ведь примечателен не идеалами — то банальными, то несбыточными, — а нерушимой верой в возможность по произволу, по схеме, изменить жизнь общества, не считаясь с тем, какие силы и тенденции развития в нем наличествуют. Всякое общество подвижно, никакая политическая сила не взирает на происходящее безучастно и, придя к власти, так или иначе корректирует складывающийся порядок. Но в XX веке появились силы, жаждущие **не корректировать, а декретировать** общественное устройство, и большевизм — самая могучая и самая упрямая из них, меняющая кожу, но не желающая признать очевидное поражение.

Нелепо спорить о «моделях», абстрактно рассматривая, скажем, «преимущества колхозного строя». Любовь нашего государства к огромным латифундиям явно противоположна тенденциям развития русской деревни, издавна тосковавшей по воле и земле. Ссылаются на то, что в Израиле утвердилась еще более полная форма обобществления — коммуна, киббуц, и не хотят замечать, что там ее утвердили люди, спасавшиеся от преследований, а наша коллективизация сама была преследованием. Вот почему идеалистическая коммуна выстояла, а компромиссный, дающий приусадебный участок колхоз оказался несостоятельным. Надуманная схема разбилась о социальную действительность.

Сегодня социальные инженеры предлагают упразднить национально-территориальное деление и в СССР, и в РСФСР, указывая на многонациональность Соединенных Штатов, «где все нации могут развиваться в любом месте страны и где нет отдельных административно-территориальных образований». И опять же забывают, что Соединенные Штаты — страна эмигрантов, сообща вытеснявших и покорявших коренное население, которое потому единственное и обладает закрепленной территорией, резервациями, что некогда владело всей страной. А вот негры, которым жилось не лучше, чем индейцам, территориально не обособились, поскольку, пусть в рабском положении, вместе с англичанами, французами, немцами, поляками, евреями, итальянцами и другими захватывали и заселяли страну. У нас же наоборот, империя сложилась прежде всего в ходе покорения московским государством других государств и народов. Эти народы в основном продолжают жить,

где жили, и сплочены не только общностью языка или религии, но и укладом хозяйственной жизни.

Судьба народов Севера, которым не отказывали ни в праве единогласно голосовать, ни в праве учиться в вузе (на вступительных экзаменах от них часто даже не требовали той подготовленности, какую требовали от других), определялась пренебрежением к своеобразию их способов понимать мир и хозяйствовать. Им даже покровительствовали, но отнимали право на самостоятельность и самозащиту, и этим купили. Сегодня то, что нанесло непоправимый ущерб народам Севера, Жириновский предлагает распространить на все народы Союза, а Гавриил Попов — на все народы России. Так закладывается бомба национального протеста — наряду с аграрной бомбой, — взорвавшая в 1917 году страну, которую не желали реформировать. Но люди, пришедшие после взрыва к власти, тоже не посчитались с реальностью и стали строить социализм. Не хотели считаться с обнажившейся несостоятельностью этой попытки и наши путчисты. Не хотят, как видим, считаться с реальностью и некоторые их противники, пришедшие к власти ныне.

Потому Алексей Кива и уверяет, что «власть либо сильна, либо терпит крах». Но чем сильна власть? Пушкин давно сказал: «Не войском, нет, не польскою подмогой, а мнением; да! мнением народным». Власть сильна разумными законами, сообразными с потребностями экономики и понятиями о праве и нравственности. У нас же силу власти понимают как возвышение исполнительной власти, культ личности начальника любого уровня, убежденность, что его благие намерения не следует стеснять законами. В результате, хотя бюджет утверждается городским советом, мэр города продает городские здания, чтобы пополнить бюджет. Подобным понятиям о праве Гавриил Попов дал объяснение: «Так как за этой властью устойчиво стоит только объединение передовых граждан, то в системе этой власти главная роль должна принадлежать не депутатскому корпусу, а руководителям исполнительной власти». Если же депутаты рискнут выразить исполнительной власти недоверие, даже двумя третями голосов, Попов требует перевыборов не только вызвавшего недоверие начальника, но и самого депутатского корпуса. Чтоб неповадно было не доверять! А ведь и коммунистическая партия именовала себя объединением передовых граждан, и от того, что таковыми себя объявляют люди, из нее вышедшие, ровно ничего не изменится. У граждан, счи-

тающих себя передовыми, коммунисты они, или бывшие коммунисты, или антикоммунисты, нет права командовать остальными. Претензии на это и составляют почву социальной инженерии.

Успех Ельцина на президентских выборах был ответом на его шаги навстречу реальности. Не очень последовательно, но все же первым среди стоявших наверху Ельцин признал, что благоденствие русского народа, обладающего всем, чтобы жить не хуже других европейцев, невозможно без освобождения от имперской ноши.

Избрание президента России побудило поспешить с переворотом тех, кто не желал даже жалких ново-огаревских уступок российской самостоятельности. Провал переворота вторично подтвердил привлекательность российской демократии. Но Александр Ципко заявляет: «Ельцину, российскому правительству придется взять на себя всю полноту ответственности за разрушенную российскую экономику». Вот ведь как — «всю полноту»! И не только на долю Сталина и Брежнева, но даже на долю Рыжкова и Павлова, сознательно разрушавших финансовую систему и подрывавших рубль, чтобы воспрепятствовать становлению рыночного хозяйства, ничего не осталось! Во всем виноват Ельцин, сидящий на президентском посту чуть больше ста дней! А дальше еще страшней: «...ни у Ельцина, ни у российских депутатов нет мандата на самороспуск старой большой России» (имеется в виду СССР. — П.К.). И Ципко требует срочно провести в РСФСР референдум и спросить, согласны ли народы РСФСР на отделение остальных республик. Судьбу Украины, Эстонии или Таджикистана не их народам, выходит, решать. Ципко фактически требует, чтобы Ельцин вступил на югославский путь, то есть отрекся от своей сложившейся политической репутации. Здесь ключ ко всему — самим ли людям решать за себя, исходя из реальности, или за них вправе решать «передовые граждане», вдохновляемые высокими идеалами социализма, самодержавия или расового превосходства.

Национальные проблемы столь остры у нас лишь потому, что в них претензия решать за других наиболее наглядна. Никто ведь на деле не собирается строить у хутора Михайловского на границе России и Украины китайскую стену. И в Печорах Эстония никаких односторонних действий не производит, лишь напоминает, что они были у нее отторгнуты в 1940 году, защищаясь этим от новейших претензий на

эстонскую Нарву. При демократических порядках национальные проблемы вскоре заняли бы свое, отнюдь не главное, место, тем более что все мы так или иначе нуждаемся друг в друге, идет ли речь о Российской Федерации или о Советском Союзе. Да с этим почти никто не спорит. Спор захватывает массы людей, когда определяется, быть нашим связям добровольными или принудительными, а без самостоятельности добровольности не бывает.

Лишь свобода и реальные гарантии личного достатка стимулируют труд при переходе к демократической экономике. Результаты перехода зависят от того, каким способом задыхающийся экономический монстр раздробится на действенные соревнующиеся единицы. Вообще, главное, что надо вынести из отечественной истории, — это сознание, что цель не оправдывает средства, но средства определяют итог движения к желанной цели, особенно к недостижимой.. Справедливо сказано: не может быть правой та цель, для которой нужны неправомерные средства.

Из-за неправомерных средств трансформация целей произошла после 1917 года и происходит в наши дни, когда, пренебрегая наличными социальными отношениями, решали благие вроде задачи. Приватизация, разгосударствление, превратились у нас в разграбление опять же потому, что реакционеры и даже либералы не желают знать, а демократы не имеют возможности широко говорить, что и самые передовые граждане не смеют присваивать то, что, пусть номинально, является всенародным достоянием.

Всенародное достояние нельзя произвольно раздавать избранным. Его надлежит возратить за давностью уже, понятно, не первичным владельцам, но по справедливости всем гражданам. Лишь вернув каждому его право на долю национальных богатств, которой он волен будет по своему усмотрению распорядиться, можно рассчитывать, что народ не сочтет приватизацию конфискацией, что изменятся социальные отношения, а не просто формы принуждения.

СВОБОДА — ОПОРА ПОРЯДКА

Все чаще звучит риторический вопрос: кто правит Россией? Никто, мол, не правит, страна развалилась. Прежде мы шли по узкой просеке, шаг вправо, шаг влево считался за побег, и все, кроме исполнения предписаний, запрещалось. Низовой партократ сам боялся разрешить лишнее. Он не столько правил, сколько передавал правящую волю. Когда же она завела в тупик, в поисках выхода разрешили разрешать. И правит уже не железная воля одного большого хозяина, а тысячи волей не столь больших. И вместо общего тупика мы упираемся в тысячи тупичков. Вот начальники и схватываются на людях, а нас уверяют, что прежде был порядок.

Между тем демократия состоит в том, чтобы поменьше править, все равно, запрещая или разрешая. Дело не за тем, чтобы в известном двусишии «Прошла зима, настало лето — спасибо партии за это» заменить партию на государство, церковь, национальный собор или кого-то лично. Сменой времен года ведает либо отец небесный, либо мать-природа, и нет людей, которым мы этим обязаны. Просто надо учиться на опыте, готовить сани летом, а телегу зимой.

Стоит считаться и с опытом общества. Демидовские заводы с крепостными рабочими не обеспечили России равенства с многократно обруганным Западом. Крымское поражение это обнажило. Пришлось дать людям волю, и подъем российской промышленности, который часто ныне поминают, отсюда и проистек. А землю не дали, отчего проистекли другие известные события.

Партия, не признававшая правовых ограничений, преследовала правозащитников, требовавших, чтобы на декоративных яблонях советских законов росли натуральные яблоки. Демонстрируя своим подвижническим примером несоответствие слова и дела советской юстиции, правозащитники сорвали личину прогрессивности с нашего феодально-абсолютистского социализма. Не зря их лидером стал творец водородной бомбы, понимавший, что одними заповедниками, вроде Арзамаса-16, где он работал, свое равенство Россия опять не отстоит, что люди должны обрести волю и землю. Но генеральные секретари были глухи, как цари, пока не уткнулись в последствия спада мировых цен на нефть и не взорвался Чернобыль. Сперва заговорили о перестрой-

ке, потом о реформах, но не слишком вглядывались в реальную расстановку общественных сил.

Центром политического спектра ныне провозглашен Аркадий Вольский, в прошлом руководящий работник ЦК КПСС, подобно Горбачеву понявший, что тоталитарная система нуждается в ремонте. Он тоже хотел бы ее отремонтировать, не задевая хозяйственных опор, как раз и определивших ее тоталитарный характер. Не зря директора заводов, переименованные в «товаропроизводителей» и требующие, чтобы государство оплачивало их никому не нужные или непомерно дорогие «товары», возлагают надежды на Вольского. Словом, «центристами» именуют спасителей прежней системы.

Твердокаменные большевики, объединяющиеся с национал-социалистами, нео-монархистами и открытыми черносотенцами, располагаются по одну сторону от Вольского, а по другую — именуемый демократом Румянцев, сочинивший конституцию, по которой любая страна вправе войти в Российскую Федерацию, но не вправе потом из нее выйти, и его единомышленники. А за ними, на самом краю официальной демократии, — президент Ельцин с Гайдаром. Их числят даже радикалами, не зря сталинисты и национал-патриоты требуют их отставки.

Во всем этом необходимо разобраться. Ельцин — первый законно избранный российский президент, и, если он здоров, не уличен в действительном преступлении и не подал в отставку, его досрочное смещение приведет к беззаконию. Это неопровержимо. Поскольку воля народа, проявившаяся в первом же туре выборов, державным патриотам не указ, приходится защищать правомочность президента во имя законности. Но это вовсе не означает, что Ельцин и Гайдар — радикальные реформаторы.

На выборах Ельцину помог не только его публичный разрыв с КПСС, тогда еще сильной, но и его прошлое секретаря обкома, обещавшее, что ущемления пособников прежней власти не будет. Надежда на внутренний мир и сегодня связана с ним. Ельцин у нас отнюдь не крайний, именно он, а не Вольский, на деле стоит в центре, и за ним должен бы просматриваться истинно демократический фланг. Между тем на политической арене такого фланга нет, он существует главным образом в умах граждан.

Это не покажется парадоксом, если вспомнить, что обладатель высшей власти всегда слыл у нас крайним вопло-

щением прогресса. Даже Сталина позволялось критиковать за чрезмерную доверчивость, «за гнилую веревочку», — подобные реплики раздавались на съездах и пленумах. Вот и ныне можно безнаказанно писать, что Ельцин — агент сионистов, но попытки объективного анализа его политики вызывают отпор, напоминающий не столь давние времена. Л.Радзиховский в «Огоньке» уверяет, что демократические критики правительства готовы обниматься с черносотенцами! Но неужто нет разницы меж стремлением вынудить государство оплачивать непродажную продукцию, поскольку иначе, дескать, рабочие останутся без зарплаты, и стремлением какое-то время зарплату рабочим платить, но не производить то, что не имеет платежеспособного спроса, и так сберечь энергию и сырье, стоящие больше зарплаты? Разве нет разницы меж стремлением председателей колхозов, переименованных в «аграриев», взвинчивать цены на зерно, мешая ради этого фермерам сдать их хлеб, и стремлением отстаивать правовое равенство коллективных и индивидуальных хозяйств и само право собственности на землю?

Колхозы создавались в противовес кулакам, потому и ликвидированным «как класс», что выращенный ими хлеб не хотели сдавать по заниженным ценам. Сегодня хлеб не хотят сдавать председатели колхозов, но и речи нет не то что о ликвидации колхозов, но хотя бы о прекращении субсидий заведомо убыточным. На все это закрывают глаза. Сцену заполонил пестрый феодально-абсолютистский фланг политического спектра, а другой, буржуазно-демократический, на сцену все еще едва допускается, да и то под псевдонимом.

Вольский, видимо, человек здоровый, но не так давно нами правили тоже вполне здоровые и сильные люди, Устинов и Андропов. Однако, выделяясь деловыми качествами, даже они не брали в толк, почему старик с бородой полагал, что без свободного человека и паровая машина по-настоящему не работает. А уж компьютер тем более требует свободного и полноправного человека.

Гайдар не ошибся, считая ключом к освобождению крепостного человека — деньги. Он только отвлекся от того, что при нашем феодальном абсолютизме, в отличие, скажем, от французского времен Тюрго, настоящих денег нет. Наши банкноты — лишь квитанции на получение предметов личного потребления, а не универсальный товар. Их стоимость в наличной форме на практике отличается от стоимости в безналичной, в которой они служат искусственным межпро-

изводственным расчетам, отчего перевод безличности в наличность и ограничивается. А поскольку, к тому же, все «фондируется» да еще неравноправно выдается разным территориям, фактически не существует единого внутреннего курса рубля. То его «укрепляют», задерживая зарплату, то толкают вниз, субсидируя бесплодные предприятия, но в любом случае падает реальная оплата труда, труд опять обесмысливается. А все оттого, что Правительство и Банк выясняют меж собой то, что дано выяснить лишь спросу и предложению. Деньги создает рынок, а власть — лишь условия для существования того и другого. Этих-то условий поныне нет.

Гайдар не ошибся, сочтя, что одно из условий — свободные цены, но, опять же, и цены на деле свободны лишь в кругу конкурирующих производителей, а при тотальной монополии они лишь произвольны и к желанному эффекту, то есть к настоящим деньгам, не приводят. Нас уверяют, что «рубль заработал», что «хоть все и дорого, но все можно купить» и предприятия тоже «хотят иметь деньги». Но купить, при деньгах, можно дорогие ликеры или икру, а хлеб, картофель, масло и прочие элементарные продукты при все растущих ценах далеко не всегда есть на петербургских прилавках. Предприятия не расширяют производство того, на что есть спрос, чтобы, при свободе цен, зарабатывать деньги, - напротив, его сокращают. А деньги просят у бедного Гайдара либо за так, либо за продукцию, не имеющую спроса. То-то и оно, что наши деньги своей природы не изменили и остаются формой распределения, а не эквивалентного обмена.

Тоталитарное государственное хозяйство, живущее волевыми перераспределениями, по сути своей — хозяйство натуральное, а не товарное, и наши деньги такая же декоративная яблоня, как наши законы. Оттого и производственные связи держатся волей общего владельца, государства, а не товарными отношениями. Пока государственная собственность не отступила перед индивидуальной и групповой, у большинства предприятий нет другого способа жить, кроме как соблюдать предписанные связи и, не имея платежеспособного спроса, просить субсидии, то есть разорять страну, наращивая инфляцию. А если нефтедоллары иссякли и покрыть ее нечем, государству приходится грабить население. Это не злодейство Гайдара, а свойство тоталитарной системы, на которую он не посягнул.

Уверяют, что никогда и нигде не совершался переход, подобный предстоящему нам. Это верно лишь в отношении размеров России и абсолютности нашего тоталитаризма. А так-то весь цивилизованный мир как раз перешел от внеэкономического хозяйствования к экономическому. Даже тоталитарная Венгрия, благодаря Кадару, совершает сегодня этот переход чуть легче, чем братские тоталитарные страны. России такой путь КПСС не раз перекрывала, и очередной вопрос «Что делать?» возник уже у края пропасти. Вот наши реформаторы Горбачев с Рыжковым и Павловым или Ельцин с Гайдаром и замыкаются на повышениях цен и ликвидации личных сбережений, сваливая на рядовых граждан расходы не то что даже по преобразованию, но по прозябанию общества, оплачивать которые надо бы государству, долгие годы разорявшему страну. Фактически под флагом реформы ныне расчищается дорога для реставрации прежней системы, обновляющей разве что идеологическое покрытие.

Дело не в личных ошибках. Будь на месте Гайдара Явлинский или даже Пияшева, четче других обозначившая желанные перемены, трудно ждать успеха там, где народ в преобразовании общественного строя практически не участвует, пребывая лишь страдающим объектом. Его политическую активность умерила вовсе не погоня за куском хлеба, как нам внушают, а растущее недоверие к реформаторам, не проводящим реальных реформ, все острее необходимых. Аполитичность растет в первую голову оттого, что на политической арене не видать демократической оппозиции правительству, а от лица народа глаголят разноцветные персонажи советского абсолютизма. И печать, и радио, и телевидение только их и зовут оппозицией.

Гайдара бранят за то, что реформы захлебнулись, а бранить бы надо за то, что они не начинались. Но как его бранить, когда он ощущал сопротивление промышленных феодалов, но не испытывал давления сторонников подлинных, а не словесных, перемен. Сработало старое правило: единство важнее идей и идеалов. Совокупным номинальным владельцам общегосударственной собственности положено быть заодно. Но собственность отдельных людей и отдельных коллективов, к которой как будто стремится российская демократия, требует не единства, топящего в себе любую здравую мысль, а взаимности, взаимодействия, в котором соперничество и сотрудничество переплетены и поддержи-

вают друг друга. Вне постоянной критической зоркости лучшие призывы, вырванные из контекста, могут, как мы убедились, повести в противоположную желанной сторону.

Вот и приватизационный чек, конечно, способен преодолеть диктатуру государственной собственности. Но опять же стоимость его наперед установлена по ценам на 1 января 1992 г., а цены на имущество будут нынешние, возможно, даже аукционные, и чек растет. А главное, разгосударствление имеет смысл лишь основательное, чтобы в итоге сложилось множество независимых, экономически самостоятельных хозяйств. Ведь если даже 49% акций предприятий перейдет к гражданам, но 51% останется у государства, мало что изменится, ибо право собственности — это право принимать решения. Когда же их будет принимать государственный держатель контрольного пакета, порой не превышающего и 20%, когда ключевые области хозяйства будут оставаться в руках государства, приватизационный чек, подобно свободным ценам, обратится в декоративную яблоню, не приносящую плодов. С помощью чек можно от феодального социализма перейти к государственному капитализму, не чересчур от него в нашем случае отличающемуся, можно — к первоначальному, дикому капитализму, а можно — и к современному, предполагающему серьезные социальные гарантии. Итог определяют не декларации о намерениях, а масштаб и характер преобразований. Покамест приватизация клонится то к первому, то ко второму варианту, но не к третьему, возможному лишь на демократической почве.

Демократия, в отличие от диктатуры, это способ учета реальности и социальный компромисс на ее почве. Экономическое хозяйство, в отличие от внеэкономического, тоже держится компромиссом. А людей по-прежнему делят непримиримо на «наших» и «не наших», и без публичной демократической оппозиции грань меж справедливой борьбой за свою свободу и несправедливым посягательством на свободу другого стала неразличима. Да и правительство, атакуемое лишь с одной стороны, теряет ориентиры.

Куда же подевались демократы? Переродились, говорят! Но разве Сергей Ковалев не тот же, что был? А если называть демократами Амбарцумова, Власова, Румянцева, Станкевича, Хасбулатова и иже с ними, не вернее ли думать, что не они переродились, а избиратели в них не разобрались? Избиратели верили самоназваниям. Но не говоря уже о либеральном демократе Жириновском, демократом

себя называет и Аксючиц, блокирующийся не то что даже с Вольским, а прямо с генералом КГБ Стерлиговым, заявляя притом, что к старым структурам он не причастен. А «Московские новости», публикуя интервью с Аксючицем, что совсем неплохо, в справке о нем умалчивают, что в бытность студентом и аспирантом философского факультета МГУ нынешний христианский демократ все же состоял в КПСС.

Важно и другое. Открытое признание кризиса в стране, уверявшей себя и других, что она идет от победы к победе, многих побудило произносить демократические лозунги. Конечно, наблюдая, как Съезд народных депутатов, вопя «Держава! Держава!», улюлюкал Сахарову, можно бы понять, что демократии еще предстоят испытания. Вскоре Крючков, Шенин, Бакланов, Варенников, Янаев и кто там еще напомнили, какая против нее сила. Затем и выводили танки на московские улицы, чтобы всем было видно. И поскольку коммунистических реставраторов остановили под знаменем демократии, правящие центристы, отбросившие марксистско-ленинские словеса, оказавшись у власти, уже не могли оттягивать перемены прежними методами.

Тут и начались испытания. Демократические понятия были, казалось, у всех на слуху. Но на деле в Верховные Советы и на Съезды изначально не так уж много было допущено сторонников перемен. Обнаружилось также, что, хоть цензура и отменена, монопольное владение бумагой, типографиями и каналами информации служит отнюдь не тем, кто хочет глубоких реформ. Шумно обсуждая право Макашова и штурмовавших Останкино обвинять студию и правительство в измене державе, никто не вспомнил, что свобода слова предполагает эфир и для тех, кто считал и телевидение, и правительство, по-прежнему сверх меры державными.

Гласность была доступна истинным демократам, покуда их голоса тонули в хоре. А когда должны бы зазвучать разные партийные программы и мнения по-разному думающих людей, стало выясняться, что такая возможность, доступная не одной власти, но и оголтелой реакции, отнюдь не столь же доступна демократии, и считать изобилие коммунофашистских листов свидетельством свободы слова – опрометчиво.

Реформы буксуют, но все громче требования навести порядок. Наивно не видеть связь одного с другим. Вот и не забудем, что при демократии залог порядка — порядоч-

ность, без которой невозможно здоровое хозяйство. А старому или новому внеэкономическому порядку без стрельбы не уцелеть. Ее разнообразие невелико: если не в застенках, то на улицах.

АНТИСЕМИТИЗМ XX ВЕКА

Если уточнять название нашего конгресса «Антисемитизм в пост тоталитарной Европе», начать бы надо не со слова «антисемитизм», достаточно ясного, и даже не со слова «Европа», но со слова «пост-тоталитарный». Не знаю, в какой мере перемены в Чехословакии позволяют прилагать его к ней, но у нас по-прежнему господствует государственная собственность, а она и есть самая полная форма контроля государства над обществом, каковую и зовут тоталитаризмом. Конечно, наш тоталитаризм испытывает глубокий кризис, но отбросив, как ящерица хвост, марксистско-ленинскую идеологию, он не изменил свою природу. Президент России прав, сказав, что ему в затылок дышат красно-коричневые. Но переход красного в коричневое начался не сегодня. Были и «дело врачей», и «борьба с космополитами», и статьи «Правды» об англо-французских поджигателях войны и о жаждающей мира фашистской Германии, с которой мы делили Польшу.

Я не думаю, что красное и коричневое изначально идентичны, что всякий протест против реакции, против самодержавия, обречен обернуться фашизмом. Напротив, я с ужасом наблюдаю, как, вернув городу, где я живу, имя Петербург, стали переименовывать улицы, носившие имена Герцена и Лаврова. В той мере, в какой европейские социал-демократы считались с объективностью стоимостного хозяйства и демократическими нормами, они сыграли важную роль в формировании социальных гарантий и, тем самым, в процветании либеральной Европы. Однако там, где во имя каких-то идеалов одни люди брали себе право решать за других, удерживая тех в повиновении насилием, красное сразу коричневело, хоть и не все различали нараставший оттенок.

Говорят, что нынешний антисемитизм — воздаяние за любовь евреев к красным. Так говорит «Память», вторя нравам КПСС, но без марксистской обертки, которая, как и самый портрет еврея с бородой, пришла в очевидное противоречие с возвращенными под портретом плодами. Конечно, евреи, подобно латышам, армянам, полякам и другим угнетенным народам царской России, сочувствовали либеральным переменам. Однако ассимиляция евреев, начавшаяся задолго до революции, не имела политической окраски и была

вызвана буржуазными реформами Александра II, побудившими народы России к более тесным отношениям.

Пейзажи Левитана запечатлевают не только красоты русских ландшафтов, но и самосознание русского еврея, ощущающего эти красоты родственными, ощущающего страну, в которой он бесправен, отечеством. Участие множества ассимилированных (и евреев, и немцев, и грузин, и поляков) в русской жизни, хоть и не обязательно выражалось любовью к пейзажам, было не менее полным. Царская власть чертой оседлости и процентной нормой отчуждала евреев от культурной общности со страной, где они жили, а религиозное отречение в качестве входного билета даже и неверующему представлялось не слишком нравственным. Но уже Февраль снял искусственные ограничения, и множество евреев приобщилось к русской культуре, а для их детей она была единственной и, тем самым, родной.

Как ни расценивать ассимиляционный процесс XX века, он не ориентировался на красный цвет, и сочувствие евреев либеральным переменам отнюдь не толкало большинство их сочувствовать большевикам, Октябрю и разгону Учредительного собрания. Не меньшее их число симпатизировало эсерам, еще большее меньшевикам и кадетам. Жертвами Октября евреи соответственных сословий были не в меньшей мере, чем люди других национальностей, а сверх того оказывались и жертвами погромов, которые учиняли не только белые, но порой и красные. Ликвидация НЭПа была не только антикрестьянской в деревне, но во многом антисемитской в городе. Именно после нее антисемитские настроения среди бравшей верх части большевиков выходят на поверхность, и любители подсчитывать процент евреев могли бы убедиться, что среди павших в годы большого террора он непропорционально высок – и не только за счет старых большевиков. Приверженностью евреев к красному цвету антисемитизм объяснить невозможно – у большинства не было этой приверженности, а приверженность либерализму красному цвету скорее враждебна.

Не убедительнее и уверения, что антисемитизм вызван якобы биологическими отличиями евреев от всех других народов. Различия между евреями разных стран адекватны различиям между коренным населением этих стран, и у китайских евреев наличествует эпикантус, третье веко, признак желтой расы. Старый традиционный антисемитизм, конечно, был обращен против иного человека, но человека

иной религии, иной социальной жизни, а не иной крови, что подтверждалось и открытой тогда возможностью выйти из еврейства, приняв крещение. В старину антисемитизм опирался не на биологические отличия, но, при всех его специфических ужасах, вписывался в общую картину религиозных и социальных распрей средневековья и древности. Уже в XIX и особенно XX веке возникает новый антисемитизм. Вот и надо понять природу этой новизны.

Крушение феодального абсолютизма с его внеэкономическими нормами и переход к стоимостным отношениям, особенно после промышленного переворота, вели к возрастающей интернационализации хозяйства. Оттого и вращались в жизнь преобладающего населения издавна жившие рядом евреи. Для них выход из замкнутого мира средневекового гетто, не сопряженный притом с моральными жертвами, означал, как и для крестьян и для цеховых мастеров средневековья, обретение свободы. В новом мире еврей тоже мог проявить себя как индивидуальность, а не только как член определенного сословия, каким еврейство фактически было в мире феодальном.

Стоимостное общество, начиная с первой революции, Нидерландской, поднявшейся против Испанской феодальной империи, утверждало себя как общество национальное. Но национальное тогда понималось прежде всего как территориальное. При объединении Германии Бисмарк не выдвигал лозунга «Германия для немцев», и евреи, как известно, активно поддерживали Бисмарка, видя в углублении буржуазного развития упрочение своего равноправия.

Уже в ту пору их сочувствие переменам служило поводом к отождествлению евреев, как народа, с буржуазией. Маркс, утверждавший, что в буржуазном обществе еврей становится буржуем, полагал, что обретение евреями равноправия возможно лишь при освобождении общества от буржуазии, с которой он, играя двусмысленностью немецкого слова *Judentum*, отождествлял еврейство. Не зря его ранняя работа «К еврейскому вопросу» вошла в число обязательных при изучении марксизма-ленинизма в СССР как раз при развертывании антисемитских кампаний. Между тем в стоимостном мире евреи становятся не столько предпринимателями, сколько работниками наемного труда — ремесленниками, рабочими, техниками, инженерами, врачами, адвокатами, музыкантами, научными работниками. А если их мало среди крестьян, то потому, что во многих странах, и в

частности в России, им запрещалось владеть землей, что и вынудило большинство их жить в городах и городках. Вопреки Марксу, евреи в большинстве сочувствовали либеральным переменам потому, что в буржуазном обществе они, как пролетарии, могли свободно продавать свой труд. В этом и был залог их равноправия.

Однако и в новом мире уцелевшие феодальные силы стремились внеэкономическим путем отстоять свои привилегии, и знаменитое дело Дрейфуса не случайно направлено именно против офицера. Антисемитизм и в буржуазном обществе остался способом защиты сословных привилегий. Однако если прежде это было сообразно с общим сословным делением, то теперь противоречило правовой структуре, а главное, стоимостному обществу, дано терпеть внеэкономические привилегии лишь до известного предела, — пока они не извращают характер общества, что ущемляет, к тому же, не одних евреев,

Гораздо существеннее такие привилегии стали при феодальной реакции и, особенно, при сменяющем ее феодально-социалистическом абсолютизме. Антисемитизм перерастает там в способ общего наступления на стоимостные отношения, задевающего, опять же, не одних евреев, но их наиболее резко, поскольку, в отличие от других народов, они не сосредоточены на особой территории, а внешних отличий в силу их глубокой ассимилированности, да еще при изобилии смешанных браков, практически не остается, — вот и приходится фиксировать эти отличия в пятом пункте анкеты. И этот пункт становится важнее таких показателей, как стоимость, производительность труда и его качество, на которых держится буржуазный мир.

Это проступило не вдруг. Лишь немецкий национал-социализм сразу выдвинул расовую программу. В итальянский фашизм или русский большевизм, возникшие раньше, евреи поначалу охотно допускались, но по мере самоопределения и самопознания этих движений, достигших власти, ими тоже отторгались. Антисемитизм — не свойство немцев, арабов или русских, но свойство нефеодальных систем, и, наблюдая их, можно, даже если сперва они не таковы, безошибочно прозревать их будущий крен к антисемитизму. Александр Блок еще до революции писал о своей стране:

И однозвучны стали в ней
Слова «свобода» и «еврей».

Написал вроде бы даже сетуя, что оно так, поскольку и сам не вполне был свободен от антисемитских влияний, и все же признавая, что слова эти в России неразлучны.

В центре Петербурга, на Невском у Гостиного двора, можно видеть призывы к изгнанию и убийствам евреев и приобрести сочинения гитлеровских идеологов Розенберга и Геббельса и самого Гитлера. Все эти действия, выходящие за пределы закона, не пресекаются властью. Эта власть избегает и реальных стоимостных реформ, провозглашаемых, но подменяемых ограблением граждан в пользу государства, осуществляемым сперва Рыжковым, затем Павловым, а ныне Гайдаром. Новый антисемитизм, непосредственную опасность представляющий, разумеется, прежде всего для евреев, метит гораздо дальше. Его цель — отвержение стоимостных реформ и сохранение государственного диктата.

Ненависть к еврею на деле плодят не весьма условные расовые особенности и не рассказы об еврейском заговоре, лживость которых очевидна, а то, что еврей, «человек воздуха», по своему социальному положению, особенно после наглядной неудачи обольщенных большевистским путем в номенклатуру, являет собой образ свободного человека, готового к стоимостным отношениям. Замученный дискриминацией, он особенно дорожит свободой, надобной всем без исключения народам страны, начиная с русского, который к ней ничуть не менее способен, — еще Петр I заметил, что один русский четырех евреев обойдет, — но который по-прежнему вводят в соблазн внеэкономических решений, уже не раз народ обманывавших и выгодных лишь стоящим в раздаточной. Еврея сегодня преследуют, чтобы другим было не повадно претендовать на свободу. Не зря русским, хоть слово молвившим в пользу демократии, не исключая даже Ельцина («Эльцина!»), тут же отыскивают еврейское происхождение или связь с евреями. Понятно, что реальным евреям от этого не легче, и они толпами покидают родину. От потока экономических эмигрантов их надлежит отличать не только потому, что они бросают нажитое за жизнь жилье и имущество и, как правило, теряют профессию, но, прежде всего, потому, что их, в отличие от экономических эмигрантов, на родине окружает открыто выплескивающаяся ненависть и прямые угрозы на улицах, в газетах, по телевидению, в письмах по домашним адресам. Эта ненависть движет, конечно, явным меньшинством русского народа, но

ведь и не большинство немецкого народа желало Освенцима.

Возможность выезда — несомненное благо. Участь беженца, сколь она ни трагична, несопоставимо лучше газовых камер или массовой депортации в Сибирь. Но следует видеть, что нарастание угрозы, подталкивающей к бегству, при благодушии властей фактически означает решение еврейского вопроса по польскому образцу, то есть изгнание. Никакие показательные мероприятия, вроде празднования Хануки в Кремле, или даже улучшение внешнеполитических отношений России с Израилем, заслонить совершающееся изгнание не могут. И ведь совершают его, так сказать, умеренные, а заядлые антисемиты еще этих умеренных осуждают за предоставление евреям возможности ускользнуть от «народного суда» по известным образцам.

Но для множества ассимилированных евреев трагична уже сама необходимость покидать страну родного языка и «отеческих гробов». Когда я получаю письмо: «Грязная жидовская морда, убывай быстрее в свой поганый Израиль или мы изготовим из твоей вонючей шкуры прекрасный абажур. Жидам не место в России, место жидов в крематории. Россия для русских! Русские», а представив его в прокуратуру, получаю невнятные ответы от пересылающих его друг другу прокуроров и, наконец, когда письмо пересылают в КГБ, не получаю никакого ответа, я не могу воспринять все это иначе, как сознательное стремление государства лишить меня отечества и возможности заниматься своей работой. Всю жизнь я сопротивлялся такому давлению, но с каждым годом это трудней, и меня охватывает отчаяние, поскольку я сознаю, что при моих занятиях русской поэзией, переводами из германских литератур и интернациональным искусством балета отказ от космополитического восприятия мира, которым я, вопреки господствовавшей идеологии, жил, для меня невозможен. Я сознаю, что Израилю я с моим образом мыслей — только обуза, только иждивенец, а по отношению к стране, живущей так сложно, это как-то даже и неловко.

К тому же я сознаю, что изгнание евреев — лишь авангардный бой против перемен в России, что вытеснение евреев из культурной жизни Москвы и Петербурга, как некогда Вены и Берлина, точно так же направлено на то, чтобы умалить их значение как культурных центров, противостоящих тоталитарному государству. Но цивилизованный мир, так много сделавший для обретения права на выезд в Израиль

и справедливо выступающий в защиту религиозных прав ортодоксального еврейства, глух к судьбе ассимилированного еврейства, быть может, еще более показательной для оценки перспектив нашей страны.

Примечательно, что российский антисемитизм объявил своим главным врагом сионизм, который, в отличие от других национальных движений, не вмешивается в российские порядки, лишь бы они не препятствовали выезду в Израиль. Однако сионизм, как ни относиться к нему по существу и хотел он того или не хотел, показал пример практической борьбы за спасение обреченных нацизмом на гибель, а такой пример внушает надежду не одним евреям и подрывает не только имперскую, но всю вообще внеэкономическую сущность тоталитарного государства. Даже в сугубо национальной и чисто оборонительной форме стремление избавиться от антисемитизма обретает социальный смысл. Поэтому, сколько ни кричат крайние израильские шовинисты о правоте русских шовинистов, те лобызаться с ними все равно не хотят. Антисионизм и антисемитизм продолжают даже там, где евреев-то не осталось, как в Польше, но продолжается спор о том, как стране жить дальше, спор тоталитаризма и демократии, внеэкономических и стоимостных отношений. Если старый антисемитизм был опасен лишь евреям, то новый, антисемитизм хрустальной ночи и дела врачей, опасен всему человечеству, ибо стал знаменем феодально-социалистического абсолютизма.

Еще в прошлом веке ощущение, что участь евреев сказывается на судьбе страны, где их преследуют, возникало даже у людей, которых не заподозришь в сострадании. После варшавского погрома Александр III выговаривал генерал-губернатору Гурко: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но позволять это ни в коем случае не следует». Наш век многократно подтверждал царские опасения, но исторические уроки не идут впрок. Вот антисемитизм у нас и процветает.

НЕ ЗАПУТАЙТЕСЬ В КУЛИСАХ ВЛАСТИ

Все нынче за реформы, не уточняя, за какие именно. То ли на китайский манер - экономические без политических, то ли на горбачевский, — политические без экономических. Но ни те, ни эти, по отдельности не помогут. Не только потому, что вообще политика неотделима от экономики, но и в силу особых свойств нашего, так называемого социалистического строя.

Часто вспоминают ленинские слова: «Главный вопрос всякой революции — это вопрос о власти». А это главный вопрос только ленинской революции. Главный для всякой другой — вопрос о собственности, о ее правовых гарантиях. Ленинская революция свелась к тому, что власть отказалась гарантировать собственность и сама ею всецело завладела, отождествилась с ней.

Но хозяйство при этом вели либо по принципу «дирекция не щадит затрат», либо прямым насилием, то есть не щадя «человеческого материала». На этих путях наша родина добивалась порой впечатляющих эффектов, которые, если честно сосчитать, обошлись втридорога.

Беда не в том, что сталинские и позднейшие чиновники были плохи — среди них попадались блистательные таланты. Означенными методами они достигали больших результатов на отдельных участках, прежде всего в военном производстве. Что остальное рушилось, была не их забота.

Можно бы и загодя сообразить, что такое хозяйство станет самоедским, самоубийственным. Но до наших начальников это впритык доходило лишь с середины семидесятых, когда стал падать жизненный уровень, прежде подерживавшийся импортом, получаемым за сырье.

Не потому Сталин тиранствовал, что был не русским или плохо знал Маркса («Капитал» явно не прочел!), а потому, что глава монопольного хозяйства, живущего произволом, пренебрегающего ценностными отношениями, только и может быть кровавым палачом, иначе такое хозяйство остановится. Он вынужден непрерывно разорять и ущемлять свою страну и сограждан. И покорять чужие страны, поскольку богатства даже России, не бесконечны.

Ландскнехтам заплатили

Рыночной реформой ныне объявили произвольное взвинчивание монопольных цен. А изменить жизнь можно,

лишь отказавшись от прежних методов хозяйствования и восстановив ценностные отношения. Однако такой поворот страшит не только сотни тысяч начальников на теплых местечках, но и десятки миллионов честных тружеников, привыкших к более чем скромному, но гарантированному минимуму и не задумывавшихся о том, что советское государство пожирает страну, а нас кормит объедками.

Люди не брали в толк ни того, что батон на деле стоит много больше 13 копеек, ни того, что они с легкостью покупали бы этот батон по настоящей цене, если бы по настоящему оплачивался их труд. Эту инерционную жизнь не следует числить виной и требовать от народа покаяния.

Люди всегда пассивны там, где активных не охраняет ни обычай, ни закон. Инициатива у нас всегда была наказуема, и опасение, что высовывающихся ждет новый ГУЛАГ, если не мгновенная расправа, не выветрится, куда верховный орган власти вправе в одну минуту пересмотреть любую статью конституции. Пора осознать, что пришла расплата за страх, за политическую индифферентность, за то, что «мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Испанец Мартинес де ла Роса писал: «Ландскнехт не зря лежит в могиле. — Ему за это заплатили».

Вот и мы проели отечество. А нас все зовут к былым самоедским порядкам, хоть легкодоступных запасов сырья и людей уже не осталось.

Трудно не быть государственным

Крушение хозяйства объясняют радикализмом Горбачева или Ельцина, на деле как раз уклонявшихся от коренных перемен. Спасение ищут в усилении государства, хоть все несчастья от гипертрофии государственности.

Само собой отмирание государства, ожидавшееся Марксом, или его упразднение, которого требовал Бакунин, не могут всерьез рассматриваться как актуальные задачи. Без государства обществу в обозримые времена не обойтись, и в этом смысле невозможно не быть государственным.

Но нельзя уже не видеть, что для развития общества большинство функций государства, должно перейти к общественным и частным инициативам, и, прежде всего, необходимо отделить от государства хозяйство.

Разумеется, за государством должно оставаться и поддержание финансовой стабильности, и обеспечение независимого судопроизводства, и содержание армии, как органа

внешней самозащиты, и содержание полиции как органа поддержания порядка, и социальная защита, включая помощь безработным, старикам, детям и больным, и содействие просвещению и культуре. Разумеется, все эти сферы должны быть эффективны и в этом смысле государство должно быть сильным. Спорить вроде не о чем.

Но на деле спорят не об этом. Спор идет о том, довольствоваться ли государству своей немалой, но не безграничной сферой или, по-прежнему, быть неограниченным властелином всего и вся.

Пока на любой шаг, не запрещенный Законом, всякий раз требуется специальное соизволение очередного чиновника, вносящего к тому же в закон свои оговорки, мы остаемся во власти привычной государственной монополии. За нее-то и ратуют декламирующие о сильной государственности, о всевластии советов, ибо московские квартиры депутатов и даже тайные доходы коррумпированных бюрократов — мелочи на фоне особого положения нашей власти, коллективно присвоившей право распоряжаться номинально всенародным имуществом и конкретными судьбами ста пятидесяти миллионов его хозяев.

Столыпин, как Дэн Сяопин самодержавия

Наивно ожидать, что нынешние властители, вышедшие в большинстве из того социального слоя, который создал Сталин, всерьез захотят изменить социальный строй. Номенклатура лишь раскололась на трезвую, сознающую, что запасы съедены, и оголтелую часть.

Но и самые трезвые способны думать не о новом строе, но лишь об усовершенствованиях старого — как Горбачев о надеждах «пражской весны» или Ельцин об упразднении прежней идеологии. Оба они, конечно, способствовали общественному прогрессу. Но осуществление этого прогресса требует не просто смягчения феодально-социалистического абсолютизма, а отказа от него, изменения господствующей формы собственности, и подобную перемену обычно не под силу совершить прежним господам.

Точно так же реформы Александра II, желавшего лишь смягчить феодальный абсолютизм, тоже встретили сопротивление большей части правящего класса и были урезаны. Да и позднее, в 1903 году, желавший такого смягчения Витте ушел в отставку из-за отказа Николая способствовать частному крестьянскому землевладению. Вскоре вспыхнула ре-

волюция, но Николай отверг и аграрные реформы, предложенные Первой Думой. Только Столыпин, как Дэн Сяопин, зарекомендовавший себя безусловным сторонником существовавшего строя, смог начать ограниченную аграрную реформу, обреченную, однако, уже потому, что его здравые экономические стремления не соотносились с реакционными политическими. Он надеялся осуществить реформы, опираясь на противников реформ, первым из которых был сам царь, и дело кончилось трагично не только для Петра Аркадьевича, но и для России.

Неразрешенный аграрный вопрос стал почвой, по которой миллионы мужиков пошли потом за Лениным, не смутившимся тем, что пролетарскую революцию совершали крестьяне. Примечательно, что нынешняя печать, не спешащая помянуть добрым словом ни Первую Думу, ни Витте, ни Великого Князя Константина Николаевича, еще в 1866 году составившего конституционный проект и активно способствовавшего крестьянской и судебной реформам, ни даже самого Александра II, захлебывается от восторга, поминая не только Столыпина, но даже Николая II, больше всех мешавшего установлению назревшего буржуазного порядка и тем объективно поощрявшего установление нефеодалного советского.

Подобная опасность существует и сегодня. Если назревшие и даже перезревшие перемены не совершаются мирно, общество взрывается революцией, последствия которой вопреки Марксу и Ленину отнюдь не predeterminedены быть благими, но способны и повернуть общество вспять.

Уклонение сперва Горбачева, а теперь и Ельцина от коренных реформ чревато новой революцией, их упрямство и неторопливость могут оказаться столь же пагубны, как в свое время упрямство Николая и неторопливость Керенского. К тому же, у нас еще даже не признано, что легитимность власти определяется не связью ее с предшествующей, но демократичностью народного волеизъявления.

После Февраля все-таки понимали, что конституцию свободной России надлежит создавать не Государственной думе, а Учредительному собранию, которое Ленин потому и разогнал, что понимал легитимную значимость его решений. А нам внушают, что новую конституцию должен принимать старый самодержавный съезд.

Да и вроде бы альтернативное ему Конституционное совещание при президенте немногим лучше, даже если его

проект будет вынесен на референдум. На референдуме народ сумеет сказать лишь «да» или «нет», не входя в детали, а в конституции важны детали, оттого и надлежит ее создать и утвердить специально избранным народным представителем, не претендующим на власть.

Мелкими суверенами легче править

С конституцией, то есть с преобразованием политического строя, происходит то же, что с приватизацией, то есть с преобразованием экономического строя. Провозгласили разгосударствление собственности, роздали, хоть и не сразу, ваучеры, - казалось бы, хорошо, - а собственность по ваучерам раздавать не торопятся, уходит она боковыми путями.

Выход из тупика, в который зашло советское государственное хозяйство, ищут в дроблении его по меньшим территориальным зонам, которыми легче править внеэкономически. Многие республики, провозгласив себя суверенными, сохранили прежние методы хозяйствования. Печальный опыт несостоявшегося преобразования имперского Союза в содружество равноправных все еще не учтен Российской Федерацией.

В России существует двадцать одна республика, в соответствии с правом народа на самоопределение претендующая на суверенитет в пределах федерации. Их народам и впрямь принадлежит суверенное право решать, хотят ли они и дальше жить в общем с русским народом государстве и на каких началах. Эти автономии, конечно, должны быть полноправными субъектами Российской Федерации. Но у административных областей, расчерченных Сталиным, нет права на самоопределение, таковым обладают только все русские земли вместе, как целое.

Напрасно население Петербурга проголосовало за статус республики. Наш прекрасный город даже формально не может претендовать на отделение от остальных русских земель, только на статус «вольного города», имеющего дополнительные права. Еще нелепей вологодский и подобные ему «суверенитеты». Само собой, в условиях свободной экономики муниципальные власти должны обрести самостоятельность и решать свои дела, не спрашиваясь у центра, однако непременно в рамках единых для русского субъекта федерации законов.

Не только центру надлежит отказаться от монопольной собственности на производство, но и местные власти не

смеют на нее претендовать и тем более препятствовать свободе экономических и других связей внутри федерации и во всяком случае внутри ее русского субъекта.

Никаких прав на отслоение от России у административных областей нет. Другое дело, что в федеральных представительных органах огромному русскому субъекту федерации, конечно, положено больше места, чем другим, и его посланцы должны представлять не только центр, но и непосредственно регионы.

Непатриотичный патриотизм

О развале России говорят, удивительным образом имея в виду наследство империи, прежние союзные и нынешние автономные республики, но обходя сепаратизм русских областей, к тому же мелких и дробных. И, главное, совсем упускается из виду, что цель этой новой феодальной раздробленности — сохранение в большинстве областей феодально-социалистических порядков.

А ведь как раз преодоление таких порядков, влияние обретшего экономическую свободу и оттого эффективно развивающегося русского субъекта федерации, побуждало бы автономные и прежние союзные республики, да и другие государства, если не всегда к прямому ассоциированию, то к взаимовыгодному, равноправному сотрудничеству с Российской Федерацией. К ней бы тянулись, а не спешили от нее отделаться. Она держалась бы не кровью русских солдат, а смекалкой русских купцов. Но об этом не думают.

Русский патриотизм и национализм приняли в наши дни особенный характер. Не счесть патриотов, безумно любящих Россию в Будапеште или Кабуле и равнодушных к тому, что туда посылали умирать солдат из Рязани или Перми, да и в Рязани или Перми сочувствующих главным образом заботам переодевшегося старого начальства о сохранении прежнего порядка. Сложился анти-национальный национализм, сложился патриотизм, готовый жертвовать своей страной во имя своей империи.

Памятная атака съезда народных депутатов на Сахарова была наглядным выплеском имперского патриотизма против патриотизма в прямом смысле, против заботы о родной земле и ее людях. Этим имперским патриотизмом дышат не только откровенные фашисты, но и те, кто вчера еще произносил слова о пролетарском интернационализме и тогда, впрочем, уже служившие прикрытием великодержавного

шовинизма. А все потому, что стоят они все за одно — за абсолютизм, под каким бы знаменем он ни выступал: красным, или черно-желто-белым — это для них вопрос тактики.

Конечно, и мир экономической свободы полон противоборств, но в нем установились реальные социальные гарантии, позволяющие разрешать противоречия по преимуществу без прямого насилия. И о партиях всерьез говорить можно, только выяснив отношение избирателей к их программам, иначе это тоже показуха.

Но соотнесение партийных программ в парламенте открывает возможности для необходимых компромиссов между разными стремлениями в народе, а иначе возможен лишь сговор между разными властями, народные стремления слабо отражающими.

Чтобы самостоятельно решать свою судьбу, людям надо выбирать меж четко различающимися политическими программами, предполагающими разные экономические варианты. В правомочности миллионов избирателей совершать такой выбор — залог спасения страны.

А наши реакционные повороты — и свертывание нэпа, и коллективизация, и массовые расстрелы, и союз с Гитлером, и ввод войск в чужие страны, и вытеснение шестидесятников в диссидентство, и многие нелепости наших дней — определялись не волей народа, а за кулисами власти, и опасность этого не прошла.

ИЩУ РУССКОГО НАЦИОНАЛИСТА

Товарищ Сталин учил, что в национальном вопросе у партии есть два противника: великодержавный шовинизм и местный национализм. Вождь искусно сочетал лицемерие, помяная шовинизм, с острым чувством реальности, называя национализм. В отличие от нынешних специалистов Сталин знал разницу между шовинизмом и национализмом. Он не путал агрессивную позицию шовиниста и оборонительную националиста. Он знал, что «местному национализму», то есть компактно живущим на своем месте не столь уж малым народам, придется обороняться от сталинского великодержавного шовинизма. Потому и требовал, чтобы «местные националисты» этого как раз и не делали, а сидели тихо, куда великий Сталин ведет их к унификации под флагом декоративной самостоятельности, «национальной по форме, социалистической по содержанию». В результате «местные» народы, составлявшие прежде у себя на родине большинство, стали там меньшинством и чувствуют себя, как все мы чувствовали бы себя, будь после 1949 года снята государственная граница меж нами и Китаем: вроде по-прежнему Россия, да только решающее слово за китайским начальством и китайским большинством. Наш общий вождь, кто бы им ни стал, Мао или Сталин, не потакал бы тогда русским «местным националистам».

Но и поостерегшись принять Китайскую Республику в Советский Союз, он им не потакал! А что великодержавный шовинизм он осуждал лицемерно, сомнений быть не может. Вся его национальная политика стояла на великодержавном шовинизме: судьбы народов решались запросто, одних переселяли, по пути наполовину истребляя, другим не давали учить детей на родном языке. Шла неприкрытая русификация всего и вся, и люди, не имея возможности открыто этому сопротивляться, порой начинали ненавидеть даже ни в чем не повинный прекрасный русский язык, который, становясь орудием насилия, сам уродовался и скудел.

Казахстан вместо Австралии

Как ловкий политик, Сталин не позволял русскому великодержавному шовинизму чрезмерную откровенность и за временными исключениями пускал его на страницы газет и журналов тонкой струйкой. Однако русский «местный национализм», попытки облегчить имперские тяготы «первому

среди равных» он пресекал не менее жестоко, чем всякий другой «местный» национализм! Стоит вспомнить осуждение партией стихов талантливого и официально признанного Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату», где солдат на могиле жены не мог утешиться тем, что «три державы покорил»:

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Стихи написаны в 1945 году и осуждены задолго до подавления венгерского восстания, но мысль о плате, которую придется платить не посылавшим войска, а простым людям России, сюда уже вошла. Конечно, поэт восстания не предвидел, но явно думал о том, кому достаются плоды военных побед — народу или государству.

Не зря осудили и другое, ставшее песней, стихотворение Исаковского «Летят перелетные птицы», подчеркнута патриотическое, акцентирующее, что автор в отличие от «перелетных птиц» не хочет «ушедшее лето искать» и улетать в жаркие страны. Все вроде сообразно с политикой 1948 года, когда стихи написаны, если бы не две строки: «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». Так мог думать лишь местный смоленский националист, а Сталину именно и берег турецкий был нужен, и, разумеется, Африка.

Другие «местные национализмы» Сталину еще как-то приходилось терпеть, поскольку национальная форма унификации требовала от республик некоего своеобразия, пусть и цензурованного. Но русскому «местному национализму» он не считал нужным оставлять даже место. Выходило, что все народы Союза связаны с определенной территорией. а русские — безземельное племя вроде евреев, только гораздо более многочисленное.

Сталин сознавал, что единую русскую автономию от Чудского озера до Охотского моря, не раздираемую уже потайным противостоянием с национальными автономиями, держать в узде будет непросто. В то же время он провидел в непривязанности русских к земле, от которой отрывал их коллективизацией, опору для великодержавного шовинизма и всеми силами поощрял их вселение в инациональную среду. А русифицируя тамашнее коренное население, дополнительно побуждал приезжих не оглядываться на брошенную родину.

Поньше, хотя Союза нет и Российская Федерация самостоятельна, русские области так и остаются разорванными, а русская диаспора огромной, хоть Навуходонсор по Руси не проходил. Напротив, наша диаспора — детище советской великодержавной политики. Отсюда, понятно, не следует, что людей, вытолкнутых в чужие земли, можно сегодня бросить на произвол судьбы. Но и вовлекать их в новые игры великодержавного шовинизма опасно, как для них самих, так и для России.

Шовинизм без маскхалата

Гласность сорвала чадру с «дружбы народов». Родилось стремление к суверенности, которому союзный центр в пределах Союза и российский в пределах России на практике противодействовали как могли. Договор с Татарстаном, пусть и небезупречный, — первая ласточка компромисса. С грехом пополам создается правота народов, так или иначе втянутых в Российскую империю и стремящихся ныне к национальной самозащите, а ради нее нередко и к отделению. Сознаются их утраты — земли предков, самобытная культура, порой даже язык. Привычно определяющее их чувства слово «национализм» звучит уже не только как бранное. Но ведь и русский народ в массе своей страдал от напряжения, в котором страна жила, чтобы удерживать чужие земли.

И в большом народе тоже естественна тяга к отделению, к тому, чтобы сосредоточиться на своей судьбе и любить родину не на Ядрани и не в Дайрене, а в Смоленске и Перми. Это чувство и у большого народа трудно обозначить иначе как «национализм», понимая, что это противоположность великодержавному шовинизму, с которым его у большого народа напрасно отождествляют. На деле там, где начинается великодержавный шовинизм, как раз кончается любовь к своему народу, перестающему быть целью и становящемуся средством, пушечным мясом, — какая уж тут любовь! Но беда не в словах, обозначающих национальное самосознание, а в том, что стремление его приглушить активизирует крайности.

С одной стороны, великодержавный шовинизм сбросил сталинские «классовые» маскхалаты. За сооружение «тюрьмы народов» уже опять не бранят, только воспевают. Тут все заодно — и псевдо-«правые» жириновцы, щеголяющие в новом платье короля, и псевдо-«левые» зюгановцы, и претендующие на добропорядочность министры и председатели

ли думских комитетов. Ратуя за русский Крым, на Украине или вне Украины, российский парламент не интересуется. возвращена ли родина крымским татарам, хотя именно российский Верховный Совет после их выселения упразднил Крымскую Республику до того, как ее территорию передали Украине, и вина в этом все еще на нем и на России.

А русский человек, о котором так много нынче говорят, по-прежнему и властям и оппозиции интересен лишь как оплот империи и производственной монополии, а собственные его нужды никого не занимают. Какой же это русский национализм? Неужто не видно, что русского национального самосознания и в помине нет? Его опять подменил великодержавный шовинизм.

С другой стороны, отказ от единой Русской земли ныне повел к сотворению из Вологодской, Екатеринбургской и других областей самостоятельных республик. Даже Петербург выразил на референдуме желание быть республикой. Окно в Европу жаждет самостоятельного существования! Так и живем: окно отдельно, крыльцо отдельно, крыша отдельно, а дом открыт ливням и снегопадам. Вместо того чтобы покончить с административной централизацией хозяйства, пагубной в масштабах не только страны, но и области, упраздняют единство законов, прав и свобод.

И нет людей, способных одинаково твердо противостоять империалистам и сепаратистам, сказать радетелям великой державы: Россия осталась великой, когда отпали Польша и Финляндия, Прибалтика и Бессарабия, и не стала более великой, прихватив еще четыре Курильских островка. Великой ее сделали Ломоносов, Лобачевский и Менделеев, протопоп Аввакум, Гоголь и Толстой, Андрей Рублев и Чайковский, Станиславский и Анна Павлова. Можно либо признать, что мы тому величию не соответствуем, либо заменить Толстого танком, а Станиславского ракетой. И нет людей, способных одновременно спросить устроителей областных русских республик в России: вы, что же, хотите извлекать особые выгоды из того, что у вас построили, спуская семь шкур со всей страны?

Новая Русская земля

Сталин умножал число областей, обкомов, исполкомов, высокооплачиваемых должностей, укрепляя так прямую зависимость от центра. Но если надеяться на свободную экономику, многочисленные властные органы только помеха.

Восемьдесят русских областей могли бы сгруппироваться в восемь — десять самоуправляющихся земель, не имеющих, однако, права выхода из единой Русской земли, на которой действуют единые для всех законы. Эта единая Русская земля и была бы фундаментом Российской Федерации, установив по договору отношения с желающими того другими автономиями РСФСР, а со временем, быть может, и конфедеративные отношения с желающими того бывшими союзными республиками. По взаимному согласию тут можно было бы и произвольно начертанные Сталиным границы исправить. Конечно, эта новая Русская земля была бы несопоставимо больше, чем при Иване III и Василии III, впервые объединивших все тогдашние русские земли, — полтысячелетия не полвека, многое изменилось необратимо. Но она тоже была бы Русской землей, национальным государством, и именно в этом качестве сотрудничала бы с другими национальными государствами, возникшими на территории РСФСР и СССР.

Здесь и зарыта собака. Разве не прошло время национальных государств. разве Европа не объединяется? Да, конечно, их время проходит и, надо надеяться, пройдет, но ведь еще и в Европе не прошло, и комиссии Европейского союза тратят дни, а то и ночи, на сбалансирование интересов образующих его государств. Почти все это — национальные государства, где один народ составляет явное большинство на всей территории. Мы так привыкли к этой норме, что ее не замечаем. Но именно по ней складывались демократические буржуазные государства.

Началось с борьбы Нидерландов за независимость. Франция утвердилась в таком качестве еще до абсолютизма после столетней войны. Позднее произошли объединения Италии и Германии, за которые боролись такие разные по взглядам люди, как Гарибальди и Бисмарк. Потом отделение от Австрийской империи Венгрии, Чехословакии, теперь тоже расколовшейся, а также Словении и Хорватии, искусственно объединенных с Сербией. И даже владея колониями, буржуазные государства юридически отделяли от них метрополию, чего феодальная Россия не делала.

В наши дни эти государства берегли национальную независимость в годы мира и защищали в войне, когда де Голля равняли с Жанной д'Арк. Даже чудовищные злодеяния немецких шовинистов в эсэсовских мундирах не побудили

нормальных людей других наций принять как должное стену, разделившую единый немецкий народ на два государства.

Что бы обо всем этом ни говорилось, перед нами объективный факт: Европа развивалась, формируя национальные государства. Не зря понятия «нация» и «государство» там сегодня почти идентичны, а в феодальных странах, не только в России, «нация» понимается скорее как «племя». Наивно не считаться с европейским опытом развития. Нелепо, радуясь наметившейся тенденции к сближению, бежать впереди прогресса. Из попытки силой создать «новую историческую общность людей» под флагом «пролетарского интернационализма» ничего не вышло ни у нас, ни в Югославии. Едва отвернулся часовой, якобы добровольная общность обратилась там в поле сражения, хлынула кровь и течет рекой. Указывают на Соединенные Штаты, где люди разного происхождения составили новый народ. Но эти люди, кроме, понятно, индейцев, с которыми как раз было не так просто, — эмигранты или привезенные насильно африканцы и каторжники, за ними нет исторически обособленных национальных территорий. Как определять инородцев, если все — инородцы, и отдельные расовые районы всегда искусственны. А у нас борьба со спекулянтами с Кавказа тотчас оборачивается ограничениями для всех «лиц кавказской национальности», в том числе и постоянно живущих в столице и никакого отношения не то что к спекуляции, но вообще к торговле не имеющих. Не только начальственное, но и массовое сознание у нас, в отличие от Штатов, по великодержавной традиции отличает инородцев.

Нам бы лучше ориентироваться на Европу, а ее пример показывает, что общая жизнь возможна лишь при достижении каждой из объединяющихся стран сопоставимого с другими уровня и характера отношений. Прежде у нас такая задача не ставилась, мы жили в мире социальных привилегий. Сами формы и размещение хозяйства определялись не столько хозяйственной целесообразностью и доходностью, сколько политико-идеологическими установками. Попросту говоря, у нас не было сбалансированного хозяйства и страна жила хищнической эксплуатацией людей и природы.

Экономический национализм

Нынешний кризис потому так и жесток, что ресурсы истощены, а на подъем нового их пласта, уцелевшего в не-

драх, средств нет, да современному хозяйству уже и мало одних ресурсов.

Вот и возникает тяга к суверенности, стремление сбалансировать хозяйство на не столь огромном пространстве и, главное, перевести в экономическую, рациональную, форму терзавшие его при произволе КПСС противоречия. За национальными распрями стоят, как всегда, материальные интересы, не сразу замечаемые, поскольку они опосредствованы централизованной внеэкономической хозяйственной машиной. Разрыв связей и развал Союза — не чья-то прихоть, а знак истощенности командной системы. Уже при Брежневле этот кризис видели и даже старались преодолеть, но не отказываясь от системы, его заново порождающей. А сегодня маленькая Эстония, вырвавшись из системы и проведя реформы, тоже небезболезненные, но глубокие, живет лучше нас, отчего «русскоязычные» при всех обидах, справедливых или несправедливых, не уезжают, а из Киргизии, откуда местный президент умоляет их не уезжать, все равно бегут. Вот и русскому народу, не менее чем эстонскому, создание современного национального государства, предпочтение собственных интересов геополитике, позволили бы сбалансировать хозяйство.

Создание национального государства как опоры стоимостного хозяйства не только в XVI веке, но и в наши дни коренным образом меняет национальное сознание. Великая держава, обращенная вовне, без великодержавного шовинизма не могла бы заглатывать и держать в своем чреве малые державы. В национальном государстве, обращенном вовнутрь себя, конечно, есть и рассеянные национальные меньшинства, но принадлежащие к ним участвуют в общей жизни этого государства и уже поэтому ему приходится смотреть на них иначе, чем смотрит государство великодержавное на меньшинства, обладающие территорией. Национальное государство только тогда себя и обретает, когда, начиная с Республики Соединенных провинций, обретает терпимость к инородцам и иноверцам и заботится об их равноправии. Это первое отличие национализма от имперского шовинизма. Империя по определению не может быть демократической, последовательная демократия в империи ведет к ее распаду, а у национального государства, покончившего с покорением других, есть шанс стать демократическим.

Нерусские русские?

Александр Алтунян («НВ» №18-19/94) тонко подметил различие между обучением языку и национальному духу, как он выразился, «русскости». Но стоит задуматься о происхождении этого самого национального духа, а не просто отрицать его существование и влияние на язык. На вопрос: «А что плохого, если русских детей русскому языку будет учить русский человек?» отвечать бы все-таки лучше вопросом: «А что плохого, если русских детей русскому языку будет учить нерусский человек?». Например, датчанин В.Даль, составивший известный словарь, или не то француз, не то поляк, И.Бодуэн де Куртенэ, этот словарь основательно дополнивший, или даже немец М.Фасмер, создавший, живя в Германии, лучший из существующих этимологический словарь русского языка, лет тридцать назад, слава богу, и у нас изданный в переводе с немецкого. То-то и оно, что национальный дух — это дух не племенной, а уже разноплеменный. Его создают люди не одной расы, не одной веры, не одного социального слоя.

Так не только в России. При входе в знаменитую Парижскую Опера сидят четыре великих композитора, и лишь один из них француз по происхождению. А уж французам национального сознания и национальной гордости не занимать. Споря с шовинистом, надо бы ему показать, что национальная душа — не принадлежность людей одной породы. Но разве он, привыкший подменять историю биологией и даже животноводством, привыкший рассматривать людей как скот, а общество как стадо, станет на это смотреть?

Кстати, и с породой не так все просто, как твердят доморощенные натуралисты-шовинисты. Генетика давно подметила явление гибридной мощности. Скрещивание двух чистых линий дает в первом гибридном поколении бурный рост стойкости и плодоносности, что широко используют, американские фермеры, предпочитающие гибридные семена кукурузы чистым линиям. Можно сказать, что схожее явление наблюдается и в культуре, где скрещение разных потоков дает рост и силу. Сколько ни называй их химерами, но с такими скрещиваниями связаны высочайшие взлеты человечества, и русская культура — из самых блестящих.

Современный мир нуждается в планетарном, космополитическом сознании, и люди часто сегодня переходят в другие общности, порой принадлежат сразу нескольким, и все это вызывает опять же нелепые обвинения в создании

химер. Но столь же нелепо отрицать, что исторически у наций, как и у других социальных общностей, складывался присущий им дух, обусловленный, понятно, не биологической природой, но социальной жизнью. Да и космополитическое сознание не вдруг и не из ничего возникло. Уже в мировых религиях, явственнее всего в христианстве, соединившем, казалось бы, несовместимое — библейских пророков, череду которых и завершил Иисус, с Платоном, сознавалось природное равенство всех людей. Но и христианство раскалывалось по региональным и национальным обстоятельствам, и возникали даже национальные церкви, что для истинного христианства — абсурд и воплощение антихристианского духа. Что же, пренебречь из-за этого многообразием религиозных течений и выяснением того, к чему конкретно то или иное звало и вело, и объявить, что все они плохи, коль скоро несообразны с всеобщим единством?

Гердер неповинен в Освенциме

Совершенно так же нет никаких оснований считать предшественниками Освенцима таких людей, как, скажем, Иоганн Готфрид Гердер, заговоривших в XVIII веке о своеобразии национальных культур. Они, напротив, боролись за равноправие, отвергая распространенное тогда мнение, будто единственные носители культуры — некие классические народы. Они не призывали к замкнутости и не несут ответственности за культурный изоляционизм шовинистов. Странники такого изоляционизма под флагом своей исключительной самобытности пекутся не о расцвете собственной национальной культуры, а о том, чтобы, консервируя культуру, удержать от распада обреченный общественный строй.

Русский фашизм крепчает от двух обстоятельств. Демократическое движение оказалось слишком слабым, чтобы не только обличать рушащуюся сталинскую систему, но и требовать у либеральных коммунистов, начавших ее реформировать, от Горбачева до Гайдара, реальных реформ. Не испытывая демократического напора, коммунисты-реформаторы, желавшие не столько упразднить, сколько усовершенствовать систему, отступали перед непримиримыми сторонниками прежнего порядка, сводя перемены на нет, отчего кризис все больше углублялся. Народ слышал, что реформаторов бранят коммунисты и фашисты, но не слышал, что по другую сторону от реформаторов звучит прямая демократическая критика происходящего, — не по-

следнюю роль в этом сыграло и умелое регулирование средств массовой информации не только политическими, но еще больше экономическими средствами. И многие поверили, что зло в самих по себе реформах, а не в их половинчатости и недостаточности, поверили, будто, не явись Горбачев, а потом Ельцин с Гайдаром, можно было бы и дальше жить как раньше, словно прилавки не пустели и катастрофы не учащались еще до них.

Но русского национального, а не имперского, сознания, русского "местного национализма" по-прежнему нет, а его место захватил и за него себя выдает его старый антипод — русский великодержавный шовинизм. Едва ли не единственное сегодня движение, где различимы ростки демократического национализма, это движение солдатских матерей. Понимая, что их отцы и деды не зря погибали под Сталинградом и у Прохоровки, эти женщины не хотят понимать, почему их дети должны погибать неведомо где, неведомо за что. Соображения наших политиков издавна слабей боеспособности нашей армии, и на нее возлагают решения невозможные силой оружия. Настоящим патриотом в России окажется тот, кто откажется от этой опасной игры.

Русская земля должна помочь тем, кто хочет ее помощи, а не быть всеобщим опекуном. Вооруженное опекунство по душе русскому начальству, и царскому и советскому, но в тягость большинству русского народа. А он, как и все другие, вправе заняться собой, заботиться о себе, о своей земле, своем доме. Другие от этого лишь выиграют.

А БЫЛ ЛИ ПОСТКОММУНИЗМ?

Западная печать с восторгом объявляет, что Россия вступила в эпоху посткоммунизма. Но еще когда Россия вступила в эпоху коммунизма, поэт сказал: «И вечно делается шаг От римских цирков к римской церкви, И мы живем по той же мерке, Мы, люди катакомб и шахт». Кризис, наступивший страну к концу восьмидесятых, опрокинул коммунистическое вранье, как выражался Ленин, и пришло время откровенности.

Теперь оно проходит, а мы плохо его провели. Партии не стали партиями, не ориентированы на определенные части общества, интересы которых должны отстаивать. Партия означает «часть», и привычное «партия всего народа» — бессмыслица. Но и нынешние партии — партии всего народа, только спорящие, что ему лучше — ГУЛАГ или воровская малина. Многим кажется, что их невзгоды — плоды целевого злодейства, то ли нынешней власти, то ли прежней, то ли агентов мирового империализма. М.С.Горбачев прелестно говорил: «Процесс пошел». Но процесс шел и до Михаила Сергеевича, и даже до Владимира Ильича. Оба они расхлебывали кашу, не ими заваренную. Это их не оправдывает, но помогает понимать, что с нами происходит.

Европейская страна, тысячу лет как принявшая христианство, отстоявшая при Иване III национальную независимость и, как солнце, светящая из давних дней гением Андрея Рублева, Русь в XVI веке отдалась феодальной реакции, и освободившийся от иноземного ига народ вкусил прелесть отечественного крепостного права. В Европе феодальная реакция тоже поднималась и порой тоже брала верх, но вынуждена была идти на компромиссы и отступать. Даже в Германии, наиболее схожей с нами, она не стала столь зловещей. Уже в следующем веке у нас возникло естественное стремление обратно в «европейский дом». Но способ возвращения, сопряженный с желанием немедленно стать среди равных первыми, надолго определил наш самобытный путь вспять от Европы при кажущемся приближении к ней.

За полтора столетия до рождения Маркса Петр Великий, первый большевик, замахнулся на теорию общественного прогресса, автоматически наступающего за прогрессом техническим. Не меняя порядков, он вооружился европейскими открытиями, и крепостные на демидовских заводах были поставлены к станкам, за которыми в Голлан-

дии стояли свободные люди. Производительность труда была, понятно, ниже, но свободным пришлось бы платить. До Крымской войны послепетровская Россия одерживала одну победу за другой. Но в Крыму оказалось, что меж устройством общества и его развитием все же есть некоторая, хоть и не автоматическая, связь. И вот еще полтора столетия без малого страна ищет спасения от загнанной Петром внутри болезни.

Александр II начал разумное лечение. Уже обретение крестьянами личной свободы и здоровая судебная система открыли дорогу новым хозяйственным отношениям. Но царь слишком медлил, слишком часто уступал бюрократии и феодальным землевладельцам, помещикам. Томившая крестьянство жажда земли не была утолена. Российских террористов сильная власть переловила и перевешала. Осталось только незамеченным, что полицейскими мерами можно спасти следующего государя, но не государство. Медля с буржуазными реформами, оно и дальше возбуждало радикализм эсеров и большевиков.

Потом, однако, и Временное правительство за восемь месяцев у власти не поторопилось созвать Учредительное собрание и провести эти реформы. По иронии истории буржуазную революцию в России совершили большевики, немедленно издавшие «Декрет о земле» и следом «Декларацию прав народов России». Опыт уже тогда показал, что страх перед буржуазными реформами, из-за которого никто, кроме крайних партий, с ними не спешит, приводит крайние партии к власти. Опыт уже тогда показал, что противники коренных реформ — сами и есть подстрекатели «бессмысленного и беспощадного» бунта. Но мы не учимся на собственном опыте.

Поднявшись на волне перезрелой буржуазной революции, большевики уже к лету 1918 года принялись за «пролетарскую» революцию сверху. Организовали «комбеды», конфискацию хлеба, продразверстку, военный коммунизм, а позднее и насильственную коллективизацию, то есть окончательную ликвидацию буржуазных завоеваний Октября, и вскоре оказалось, что у нас уже построен социализм. Созерцающая ныне его кризис, не глядя, как от начала века и даже только от Октября преобразилась учредившая его партия, ее лозунги и нравы. Изучавшие по политдням фальшивую историю КПСС не хотят знать ее подлинную историю, «от римских цирков к римской церкви».

Не то чтобы партия большевиков изначально была хороша, но все-таки сперва говорилось: «Когда будет социализм, не будет государства», — а потом оказалось: чем больше государственности, тем и социализма больше. Сперва говорилось, что народы равноправны и за каждым право на самоопределение, потом оказалось, что можно не только выбрасывать целые народы на снег, но и сорок лет спустя отказывать уцелевшей трети или четверти вывезенных в возвращении на пепелище под тем остроумным предложением, что место занято. Сперва говорилось, что руководящие товарищи жизнь кладут «за други своя» (их зарплата не должна была превышать зарплату рабочего, ввели партмаксимум, получать больше которого коммунисту считалось стыдным), потом оказалось, что для номенклатуры успешно построен не то что коммунизм, а рай земной.

Зло было не в самих поманивших утопиях, а в безоглядной вере в свою монополию на истину и в позыве единства — единства партии, единства рабочего класса, единства рабочих и крестьян, — нарушение которого стало уголовно наказуемо. Между тем, ни один человек и ни одна партия не вправе говорить от имени всего народа или даже сословия. Даже Петр, у которого тяга к монополии — профессиональный порок самодержца, принес этим стране зла больше, чем добра. Тем более абсурдны, да еще после научно-технической революции, претензии самодельных самодержцев. Но никто не учится на собственном опыте.

Опять же, по иронии истории Ленин, едва ли не первым различив порочность государственно-монополистического производства, стал инициатором и вдохновителем сверх монопольного государственного хозяйства, мыслившегося им как «единый синдикат». Этот синдикат, на создание которого у Владимира Ильича не хватило то ли физических сил, то ли уже безоглядной веры в его эффективность, практически создал Сталин. Причиной его преступлений называют и «восточную жестокость» (о «кавказской национальности» на XX съезде еще не знали), и не вполне законное появление на свет, и иезуитскую семинарию, и службу в охранке. Не говорят лишь о том, что Сталин был распорядителем циклопического внеэкономического «синдиката», объединившего хозяйство огромной страны, а на такую должность годится только людоед. ГУЛАГ — не ошибка, как нас уверяют, а идеал государственно-социалистического «синдиката». Грозный Сталин, а потом тихий Сталин — Брежнев — превратили

крестьянскую Россию в огромную мастерскую ультрасовременного оружия. Иными его образцами можно бы и прихватнуть, не работая мастерская по тому же принципу пирамиды, что и АО «МММ», то есть без компенсации поглощая людские и природные ресурсы. Армия и «оборонка», до известного предела необходимые для защиты Отечества, своим непомерным размахом сами Отечество и разорили.

В государственном синдикате эквивалентный обмен заменили на соображения целесообразности, среди которых на деле главным стало благополучие правящего класса. Хозяйство, в сущности, перестало быть товарным и стало натуральным в масштабе огромной страны. И хотя Ленин твердил, что «социализм — это учет», без свободного рынка, как ни мудрили Островитяновы и Абалкины, невозможно установить стоимость чего-либо. И основной экономической закон социализма сформулировал поэт: «Невозможно уследить, Где начет, где вычет. Значит, чтобы сократить, Надо увеличить». Разве не по этому закону мы поныне живем?

В истории, помимо целей, которые общественные деятели и движения перед собой ставят, помимо средств, которыми они своих целей добиваются, есть и объективные последствия, как правило, довольно далекие от начальных намерений, и они важнее всего. Разоблачая марксову утопию, опирающуюся на уверенность, будто стоимость создается лишь физическим трудом, нелепость чего в конце XX века более чем очевидна, мало кто задумывался над социальным смыслом той реальности, которая фактически складывалась в общегосударственном синдикате. Мало кто задумывался, почему без оккупационных войск социализм утверждался лишь в отсталых странах, прорастая то ли прямо из феодализма, то ли сквозь густую пелену феодальных пережитков, а отнюдь не из развитого капитализма, как предполагал Маркс. Вот и пора четко сказать, было ли действительно сооружение «синдиката» движением «вперед» по отношению к буржуазному порядку или это было движением вспять, к феодальному порядку петровского типа, осуществленное с еще более последовательной жестокостью, хотя и при более совершенной технике.

Наш социализм оказался родом феодальной реакции, пытающейся приноровиться к новой эпохе, но живущей по-прежнему имперскими и сословными отношениями, верующей в священную идеологию, поддерживающей бдительный полицейский режим и пользующейся трудом зависимых лю-

дей — зависимых уже в силу единственности всеобщего «синдиката». На первый взгляд странно, что радикалы, революционеры, нигилисты, атеисты совершили поворот к архаичным и реакционным формам хозяйствования. Но ведь и в древности, и в средние века после народных восстаний, прежний, рабовладельческий или феодальный, порядок, возрождался порой в еще более жестоком виде, однако с новым составом правящего класса.

При Сталине священное право правящего класса распоряжаться «синдикатом» было коллективным, как бывало и в средневековой Руси. Конкретные привилегии связывались с должностью и выполняемой работой, которая, в свою очередь, состояла в безоговорочном выполнении директив центра, от имени правящего класса регламентировавшего все и вся — и цены, и зарплаты, и тарифы, и нормативы. Без соизволения начальства нельзя было проявить малейшую самостоятельность, даже в интересах казны. Коррупция и теневая экономика, конечно, существовали уже тогда, но в глубочайшей тайне. Затратная природа такой системы была и тогда очевидна. Но в деревенской России было много людей, а недра казались неисчерпаемыми. Оттого социализм при Сталине выглядел пусть бесчеловечным, но жизнеспособным общественным строем. Никто не думал, что, пожирая нефть и убивая людей, «синдикат» рубит сук, на котором держится. Создай Сахаров вместо бомбы дешевое термоядерное электричество, кризис был бы отодвинут. Но Сахарова использовали иначе.

Естественно было бы после смерти Сталина сразу разделить хозяйство от государства и восстановить нормы стоимостного общества. Но тут и выяснилось, что по сути своей сложившийся порядок соответствует не только абстрактным идеям «оптимальной» социальной инженерии, как Ленин мог думать, сидя в шалаше у Разлива, но и вполне конкретным интересам нового советского дворянства, коллективных феодалов, которые до того и сами-то себя не признавали в таком качестве. От осознания этого или по наивности возникло движение шестидесятников, веривших, что советский социализм можно улучшить, возрождавших идеализм революционных надежд, погубленных якобы лишь дурным характером Сталина.

«Улучшение» социализма началось с ограничения абсолютности сталинских предписаний, с расширения прав каждого начальника на его месте и одновременного расши-

рения его привилегий. Однако и при полном бескорыстии начальников, их самостоятельность не имела под собой почвы, уже потому, что личные интересы не побуждали их пекся об успехах производства, им лишь условно принадлежало, не как конкретным собственникам. Да еще саму их деятельность оценивали не по объективному процветанию или разорению хозяйства, а путем партийного контроля, что стирало отличие «улучшенного» социализма от сталинского. Между тем, тенденция к снижению давления центра и закреплению прав конкретных функционеров доросла до создания совнархозов, поздней уничтоженных Брежневым, восстановившим, хоть и не в столь жестком, как прежде, виде, централизованное хозяйствование, которое и довело до нынешнего кризиса. И он опять побудил дробить абсолютную власть синдиката. Горбачев заговорил о новом союзном договоре. Рыжков резко расширил права директоров. А Ельцин пошел еще дальше: преобразовал СССР в СНГ, призвал российские автономии брать самостоятельности столько, сколько осият, и провел приватизацию по Чубайсу.

Казалось, приватизация упразднит циклопический «синдикат» и позволит действовать сотням и тысячам соперничающих синдикатов и предприятий. Однако государство отнюдь не передало свои распорядительские права частным собственникам, способным принимать независимые решения. Приватизируется лишь часть акций, теоретически позволяющая удачливому Лене Голубкову получать, наряду с начальниками, некоторый доход. Но доходны ли приватизируемые да и другие государственные предприятия? Наше государство, владеющее богатством во много раз большим, чем всякие там Морганы, Рокфеллеры и Дюпоны, должно бы иметь и соответствующие прибыли. Но доходы государственному бюджету дают не столько эти прибыли, сколько дары природы и драконовские поборы. Я не виню наших министров в воровстве. Они совершают нечто худшее: скрывают от народа, что все наше государственное хозяйство, за вычетом разве продаваемого за рубеж на валюту сырья, глубоко убыточно, чем непосредственно ныне и вызван кризис. Доходов, которые можно бы приватизировать, просто не существует. Чтобы они появились, надо сменить не получателей доходов, а хозяев, чего как раз не происходит. Буржуазной приватизации, подобной происшедшей, скажем, в Чехии, у нас нет, и фактически идет не сотворение буржуазной частной собственности, а дробление феодальной.

Как известно, феодальная собственность не предполагает полноты прав владения, пользования и распоряжения имуществом и, в частности, землей. В феодальном мире одна и та же земля в разных аспектах принадлежала разным лицам. Понятие «собственность» там, наглядней, чем в буржуазном мире, обозначало отношения между людьми, а не просто меж человеком и предметом. Один и тот же участок земли одновременно, хоть и в разных смыслах, принадлежал и крестьянину, ее обрабатывавшему, и рыцарю, взимававшему с крестьянина определенные подати, и князю, перед которым у этого рыцаря, его вассала, тоже были свои обязанности. В средние века лишь очень малая часть земли представляла собой индивидуальное «свободное держание» (фригольд). Феодальная собственность — общая и потому для конкретного владельца частичная, буржуазная — частная и потому для владельца полная. Вот и теперь у нас коллективная собственность правящего класса преобразуется в частичную собственность отдельных функционеров, «олигархов» и активистов вроде Лени Голубкова, вовсе не разрывая свою общность, становясь частичной, но не частной.

Само собой, и в буржуазном мире собственность, хотя бы по тем же акциям, бывает разделена между несколькими и даже многими владельцами, однако там частичная собственность адекватна стоимостному вложению ее владельца, тогда как частичная феодальная собственность держится так или иначе внеэкономическими действиями, как это и происходит у нас. Даже при приватизации жилья собственность на землю под жильем остается в руках государства, которому ничто не помешает в нужную минуту превратить нашу собственность в пустую формальность. А социальный смысл организованной преступности у нас вообще плохо сознается.

При столь важной, роли внеэкономического принуждения хозяйство не может стать по-настоящему товарным и рыночным. Таковое складывается лишь в единстве рынка капитала, рынка товаров, рынка рабочей силы и рынка идей, свободно перерастающих друг в друга. Быть может, в сегодняшней России важнее всего, станет ли, высвободясь из-под монополии государства-работодателя, каждый труженик свободным продавцом своей рабочей силы, цена которой у нас искусственно и преступно занижена, а ныне, когда цены на потребительские товары достигли мирового уровня, и во-

все абсурдна и губительна для производства и жизни, что обращает реформу в попытку еще на какое-то время продлить жизнь феодального социализма.

Под знаменем реформы у нас фактически выступают два разных общественных движения. Одно, возглавляемое президентом Ельциным, активно продолжает феодальную приватизацию, робко начатую в свое время Хрущевым. Оно уже не держится за идеологические и организационные формы обанкротившегося «синдиката», сохраняя свою высшую хозяйственную власть в иных формах. Это, конечно, результат развития «социалистического» общества, но не отказ от него, и нелепо искать в этом «посткоммунизм». Другое движение, напротив, как раз отвергает власть коммунистов над хозяйством в любых ее формах и добивается буржуазной приватизации. Оба реформаторских движения противостоят реставраторству не сдающихся советских дворян, возглавивших непримиримую оппозицию, и в роковые минуты, когда она, как в августе и октябре, рвется к власти, действуют вместе против общего врага, взявшегося за оружие. Но правящие феодальные реформаторы, жаждущие мира со своими недавними товарищами из непримиримой оппозиции, не только противодействуют буржуазной приватизации, но и всячески ограничивают ее трибуну, не давая людям осознать, о какой, собственно, реформе идет речь, и обрекая демократическую оппозицию на отступление перед реставраторами коммунистического порядка.

Между тем, едва ли не важнейший, хоть и кажущийся парадоксом, вывод из опыта XX века, видимо, в том, что объективное содержание социалистической теории, выразившей насущную потребность современного производства в социальных гарантиях для трудящихся, осуществляется не в утопии сугубо физического труда при ликвидации частной собственности и ценностных мерил, как воображали Маркс и Ленин, но лишь там, где эти мерила существуют. Если социализм, как гарантия для трудящихся, вообще возможен, то скорее в буржуазном, чем в пролетарском государстве. Пролетарское социалистическое государство считает себя, как мы видели, обладателем непреложной истины, не нуждающимся в учете людских мнений и стремлений. Но отношения государства и хозяйства эффективны лишь уподобляясь отношениям гидростанции и реки. Государство вправе и часто даже обязано устанавливать параметры хозяйственной жизни и делает это уже тем, что печатает день-

ги. Но не менее важно ему заботиться о сохранении самотека реки. А если каждый производитель скован зависимостью от государства или сам является его частью, стимулы к самотеку товарной реки иссякают. Мы десятилетиями строили плотины, веруя, что турбину вращает не так река, как мощь нашей государственной власти, и благодарили партию и правительство. Пролетарское государство требует, чтобы стихия не только давала себя использовать, но и полностью покорилась, перестала быть стихией. «Синдикат» и должен был ликвидировать стихийное начало в природе и обществе. Сталин, выполняя эту задачу, был верным ленинцем. А мы все не смекнем, что ликвидация природной стихии — это смерть, а общественной — ГУЛАГ.

Надежды на укрощение стихии возрождаются. Генерал А.И.Лебедь уже с симпатией говорит о Пиночете, который *«поставил армию на первое место. С ее помощью заставил всех элементарно заниматься своим делом»*. Я не очень уверен, что в Чили военный переворот был единственным выходом из положения, но там военная сила хотя бы смогла защитить свободу экономики от президента Альенде. В Чили такая экономика существовала, и под охраной Пиночета вышла потом из кризиса, и страна вернулась к демократии. Но у нас ее нет, и российский Пиночет может защитить только ленинско-сталинский «синдикат», а насадить свободу силой никакая армия не способна.

Если уж на то пошло, нашим Пиночетом был Брежнев. Танки, физически входившие в Прагу, политически входили в Москву, тормозя в ней поиски выхода из назревавшего уже тогда кризиса. Стоит ли повторять пройденное? Не скрою, в телепрограмме «Момент истины» генерал Лебедь мне понравился, это человек серьезный, не Жириновский, не Анпилов, не Баркашов. Но задача, которую он перед собой ставит, — задача не военная, даже, если угодно, антивоенная, с ней не совладал бы сам Суворов, восставший из гроба. Чтобы в стране был порядок, надо не силу в ход пускать, а, напротив, освобождать экономическую стихию, способную вращать турбины хозяйства. Беда России не в том, что здесь такой стихии нет или народ, как часто уверяют, не способен с ней обращаться, а в том, что стихия эта заморожена и укрощена. Дальнейшее укрощение ее только погубит. Лишь по тому, освобождается стихия или дальше укрощается, можно судить, отошли мы от коммунизма или заменили его на другого потомка феодальной реакции. Ведь и

немецкий национал-социализм, и исламский социализм в ливийской Джамахирии, и социализм с китайской спецификой, и наследственный социализм в Корее, и другие тоталитарные порядки — формы феодального социализма, и не заказано явиться еще и другим. А мы и от старой советской еще не очистились.

Бывшим узникам ГУЛАГа и членам их семей предоставляют ныне небольшие льготы. Но чтобы ими пользоваться, нужна справка о реабилитации. То есть новая власть в новом государстве по-прежнему считает старые приговоры в целом справедливыми и допускает лишь возможность исправления отдельных ошибок. А миллионы сидевших не считали возможным обращаться к палачам за реабилитацией. Но разве Горбачев и Ельцин, разве Лукьянов, Хасбулатов, Рыбкин или Шумейко, не говоря уже о Зорькине, вынесшем КПСС оправдательный, по существу, вердикт, не знали, что большая часть статей прежнего кодекса, вроде 58.10, по сути своей противоправны и антиконституционны? Разве не обязаны были они давным-давно объявить, что осужденные по таким статьям свободны от обвинений? Но не побеспокоились. Зато амнистию насильникам августа и октября сладили быстро. Оно понятно: нынешние бунтари для власти свои, а свободомыслящие прежних времен — неизвестно кто.

Мой отец радовался созданию государства Израиль и даже считал, что следует выступить с призывом поддержать добрую инициативу советского правительства, ставшего инициатором соответствующей резолюции ООН. Но через пять лет политика изменилась, затеяли «дело врачей», и отца арестовали. Он пытался объяснить следователю: «То, что вы ставите мне в вину, ничем не отличается от того, что публично говорили представители нашей страны Громыко и Царапкин». А следователь КГБ отвечал бесхитростно: «Это не ваше дело, что говорят наши государственные деятели».

И вот нам опять, еще на воле, внушают, будто не наше дело, что говорит Ельцин у картины «Россия, проснись!», целуясь с ее автором, любимцем генсеков И.С.Глазуновым. А ведь посещение Манежа — еще один шаг президента навстречу непримиримой оппозиции. Возможно, сговор реваншистов и феодальных реформаторов впрямь приведет к позиции, которую и те, и другие именуют «центристской», поскольку игра идет в своем номенклатурном кругу, а большинство, склонное к либеральным преобразованиям, факти-

чески игнорируется, — не случайно избирательная система ориентирована теперь на относительное, а не на абсолютное большинство. Но кириллин день не кончен. Пока свобода, обретенная в августе 1991-го, еще не до конца отобрана, сохраняется не только опасность реванша непримиримых, но и возможность либерального движения, способного изменить ситуацию. Оно поддерживало бы Ельцина в противостоянии реваншистам, но ставило бы ему в строку сохранение феодальных пут российского хозяйства. А то ведь сетования на снисходительность власти к отечественному фашизму сопровождаются у нас гимнами президенту, возглавляющему эту власть.

Не будем предсказывать, чем кончится наша очередная катавасия. Не в последнюю очередь ее исход зависит от того, насколько отчетливо мы различим смысл происходящего и социальную природу участников наших восточных противоборств.

ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО

Скажу сразу: Джохар Дудаев мне не нравится, как не нравился Хафизулла Амин или — что скрывать — не нравился Билл Клинтон, этот Чемберлен с саксофоном. Но отстранять их силой от власти у меня права нет, как не было и нет его у Л.Брежнева и Б.Ельцина. Президент уверяет, что у него такое право есть, поскольку Чечня, дескать, субъект Российской Федерации. Но то-то и оно, что таковым субъектом она покамест не стала, ибо не принимала участия в референдуме о новой Конституции, а восстание Шамиля или сталинское выселение за добровольное вхождение в Россию не сойдут. Этак ведь и Польшу, и Финляндию, некогда тоже включенные в Российскую империю, можно объявить субъектами федерации со всеми последствиями.

Но принадлежит Чечня России или нет, зависит не от изречений господина Шахрая, зачинателя нынешних событий, а от голосования, которое теперь тем паче придется провести строго объективно, под международным контролем, иначе оно не будет иметь силы, а значит, и смысла. Зачем же бомбами и танками подбивать и без того натерпевшийся от Москвы чеченский народ голосовать за Дудаева, обретающего в складывающейся ситуации ореол единственного заступника? Вот и задумаешься, кто на самом деле хочет сохранить Российскую Федерацию, а кто из нынешнего названия нашей страны дорожит лишь определением «Российская», а слово «Федерация» цедит сквозь зубы, вытравляя его содержание. Но для нашей страны федеративное устройство — первооснова внутреннего мира.

Единство русских и давно освоенных русскими завоеванных земель с землями, где коренное население сохранило себя и свою культуру, возможно лишь при уважении воли этого населения и его права сохранять себя и дальше. Наши власти по-прежнему делают вид, что различия между «субъектами федерации» нет, и равняют их с американскими штатами. Но Чечню и вообще Кавказ надо сопоставлять не с Флоридой или Калифорнией, а с Алжиром или Ирландией, или даже Индией. Председатель Совета Федерации Шумейко уверяет, что «Россия никогда никого не завоевывала». Да знает ли господин Шумейко, что названия «Владивосток» или «Владикавказ» означают «Владей Востоком!», «Владей Кавказом!»? Да читал ли господин Шумейко Лермонтова и Толстого, показавших «звериный лик завоеванья»? Впро-

чем, беда не только в малограмотности и безответственности наших начальников. Вот ведь и господин Федоров, страстно поддержавший вторжение, сетует на неумелость и на то, что в ход не пущены специальные части, которые быстрее бы совладали. Бывший банкир и министр, видимо, забывал, что Хафизулла Амина специальные части ликвидировали профессионально, а война шла еще десять лет. И не из-за отсутствия у солдат или даже у генералов Варенникова, Грачева или Громова военных достоинств, а потому, что военные достоинства нашей армии, которые не стоит умалять, сводились на нет безнравственной задачей, которую генералы и солдаты решали по имперским примерам начала XIX века, хотя на дворе конец XX, — и нравы иные и оружие иное. Теперь то же самое повторяется в Чечне. Конечно, сила солому ломит. Но что потом?

Пренебрежение очевидностями, да еще по второму разу, не может рассматриваться просто как ошибка. Среди нашего начальства дураков нет. Глубокий консерватизм, надежда, не щадя ни чужих, ни своих, остановить объективное развитие общества, — не ошибка, а выплеск социальной природы. Когда-то Талейран о вызвавшем в мире возмущение захвате, мгновенном суде и расстреле ни в чем не повинного герцога Энгиенского сказал: «Это было хуже, чем преступление,- это была ошибка!» (Инициатором ее, кстати, был сам Талейран.) Но времена переменялись. Об Афганистане придется сказать: «Это хуже, чем ошибка. Этим выдали порочность всей системы». То же придется сказать о вооруженной атаке на Чечню, атаке, упреждающей переговоры, призванной, по признанию президентского окружения, составить необходимый для них фон.

Ну отчего, в самом деле, сперва не сели мирно за стол, а начали с бомбежек? Кто додумался запрашивать для переговоров у Федерального собрания признание легитимности Дудаева? Вот Англия начала переговоры с вовсе уже нелегитимным политическим крылом ИРА, ограничившись требованием отказа от террора. Зачем пугать Россию, что без Чечни она развалится на удельные княжества? Добро бы еще речь шла о русских областях, Смоленской или Нижегородской, об угрозе распада единого русского государства, — и то стоило бы искать мирное решение. А ведь Чечне без России прожить будет куда трудней, чем России без Чечни, и чеченцы должны сами решать, чем и во имя чего им жертвовать. К тому же Дудаев следовал разумному совету наше-

го президента: «Берите столько самостоятельности, сколько проглотите!» И ведь в этом «глотании» малосимпатичный Дудаев проявил осмотрительность. Имея перед глазами поощряемую нашими властями даже и в разгар этнических чисток Абхазию, он на такой путь не ступил и русских из Грозного, как Ардзинба грузин из Сухуми, не выгнал.

Желай того Россия, соглашение было бы возможно, как минимум соглашение о проведении под контролем голосования по поводу пребывания Чечни в Российской Федерации, которое выявило бы подлинную волю чеченского народа, в большинстве, как нас уверяют, настроенного против Дудаева. Но пусть даже Дудаев и на это бы не пошел, разве нельзя перекрыть границы и потерпеть, если три года терпели с открытыми границами? Но нет, пошли в атаку под самым нелепым предлогом, «чтобы разоружить борющиеся в Чечне вооруженные группировки», словно не мы сперва Дудаева, потом оппозицию, вооружали, а последнее время еще тайно укрепляли ее российскими солдатами. Да и с чего, когда Россия полна вооруженными бандами Баркашова и прочих, президенту не понравились именно и только чеченские банды? И опять же мы бомбили территорию, объявляемую российской, — такое покамест бывало лишь при подавлении восстаний в лагерях. Значит, есть тому серьезная причина, которую не хотят выговорить вслух.

Трудно согласиться с Григорием Явлинским, честно выступившим против силовых действий, но объясняющим их бездарностью и неуклюжестью президента. Я, напротив, вижу у президента политическое дарование, хоть и не свободное от доли наивности, порой красящей, порой саморазоблачающей. Другое дело, на что он свое дарование тратит.

Считается, что Ельцин упразднил коммунистический порядок и повернул к рыночному, буржуазному, что он против тоталитаризма и за демократию, гарантом которой сам себя и объявил. Но сопоставим нынешнюю ситуацию с аналогичной в 1921 году, когда тоталитарный социализм («военный коммунизм») впервые доконал хозяйство и привел страну к разрухе и голоду. Ленин тогда продолжал говорить о коммунистической утопии, но на практике, глядя в лицо реальности, на время отступил, допустил буржуазные отношения, и за короткий срок страна преодолела разруху и заполнилась отечественным продовольствием. Лишь когда сломали новую экономическую политику, опять начался голод. На словах Ельцин с коммунистической утопией реши-

тельно покончил, но на практике в отличие, от Ленина сохранил, пусть под другими именами, коммунистические порядки, отчего кризис и продолжается, разруха нарастает, а изобилие в магазинах создают почти исключительно импортные товары. Лишь вдумываясь в это различие, мы поймем остальные поступки президента.

Новую политическую карьеру Ельцин, сброшенный Горбачевым с партийных верхов, начал в межрегиональной группе депутатов, которую возглавил вместе с Сахаровым. Он выступал под флагом демократии в противовес Горбачеву, начавшему вскоре попятное движение к коммунистическому реваншу и окружавшему себя Янаевыми и Павловыми, позднее его предавшими. Ельцин ратовал и за поворот России к внутренним интересам, чтобы забота о благосостоянии народа остановила принесение его в жертву имперским претензиям. Это и принесло ему победу над коммунистом Рыжковым и национал-социалистом Жириновским. Это же влекло к нему симпатии в августе 1991 года. Конечно, внимательный аналитик дивился, что ближайшими соратниками Ельцина оказывались на ролях вице-президента — Руцкой, а преемника по парламенту — Хасбулатов, проявлявшие и тогда реваншистские склонности. Но, хоть Учредительное собрание и не созвали, люди надеялись, что победоносный президент самостоятельной России вот-вот совершит экономическую реформу. Конец 1991 года был апофеозом демократических надежд общества.

Уже мероприятия, проведенные руками Гайдара, побудили задуматься. Глубоких преобразований они не принесли. Лишь, следом за Брежневым, за Рыжковым и Павловым, но с большим размахом, вздували цены и, таким путем заполняя магазины, одновременно снижали жизненный уровень большинства. Условия для экономического оживления производства, хотя бы в скромных масштабах нэпа, ни в промышленности, ни, еще менее, в сельском хозяйстве, так и не были созданы. Уже это заронило семена недоверия к людям, именовавшим себя демократами. К тому же приватизация по Чубайсу, обеспечившая часть номенклатуры, даже ее не всю охватила, что дало новый толчок реваншистскому движению. Ельцин, идя ему навстречу, избегал реальных реформ, но все же, сознавая, что народное доверие скудеет, противопоставлял себя своим вчерашним соратникам — Руцкому и Хасбулатову, открыто предавшимся реваншизму. Весенний референдум президент еще выиграл,

хоть уже не столь убедительно, но все равно от реформ уклонялся, отчего реваншисты из Верховного Совета смелели, если не сказать резче. Тогда Ельцин распустил народных депутатов советского созыва, а на их вооруженную атаку против мэрии и «Останкино», на призывы к вооруженному захвату Кремля, тоже ответил оружием. Однако и кровопролитие, в котором ни те, ни другие не проявляли хотя бы сдержанности, не привело к реформам. Президент чем больше побеждал, тем больше и тем более открыто тяготел к реваншистам, конечно, «умеренным», то есть готовым поддерживать прежние порядки в новом «демократическом» обличье. Это и позволило ввести Конституцию, легализовавшую большую, чем даже у Генсека КПСС, власть одного человека, Президента России. Подспорьем такому сдвигу служила активность оголтелых реваншистов, благодаря нелепой избирательной системе получивших добрую половину мест в Государственной Думе.

Реальная опасность нео-коммунистического или национал-социалистического реванша побуждала многих закрывать глаза на то, что сосредоточение непомерной власти в одних руках, будь это даже чистые руки, само служит реваншу. Коммунистическая партия не оттого творила зло, что плохи были люди, попадавшие наверх, а оттого, что по природе абсолютной власти, лишавшей население выбора, исходила не из того, кто плох, а из того, кто свой, и подымала плохих, а хороших, ненароком поднявшихся, портила или, когда они начинали перечить, выбрасывала. И опять личные качества ныне менее важны, чем преданность президенту, готовность вторить любым его суждениям и приказам.

Все сильнее зазвучали голоса против демократической критики президента, якобы, как всегда у нас, «льющей воду на мельницу врага», все глуше стали требования реальных реформ. Только подлинно демократическая оппозиция, требующая от Ельцина, в противовес оппозиции реваншистской, выполнения обязательств, с которыми он шел к власти, могла бы исправить положение. Но верноподданные псевдодемократы, все чаще заявляли, что «идея «демократической оппозиции», непригодна» и что «не надо безоглядно и безответственно эксплуатировать удобства оппозиционной точки зрения в эффектной критике власти». Лидеры официальной демократии справедливо призывали к борьбе с открытым реваншизмом, но с таким же пылом учили закрывать

глаза на фактический реваншизм, нараставший во властных структурах.

Ввод войск в Чечню обнажил происходящее. Изображать танки органами демократии трудно. Президент отлично это понимает, оттого на впрямь, видимо, необходимую операцию носа пошел именно в дни операции в Чечне, и ныне может валить ответственность за крайности и жертвы на топорность исполнителей. Но на поверхности лежит и догадка, что такая наивность может оставить с носом. Если сперва могло казаться, что, при всех возможных упреках, Ельцин все же как-то противостоит реваншу, то сожженные аулы, или отречения от своих солдат, посланных в бой тайком и за деньги, или уверения, что никакой войны нет, хоть есть убитые и раненые, стирают разницу меж старыми, откровенными, реваншистами и новыми, с масками на лице. Понятно, старые не становятся от этого лучше, но и новые уже не выглядят «меньшим злом».

Партия «Демократический выбор России» в сей роковой час совершила выбор явно недемократический. Ее лидер Гайдар осудил силовые действия лишь после того как не только «свой инакомыслящий» Юшенков, но и сильнейший соперник Явлинский отправился в Чечню. Но и выступая с осуждениями, Гайдар отказался не только поддержать импичмент президента или хоть воздержаться при голосовании. Он даже против того, чтобы его партия, как минимум, стала к президенту, покамест тот публично не признает своей неправоты в Чечне, в оппозицию. Гайдар чувствует себя в президентской партии, то есть по-прежнему хочет, чтобы нас «вели этим курсом», хотя уже видно, куда он приводит. Здесь рушится иллюзия, будто назвавшийся демократом и впрямь им становится.

Пять лет назад лидером демократов был Сахаров, бесстрашно требовавший от начавшего преобразования Горбачева большей решимости, последовательности и отмены особого положения партии, которой руководил Горбачев. Теперь место лидера занял Гайдар, и пропасть между ними — показатель глубины падения нашей демократии. Если даже после нынешних событий не возродится подлинно демократическое движение, надежды на лучшее будущее России долго придется считать несбыточными и гадать, что введут быстрее — цензуру или продовольственные карточки.

Ах, вовсе не явные козни Грачева, Степашина или даже злостного Егорова, и не потребность армии в пополнении бюджета — первопричина вступления в Чечню. Сколь ни дурны поведение и советы министров, советников и помощников президента, такой приказ может дать лишь Верховный главнокомандующий. Грачев вел переговоры, обещал их продолжить и, конечно, не продолжил потому, что было не велено. Ведь переговоры могли привести к компромиссу с Дудаевым, а весь ход событий красноречиво свидетельствует, что президенту понадобилась его безоговорочная капитуляция. Нужна капитуляция не только Чечни, но тем самым, наперед, и прочих субъектов федерации, прежде всего нерусских, у которых больше специфических запросов, но и русских тоже, и отдельных граждан тоже, и нерусских и русских. Полная капитуляция человека перед государством — это и есть основа прежнего внеэкономического коммунистического порядка, и к нему-то, под другим названием и в других формах, ведет нас ныне президент. Дудаев для показательного примера очень удобен: он не по душе многим российским гражданам, не мне одному, а чеченская нефть по душе Газпрому, что укрепляет отношения президента и правительства, но это уже частность. Главное: капитуляция Чечни — пример капитуляции для России. Эта обнажившаяся правда уже не спрячется, даже если президент, трезво оценив политическую ситуацию, в которую себя завел, даст на время задний ход. Ведь убитые — убиты, раненые — ранены, и это не исправить.

А министр иностранных дел не устает внушать миру, что происходящее в Чечне — наше внутреннее дело. Так-то оно так, да только нашими внутренними делами были и коллективизация, и создание ГУЛАГа, и выселение народов, в том числе чеченского, и «ленинградское дело», и «дело врачей», и пальба в Новочеркасске, и попустительство погрому в Сумгаите, и, опять же, пальба в Тбилиси, и в Вильнюсе, и в Баку. Эти и другие наши внутренние дела как раз и внушали страх перед нашей страной, сеяли неприязнь, а то и ненависть к ней. Именно такие наши внутренние дела побуждали малые страны искать от нас защиты у других сильных держав. А эти державы легко находили союзников: своими действиями наши власти эффективно агитировали людей во всем мире против СССР, против России. Уж кому-кому, а министру иностранных дел стоит об этом помнить. Или и тут начинаем по новой?

ВЛАСТЬ И МАСКА

У нынешней российской демократии есть верный признак, отличающий ее от всякой другой. Это стражи порядка в масках. На них натываешься на каждом шагу. Не так давно человек в камуфляже и маске объявил по телевидению, что в Грозном не осталось мирных жителей, что там одни «боевики». Несколько минут спустя по тому же телевизору показали русских старух в развалинах Грозного. Стражи порядка в масках укладывают людей лицом в снег или лицом в пол, прежде чем разбираться, кто подлежит задержанию.

Костюмированная реформа

При прежней, советской, демократии жестокости тоже хватало. Никто не обвинит сотрудников ГБ или щелоковской милиции в соблюдении прав человека. Но распоясывались они там, за порогом, а в дома входили без масок, с открытыми лицами. В последние десятилетия даже предъявляли документы. Мы знали их имена. Свою жестокость прежняя власть тоже, конечно, прятала, но ее служители не прятались — незачем было прятаться: они, как правило, не меняли хозяина и по сей день ему служат. Люди в масках оставляют себе свободу сменить маски. Неизвестно, кому и чему они будут служить завтра. Этим особенно и опасны. И опасны не только во властеохранительных органах, но и в политике.

Казалось бы, в политике, напротив, маски отброшены, пришло время откровенности, даже бесстыдства. Привыкшие к утвержденной маске единомыслия, мы принимаем разномыслие за откровенность. Между тем углубляющийся кризис увеличивает лишь разнообразие масок. Самая заметная — маска реформы, о которой непрерывно говорят, ничего не реформируя, кроме видимости, кроме масок.

Не слабее и маска демократии: на выборах несколько кандидатов, да только избирательная система сводит почти на нет возможность избрать достойных. Кругом разные партии и движения, но программы их неразличимы, все за богатую и независимую Россию, за социальную справедливость, за народ, за демократию, за лучшее будущее.

Для достоверности в маскарад вовлекаются и неподдельные лица. Оставаясь в меньшинстве, то есть не представляя опасности, они бросают и на окружающие маски сияние неподдельности. Сергей Ковалев придавал власти

благопристойный вид. Его разоблачения бесправия в тюрьмах и армии, да и в дудаевской Чечне, побуждали думать, что назначившие именно его уполномоченным по правам человека обеспокоены нескончаемым бесправием. Правда, Ковалев, едва обнаружив, что это не так, что в Чечне началась бойня, как честный человек, рискуя собственной жизнью, заговорил и о бесправии, чинимом властью, его назначившей. Но много ли честных людей, готовых рисковать жизнью, чтобы не потерять доброе имя?

Демократия пивного ларька

Гораздо чаще откровенность у нас тоже маска, и даже лучшая из масок. Жириновский привлекает сердца показной грубостью, нарочитой несдержанностью. Отнюдь не по глупости шумно признается в склонности к групповому сексу. Не зря, как бы не в силах промолчать, шумит в Думе. Он бросает толпе приметы искренности, приметы противостояния всеобщему маскараду. При волонтаристском сознании советского человека, уверенного, что, «кто хочет, тот добьется», «кто смел, тот и съел», «кто палку взял, тот и капрал», то есть веря, что объективная реальность энтузиасту не помеха, люди надеются, что новый вождь, омыв ноги в южных морях, завалит отечество колбасой, а отечеству ничего не сделается.

В стычках у пивного ларька верх обычно берут наглецы, исходящие из того, что ответный удар не слишком вероятен. (Впрочем, и там он порой меняет диспозицию.) Но люди верят, что по законам пивного ларька можно строить международные и межнациональные отношения.

Маска Жириновского не просто развлекает публику. Она верней, чем неподдельная искренность Ковалева, придает фальшивое сияние неподдельности и другим маскам. Носители их обретают возможность справедливо обличать Владимира Вольфовича, давая понять, что сами они куда лучше. Конечно, Жириновский ведет толпу к торжеству реваншизма, то ли национал-социалистического, то ли неокommунистического. Однако демонстрация этого не только подтверждает реальность угрозы нового тоталитаризма, но и сама служит маской готовящим такой режим втихомолку.

Мы все еще в вихре маскарада слов. Фашизм для нас бранное слово, поскольку мы победили фашистов, но мало кто в России знает, чем на деле был ужасен «новый порядок», именовавшийся в Италии фашизмом, а в Германии

национал-социализмом, и под другой вывеской его не опознают. В школе этому не учат.

Нынешняя власть отреклась от коммунизма, она еще либеральничает, пресса еще не приведена к общему знаменателю. Но мало кто видит, что, отбросив марксистско-ленинские словеса, власть почти в неприкосновенности сохранила основу прежнего порядка — государственное распоряжение хозяйством и его номенклатурных управителей. Рассуждают даже о посткоммунизме, но и эти рассуждения — маска.

Бремя империи

Отождествление национально-освободительных движений народов России с сепаратизмом совершенно необоснованно. Эти движения, как правило, на деле стремятся не к разрыву с Россией, а к самостоятельному решению собственных дел и отвергают не сотрудничество, а слепое подчинение указам «старшего брата». До настоящего сепаратизма они доходят лишь тогда, когда Москва глуха к покоренным царской и советской властями народам, нередко, как чеченский, подвергнутым даже геноциду.

Конечно, отрицать право народов на самоопределение в наши дни не оригинально. На этом держится так называемое национал-патриотическое движение, не различающее русские земли и земли, покоренные Россией, где в немалом числе еще сохранилось коренное население. Но некоторые «демократы» для пущей достоверности ссылаются на действительно порой проявляющееся «стремление освободившихся от московской длани местных вождей "оседлать" комплекс национальной ущемленности этнических меньшинств в своих целях».

Но неужто от таких вождей, которых, не забудем, московская длань и поставила, народам не избавиться без русских танков? И нужна ли им танковая демократия? Или просто не хочется признать, что от империи России надо отказаться не только ради покоренных некогда народов, но прежде всего ради русского, на котором империя повисла бременем, несовместимым с демократией?

А сохранить единство Россия сможет лишь при замене сталинского унитарного государства на действительную федерацию, при отказе от имперских манер и разделении прав каждой автономии и федерации по взаимному согласию, закреплённому договором.

Сергей Шахрай почти одновременно с Жириновским отказал народам России в праве на самоопределение, предложив делить Россию на губернии, упразднив национальные республики. Карьера Шахрая не зря началась с той же должности, с какой начиналась карьера Сталина, с должности наркома, то бишь, теперь министра по делам национальностей. Сталин тоже не давал излишней воли национальностям и не случайно противопоставил ленинскому проекту Советского Союза свой проект «автономизации», то есть превращения даже и «союзных» республик в чисто номинальные автономии. Он строил унитарное, жестко централизованное государство, в котором властная вертикаль спускалась сверху, а местные власти присматривали за исполнением верховных повелений.

Но, стремясь к унитарности, он для виду все же сохранил федеративность. Он со временем даже сообразил, что и против ленинского проекта бунтовал зря, ведь и ленинский проект позволил при формальной свободе республик, вплоть до права на выход, на деле создать унитарное государство.

Возможно, Сталину помогло отсутствие юридического образования: его не стесняло несоответствие демократической формы тоталитарному содержанию.

Шахрай как маска Жириновского

Шахрай захотел их соответствия, и уже конституция, составленная при его участии, не признает различия между русскими областями и национальными автономиями, пренебрегая даже тем, что поддержание культуры малочисленного народа требует специальных бюджетных расходов республики, в то время как поддержание культуры более чем стомиллионного русского народа на многих направлениях самоокупается, а на иных даже прибыльно.

Татарстан и Башкортостан после непростых переговоров заключили договоры о распределении прав и как-то себя отстояли. Но министерство Шахрая не торопилось заключить и с другими подобные договоры, тем более договоры, предоставляющие автономии побольше прав.

Именно под водительством Шахрая сформировалась нынешняя национальная политика РФ, не столь крикливая, но практически идентичная планам Жириновского и противоположная программе, сперва провозглашенной Ельциным — берите столько самостоятельности, сколько прогло-

тите, — теоретически допускавшей и выход из федерации, если он кому-то по силам.

Ельцин смело делал такое заявление, ибо отлично понимал, что ни одна из российских автономий не в состоянии сколько-нибудь благополучно прожить в разводе с Россией, и желать такого развода ее способна вынудить лишь высокомерная, насильническая политика Москвы.

Но понемногу и, понятно, не без ведома Ельцина возобладала позиция Шахрая. В Чечне она развязала войну, ныне она расширяется на Ингушетию и уже задевает Дагестан. Егоров и силовые министры лишь развивали начинания Шахрая, и, бросая им справедливые обвинения, странно забывать главного идеолога событий. Странно уже потому, что силовые ведомства почти отбросили маски и, не стыдясь тождества с советскими насильниками, широко пользуются их лексикой, их вина на поверхности. А Шахрай еще ходит в демократах, хотя под демократическим прикрытием провел программу, которую с первых выстрелов поддержал Жириновский.

Маска для президента

Вот и выходит, что наша политическая жизнь не так проста и не сводится, как внушают с обеих сторон, к противостоянию «патриотов» и «демократов». Люди, верящие, что, голосуя за Шахрая, они голосуют за демократию, на деле голосуют за нечто, очень мало на нее похожее.

Жириновский создает Шахраю фон, позволяющий выглядеть демократом просто в силу более уравновешенного поведения в общественных местах. И в этой фоновой, маскировочной роли Жириновский куда опаснее, чем как реальный претендент на власть, — большинство голосов на президентских выборах он едва ли соберет. А в более пристойной маске его идеи вполне могут взять верх, и Шахрай — одна из самых опасных масок Жириновского.

Говорят, и сам президент у нас — маска, за которой прежде будто бы скрывался не то Бурбулис, не то Полторанин, а нынче генерал Коржаков. Но все равно ведь президент защищает не свои личные интересы, а интересы номенклатуры, жаждающей, закрепив за собой, по Чубайсу, дополнительные доходы, по-прежнему распоряжаться хозяйством, за непродуктивность которого в государственной управе расплачиваются рядовые граждане.

Однако президент не просто, как другие, носит избранную маску, но ловко маски меняет. Если именем Гайдара заверяют в продолжении реформ, которые не начинались, именем Чубайса — в продолжении приватизации, до которой не дошло, именем Черномырдина — в трезвости. недостаток которой обнаруживают у президента, то сам Борис Николаевич как одаренный политик, выдвигая вперед то одного, то другого из челяди, меняет свои маски и, по ситуации, смещает свою политическую позицию от Сахарова к Гайдару, от Гайдара к Черномырдину, от Черномырдина к Шахраю, от Шахрая к Жириновскому .

Можно гадать, последует ли за Жириновским Зюганов или сразу Стерлигов и Баркашов. Но важно, что Ельцин никогда не отождествляет себя всецело с одной маской, с одной партией. Он умело перенимает, казалось бы, чуждую ему еще вчера политику, чужие аргументы, выступая и в виде харизматического вождя, и под видом наименьшего зла в сложившихся обстоятельствах. То есть не просто следует склонностям, а, учитывая расклад политических сил, неторопливо движется к желанным целям.

Эта неторопливость давала время разглядеть скольжение президента и отстоять гарантии демократии, но этого наши «демократы» не делали, наперед отождествив демократию с неведомыми намерениями Ельцина. Вот их и повергло в растерянность вторжение в Чечню, неожиданно представившее президента в натуре. Некоторым утешением им может послужить то, что и Зюганов с Жириновским, и Стерлигов с Баркашовым не заметили, что рядом действует более опытный и умелый единомышленник.

Нас все страшат: единственная альтернатива Ельцину - Жириновский. А тем временем альтернативой Ельцину, противостоявшему ГКЧП и реваншистам из Верховного Совета, уже стал Ельцин, вошедший в Чечню под аплодисменты Жириновского, Баркашова и Невзорова.

Впрочем, справедливость требует признать, что еще в ноябре 1991 года, когда Ельцин вызывал симпатии всей демократической России, Александр Невзоров говорил: «Я глубоко убежден: Борис Николаевич в моем понимании — «наш»... Он уйдет от них, потому что никакой он не демократ. Этот человек ничего общего с демократией не имел, не имеет и иметь не будет». А еще до того Невзоров едва ли не первым у нас воспел стражей порядка в масках.

Политические позиции Невзорова демократическая общественность справедливо критиковала и заодно пренебрегла его дальновидным пониманием Ельцина. И маскам на стражах порядка значения тоже не придала. А терпимость к маскам, как и сами маски, выдавала неумение общества быть открытым. Но без открытости, не на словах, а на деле, демократии быть не может.

Вот и пора, если мы все же хотим демократии, для начала запретить стражам порядка и прочим охранникам да и вообще гражданам носить маски, законодательно установив, что самое их ношение рассматривается как преступный умысел. Тогда, быть может, научимся и заблаговременно различать, что под масками политиков.

РУССКИЕ В РАССЕЯНИИ И РАЗДЕЛЕНИИ

Председатель думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками за рубежом Константин Затулин уверяет, что добрался до корня бедствий, валящихся на головы недавних сограждан в бывших союзных республиках. Русские, дескать, стали разделенным народом, а жить так, в отличие от армян или евреев, они не привыкли. Удивительное сопоставление! И армяне, и евреи - это не разделенные народы, а народы, большей частью живущие в рассеянии, в диаспоре, бежавшие с родной земли от угрозы уничтожения. Народы рассеяния живут именно что рассеянными среди других, а разделенными народы становятся, когда разделяют землю, на которой они испокон веку жили и продолжают жить.

Русский народ, слава богу, подобного в новое время не испытал, даже в Гражданскую войну ни те ни другие не хотели мирного раздела. А вот опыт рассеяния, к сожалению, не раз обретал и русский народ. Издавна крепостные бежали от господ. А после революции и в ходе Второй мировой не один миллион русских счел себя вынужденным оставить родину. Сегодня правомерность их поведения не оспаривается и, кстати сказать, дальняя русская диаспора наглядно опровергла пропагандистскую ложь, будто русские без конвоя не способны к свободе, демократии и стоимостному хозяйству. Оказалось, очень даже способны» и часто, начиная с нуля, добиваются достойного положения в обществе. Нынче и отечество обращается к ним за наукой и помощью.

У разделенных народов иначе. А разделены были не только, еще недавно, немецкий и вьетнамский или поныне корейский. Разделен и китайский народ, живущий в двух Китаях, на материке и на Тайване. И многомиллионный курдский, не имеющий даже и одного государства, живущий и в Турции, и в Ираке, и в Иране, и в Сирии. И азербайджанский, половина которого в независимом ныне Азербайджане, а другая - по другую сторону границы, под властью Ирана. И таджикский, половина которого издавна живет в Афганистане, и афганский (пуштунский), большая половина которого проживает в Пакистане. И ведь и афганцев, и таджиков разделили не нынешние войны, это произошло куда раньше. Лезгинский народ тоже наполовину живет в Азербайджане, а наполовину в Дагестане, то есть в России. Так установили, когда обе страны еще входили в СССР и не требовалось

особых усилий для создания единой автономной лезгинской республики, не претендовавшей ни на суверенитет, ни на изменение общественного строя. Но не только власти Советского Союза, и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве или Брежневеве, этого не желали, но и сегодня господин Затулин вспоминать о таком не хочет, хоть подобных примеров немало.

Какой геноцид "лучше"

Но для разрешения национальных конфликтов надо покончить с ложью, будто их породил распад Советского Союза — якобы царства дружбы народов. Нет, они были зачаты в Российской империи и продолжались в советской, да только подавлялись там железной рукой силовых служб, вплоть до депортации целых народов. Сажи Умалатова уверяет, что предыдущий сеанс геноцида чеченцев был лучше нынешнего. Но за время депортации их численность сократили в половину.

Конечно, Грозный и даже горные аулы не были тогда целиком разрушены, но там больше не было чеченцев. Если бесчеловечность не была столь откровенной и обходилась без бомб и ракет, то от голода и болезней при транспортировке и на чужбине погибало отнюдь не меньше людей. Нынешний геноцид, конечно, не лучше прежнего, но если хуже, то прежде всего тем, что, свершаясь под флагом демократии, свидетельствует, что на деле у нас ее нет и наши правители, именующие себя демократами, — те же сталинисты. Господствует все то же великодержавное сознание. Его шовинистические выбросы прежде таились за показной дружбой, маскировавшей неравенство и унижения.

Прямой геноцид не единственная форма имперского шовинизма, на который наряду с коммунистической идеологией все больше полагалась советская власть. Шовинизм закладывался уже при определении административных границ национальных образований, совершавшемся часто вопреки реальному расселению народов. Ему служили и массовые перемещения людей, не всегда насильственные, но искусственно стимулируемые. Новые предприятия часто размещались не по экономическим или производственным соображениям, но ради внедрения инонациональной рабочей силы. Паспортная система и прописка создавали при выборе места жительства преимущества одним и препятст-

вия другим. О не имевших права проживать во многих городах или о привязанных к назначенному месту тоже известно.

Крымские проблемы, списываемые ныне на Хрущева, коренятся в насильственной трансформации национального состава после войны. Еще в тридцатые годы русские составляли в Крыму немногим более 40%, крымские татары – 25%, украинцы - около 11%, немцы - более 6, евреи - около 6, а жили там еще и греки, и болгары, и другие. То была воистину многонациональная республика. Крымских татар, немцев, греков, болгар изъела советская власть, евреев перед тем ликвидировали гитлеровцы.

Еще до передачи Крыма Украине Верховный Совет России лишил его республиканского статуса и к Украине он отошел как область. А после Сталина в отличие от других "помилованных" народов крымским татарам не только не помогали, но мешали вернуться, и наново земли заселялись не столько украинцами, сколько русскими. Так там и возникло нынешнее русское большинство, и нужен был большой цинизм, чтобы, не воротив депортированных, восстанавливать республиканский статус. Евреев, понятно, не воскресить, но крымские татары все еще в Узбекистане. Однако нынешнее руководство Крыма, а с ним и господин Затулин и знать ничего не хотят, кроме свершившихся фактов.

Опора империи

Не менее пикантна ситуация в Приднестровье, в отличие от Крыма не присоединенном к Украине, но отторгнутом от нее. В 1920-30-е годы это была Молдавская автономная республика в составе Украины, и ее полумиллионное население состояло на 30% из молдаван, чуть менее 50% из украинцев, на 8,5% из русских, такого же количества евреев и так далее. Можно понять опасения тамошних жителей в связи с обретением Молдавией, в которую Сталин включил бывшую автономию, независимости и смутными намерениями местной оппозиции, отнюдь не власти, объединиться с родственной Румынией. Но разбираться в этом естественнее все же было бы с участием соседней Украины, чем России, которая с Приднестровьем не граничит. В Приднестровье нет и русского преобладания.

Нас уверяют, что прежде мы жили в свободной стране и были равноправны, независимо от национальности. Общее число жителей РСФСР было ненамного больше общего числа жителей остальных союзных республик вместе взятых.

Но русские в этих союзных республиках по последней переписи составляли уже более 19% всего их населения. Между тем коренные жители этих республик, осевшие в Российской Федерации, все вместе составляли там лишь 4,5% ее населения. Неравенство налицо.

А если проследить тенденцию расселения, особенно после революции, станет еще нагляднее стремление к заселению окраин русскими. Еще интенсивней оно проявлялось в отношении автономий РСФСР. То есть совершалось еще одно рассеяние русского народа, выражавшее четкое стремление не только царской, но еще больше советской власти создать ближнюю русскую диаспору на всей территории СССР как опору имперской политики.

Имперскую политику принято осуждать с позиций покоренных народов, которым она мешает жить по своему усмотрению. Ответом на это явилась и ситуация, которая ныне вынуждает многих русских покидать места, где они жили десятилетиями. Но это лишь самое наглядное зло из тех, которые имперская политика принесла уже не покоренным народам, а собственно России, поныне кладущей на ее алтарь жизни и души своих солдат. А Россия страдала и от того, что ради этой политики десятилетиями выталкивала в республики квалифицированных специалистов, нужных дома.

Нищета деревень и городов России — тоже налог, взятый с русского народа на воссоздание советской российской империи. Но доходы от нее шли не народу, а власти да стражам империи. Лишь признав грань между народом и государством, мы сможем доказать, что неверно объявлять русский народ поголовно виновным в преступлениях Российского государства.

С теми, кто готов вымещать его преступления на каждом русском, часто ни в чем не виноватом, трудно спорить, пока в российской ментальности держится уверенность одного из самых талантливых русских шовинистов Василия Шульгина: "Все члены одной и той же нации скованы неразрывными цепями, и за всякое деяние каждого все несут коллективную ответственность". Этот девиз русского шовинизма ныне оборачивается против русского народа. Между тем вина вообще понятие индивидуальное. Даже групповая вина предполагает какое-то, пусть самое малое, участие в совместном преступлении, а коллективной вины на людях, о нем даже не ведавших, быть не может, если, разумеется, мы остаемся в границах права.

Долг законного наследника

Но что-то не слышать, чтобы господин Затулин, которому и надо бы неустанно это объяснять в тех областях СНГ, где происходят эксцессы, призвал Государственную думу осудить любое провозглашение коллективной вины.

И уж по крайней мере пора Думе признать вину нашего государства перед русскими, которых оно сознательно расталкивало по огромному пространству, чтобы обрести в них опору. Российская Федерация обязана как минимум строить для беженцев и переселенцев из стран СНГ жилье, (вот быгодились деньги, пущенные на разрушение и восстановление чеченских городов!) сообразно с тем, где люди найдут применение своей квалификации. Строить, понятно, не только для русских, но и для ищущих спасения других выходцев из России да и вообще прежних граждан СССР, раз уж Российская Федерация провозгласила себя его правопреемником.

Русский русскому рознь

Конечно, далеко не все и не из всех обретших независимость стран захотят возвращаться. Если уж рассматривать русский народ как разделенный, сопоставлять его надо не с армянами, а с англичанами, в ходе строительства Британской империи тоже распространившимися чуть не по четверти земной поверхности, а ныне, когда империя распалась, не отовсюду торопящимися в добрую старую Англию. Но говоря о разделении, они уже не говорят о едином народе, и наряду с пятьюдесятью миллионами англичан за отдельный от них народ считаются ныне и 12 миллионов англо-австралийцев, или немногим меньшее число англо-канадцев, или три миллиона англо-новозеландцев.

В едином Советском Союзе закрывали глаза на своеобразие, скажем, латвийских русских, немало сделавших между войнами для русской культуры, да и для латышской, и не часто у нас вспоминали, что при включении Латвии в СССР многие из тамошних русских проследовали в Сибирь наравне с латышами. Вот бы и вспомнить, и латвийским властям напомнить! А различие между латвийскими и, к примеру, грузинскими русскими очевидно всякому, кто соприкасался с теми и другими, и многие этими отличиями дорожат.

Важнее всего, чтобы каждый житель СНГ, в том числе и России, мог свободно и самостоятельно решать, хочет ли он возвращаться в историческое отечество или жить там, где

довелось. Если Россия поможет тем, кто хочет вернуться, она облегчит положение и тех, кто останется, ибо прояснится, что они остаются не поневоле, а из расположения и преданности земле, с которой сроднились.

Увы, господин Затулин — лицо официальное, ни о чем подобном не заикается, и мы снова видим, что судьба русских людей в ближней диаспоре волнует его не сама по себе, а лишь как предлог, чтобы и дальше удерживать власть империи. И ведь он у нас не один такой!

УРОКИ ЭКСТРЕМИЗМА

С легкой руки Марка Захарова Вера Засулич вышла в главные злодейки российской истории. Даже в ленинцы попала, хоть к Ильичу была, как правило, в оппозиции. В ее лице наше общество обличает экстремизм. И попутно либерализм. Подумать только, присяжные оправдали террористку! Хоть экстремисты нынче объявились и в демократических странах, присяжные их там не оправдывают. Нам непонятен ход мыслей соотечественников, в 1878 году бравших в расчет что-то, упускаемое нами, современниками нацизма и советской власти, или, напротив, отвергавших что-то, вошедшее тем временем в нашу кровь и плоть.

Вера Ивановна Засулич покушалась на убийство и ранила Федора Федоровича Трепова, распорядившегося высечь политзаключенного, что закон запрещал. То есть, Федор Федорович преступил закон раньше Веры Ивановны. Но Засулич, пыталась учинить самосуд, лишить преступника права на независимый суд. Почему же присяжные ее оправдали? Потому, что по опыту знали, что никто Трепова законному суду не предаст, начальству закон не писан.

Вроде бы тогда уже совершилась великая судебная реформа Александра II. Но и по новым законам должностные преступления высших чинов рассматривались не общим судом, а специальными департаментами. Это различие в подсудности фактически сохраняло у начальства ощущение безответственности. Вот Трепов и позволял себе крайние, выходящие за пределы закона, меры, позволял себе быть экстремистом. Экстремистским было все наше самодержавное государство. И сознававшим это присяжным, в отличие от Марка Захарова, трудно было осудить Веру Ивановну, на государственный экстремизм ответившую личным и никак не ожидавшую безнаказанности. Присяжным мешало чувство справедливости. Совесть тогда не позволяла честному человеку принимать как должное безнаказанность самодержавия и его распоясавшихся охранников.

В пору борьбы с Ордой самодержавие означало самостоятельность Руси, ее суверенность, независимость от каких-либо внешних начал. Но со временем это прекрасное понятие обозначало уже и независимость от внутренних начал, неограниченную власть царя над подданными. Закон отождествился с царской волей, и начальникам, и всему правящему слою не было препон, кроме воли вышестоящей.

Пока Александр II не издал соответствующий манифест, ничто не мешало продавать на торгах братьев по крови и вере. Духовность не препятствовала. Как говорится, сложилась такая традиция. Провозгласившие «Долой самодержавие!» хотели не нового хана над Россией, а прекращения государственного экстремизма. Из их благих пожеланий ничего, к несчастью, не вышло. Может, потому и не вышло, что на царский экстремизм они тоже отвечали экстремизмом. Советское государство по части экстремизма даже превзошло царское, и нам опять объясняют, что плох экстремизм бунтарей, а государственный куда как хорош!

Нашу власть беспокоит не так ее собственная практика экстремизма, как идеи самовольных экстремистов. Общество не склонно замечать несоответствие написанного на знаменах, и практики, под ними вершащейся, которую граждане не в состоянии пресечь в законном порядке, кто бы ни бесчинствовал. Экстремизм у нас делит на чистый и нечистый, полезный и вредный, мы ищем одну правду на всех, не важно — в газете «Правда» или по радио «Свобода». Сознание привычно делит на крамолу и государственный образ мысли. Вчерашняя крамола может сама обратиться в государственную идеологию, но характер идейной жизни при этом не слишком меняется, а преступления, отвечающие такой идеологии, не считаются преступлениями. Так бывало и при замене одних религий на другие, и при обращении самой религии в крамолу. Вроде бы теперь открылся простор для честного соревнования разных мировоззрений, и религиозных, и светских, но то и дело слышны требования утвердить новую государственную идеологию, и фактически она складывается. А борьбу разных экстремизмов меж собой выдают за борьбу с экстремизмом. Экстремизму непримиримой оппозиции Андреевой и Тюлькина государственный экстремизм уступает, а демократической оппозиции затыкает рот.;

Не так давно страну оклеили плакатами Белого братства. Потом засветилась японская секта Аум-синрикё. И пошли призывы к ликвидации «тоталитарных сект». Если наши сведения достоверны, основания искать в суде управу на некоторые религиозные общины, нарушившие светские законы, иногда имеют место. Церковь у нас, благодарение господу, еще отделена от государства, и ее вмешательство в гражданскую жизнь допустимо лишь, покуда она не ущемляет ничьих гражданских прав. К примеру, религиозное освящение нововозведенных ларьков или банков ничьих прав не

нарушает, но не дает ларькам и банкам права игнорировать гражданские установления по финансовой части. Проповеди в пользу истины, добра и красоты не оправдывают изготовление проповедниками отравляющих веществ или призывов к убийствам. Всякий человек, на такое идущий, с богом или без бога, должен нести ответственность. Но нельзя возлагать ее скопом на других людей и другие организации, о подобном не помышляющие, хоть тоже высказывающиеся в пользу истины, добра и красоты. Вместо легитимной борьбы против конкретных проявлений экстремизма в религиозном облачении начинают деление религий на допустимые и недопустимые.

Выражение «тоталитарная секта» лишено смысла. Секта от церкви отличается разве тем, что обычно возникает как ее внутренняя оппозиция, потом откальывающаяся и считающая себя уже не сектой, а именно что истинной церковью. Так возникла и христианская церковь, как секта иудейской. Еще нелепей деление церквей и сект на тоталитарные и нетоталитарные. Все религии — тоталитарны, поскольку каждая полагает себя единственно истинной. Слова «православный», «правоверный» не зря в ходу. Они дышат верой в свою правоту, и ничего худого в этом нет, пока вера не перерастает в нетерпимость к инаковерующим, в клевету на них и призывы их преследовать, не говоря уже о кострах инквизиции. Определить наперед, кто дойдет до палачества, а кто в ужасе отшатнется, средств нет. Зато слышны призывы к запрещению «тоталитарных сект» чуть не вплоть до католичества. А ведь презумпция невиновности не только на граждан, но и на религиозные организации распространяется.

И на светские организации и на светские идеи тоже! Мы все не возьмем в толк, как жить с противоречием между необходимостью свободы даже и для худого, неверного слова и необходимостью запрета на худую деятельность — на убийства, насилие, поджоги, ограбление, ущемление в правах и т.п. Порой связь меж тем и другим очевидна. Слово порой подстрекает к насилию, порой клеветает. За призывы к убийствам надо отвечать. Но отвлеченные идеи, даже ложные, неподсудны уголовному суду..

К сожалению, точности нет даже в употреблении слова «фашизм». В российском обиходе оно часто звучит просто как бранное. Фашистским именуют порядок, существовавший в Германии между 1933-м и 1945 годами. Но в Германии

он именовался не фашистским, а национал-социалистическим. Партия Гитлера называлась «немецкая национал-социалистическая рабочая партия». У нас еще до войны ее стали называть фашистской, перенося на нее наименование сходного, но все же чуть менее оголтелого движения, созданного в Италии известным до того социалистом Муссолини, действительно именовавшегося фашистским. От массового российского сознания по возможности утаивали, что против большевиков как партии и против русских как народа, который после колонизации России предполагалось обратить в рабство, подвергая его, в отличие от немедленно ликвидируемых евреев и цыган, медленной ликвидации, выступает тоже рабочая, тоже социалистическая немецкая партия. О социалистической природе этой партии у нас без стыдливости заговорили лишь после 1939 года, при политическом и идейном сближении двух держав. А до того наши власти опасались, что столь явное сходство может и заслонить особенности российского социализма и немецкого национал-социализма. Вот последний и называли фашизмом.

До войны фашистскими наймитами у нас называли и опальных большевиков, то есть большинство партии, во главе с Лениным водрузившей над Россией красное знамя, под которым Сталин их потом уничтожал. Потом фашистами у нас называли и «англо-американских поджигателей войны», и такого убежденного немецкого антифашиста, как Конрад Аденауэр, и не столь давно даже Сахарова и Солженицына. Такое словоупотребление сознательно поощрялось, мешая массовому сознанию разобраться, что к чему, чем на деле вызвано ощущение тупика, куда, казалось, зашел XX век. А лишь созная это, можно было сыскать демократические способы выйти из тупика, где рождается всякая тоталитарная власть, и коммунизм, и фашизм, и национал-социализм.

С начала века в промышленных странах бурно развивавшееся хозяйство испытывало перегрузки и диспропорции. Ему не хватало платежеспособного спроса, и одновременно рос, оставаясь неудовлетворенным, неплатежеспособный спрос, обострялись социальные нужды широких масс людей. На смену вере в свободную инициативу, собственной не только буржуазным, но и многим социалистическим мыслителям, приходит стремление к прямому вмешательству государства в хозяйство, к дирижизму, к единому

общественному производству. Вера в его спасительность, в заведомую мудрость централизованного руководства хозяйственной сверхмонополии охватывает огромную часть общества, независимо от классовых различий, сказывавшихся, в сущности, в оттенках. Эта вера возвращала общество к традициям феодально-абсолютистского государства, стремившегося некогда, хоть еще во многом путем компромисса с новыми общественными силами, продлить век феодальной реакции. Надежда на всеведение и всемогущество государства и его вождя, овладевшая XX веком, тоже была данью реакции перед тупиком, казавшимся безвыходным. Иные варианты выхода из него еще не просматривались. Второй промышленный переворот, позволивший развитым странам после войны выбраться, еще только вызревал в умах исследователей.

Но — и это главное — надежда на государство проявлялась не всюду одинаково. Ее приверженцем был и Франклин Рузвельт, известный демократ и антифашист. Между тем и Рузвельт, и Гитлер завоевали популярность и пришли к власти в поисках выхода из кризиса, оба активно пользовались государственной властью для решения хозяйственных проблем своих стран, оба подчинили политике экономику. То же самое делал Сталин, свернувший нэп. То же самое Бен Белла, Кастро, Саддам Хусейн — и несть им числа.

Однако Рузвельт, будучи тоже харизматическим вождем, соблюдал демократические нормы и добивался легитимных законов, а Гитлер и прочие регламентировали хозяйственные и социальные отношения директивной силой государственного экстремизма. Дело не только в техническом развитии — конечно, чем оно ниже, тем, как правило, ожесточенней силовое вмешательство. Существенна и связь с феодально-абсолютистской традицией: в России — едва прерванной, в Германии — недавней, в Штатах — отсутствовавшей. И все же корень различия — в массовом самосознании, в способности людей в трудный час удержаться от силовых действий и удержать от них власть.

Иначе надежда на государство перерастает в его абсолютизацию, обращается в государственную идеологию, препятствующую органическим переменам. Уже феодально-абсолютистское государство клонилось к абсолютизации государственной религии, к воинственной религиозной нетерпимости. Она утверждалась и контрреформацией, возвышая папу Римского, и у нас при Петре как, напротив, уп-

разделение патриаршества и переход управления церковью к синоду во главе с назначенным царем обер-прокурором. В отличие от надежды на демократический закон по Рузвельту, надежда на государственный экстремизм по Гитлеру, неотделима от формирования государственной идеологии.

Идеологии силовых государств кажутся разными, подчас противоположными. Много ли общего у идеологии немецкого национал-социализма по Розенбергу и Геббельсу с идеологией отечественного социализма по Жданову и Сулову (именовавшейся марксизмом-ленинизмом) или идеологией исламского социализма? Они схожи, главным образом, самым оправданием государственного экстремизма, а на это сгодились бы, и при случае сгодятся, не только идеологии, выведенные из Гегеля, Маркса, Ницше или Магомета, тоже едва ли бы пришедших в восторг от таких последователей. Оттого и опасно сводить угрозу насилия и государственного экстремизма к одной-двум уже известным идеологиям, красной, коричневой или красно-коричневой, и воображать, что обоснованный запрет на четырехлучевую свастику снимает угрозу экстремизма. Обойдутся и тремя лучами, и мало ли чем.

Из нашей нынешней ситуации тоже трудно выбраться без государства, хоть свершившийся промышленный переворот это и облегчает. Без государства не ввести новые законы, не создать условий для свободного хозяйствования. Без государства трудно преобразовать изуродованную структуру российского хозяйства. Вот и не видать у нас сколько-нибудь влиятельных анархистских партий и движений. Сегодня в России здоровый человек не может не быть государственным. Споры идут не о том, надобно ли обществу государство, а о том, быть ему силовым, тоталитарным, или правовым, демократическим.

Угроза отечественного фашизма не сводится к антисемитским плакатам и сочувственным предисловиям к «Майн Кампф», хоть недооценивать их, как сигналы, опасно. Но за молодчиками со свастикой пора различать тех, кто заинтересован в их маршировке, кто ради, так сказать, «служебных», а на деле сословных интересов мешает стране преодолеть разграбившую ее и разорившую силовую инерцию. Желаящие действовать силой будут стоять на своем, даже если запуганные вконец евреи уедут, даже если их, перехватив по дороге, перебьют, а потом и молодчиков, их перебивших, как водится, перестреляют. Фашист опознается по

стремлению насильственно регламентировать хозяйство и социальные отношения, насильственно определять потребности людей и трудовые нормы, опять, как в СССР, обращая заработную плату в разновидность социального пособия. Он опять хочет административной силой приобрести то, что наш правящий слой в большинстве не способен без казнокрадства и взяточничества обрести на волнах экономической стихии. Советское хозяйство, этой стихии знать не желавшее, звалось «плановым», на деле будучи сугубо директивным. Оно не считалось с объективными пропорциями развития, ради сообразности с которыми и надобен план, но заботилось о сословной выгоде правящего слоя, загнавшего Россию в нынешний кризис.

Но и за десять лет с начала перестройки мы не осознали происшедшего. Миллионы сограждан, на собственном горбу испытавшие директивное правление, списывали свои беды на личные пороки правителей. Многим казалось и поныне кажется, что внеэкономическая директивная система способна дать больше товаров и жилья, создавая рай не только для начальства. Стоит, дескать, начальству захотеть! Брежнев отчасти и шел навстречу такой вере, распродавая сырьевые ресурсы, даже и у нас не беспредельные, и покупая за рубежом хлеб, а до поры и лекарства, и одежду, и даже косметику. Нет, не пороки вождей и не сами по себе их лозунги, а директивная система, по природе своей не поддающаяся ценностному учету и сбалансированию, деформирует структуру хозяйства. Спасти хозяйство России может лишь его раскрепощение. Но, убрав со стен портреты Маркса и Ленина, государство все еще дает произвольные директивы, крепя тоталитарный режим, но уже откровенный, без показных фраз о благе трудящихся и дружбе народов.

Отчего и наш социализм, сперва вроде интернациональный, еще при Сталине, если не раньше, стал клониться к национальному истолкованию? Многие сочли, что шовинизм не только неперенное свойство, но и главное содержание фашизма, и надеются, что его силовые приемы задедут лишь маргиналов, лишь космополитов да масонов. Но возлюбил даже Игорь Шафаревич евреев и заверь он чиновников, что вовсе не их разумел под «малым народом», найдется — и уже, как видим, нашелся — другой «малый народ», другой веры и другой крови, вдруг тоже объявленный опасным для великого народа, обкрадывающим российские банки и захватывающим российское вооружение. И вот на

московских и питерских улицах бесстыдно проверяют документы «лиц кавказской национальности», а города и села «малого народа» без пощады бомбят и давят танками. Отечественные национал-социалисты ликуют, даром что «малый народ» оказался не тот, и видно, что дело не в его национальных качествах, и самый шовинизм — не причина, а следствие тоталитарной установки, — он ее выдает, но она его рождает. Оттого и люди, вчера еще осуждавшие шовинизм, ныне приветствуют геноцид в Чечне как показательный пример государственной силы. Даже и в обозначенном Шафаревичем «малом народе» нашлись, к сожалению, — не только генерал Рохлин, — люди с короткой памятью, уверившие себя, что это другой случай и можно выступить заодно с Баркашовым, Невзоровым и Бабуриным.

И вот уже те, и другие, и третьи ратуют за вовлечение России в таджикскую гражданскую войну и чуть ли не в войну с Украиной из-за Крыма, якобы для защиты соотечественников, которым будет уготована участь жителей Грозного. То-то и оно, что это все однородные случаи. Меняются лишь названия народов, меж которыми сеют рознь, внушая постоянным кровопролитием, что единственное спасение в отказе от своих прав и беспрекословном подчинении монополии былого силового государства. Там, дескать, поддерживался конституционный порядок и на улицах убивали крайне редко, на то были застенки и лагеря. Да и про национал-социализм уже объясняют, что не во всем он плох. Немецкий зря утверждал, что править миром должны немцы. Но разве плохо честно сказать, что править миром должны «наши»? Тем более, что «наши» могут быть советскими, а могут, если надо, и антисоветскими. Но «нашизм» остается фашизмом.

Демократия тем и отличается, что в ней есть равноправное место не только для «наших». Без понимания этого обличения сталинских лагерей и брежневских психушек обесцениваются. А то ведь порой теми же, на первый взгляд антифашистскими, перьями пишутся речи и статьи о том, что демократическая оппозиция России не нужна, что демократия воплощена лично в президенте, пославшем войска в Чечню, и что нечего давать командирам советы во время атаки. Самопровозглашенная монополия таких перьев на демократию не слишком отличима от ранее провозглашенной монополии других на патриотизм.

А плоха не забота о своем крае и о том, чтобы землякам жилось лучше, равно как и не забота о том, чтобы сами они на равных правах решали, что им лучше. Плохи не патриотизм и демократия, а экстремистские претензии на монополию в том и другом. Страшны люди, твердящие, что им одним ведомо, как любить родину, и кому она — родина, а кому — лишь место жительства, или, что одной лишь номенклатуре известно, что для людей лучше, а посему ее безмерная власть и есть демократия. А кто другое скажет, тому слова не давать!

Под идеологическим экстремизмом пульсирует стремление к хозяйственному экстремизму, то есть к тому, чтобы государство и дальше монопольно распоряжалось хозяйством страны. Формы хозяйственного экстремизма обновляются. У нас он был доведен до государственной собственности на все и вся, а номинально «кооперативно-колхозной» государство распоряжалось еще непринужденной. Но можно и либеральничать, дать место перекупщикам или выдать часть акций госпредприятий номенклатурным лицам и даже некоторым заслуженным работникам. Наши реформы не продвинулись дальше либеральничанья. На политической арене нет стойкого движения за отделение хозяйства от государства, за подлинный экономический плюрализм, а тем самым за подлинную демократию и подлинный патриотизм.

Нам твердят: ничего этого не надо, главное — быть 하나로, навалимся артелью и восстановим хорошую жизнь, словно прежняя была хорошей. Под видом единства крепят монополию. Но хорошая жизнь возможна лишь на почве приватизации, не показной — по Чубайсу, — а всамделишной, когда не наваливаются все на одно, всем жертвуя, но каждый делает свое дело, конкурируя с другими, стараясь сделать лучше и продать дешевле и больше. Наваливаясь артелью, мы, конечно, делали порой замечательные дела — в космос первыми залетели! Но это воистину великое дело не только не спасло от Чернобыля, но отчасти его вызвало: на космос тратили столько, что на защиту от ядерных реакторов не хватало. Но мы не учимся и на собственном опыте.

После социального взрыва 1905 года царь тоже уступил, склонился к обновлению, издал Манифест, созвал Государственную Думу с совещательными правами и в 1907 году позволил Столыпину провести «сначала успокоение, потом реформы». Но недостаточность последних выявилась уже через десять лет, в 1917 году, когда новые экстремисты

доломали то, что прежние не хотели всерьез реформировать. Нынешняя власть повторяет слепоту царской. Вот и авторитарную Конституцию даровали, и Думу с совещательными правами. Но, как тогда, более всего обеспокоены тем, чтобы реформы не оказались слишком глубоки и впрямь не урезали всевластие и экстремизм государства. Нам твердят, что власть и так нынче слаба, а «слабая» власть устным приказом бросает армию в бой против собственных граждан. По всем понятиям, божеским и человеческим, это не слабость власти, а ее царственная неограниченность! А нам твердят про слабость, и политика сводится к перетягиванию каната кучками, жаждущими монопольно править. А штурмовики уже готовы атаковать желающих видеть Россию не монопольным владением той или другой кучки, а страной всех ее жителей.

Можно лишь гадать, захватит ли непримиримая оппозиция власть силой, соберет ли она на выборах солидное, пусть, подобно Гитлеру, и не абсолютное большинство, или просто еще откровенней станут действовать нынешние власти. Можно лишь гадать, возродит ли Зюганов выдававшиеся номенклатуре при Сталине «конверты» или сохранит за ней полученные от Чубайса акции, дающие примерно те же деньги. На жизни обыкновенных людей эти различия не слишком скажутся, да и не столь уже велико различие между непримиримой оппозицией коммунистов и правительством. Оно казалось эпохальным, когда президент и парламент России выступили против ГКЧП. Оно казалось существенным, когда президент и парламент России пошли друг против друга. Конечно, и сегодня не все кошки серы, и не то чтобы в парламенте или президентском совете никто не сознает, в какой он компании. Стилистическое различие между Жириновским и Гайдаром, конечно, огромно, но политическое — не больше, чем было меж М.А. Сусловым и А.Н.Яковлевым, состоявшими в одной партии.

Вот и нынешние партии, по существу, фракции все той же единой партии государственного экстремизма. Одни ныне готовы рубить сплеча, другие понимают, что не так все просто, но никто всерьез не противостоит государственной монополии. Мало того, единой волей создаются сразу два политических движения — так сказать, левое, то есть партработники во главе с Рыбкиным, и, так сказать, правое, то есть директора во главе с Черномырдиным. Оба объявлены центристскими в надежде вытеснить из парламента «экс-

тремистов слева и справа». Понятно, кто по этой терминологии попадает в экстремисты слева от Рыбкина. Но справа от Черномырдина экстремистами уже назвали и Гайдара, по праву заявившего, что политика правительства это его политика, и Бориса Федорова, поддержавшего ввод войск в Чечню. Оно, конечно, и Гайдар и Федоров, будучи пограмотней, иногда обращают внимание власти на объективную реальность. И этого, выходит, довольно, чтобы уверять, что, в отличие от них, Черномырдин, взывающей к авторитету товарища Сталина, или Рыбкин, «забывший», что утверждение Сергея Ковалева уполномоченным по правам человека голосовалось в согласованном фракциями «пакете» с двумя десятками других назначений, и умело проведенный голосование о лишении его поста обособленно от остального «пакета», — совсем не экстремисты. А они-то повседневные, работающие, не крикливые экстремисты и есть. Вот и задуматься, возможно ли в такой атмосфере создание свободной партии сторонников воистину либерального правового государства.

Открытая борьба против губящего страну государственного экстремизма, к сожалению, все еще невозможна, и протекает она лишь в искаженных формах, в каковых не вовсе умирала и при Сталине. Пресловутый национальный сепаратизм — тоже форма этой борьбы, поскольку он дробит имперскую сферу экстремизма. Но дайте фабрикам и фермам реальную самостоятельность, и выяснится, что их интересам отвечает не только обособленность, обороняющая сегодня от имперского сапога, но и открытость границ. К тому же государство могло бы стать объективным арбитром меж работодателем и рабочим, на что, само выступая монопольным работодателем, оно неспособно. Тогда бы и усох разбухший аппарат монополии с доходными местами. Гипертрофия бюрократии — кормилица тоталитарной власти, а гонения на инородцев и «лишенцев», равно как свастика или красный флаг, — лишь неизбежные запахи всевластия монополии.

Если мы не хотим фашизма, надо, чтобы фермера не стреноживал колхоз, из которого он вроде вышел, и у фабрики непомерные налоги не отнимали свободу маневра. Надо регулярно платить зарплату на государственных предприятиях, ибо, вопреки Гайдару, замена пустых прилавков на пустые кошельки не способствует экономике. Реформа совершится, когда цена рабочей силы придет в соответствие

признать во весь голос, что персональных воплощений демократии не бывает.

Президент не властен отменить вызванное глубинными причинами. Но властен признать, что опасно не одно какое-то политическое движение, а всякий экстремизм, особенно взявший власть, государственный, — и откровенный, и прикрывающийся патриотизмом, или социализмом, или религией, или даже демократией или чем угодно еще. Законы позволяют его осадить, но не применяются потому, что, когда перезревшие демократические перемены не свершаются, когда экстремизму нет реальной, а не только словесной, альтернативы, его вес растет. Президент это понимает, но, делает вид, что, дескать, не виноват, даром что виноват.

Но не будем все валить на одного Ельцина. Постепенность его смещения к нынешней позиции все же позволяла, хоть он и его окружение этому мешали, оформиться независимому демократическому движению. И если так не случилось, вместе с Ельциным виноваты те, кто тоже отождествил собственное вхождение во власть с демократией. Ах, не в том дело, чтобы демократу непременно быть оппозиционером, но ему негоже помалкивать, как Гайдар и другие, когда власть, в которую он вошел, ущемляет демократию ради возвышения ее «гаранта» и его охраны. Если, оставаясь в президентском совете или совете министров, вчерашние демократы еще числятся демократами, народ вправе думать, что демократия — это новое платье тоталитаризма, и потерять доверие к демократии, а это упразднит надежду на спасение страны. Оттого и важно открыто говорить, кто эти демократы на деле.

Нас учили по Ленину, что надо изменить жизнь, чтобы изменить образ мыслей. А как ее изменить, думают и знают вожди. Фашисты тоже уверяли, что народу надо следовать инстинктам, а не рассуждать. Но, чтобы впрямь изменить жизнь, думать бы надо и нам грешным, вплоть до ленинской «каждой кухарки», управляющей государством. И понимать, что с нами проделывают. И прежде всего, понимать, что такое — и при царях, и при большевиках, и нынче — государство.

Государство сопоставимо с огнем, положительное значение которого безмерно. Не обрети люди огня, так и остались бы животными. Но когда от огня отводят глаза, представляя его самому себе, он тотчас вырывается из положенных пределов и губит жизнь, уничтожает живое и сотворенное людьми. Так же и государство. Мы не смогли бы жить

без выпускаемых им денег, без полиции, охраняющей от уголовников, без армии, способной воспрепятствовать внешней агрессии. Мы не можем жить без государственной помощи здравоохранению, социальному обеспечению, просвещению, науке, культуре. Но стоит обществу отвести от государства глаза, предоставить его самому себе, и оно норовит действовать экстремистски, вырваться за отведенные ему пределы, уничтожить все независимое. В особенности опасно государство, завладевшее, как наше, хозяйством.

Если искать общее определение всем разновидностям тоталитаризма, в нашем быту именуемого фашизмом, — это и есть необратимая гипертрофия государства, противостоявшего отдельному человеку и разнообразию людских общностей, у нас такое называли культом личности, возлагая вину лишь на хозяина и выгораживая подручных. Но беда не в одной личности, при всей непомерности ее власти. У Бориса Николаевича, в отличие от Иосифа Виссарионовича, еще нет мании величия, у него, кажется, получше с чувством юмора, но и он верует, что, как президент, может сделать такое, чего и сам господь сделать не может. Попытки сыскать в нем сходство с Брежневым, Муссолини или Гинденбургом обходят главное: его возвеличивание — не культ личности, а культ государства, веры в неограниченные возможности государства и, как бы ради них, в его неограниченные права, в том числе и в священное право на экстремизм.

Чтобы преодолеть угрозу экстремизма, обществу, как герою Андерсена, надо сказать государству: знай свое место! Многие, не один Марк Захаров, осознали, что нет оправдания и самому обоснованному самосуду над самым отъявленным преступником. Но уже не девушка, плохо целясь, стреляет из револьвера, а квалифицированные военные летчики кидают бомбы на города и села, не разбирая, сколько там детей, стариков и женщин, и чеченских и русских. Неужто Марку Захарову это кажется меньшим злом? А совершила его не покойница Вера Ивановна, не частное лицо, об этом незабываемым указом распорядился президент нашей великой и могучей родины. И не брал при этом в голову, что у солдат, такой указ исполняющих, если, понятно, уцелеют, пропадут нравственные преграды, удерживающие от приобщения к Баркашову. Да и предполагал ли президент, толкая их туда одним указом, потом осадить другим?

ПРАВО ВЫБОРА

Имена политиков все чаще мелькают на обложках книг, написанных то ими, то за них, то про них. Историей карьеры внушают, что карьерному человеку можно доверять. Но доверие скудеет. И не потому, что плох слог и дурен вкус пишущих. Просто власть повседневным враньем нас давно выучила не верить на слово, и последние десять лет тоже поучительны. Но впереди выборы, сперва парламентские, потом президентские, и надо решать: голосовать — не голосовать, и если голосовать, то за кого?

Прошлый раз Россия дружно проголосовала за Ельцина, не воображая, что пряников сладких хватит на всех, но надеясь мирно и свободно разбираться в накопившемся. Но едва сбросили узду ГКЧП, начались вооруженные распри. Сперва инициативу стрелять проявили вице-президент и депутаты, потом инициативу бомбить — президент. Можно говорить, что мы ошибались в выборе. Но разве Рыжков, Жириновский, Макашов и прочие не делали бы еще бойчей то же самое, если не в Чечне, так в Литве или Азербайджане? Мы все гадаем, верно ли выбрали и кого выбирать, но отвлекаемся от того, какой выбор позволили себе навязать.

Плохи не русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», а навязанные русские ответы. Призывая в книге «Что делать?» к созданию партии единомышленников, Ленин ничего худого не совершил. Его вина — в уверенности, что у его партии вся полнота правды, и с остальными, то есть, с большинством сограждан, на практике можно не считаться или, точнее, считаться лишь тактически. Победивший в итоге Ленин, как человек идейный, а не позднейший советский шкурник, незадолго до смерти признавал, что «сильно виноват перед рабочими России». Увы, не только перед рабочими.

Сегодня тоже нужна партия, иная, конечно, чем ленинская, — либеральная партия, отличная от нынешних, выкованных из металлолома КПСС. Но и у нее не было бы шансов демократическим путем сразу взять верх не то что в Советском Союзе, но и в одной России. Тоталитарное наследие конем не объедешь. Но ее отсутствие, равно как отсутствие партий радикально-демократических, — вместо них шумит Валерия Новодворская, — смещает наш политический спектр в тоталитарную сторону.

Оппозиция власти видна лишь с черносотенно-коммунистической стороны. А организованной демократической оппозиции не то что не видать, — говорят, ее и быть не должно. Поэтому центристами числятся умеренно-консервативные, здравые люди из ЦК КПСС, вроде Вольского, способные предостеречь от очередной глупости, но, как свойственно большевикам, не способные к реальным компромиссам. С Дудаевым ведут переговоры не как с вождем национального восстания, пусть реакционного, а как с уголовником. находящимся в розыске, и одновременно назначают местную власть, жаждущую, не имея поддержки населения, использовать Россию, чтобы одолеть соперников.

Ельцин сам принадлежал к подобным центрам и сдвинулся оттого, что не испытывал давления с демократической стороны. Батурин, Сатаров, Смирнягин, Мигранян, Панны, Филатов, Лифшиц и прочее образованное окружение президента предали не только демократию, но в каком-то смысле и то человеческое, что было в Ельцине и привлекало к нему. Им бы ежедневно побуждать его по каплям выдавливать из себя первого секретаря обкома, а они, заодно с охраной, составили, если не бюро обкома, то команду готовых на все порученцев. Ельцин своей врожденной интуицией ощущал, что Гайдар, если даже осудит войну, все равно будет возражать против отставки правительства и президента, называющих себя демократами, даже бросая бомбы на мирных людей.

Говорят, не судите строго, мы в переходном периоде. Но мы всегда в переходном периоде. Коллективизация была переходом к закупке хлеба за океаном. Социализм — переходом к коммунизму, то бишь к опустошению прилавков в семидесятые годы. О переходах лучше бы судить не по избранным целям, а по тому, к чему пришли. Косметических перемен много, выборы — одна из них, но переименование министерств в холдинги. а бюрократов в акционеров, характер хозяйства не меняет. Властвовавшая «элита» еще у власти.

Ее главным законом было единство партии, поскольку навар был общим и распределялся вышестоящими. Но после Брежнева верхи, как говорится, уже не могли править по-старому. Доступные богатства страны были растрочены на гонку вооружений и разграблены начальством. «Элите» пришлось расколоться в погоне за самосохранением в прежнем качестве. Нынешние партии — это группировки

«элиты». Будь иначе, выражай они впрямь интересы разных слоев населения, их было бы поменьше. А номенклатурные команды всегда соперничали, и Брежнев весь был в людях из Днепропетровска. Все это еще выдают за двухпартийную систему, за спор «патриотов» (якобы консерваторов) с «демократами» (якобы либералами). Но эти «патриоты» не патриоты, а «демократы» не демократы. Это все те же пламенные комсорги. Просто кризис вынудил соперничать не под ковром, а на публичных выборах.

Первое и естественное чувство велит в этих выборах не участвовать. Так ныне и поступает добрая и, боюсь, лучшая половина россиян. Дескать, провались они все пропадом, добра от них не будет. Признаюсь, и меня порой охватывает это чувство. Но если нас, таких, не наберется более необходимых по нынешнему закону 75%, на что надеяться трудно, власть достанется кому-то такому, что потом локти будем кусать. Выходит, надо идти на выборы. Но при этом сознавать подвохи нашей избирательной системы.

Она устанавливает раздельное голосование по партийным спискам и по индивидуальным округам. При избытии у нас партий немногие перешагнут 5-процентный барьер, а поскольку, даже если никто абсолютного большинства не получит, второго тура все равно не будет, большинство голосов пропадет, то есть мнение большинства не сыграет никакой роли. К тому же партии сражаются на всероссийском телеэкране, и по партийному списку депутатом можно стать, и носа не высунув из-за плеча развязного лидера, дергающего потом марионеток.

Еще хуже в индивидуальных округах. Там тоже один тур — и выборы действительны при явке 25% избирателей. Если кандидатов десять, достаточно набрать 2.5% от списка избирателей плюс один голос, если двадцать — хватит и менее 1,5%. Манипулируя столь малой частью избирателей, можно обойтись даже без фальсификаций. Но у нас не двухпартийная система, и осмысленные предпочтения могли бы проявиться лишь во втором туре.

Партиям советуют блокироваться и выдвигать общих кандидатов, то есть сговариваться за спиной избирателей, чтобы протаскать тех, кто по отдельности провалятся. Видный деятель петербургской организации «Выбора России» недавно объявил в печати, что «чистоплюи», не готовые поддержать на выборах «Наш дом», который, оказывается, гайдаровцы у нас поддерживают,— «безумцы или негодяи».

То есть их место в психушке или в лагере. И ведь это он не по злобе, а по убеждениям самозваной «элиты».

А выборы нужны не только для заполнения мест в Думе, но и ради народного самосознания, оценки претендентов не только по обещаниям. Лишь разобравшись в ориентирах сограждан, увидав в первом туре расстановку сил, люди понимают, какую из этих сил разумнее поддержать, и продвигаются во втором туре к согласию, к учету мнения других, так необходимому сегодня России. Никому не заказано объявлять себя демократом и твердить о любви к России, но избиратели решают, хотят ли они такой демократии или такой любви. Демократия — это нескончаемый социальный компромисс, учитывающий подвижные интересы всех слоев общества. На то и либерализм, чтобы эти интересы вывить, на то и парламент, чтобы обществу себя сознавать.

Как же избирателю ориентироваться? По-разному в индивидуальном округе и в федеральном, где голосуют по партийным спискам. В первом случае я полагаюсь на качества кандидата. Симпатичной политической позиции мне мало. Я хочу убедиться в его честности, совестливости, готовности возражать сильным мира с действительным риском для себя.

В анекдоте сталинских времен русский с американцем спорили, где больше демократии. «Я могу бегать вокруг Белого дома и кричать: "Трумэн-дурак!"» — заявил американец. «Подумаешь. — отвечал русский. — я тоже могу бегать вокруг Кремля и кричать: "Трумэн- дурак!"» Нынче и у нас бранить президента дозволено, даже с лихвой, но привычка замалчивать промахи, пороки, преступления своей власти, своей страны, по-прежнему сильна. Множество русских, украинцев, евреев, армян, живущих в обретших независимость союзных республиках, оказались в непривычном и нелегком положении. Я и сам об этом писал. Но я с ужасом вижу, что многие, пишущие об этом, не хотят вспомнить, как там прежде обходились с местным населением, да и о том, что у нас делается сегодня.

Недавно по телевизору показали, как в Москве очищают рынок от азербайджанцев. Их укладывали на землю, а потом, уже лежащих, проходя мимо, били ногами. Может, эти люди и подлежали задержанию и даже аресту и суду, но, ребенком, я часто слышал: лежачего не бьют! Уже давно в России лежачего бьют, и даже с удовольствием. Таков реальный показатель уровня духовности, которой мы чваним-

ся. И виноваты не только омовцы и их начальники, но их министр, и глава правительства, и президент. — им все это отлично известно, но они не считают нужным наказывать органы, именующиеся охраняющими право, а на деле часто насаждающие бесправие, произвол. Власти попустительствуют битью лежачих, и этого довольно, чтобы голосовать против них и против их партий.

Прежнее силовое сознание у нас процветает. От него не избавит замена звезд, серпов и молотов на двуглавых орлов с тремя коронами. Не помогут и торжественные похороны под сводами Петропавловского собора виновника Ходынки и 9 января. Убившие его без суда, конечно, виновны. Но его вина их виной не смывается. Пока не поймем, что обе власти — и царская, и советская — держались насильем, пока спорим, что хуже — «мертвый дом» или «гулаг», ничего хорошего не будет. А ведь именно в России великий писатель проповедовал ненасилье. Его долго выдавали за проповедника непротивления злу. Но это ложь. Толстой звал к сопротивлению злу всеми средствами, кроме насилия. И его последователь Мохандас Ганди без насилия не только освободил Индию от британского владычества, но заложил традицию, которой, при всех перипетиях, там удавалось сбереечь парламентскую демократию. Вот вам и Азия, которую мы в себе признаем, чтобы оправдать свой тоталитаризм. А убили его свои, индусы, за то, что призывал индусов и мусульман не учинять погромов. Увы, среди наших политиков нет последователей Толстого и Ганди, ни в Думе, ни в Совете Федерации, ни в правительстве, ни в резиденции президента.

Зато в политики вышел генерал Рохлин, проломивший оборону Грозного и уверенный, что удержал чеченцев в России. На деле он надолго сделал их врагами России, а мне хочется, чтобы у нее не было врагов, и я не буду голосовать за этого генерала и за других, то и дело пугающих соседей и толкающих их, и без того запуганных нашим владычеством, искать укрытия под зонтиком НАТО. И в частности, за генерала Лебеда, не боящегося свергнуть Россию не только в гражданскую войну. А вот за Эллу Панфилову или Сергея Ковалева охотно проголосую потому, что уверен — ни при каких обстоятельствах они не встанут на путь советского зверства, прежде лицемерившего, а ныне бесстыжего.

Совсем другое — голосование по партийным спискам. За партию Панфиловой я бы и проголосовал, да она едва ли

соберет пороговые 5%. Чтобы голос не пропал, лучше уж выбрать партию, преодолевающую барьер. У партии Ковалева шансы на это есть, но Ковалев там лишь второе лицо, а первое ее лицо, покуда Ковалев протестует против войны, обсуждает с президентом, как наладить единство демократов. Куда же заведет единство противников войны с ее поджигателями? Да и не выдержит Ковалев такого «единства». И за партию Бориса Федорова я голосовать не хочу, не верю призывам к экономической свободе, совмещенным с оправданием войны.

Не стану я, конечно, голосовать и за партию прежних коммунистов. В Литве или Польше я бы еще подумал, там они хоть немного изменились, хоть в чем-то покаялись, а КПРФ — это самая упрямая часть КПСС. Своих бывших товарищей, хотевших как-то исправить содеянное, они клянут не за допущенные при этом ошибки, а за самое посягательство на нерушимость большевистской правоты. Товарищ Зюганов за собой вины не признает, даже как Ленин перед рабочими России, хоть у него-то смягчающих обстоятельств и вовсе нет. Голосующий за коммунистов отвечает за то, что следующие выборы, если состоятся, будут опять выборами из одного. Недалеко ушли от открытых коммунистов и аграрная партия, и женская, и партия Рыбкина, и партия Громова с Кобзоном. А с Жириновским. Руцким, Стерлиговым — и того ясней.

Честные люди в России не перевелись, авось и в моем округе объявятся. Партийный список выбрать трудно, и, видимо, я, не без колебаний, проголосую за Явлинского. Не то чтобы его партия походит на желанную мне либеральную. Ее второе лицо, Владимир Лукин, да и другие регулярно демонстрируют, что «Яблоко» из той же «элиты». Будь нагледен полный спектр российских политических симпатий, включая тех, кто потерял надежду на преобразование и на выборы не ходит, «Яблоко», как и «Выбор России», оказалось бы не на краю, как сейчас, а в центре такого спектра. Они и есть настоящие «центристы», головой понимающие, что силовое хозяйство губит Россию, а ногами увязающие в прежней почве. Явлинский, думается, постарается в ней не утонуть. Он не из поддакивающих демократов, против войны выступил сразу. С высоких постов, когда его реформаторство тормозили, он уходил сам и вслух объяснял почему. Он не позволил себе ограничиться мероприятиями, надобными номенклатуре, делая вид, что это и есть реформа. Сторон-

ники другого центриста, поступавшего именно так, нынче объясняют, что ему мешали. Почему же сразу не сказал об этом громко? Почему продолжал и продолжает поддерживать тех, кто мешал провести настоящие реформы? Взять власть означает взять на себя ответственность. Неправда, что власть у нас бессильна, она просто безответственна.

Когда Брежнев бурчал, что «экономика должна быть экономной», в мозгу генсека брезжила мысль, что экономика не должна быть убыточной. Даже он сообразил, что государству скоро нечем будет покрывать убытки от своего хищнического хозяйничанья. Косыгин понял это еще раньше. Но они так и жили за счет монопольности производства и низкой оплаты труда. Отделить хозяйство от государства, чтобы в конкурентной борьбе выявились способные производить лучше и продавать дешевле, они не рискнули. Не рискнул и Горбачев, при котором Рыжков с Павловым еще быстрее взвинчивали цены. Не меняет дела и закрепление за «элитой» части прибылей от управляемых государством производств, затеянное Ельциным и Чубайсом, — рост цен после гайдаровского освобождения все продолжается, хотя Гайдар давно не у власти. Уровень инфляции определяет не искусственная цена доллара, как нам внушают, а растущая цена батона. А хлеб производят по-прежнему убыточные, хоть и переименованные, колхозы, руководители которых бьются за субсидии, а не за прибыль. И мешают тем, кто хочет работать на земле для себя, да еще зарабатывать.

Я никого не виню в злостном умысле, но согласимся, что и честным людям, по отдельности и всем вместе, свойственно ошибаться. Это известно с древности и не признано лишь в России. Но страшны не ошибки, а то, что их не исправляют, что совершившие их ничем не платят из своего кармана. Страшна власть, имеющая привилегию грубо ошибаться, но не уходить в отставку. Страшна невозможность жить разным людям по-разному, не мешая друг другу. Вот и выходит, «как всегда», даже если хотят как лучше.

Выборы призваны что-то менять. Выборы трудные. Трудные потому, что, вопреки «Голосу Америки», в России нет демократии. Есть лишь кризис коммунистической системы и вызванные им перелицовки и послабления, каковые уже норовят отобрать, но еще не совсем отобрали. Страна разорена не реформами, а по-прежнему их отсутствием. Явлинский проявил себя наиболее последовательным среди «элиты» реформатором. Но не будем идеализировать и

свои предпочтения. Вручая на установленный срок власть политику или партии, мы оказываем им лишь условную поддержку, как Горбачеву Сахаров, до последнего дня возражавший ему с трибуны съезда. А при безусловной поддержке Ельцин, мужественно стоявший на танке перед Белым домом, символизируя мир, всего через три года позволил танкам анонимно войти в Грозный, чтобы начать долгую войну. Проголосовав за Явлинского, мы покажем, что недовольны нынешним порядком, но не хотим и возвращения к прежнему. Пример Германии, от тоталитарного режима, не лучше нашего, перешедшей к демократическому социальному государству со свободной экономикой, — перед глазами, и, вопреки всему происходящему, я убежден, что Россия не хуже Германии и тоже на такое способна. Если не поддадимся ожесточению и не обретем способность безучастно глядеть из думского президиума, как дюжие депутаты бьют пожилого священника и тащат женщину за волосы.

ПРОКЛЯТИЕ РЕФОРМАТОРОВ

Коренные перемены у нас пока не произошли, а кризис "социалистического способа производства" все еще набирает ускорение. Ни "патриоты", которые не патриоты, ни "демократы", которые не демократы, этого не признают.

На более ранних этапах его тщетно пытались ослабить Хрущев, совнархозами упреждавший Росселя, и Косыгин, своей реформой упреждавший Чубайса. Ничего у них не вышло. Помешала советская вера в то, что при руководстве коммунистической партии хозяйство и общество друг от друга больше не зависят и можно уродовать то и другое, как хочется. Эта вера и схоронила благие пожелания под необъятной властью государства. Вера в государство стала проклятием всех приходивших к власти реформаторов.

У нас есть свой китайский опыт

Американский экономист Майкл Интрилигейтор, тоже уверяя, что нам требуется сильное государство ("НВ" №37), удивительным образом забывает, что на площади Тяньаньмынь любезное ему китайское государство уже обозначило предел совместимости тотальной власти и экономического хозяйствования. Россия ощутила его уже в 1927 году. Верх вскоре взяло государство. Оно разорило деревню и сломало органичное развитие производства, ориентированного на платежеспособный спрос. У нас есть свой китайский опыт, Китаем еще не до конца освоенный, и, чтобы жить иначе, чем живем, мы нуждаемся, напротив, в отделении хозяйства от государства. Страхась экономической свободы, наши реформаторы даже выход из кризиса ищут не в реалиях общественной жизни, а в социальной инженерии, которую номенклатурная элита не выпускает из рук. "Хотели как лучше, а получилось как всегда", - сказал наш премьер, и откуда же быть иному, если делаем, как всегда, командными способами, по природе своей внеэкономическими. А средства полной предопределяют будущее, чем прокламируемые цели.

Юрий Александров в "Новом времени" №37, возражая американцу, рискнул защищать нынешние порядки, не слишком их лакируя. Он наперед признает, что наша "управленческая и хозяйственная элита давно приватизировала административно-командную систему". Он не скрывает, что в результате произведенных перемен "номенклатура упростила свои права распоряжаться бывшими государственными

предприятиями, не порывая и связи с государством". Так прямо и пишет: "Элита взяла свое". Зюганову, Тулееву и прочим противникам режима такого признания не сделать нипочем. Ведь это бы значило признать, что номенклатурная элита и до всякого Гайдара усердно грабила народ, что для них равнозначно самоубийству.

Но, чтобы разобраться, способна ли "элита", "взяв свое", изменить жизнь не "как всегда", а на самом деле, стоило бы и Ю.Александрову держаться реальности до конца и не уверять, что "остальной народ ничего не потерял". Будь оно так, не было бы почвы для тотального реванша и откровенно национал-социалистических инициатив.

Две развилки

Конец 1991 года был первой развилкой, у которой Ельцин и Гайдар могли начать по-иному. Гайдаровская "либерализация цен" была бы, конечно, при экономической реформе необходима, - рынок невозможен без свободы цен. Но у Гайдара она выступала единственной возможностью преодолеть накопившийся разрыв между ценой и ценностью товаров, опустошивший к тому времени прилавки и склады. Элита как-то хотела этот разрыв преодолеть. Уже при Брежневле росли цены, Рыжков и Павлов вздували их еще смелей, одновременно обесценивая людские накопления. Но лишь Гайдар, хоть обещал не столько ликвидацию советских диспропорций, сколько создание экономической системы хозяйствования, снял с цен ограничения, оставив, однако, государство монопольным собственником страны, и за ее спасение пришлось платить не государству, кругом виноватому перед людьми, а рядовым гражданам. Вот в их сознании взятая с них плата за то, что партийная элита над ними глумилась шестьдесят с лишним лет, и связалась с именем Гайдара.

Его не зря называли "камикадзе". Не виновный в давнем разрыве цен и ценностей, он пожертвовал добрым именем ради сомнительной при оставшемся Верховном Совете возможности дополнить "либерализацию цен" свободной экономикой. Сделать это ему уже не довелось. Его самопожертвование лишь затянуло крах внеэкономического порядка, но, едва торговлю по новым ценам наладилась, Верховный Совет деятельность Гайдара пресек.

Ныне он рассказывает, что предостерегал президента и нет оснований не верить. Он наверняка объяснял Ельцину, к

чему приведет прежний образ жизни на еще более низком уровне. Но он не говорил об этом людям, ему поверившим, считавшим его демократом. Он не сказал открыто, кто мешает реформы провести. Словом, он оказался не политиком, выражающим интересы немалой части населения, а тоже социальным инженером, работавшим по приглашению начальства. Это была вторая развилка, у которой реформы, выступи за них демократическая оппозиция, могли бы пробить себе путь. Но Гайдар не только не возглавил такую оппозицию, но вскоре даже объявил установленный порядок капитализмом, да, несовершенным, но всё-таки капитализмом.

Промышленный феодализм

Однако, не порывая связи с государством, этот "капитализм" оказался не капитализмом, но лишь другой разновидностью все того же промышленного феодализма, именовавшейся у нас социализмом. При Сталине он был монолитен, как при Карле Великом, а ныне, когда лежавшие на поверхности богатства съедены, а людей, которых можно было без счета убивать, стало сильно меньше, феодализм опять тяготеет к раздробленности. Мыслящая часть номенклатурной элиты ищет в ней спасения, хоть и по-разному. Одни делят меж собой, как частную собственность, акции предприятий, все еще управляемых государством, и такого же рода ценные бумаги. Другие закрепляют в своих областях советскую хозяйственную модель, надеясь, что по частям она более управляема. Кажется, что между Чубайсом и Роселем нет ничего общего, а они делают общее дело, сохраняют номенклатуру при деле и доходах.

Но не бывает капитализма без Путиловых, Рябушинских, Морозовых и Мамонтовых, без множества независимых и конкурирующих хозяев, распоряжающихся своими предприятиями, производящими реальные товары, а не только акции и ценные бумаги. Институтов, за которые ратует простодушный заокеанский сторонник сильного государства, у нас нет потому, что заинтересованные в них классы на политику не влияют. Установления порядка, при котором даже и тысячи придется зарабатывать своей инициативой, своей изобретательностью, своим горбом, наивно ждать от чиновной элиты, препятствуя этому, зашибающей миллионы.

Достоинство капитализма в том, что он продуктивен и по своей экономической природе стихийно откликается на потребности общества, которое своим спросом формирует его предложения. Преодоление его пороков, несомненно, желательное, имеет смысл лишь при сохранении этого его главного свойства. А внеэкономический порядок, которым его норовят заменить, может с потребностями общества не считаться и, оставляя людям скудную и нерегулярную пайку, строить царство божье на земле, с крестом ли, с полумесяцем, с красной звездой или со свастикой. Вот только попадает в это царство лишь номенклатурная элита.

Наши реформы — подменные. Капиталистические имена даны внешне изменившимся порядкам. Стоимость всех ваучеров, выданных населению России по обозначенному номиналу, выше которого она, с учетом инфляции, не поднялась, в сопоставлении с богатствами страны ничтожна. Нынче к ваучерной приватизации прибавилась денежная, - по преимуществу в карманы «элиты», - оставляющая фактическое управление «приватизированным» за государством.

А воля всенародно избранного президента, будь у него таковая, и Учредительное собрание, и активные действия демократических сил в защиту подлинных реформ, способны были привести к реальной приватизации. Уже обеспечив до всякой приватизации права частного предпринимателя, власть открыла бы путь к созданию частного производства, в которое смогли бы инвестироваться хотя бы те сто миллиардов долларов, что ушли за рубеж, спасаясь от всемогущего государства. К ним бы, конечно, прибавились неведомые капиталы, утекавшие в "МММ" и подобные фирмы. В деревне первым шагом к приватизации стал бы отказ от выравнивания судеб колхозов и совхозов, сводящих концы с концами благодаря субсидиям, идущим не столько в хозяйство, сколько новым помещикам, именующимся аграриями. С раздела убыточных хозяйств и появления на их месте продуктивных ферм могла бы начаться приватизация земли, сперва хотя бы для работающих на ней и их детей, желающих вернуться на землю. Существуют и другие пути приватизации, продуктивно использованные в Чехии, где и ваучеры дали эффект, и где через полвека после экспроприации, не побрезговали возвратом собственности прежним хозяевам.

А нам за установление экономических отношений выдают изменение отношений внутри внеэкономической элиты. Оттого у нас так много партий и так расплывчаты их про-

граммы, что они говорят не от имени разных слоев населения, которых отнюдь не так много, а отстаивают групповые интересы номенклатуры. Ведь и прежде днепропетровская группировка отстаивала свое, а белорусская или московская - свое. Оттого, что разные группы элиты отстаивают свои интересы уже не под ковром, как прежде, а на публичных «выборах», соответственно организованных, порядок не становится демократическим.

Омлет из... яичницы

Нас уверяют, что в России — демократия, поскольку начавшаяся с перестройкой свобода слова и печати, хоть и урезана, но еще не ликвидирована. На отмену в апреле 1865 года предварительной цензуры Н.А. Некрасов отозвался сатирическими "Песнями о свободном слове", в одной из которых "фельетонная букашка" одинаково радовалась двум свалившимся под старость удачам: "Курил на улицах сигары и без цензуры сочинял". (До шестидесятых годов на улицах Петербурга было запрещено курить.) Некрасов ощущал границу дареной свободы, и ему не шло в голову именовать правление даже лучшего из русских царей демократией.

У нас оснований для этого не больше. Нет первого признака демократии – свободной экономики, кстати, и при царях скованной бюрократами. Сколько ни твердят, что и «номенклатурная демократия – все же демократия!», мы знаем, что это демократия для номенклатуры. Предпочитая рабочладельческую демократию республиканского Рима или Афин египетским или персидским порядкам, мы помним, что для рабов она и в Риме, и в Афинах была рабством. А в компьютерный век рабство убивает не только замученных рабов, но и страну, в которой за него держатся.

Нам усердно выдают за свершившееся то, что еще не начиналось, путают субъективные намерения и объективные результаты. Андрей Колесников в "Новом времени" №42 вспоминает слова Лешека Бальцеровича: "Самое трудное - это вновь сделать из яичницы яйцо" и уверяет, что Гайдару и Чубайсу это тоже удалось. Но об успехе Бальцеровича, проведшего реформу в стране со свободным крестьянством, при всей сложности его реакции, говорит рост производства. А Гайдар с Чубайсом даже его падение покамест не остановили. Из яичницы они сделали не яйцо, а лишь омлет. Прибавили молочка да лучка и придали ему аппетитный вид. Но

готовят его все те же повара, все тем же государственным способом.

Радоваться богатому ассортименту товаров на прилавке, стоит лишь помня, что растет и число роющихся в помойках. В том, что у них все еще нет работы с адекватным заработком, виноваты те самые защитники государственного хозяйства, которые не дают ходу свободной экономике, способной дать работу множеству людей. Без нее даже воспоминания о жалкой государственной пайке обретают сладость, и люди голосуют за Зюганова, Жириновского, Рыжкова или Стерлигова, хотя уже и источники такой пайки исчерпаны.

Читая при этом об успехах наших реформаторов, трудно взять в толк, что страна страдает не от реформ, а от их отсутствия, что происходящие под их именем перемены идут на пользу прежде всего номенклатуре. А нас пуще прежнего уверяют, что демократическая оппозиция вовсе и не нужна. Но без нее, повседневно ратующей за свободную экономику, социальные гарантии и гражданские права, элитарные замашки не укоротить. Ближайшее время прояснит, есть ли еще возможность легально совладать с номенклатурным господством или России остаются лишь несбыточные надежды нового диссидентства. Но как оно ни повернется, не стоит внушать себе и другим, что иного и не было дано.

ОБЛИЧЬЯ РЕВАНША

Символом свершившихся за десять кризисных лет косметических перемен стал наш новый Государственный герб — двуглавый орел под тремя коронами. Орел, хоть и с грехом пополам, еще годится в символы нашего отечества, глядящего и на запад и на восток. Но, зовя себя демократами, уж короны-то надо бы снять, а не снимают. Зато ежедневно твердят об опасности воскрешения тоталитаризма, словно он умирал, а не таился под демократическим макияжем.

Между тем опасность повторения пройденного впрямь велика. Товарищ Анпилов 7 ноября напомнил всем желающим иного, что их ждет сибирский лесоповал. У стоявшего рядом товарища Зюганова, выдающего себя временами чуть не за социал-демократа, была прекрасная возможность поправить соседа, показав, что сам он не такой, а совсем другой. Но вождь российских коммунистов возможностью пренебрег.

Кстати, 7 ноября — самое бы время вспомнить, что тех, кто совершил в этот день революцию, товарищ Сталин в большинстве тоже отправил на лесоповал, если не сразу пострелял на Лубянке. Но их ни Анпилов, ни Зюганов не вспомнили. Крушение иллюзий тех, кто стал коммунистом при царе, когда карьеры это не сулило, коммунистов ленинского, сталинского и последующих призывов не занимает. У них не утопические, а практические идеалы. Социализм, по их понятиям, это всевластное государство, держава, которой они командуют от имени народа, оставляя ему безмолвствовать или кричать здравницу очередному вождю.

Другой идеологии, кроме претензии на беспредельную власть, у коммунистов не осталось. Вот почему рядом и заодно с ними откровенные национал-социалисты, а рядом с красной звездой — свастика, по началу считавшаяся ее антиподом. Общий язык они нашли, даром что одни от шовинизма пошли, а другие к нему пришли. При всех оттенках цель одинакова — полная покорность общества государству. И если вспомнить, что короны нашего нового герба тоже обозначают беспредельную, самодержавную власть, не удивительно, что у нас позволено призывать к истреблению сограждан и даже, подобно товарищу Анпилову, упрекать товарища Сталина в том, что слишком уж мало он погубил в России людей.

Наш нынешний президент числится решительным противником коммунизма. Он и сам это постоянно говорит, И восхождение его началось с открытого противостояния коммунистической империи. В Беловежской пуще он поступил как русский патриот, сознающий непомерную цену, которой русский народ оплачивал удержание Союза. Впервые, с тех пор как при Иване Грозном русских крестьян обратили в крепостное состояние, до первого лица страны как-то дошло, что интересы русской империи и большинства русского народа противоположны. То был, быть может, главный стимул к надежде на Ельцина. И хоть она во многом обманула, уровень жизни российского населения сегодня все же выше, чем в остальных союзных республиках, не считая прибалтийских, пошедших на более существенные реформы.

При Ельцине свершилось и освобождение от идеологического диктата. Было объявлено, что начинаются экономические реформы. Казалось, Ельцин отважился на перемены, которых страшился Горбачев. Только и говорилось, что о необратимости перемен. События августа 1991-го именовали даже революцией. И вот мы опять у разбитого корыта, и анпиловской истерической лжи внемяют отнюдь не одни пенсионеры, многие из которых как раз на своей шкуре узнали, каково было при Сталине.

Нарастающую опасность реванша, которую выборы в Думу еще только предвещают, не свести к недовольству естественными трудностями перехода к экономическому хозяйствованию. Она гораздо больше вызвана тем, что трудности-то есть, но перехода, по существу, нет, а мы не даем себе труда задуматься, что же в действительности свершилось за четыре минувших года. Формальный отказ от коммунизма не изменил образ мысли тех, кто со второй и даже третьей номенклатурной ступени забрался наверх. Более того, открытый разрыв с марксистской утопией, без шума начатый Сталиным и даже еще Лениным, теперь поощряет еще непринужденней пренебрегать всей сферой общественных знаний, с которыми эта утопия необоснованно отождествлялась, и, в частности, пренебрегать взаимозависимостью хозяйства и общества. Убрав портреты Ленина, бывшие большевики, как и под этими портретами, верят, что государство вольно строить хозяйство как вздумает, не считаясь с обществом и людьми.

Между тем из-за порожденного их правлением неодолимого хозяйственного кризиса нужна в каком-то сбалансир-

ровании структуры цен ощутили не только реформаторы, хотевшие свободной экономики, но и консерваторы, страшившиеся, что в ходе неизбежных голодных бунтов их растопчут, чем в конце 1991-го пахло. Оттого-то старый Верховный Совет вместе с Ельциным позволил Гайдару «либерализацию цен». Все понимали, что ее реальное значение определится тем, отделят ли хозяйство от государства и проведут ли экономические реформы. Но кроме «либерализации цен» ничего всерьез не провели. До реальных реформ не дошло.

А общество не замечало предопределенности экономических преобразований теми политическими формами, в которых они совершаются или не совершаются. Почему, к примеру, у нас реформу прокламировал насквозь коммунистический Верховный Совет, почему президент не созвал заново Учредительное собрание? Не потому ли, что декларирование реформ уже изначально не предполагало перемен по существу? Возглавить правительство тогда предлагали и Алексею Емельянову, и Юрию Рыжову, и другим лицам, которых ныне попрекают тем, что они за реформы не взялись, умалчивая об их прозорливости, о том, что они ставили свои условия, добивались гарантий проведения реальных реформ, а не только удобного номенклатуре беспредельного взвинчивания цен под видом действительно нужной реформам их либерализации. Гайдар был единственным, кто согласился на это без всяких условий, на птичьих правах исполняющего обязанности. А ведь исторический опыт подсказывал, что сбалансированность цен при нэпе никак не помешала перейти к сталинскому внеэкономическому хозяйству с его волюнтаристским ценообразованием, и свобода цен без экономической свободы хоть и заполнила прилавки, доступ к ним чересчур сократила. Пожертвовав добрым именем, Гайдар спас номенклатурную систему от немедленного катастрофического крушения — это и называют реформой, но к реальной реформе даже не приступил. Гайдар, понятно, не виновник этого, а жертва. Но жертва, оставшаяся с насильниками. Он не разорвал с теми, кто обвел его вокруг пальца, использовал и отбросил, пока опять не понадобится делать вид, что идет к реформам.

Их подмена началась ваучерной приватизацией, которой подлежала крайне малая часть государственного достояния, но и она, вопреки широкообещающим заверениям, почти не досталась рядовым людям. Главный «приватиза-

тор» Чубайс ныне уверяет, что акции, полученные за ваучеры, со временем еще принесут немалый доход. И ни слова в объяснение тому, что действие ваучера было ограничено сроком, и это вынуждало не мешкая доверять его государственным приватизационным фондам либо таким же фондам за небольшие деньги продать. Про это стоит помнить, слушая басни о предстоящих доходах. Не ваучер был плох, а господин Чубайс, ворочавший ваучерами так, чтобы рядовому человеку невозможно было самостоятельно определить судьбу своей приватизационной доли, а приходилось вручать ее веками обворовывавшему нас государству. Вот и пошла «приватизация» в пользу государства и людей государством правящих. А будь это и впрямь приватизация, каждый мог бы хотя бы сберечь ваучер до лучших времен, когда его ценность, как обещает господин Чубайс, и впрямь возрастет. Но то-то и оно, что государство не хотело, чтобы рядовые граждане обладали собственностью. Вот ведь и цены при «либерализации», конечно, выросли по отношению к зарплатам раз в пять-десять, но не случайно их рост шел с инфляционным падением стоимости рубля в тысячу раз, — этим просто ликвидировались денежные накопления граждан. Конечно, Ельцин, не созвавший Учредительного собрания для установления законов и правил другой жизни, виновен и в обмане, и в обнищании граждан. Но чем виноват Гайдар?

Его почитательница в похвалу ему недавно заметила: «"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" — не для Гайдара». Он, видимо, думал, что его, экономиста, забота прописать рецепт и назначить процедуры. А оказалось, что экономика и политика неразрывны, и если президент от демократических рецептов отказался, надо было возглавить демократическую оппозицию. Гайдара винят в том, что он экономист чикагской школы, а его подвело то, что он экономист советской школы, верящий, что экономика — плод власти, а не порожденной прежней экономической жизнью общественной борьбы. Я говорю о Гайдаре, поскольку он оказался на гребне несостоявшихся реформ, но все то же самое следует сказать о послеавгустовском демократическом движении. Достаточно вспомнить два письма, подписанных цветом нашей интеллигенции, о том, что демократическая оппозиция в нашей стране вовсе и не нужна. А нынче эти люди дивятся угрозе тоталитарного режима.

Конечно, умирать стоя надо лишь в чрезвычайных обстоятельствах, у нас, увы, слишком частых. Как генерал Карбышев и тысячи других. В обыденной жизни кровавые самопожертвования пользы не приносят.

Но, живя на коленях, не стоит надеяться, что общественный строй сам собой изменится. Ради этого придется встать с колен и оказать сопротивление власти, не желающей меняться по существу. Это и есть общественная борьба. Нас всегда учили, что единственная ее форма — революция. Формам более плодотворным, даже демократическим выборам, мы не обучены. У нас люди, из-за кулис власти желающие благотворно влиять на принимаемые решения, объявляют себя демократами. А демократия состоит в том, чтобы влиять открыто, большинством голосов, объективно выражающих волю граждан. Без этого мы пребываем в заколдованном кругу прежней эпохи, лицо которой определяли не сами по себе псевдомарксистские словеса, а действовавшие под ними привычные навыки руководителей. То есть перевес государства над человеком, над индивидуальным правом на свою рабочую силу, на свое изобретение или сочинение, на свой клочок земли или жилье, на свои деньги и производительную собственность. Беда не в том, что намерения Горбачева, Ельцина или Гайдара не были искренни, — хотя бы отчасти были, — но самая возможность влиять на принимаемые капитальные решения, минуя общество, вела к привычному пренебрежению обществом. Держава выступала от имени общества, не справясь должным образом о его мнении, и отдельного человека уже этим обрекали на покорность, безмолвие, а часто и смерть.

Угроза тоталитарного реванша просматривается не только за непримиримой коммунистической или фашистской оппозицией, но и за самой нынешней властью. Она различима и за Лапшиным, и за Заверюхой, и за Ильюхиным, и за В.Ковалевым, хотя одни не входят в правительство, а другие занимают в нем важнейшие посты. Она различима и за Скоковым и за Сосковцом, одинаково жаждущими вновь подчинить хозяйство военно-промышленному комплексу, непомерный рост которого и привел к нынешнему кризису. Я готов поверить, что и стоящие у власти и претендующие на нее по-своему хотят людям России мира и благоденствия. Но ведь и коммунисты, во всяком случае поначалу, не желали им зла и нищеты, к которым успешно привели и готовы вести снова. Жизнь определяется не пожеланиями, а действ-

виями и их последствиями. Вся штука в том, чтобы сознавать эти последствия наперед. Пытавшихся это делать у нас обычно убивали, и такая способность стала редкостью.

Старая формула «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять» позволяла безоглядно стремиться к любым целям, не заглядывая, чем придется стране и людям платить за их достижение, часто еще и сомнительное. За объявленное на будущее счастье для всех коммунисты щедро платили десятками миллионов жизней. Но и бомбежки Грозного, предпринятые гарантом нашей демократии, как уверяют, тоже из лучших побуждений, выдают готовность власти не останавливаться ни перед чем.

Слова и обличья у каждой группы вроде свои, но президент не случайно до всяких выборов допускал возможность замены Черномырдина «умницей» Скоковым, и о замене Грачева на Лебеда тоже ходили слухи. Но к миру и благоденствию России приведет не предпочтение той или другой претендующей на безоглядную власть группы, почти в каждой из которых незримо присутствует президент, а так и не сложившееся покамест противостояние любой из них по отдельности и всем вместе, противостояние тоталитаризму.

Разрыв Ельцина с коммунистической фразеологией лишь продолжает процесс, состоявший при Сталине в преобразении интернационалистского утопического социализма в фактический национал-социализм. По мере этого перехода марксистская и даже ленинская фразеология, расходясь с происходившим, теряла смысл и размывалась. Сперва прикрывшись демократическим флагом, нынешняя власть, вынужденная остротой событий, невольно обнажалась, и откровенность ее национал-державной поступи в Чечне стерла качественные отличия от других авторитарных групп, количественно даже более жестких. Это, однако, не означает, что России ничего не остается, кроме тоталитарного режима, покамест еще уточняющего свою расцветку. Крах предшествующего тоталитаризма открыл другую возможность, но, чтобы ею воспользоваться, надо встать с колен, а не довольствоваться подачей власти мудрых советов.

Давнее распадение «Демократической России», а потом ее расхождение с «Демократическим выбором России», порождены были разногласиями по поводу готовности восторженно влиться в рядящиеся демократическими авторитарные структуры. Вот и сегодня о преимуществах собственно экономических предложений «Выбора» и «Яблока» можно

вести дискуссии, но преимущество «Яблока» в сознании того, что не приходится ожидать демократических милостей от развязавших войну против собственного населения, что эта война не частность, протестуя против которой, что делает и «Выбор», можно все же поддерживать президента и правительство.

Надеяться, как восемьдесят лет назад, на революцию, Россия не может не только потому, что для освободительной революции нет ни духовных, ни материальных ресурсов, но еще больше потому, что у нас, как выяснилось, революция — это вовсе не «последний и решительный» бой против насилия, а наоборот, начало нескончаемого насилия.

Но возможности насилия в хозяйственном развитии исчерпаны, и пора переходить от внеэкономического самоуправления к экономическому порядку. Поэтому выборы в Думу, от которой по нынешней Конституции мало что зависит, существенны, — они демонстрируют людские предпочтения.

Наш президент, красиво вышедший из КПСС на съезде партии, к декабрю минувшего года завершил круг и вновь стал коммунистом сталинской закалки, хоть и без партбилета. Вот и нам пора различать угрозу тоталитаризма не только в тех, кто не стыдится по-прежнему называть себя коммунистом, но и в тех, кто держится не за названия, а за навыки. Чтобы изменить жизнь, нужны люди с другими навыками.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

Николаю Тимофеевичу Рябову можно и передохнуть. Штат народных избранников укомплектован. Но ведь не только в этом смысл выборов. Еще важнее их роль как инструмента массового самопознания. Если что меня радует, так именно то, что выборы все же состоялись и прошли спокойно. По крайней мере, еще раз опровергнуто давнее вранье, будто русские — такой особенный народ, что знать не хотят закона, а лишь благодать, и потому никакой демократии соблюдать не могут. На деле русские ничуть не меньше, чем немцы или американцы, хотят законности и готовы соблюдать правила демократии, лишь бы власть их соблюдала.

Что именно власть их первая нарушает, я мог убедиться на собственном опыте. Чтобы не пропустить выборы петербургского губернатора, я накануне вечером вернулся из-за границы и утром пришел на избирательный участок с российским заграничным паспортом. Моя фамилия стояла в списке для голосования, но проголосовать мне не дали, ссылаясь на то, что в заграничном паспорте нет сведений о прописке. Между тем ни в законе, ни в инструкции по проведению выборов нет ни слова о прописке, лишь о необходимости предъявить паспорт, удостоверяющий личность. Законодатель, видимо, помня, что прописка у нас почти три года как теоретически отменена, предпочел письменно о ней не упоминать. Но у избирательной комиссии другие ориентиры. Звонили какой-то Татьяне Сергеевне, как выяснилось, сотруднице администрации Центрального района. Она даже позвала Сергея Александровича, начальника отдела этой администрации. Как в добрые старые времена мою судьбу определяло «телефонное право», хотя действующей администрации ни в коем разе не положено вмешиваться в ход выборов. А поскольку она даже по такому частному поводу это делала, я не удивился, что во втором туре за место губернатора боролись уже только руководители действующей администрации — мэр города и его первый зам.

Еще нагляднее вмешательство власти в предвыборную деятельность телевидения, радио и печати. Кроме действующего президента, на экране за неделю до выборов стал мелькать и генерал Лебедь, что не замедлило сказаться. Серьезных суждений о тяжком положении страны, о его причинах и о том, что кандидаты конкретно намерены делать для его улучшения, мы не услышали — только общие слова.

Полемике между кандидатами, по пунктам опровергающими друг друга, тоже не было. Отделить пропаганду от утаенных умыслов или «программы-максимум» было невозможно. Обо всем этом каждому приходилось гадать в одиночку, нередко по случайным впечатлениям.

Уверяя, что совершается роковой выбор, одновременно твердили, что дело не в политических убеждениях, а в том, чтобы политик был профессионалом, – видимо, имел опыт пребывания у власти, то есть состоял в номенклатуре. Дескать, за штурвалом самолета положено сидеть профессионалу! Будет ли при этом курс самолета соответствовать объявленному в расписании и не окажется ли. квалифицированный пилот угонщиком, не обсуждалось. И уж совсем упускалось, что в разном транспорте, то бишь, форме правления, нужен разный профессионализм: приближенный царя не справится с обязанностями премьера демократической республики, а тому не овладеть навыками секретаря обкома. С умным видом нам внушали, что и Рузвельт, и де Голль на месте Сталина вели бы себя точно так же, и умалчивали, что ни при каких обстоятельствах они не могли оказаться на его месте.

Нам позволили голосовать, но не позволили всенародно обсудить, что происходит со страной, почему она давно буксует и, уже одиннадцать лет как осознав это, все равно не в силах наладить хозяйство. Объяснения тому звучат самые разные; говорят, например, что мы проиграли холодную войну или даже третью мировую войну. А мы между тем. никакой войны не проиграли, и, если, не дай, конечно, Бог, она разразится, нет оснований сомневаться, что наши ракетчики успешно выполняют свое назначение. Быть может, сегодня они уничтожат остальной мир не шестьдесят два раза, как считалось нужным прежде, а всего двадцать шесть, но, не вспоминая, что достаточно одного, этого хватит и нам, чтобы самим задохнуться в ядерной пустыне. Никто не проиграл холодную войну, хоть у всех по ее окончании возникли свои трудности. Но никто ее не выиграл и не в состоянии выиграть.

И тут выяснилось, что остальной мир и без победы над нами способен жить дальше, а мы десятилетиями так строили свою жизнь, что теперь без лживой надежды на победу нам невмоготу. Утратив воображаемое оправдание своих страданий — светлое будущее или великий триумф, — люди

не в силах дальше терпеть нарастающие страдания. Прежде они верили, что их унижают и уничтожают для их же блага, блага их детей и внуков, а нынче все в открытую. Крушение коммунистической идеологии отняло возможность утешаться ложью, что мы впереди других, а значит — лучше других. Отпеванием в церкви это не заменишь. Перед богом каждый предстает со своей отдельной душой, а тогда была партия, государство и Сталин на мавзолее. Бывали, конечно, и неподдающиеся, но в тайне и в меньшинстве.

Нынешняя власть уверяет, что Россия пострадала от коммунистической идеи, запущенной выходцами из Германии Марксом и Энгельсом, полагавшими, что развитие буржуазного общества неизбежно приведет, с одной стороны, к абсолютному обнищанию рабочего класса, а с другой — к столь интенсивному подъему производства, что на прежних началах с таким изобилием не совладать, и на высшем витке буржуазного общества, когда оно по устройству своего хозяйства фактически станет коммунистическим, в развитых странах обобранный до нитки рабочий класс сметет буржуазию и навек утвердит коммунистический порядок.

Вышло, как известно, иначе, поскольку Маркс и Энгельс воображали, что закономерности их времени, в которых они разбирались неплохо, будут действовать неопределенно долго. Но мир продолжал развиваться. Никакого абсолютного обнищания пролетариата так и не случилось, да и относительное оказалось весьма относительным. Опять же никакого тяготения к знакомому нам коммунизму среди рабочих развитых стран не обнаружилось. Само число рабочих там стало сокращаться. Явная несостоятельность утопической теории не привела, однако, на Западе к порядку, подобному нашему, и коммунистическая идея, кем-то даже в массовых партиях и владевшая, в практике развитых стран оказалась не столь губительной.

Наш коммунистический порядок начался с поправок и дополнений Ленина, предложившего, во-первых, не ждать, пока буржуазное общество само созреет до коммунизма, а захватить власть в его «слабом звене», во-вторых, создать для этого партию особого типа и, наконец, в третьих, взяв власть, объединить все производство в едином общегосударственном «синдикате», не надеясь, в отличие от Маркса и Энгельса, на какие-то многочисленные «ассоциации трудящихся». В этих и других ленинских идеях и впрямь разли-

чимы основы нашего «реального социализма». Но они-то как раз вполне традиционны и взяты, не так у Маркса, как из прежней, добуржуазной жизни, и не только российской, — от египетской древности до феодального средневековья.

Маркс наивно полагал, будто сложившееся экономическим путем высокоразвитое общество сможет потом и без экономических отношений рационально учитывать создаваемые им ценности и их потребление. Ленин смотрел на вещи реалистичнее и понимал, что в обозримое время в России этим не пахнет, отчего и полагался на мудрость руководства коммунистической партии. Но еще наивнее верил, что изобилия, которое ожидали от коммунизма, можно достичь не только экономическим, но и внеэкономическим путем, то есть, насилием, дозволенным уже не только повивальной бабке при родах, но и при зачатии, воспитании, организации труда и всей жизни. То есть, даже в ленинизме угрожающим стало не само стремление к коммунистической утопии, а волюнтаризм и порождаемая им готовность пользоваться любыми средствами ее достижения, проповедь и практика насилия, разрушавшего экономические методы хозяйствования, и насаждавшего внеэкономические — тем более, что в России через полвека с небольшим после отмены крепостного права от них не слишком еще отвыкли. Внеэкономическое хозяйствование в противоестественном симбиозе с передовой техникой как раз и разорило Россию, привело к непомерным тратам и утратам, поскольку обратная связь с людьми и их реальными нуждами не практиковалась. Людям полагалось, прикусив язык, верить руководству и затягивать пояса. А руководство простирало свою волю все дальше, на весь остальной мир, надеясь им овладеть, и на это не скупилось. Вот мы и расточили свое добро и все больше полагались на чужое.

И все же до разгона Учредительного собрания и при Ленине за коммунистической идеей еще не были обязательны последующие ужасы. Они стали неизбежны лишь по мере превращения идеи в государственную коммунистическую идеологию, владеющую единственно верными суждениями по всем вопросам и правом решать за других, что им лучше, взваливая на них последствия своих решений. Но история знает, что в государственную идеологию преобразалась не одна коммунистическая, но самые разные, религиозные и светские, идеи, и всегда и везде это было пагубно. Трудно противостоять стремлению людей жертвовать собой ради

кажущихся высокими целей, но можно и должно противостоять стремлению жертвовать другими. Сведение проблемы к самой по себе коммунистической идее не только облагораживает ее ореолом гонимости, но прикрывает советскую, немецкую, иранскую и прочую практику человеческих жертвоприношений, от которой наша страна, и осудив коммунистическую идею, отказываться не спешит.

У нас не помнят об исторических трансформациях коммунистической ментальности, о том, что наивную марксову веру в мессианство общественного класса еще Ленин подменил деловой верой в мессианство партии, при Сталине подмененное зловещим мессианством державы. Сторонники вросшей в марксизм-ленинизм державности, конечно, ощущали ее несообразность с Марксом, ожидавшим отмирания государства, у нас, однако, и отдаляясь от революции, наращивавшего жестокость. Желание если не отречься, то как-то отодвинуться от его теории в партии все росло, особенно когда старых большевиков физически истребили, и умение убеждать силой было важнее силы убеждения. А портрет старика с бородой уцелел в качестве иконы, демонстрировавшей якобы существенные отличия отечественного коммунизма от возникшего рядом национал-социалистического аналога.

Когда рухнуло хозяйство, разоренное монопольной направленностью, а за ним — идейная монополия партии, не случайно преуспел Жириновский. Именно он повторял цели и аргументы, которые идеологический аппарат КПСС годами внедрял в людские умы, и выраженные напрямик, на языке улицы, без марксообразной оболочки, их легко подхватывали. А если бесстыжий шовинизм и призывы к продвижению армии за государственную границу, что без крови не обходится, кого-то шокировали, то уже формировались более сдержанные на словах авторитарные движения вроде Конгресса русских общин, одним из лидеров которого и был генерал Лебедь, на президентских выборах, оттеснив Жириновского, ставший третьим по числу голосов. А президент Ельцин сумел и под демократическими лозунгами ввести авторитарную конституцию и авторитарное правление. Четверо кандидатов из пяти, имевших хоть какой-то успех, хотели авторитарного правления, и это коренное их единство важнее того, называют они себя еще коммунистами или успели выйти из КПСС.

В избирательном бюллетене лишь Явлинский был им альтернативой, отчего его и дискредитировали сообща, с особым усердием, объясняя защиту им демократических принципов личной амбициозностью. Сыграли роль не только рьяные, но и послушные «демократы», предпочитающие власти демократического оппонента власть допускающего к ручке авторитарного правителя. Да и сам Явлинский не был последователен и вступал с властью в закрытые переговоры. Отсюда и слухи о его мнимых претензиях. Опыт переговоров наших с чеченцами говорил, что демократической оппозиции стоит вести переговоры с нашей властью лишь на людях, лишь обмениваясь открытыми письмами или на телевидении.

Все нынешние кандидаты имели легальное место в прежней жизни. Явлинский был меж них самым либеральным. Но диссидентскому движению, и раньше противостоявшему коммунистической власти, выставить своего кандидата совсем не удалось. А за ним были бы не только недовольные прежним режимом, и прошедшие сроки в лагерях и сидевшие в психушках, но и сочувствовавшие им, и читатели «самиздата» и «тамиздата», и слушатели голосов «из-за бугра», и просто неконформисты, не вступавшие ни в партию, ни в комсомол и уклонявшиеся от участия в советских «выборах». Таких людей были миллионы, но предстать перед избирателями со своей программой такие не смогли. Лишь ничтожная их часть прельстилась возможностью «свободно» войти в номенклатуру, объявленную ныне «демократической».

Не было в бюллетенях и кандидатов, сознававших, сколь тяжело расплачивается русский народ за имперскую политику своего государства. То обстоятельство, что союзная номенклатура была по преимуществу русской, не примиряло честных людей с тем, что русской была и большая часть пушечного мяса колониальных войн, что преобладающая часть русского народа испытывала не меньшие лишения, чем народы, насильно удерживаемые под властью Москвы. Тем более трудно было примириться с обильной помощью зарубежным вассалам за счет собственных граждан. Миллионы русских понимали, что народ достиг бы несопоставимо лучшей жизни и избежал множества бед, если бы силы его не уходили на удержание покоренных, жаждущих самоопределения. Не все покоренные держались демократических взглядов, но в своем противостоянии империи они

были союзниками демократии. Однако их голоса тоже странным образом потерялись.

Наш президент любит повторять, что Россия — едина и неделима, забывая, что федерация не бывает неделима, что потому она и федерация, что объединяет разные земли, в чем-то желающие единства, но не ценой полного отказа от самостоятельности. Горе стране, единство которой подпирают внутренние войска. Но не нашлось русского де Голля, который бы сделал добровольность условием присоединения национальных республик к объединению русских земель и, как де Голль отдал Алжир алжирцам, отдал бы Чечню чеченцам, что, кстати, могло бы обратить их взоры к тому, что у союза с дружественной Россией есть и положительная сторона.

Увы, наши начальники такого не могут. Не случайно важнейшим методом самосохранения номенклатуры остается преимущественное противостояние оппоненту-демократу, нанесение главных ударов по нему и, тем самым, постоянное, вольное или невольное, сползание к фундаментализму. Критика власти с фундаменталистской стороны у нас пугает меньше и дозволяется легче, чем с демократической. Сам товарищ Сталин терпел фундаменталистскую критику. Когда по тактическим соображениям он вступился за Бухарина, вскоре им расстрелянного, Григорий Иванович Петровский, некогда депутат Государственной Думы, а тогда председатель ЦИК от Украины, подверг уже всемогущего Сталина резким нападкам за попытку укреплять единство партии «гнилой веревочкой». В последующие годы Григорий Иванович, у которого сгубили близких, уцелел на должности завхоза Музея Революции в Москве, и студентом, узнавая его, тяжело ступавшего по Тверской, я помнил, что «гнилая веревочка» его и спасла. Пенявшие Сталину за излишнюю жестокость, а не снисходительность, по Тверской уже не ходили.

Горбачева в глазах номенклатуры губила его готовность при лавировании пойти навстречу не только Лигачеву или Полозкову, но иногда и людям, желавшим большего, чем он, вроде Яковлева, Шеварднадзе или Бразаускаса, или, пусть как редчайшее исключение и временно, даже Сахарова. Ельцин сблизился с инакомыслящими лишь низверженный с высот, а потом, утвердившийся наверху, от них лишь отходил. Оппонентов с двух сторон терпят политики, желающие

удержаться в центре, а коммунистов по их экстремистской природе с противником примиряет лишь его безоговорочная капитуляция, и то, пока не выпадет случай его ликвидировать. Даже облачившись демократами, они соблюдают правило: бей того, кто хочет большей демократии, чем ты!

При выборах петербургского губернатора мэр Собчак немало сил потратил, чтобы не допустить к выборам Юрия Болдырева, занявшего в итоге лишь третье место. Понятно, что из 17%, голосовавших в первом туре за Болдырева, далеко не все во втором поддержали Собчака, как «меньшее зло», что, видимо, и дало менее демократичному сопернику Собчака небольшой перевес. Старого коммунистического правила: бей более демократичного, чем ты, держится и Зюганов, поносивший Горбачева, упершегося в тупик их еще вчера общей доктрины. Зюганову трудно признать, что альтернативой отходу Горбачева от фундаменталистских позиций была либо мировая война, либо стрельба по собственному народу, — лишь эти альтернативы у Зюганова и остались. Старого правила держался и Ельцин, в 1991 году предпочтя сохранить старый Верховный Совет, но не избирать Учредительное собрание, а в конце 1992 года предпочтя на посту премьера Черномырдина, а уже не Гайдара, который «сделал свое дело и мог уходить». Под присловье, что «коней на переправе не меняют», Ельцин большинство новых сотрудников сменил, но сберег выходцев из КПСС, откуда сам вышел демонстративно.

По ходу избирательной кампании разгорелся публичный спор — голосовать по совести или по расчету? Агитируя против Зюганова, голосовать за которого как раз совесть и не велит, нас уверяли, что голосовать за Ельцина надо по расчету — дескать, его победа сулит России лучшее будущее. Доказательств не было, да и быть уже не могло, — после первых обнадеживавших шагов началось его возвратное преобразование. Но, главное, его агитаторы и не заметили, что предпочесть расчеты на будущее голосу совести они выучились непосредственно у Ленина, который еще раньше додумался объявить нравственным то, что выгодно коммунизму, выгодно советской власти. Их возгласы, что голосовать не только против Зюганова, но и против Ельцина, значит голосовать за Зюганова, тоже отвечают старому правилу коммунистов: кто не с нами, тот против нас.

Мировая печать гадает, отчего коммунисты на время вернулись к власти в большинстве социалистических стран, но не в России. В Чехии — буржуазные партии, победившие на первых выборах, провели коренные реформы. В России же реформы проводили коммунисты, не ушедшие от власти, но объявившие себя «демократами», изменившие свой облик примерно так, как потом его изменили польские, венгерские, литовские коммунисты, объявившие себя социал-демократами. На время отстраненные, те вернулись, поскольку реформы там были не столь основательны, как в Чехии. Но и вернувшиеся Бразаускас или Квасневский схожи не столько с Зюгановым, сколько с Ельциным, который, однако, не слишком схож с Ландсбергисом или Мазовецким и Валенсой, до их уровня реформ не дошел.

Задуматься бы надо о том, почему в России сохранили свое влияние не только, как в других соцстранах, переодетые коммунисты, но и откровенные приверженцы сталинского фундаментализма и его национал-социалистических аналогов, поныне уверенные, что коммунистам нечего стесняться и не в чем раскаиваться. А ведь многие, голосовавшие ныне за таких коммунистов, еще недавно, на первых свободных выборах при Горбачеве, их проваливали. Этот поворот лишь отчасти можно списать на усердие отсаженной от пирога части номенклатуры и даже на то, что, как нам объявляют, многие люди не смогли приспособиться к рынку. Достаточно вспомнить пенсионеров, которые заведомо не должны «приспосабливаться к рынку», чтобы понять, что фундаменталистское коммунистическое влияние вскормила не склонность народа к прежнему образу жизни, а совсем иной, чем ожидалось, иной, нежели в Чехии или Эстонии, характер реформ и методов их проведения.

Даже советская власть, грабительски занижавшая зарплаты, сознавала надобность поддерживать при этом и заниженные цены на хлеб, жилье, транспорт, лекарства, без которых люди просто не могли бы существовать и работать. Разумеется, в ходе реформ эти диспропорции, которые к тому же нечем уже стало компенсировать, что и опустошило прилавки, надлежало преодолеть. Но Гайдар сделал это обвальным способом, не подумав хотя бы о временных смягчениях. Люди лишились средств элементарного существования и, не обнаруживая демократической оппозиции ни Гайдару, ни продолжавшему тот же курс Черномырдину, ни

поддерживавшему обоих Ельцину, обратили взоры назад, к коммунистам. Тем более они делали это, когда приватизацию, которая как раз могла бы как-то компенсировать широким массам населения потери от «либерализации цен», Чубайс провел в интересах оставшейся у власти части номенклатуры. Гайдар, Чубайс и другие, проведя свои преобразования не за счет десятилетиями грабившей граждан державы, а за счет граждан, этим стали агитаторами коммунистов. Подобную роль в коммунистическом лагере играл Анпилов, грозя лесоповалами и этническими чистками, и сея страх, побуждавший голосовать за Ельцина как за «меньшее зло».

Занимая, по видимости, противоположные позиции, Анпилов с Чубайсом толкали избирателей искать спасения в авторитарности, если не своей, то в противоположной. Могло казаться, что у нас двухпартийная система. Постоянно и регулярно полемизировать с властью имели возможность только национал-коммунисты. Приглушив демократическую оппозицию, власть сама подкинула коммунистам немалую часть их нынешнего электората, ощутимо распадающегося на искренних приверженцев старого порядка и куда большее число тех, кто решил, что возврата к прежнему быть уже не может, но видел в Зюганове альтернативу Ельцину. Конечно, мнимую, но и Ельцин оказался лишь мнимой альтернативой Зюганову. Лишь на фоне Ельцина Зюганов – защитник бедных, лишь на фоне Зюганова Ельцин – демократ.

Потому-то власть, говоря «оппозиция», имела в виду только сторонников Зюганова, не желая признать, что с другой стороны ей оппонировали сторонники Сахарова, изначально допускавшего лишь условную поддержку номенклатуры, даже уже совершавшей либеральные шаги, что в оппозиции к ней сегодня и Солженицын, что в оппозиции миллионы, проголосовавшие во втором туре против обоих кандидатов. Последних не так вроде много — всего 5%. Но не так велика пропасть меж ними и теми, кто голосовал за Ельцина лишь со страха перед Зюгановым и за Зюганова — со страха перед Ельциным. Нужды нет, что в одном случае это страх перед новым Гулагом, а в другом — перед нарастающей нищетой, ибо корень того и другого един. Это авторитарность, непомерная роль государства, его внеэкономическое руководство хозяйством и небрежение участью отдельного человека, о котором помнит лишь демократическая оппозиция.

Не упустим также из виду, что для голосования за Ельцина или Зюганова надо было непременно явиться на избирательный участок, тогда как противникам обоим делать это было не обязательно, они, и оставшись дома, выразили бы одинаковое отношение к обоим. Тем более показательно, что 5% голосовавших дали себе труд прийти на выборы, чтобы подчеркнуть свое одинаковое отношение к любой авторитарной власти. Это политически активные люди, вместе с более пассивными единомышленниками, оставшимися дома, составляют более 36% от общего числа избирателей, тогда как голосовавшие за Ельцина от общего числа составляют менее 36%, а за Зюганова — немногим больше 27%. Не будем здесь вычислять, сколь велик среди двух последних групп процент голосовавших со страха. И так ясно, что ни Ельцина, ни Зюганова, большинство не поддержало.

Господам Благоволину, Сагадаеву и Малашенко стоило бы все же публично объяснить, почему даже активной части противников всякого авторитаризма, составившей 5% голосовавших, не было предоставлено хоть 5% эфирного времени, отведенного на выборы, хоть 3%, чтобы изложили свою позицию, которую народ знал лишь в изложении тех, кто ее опровергал? Власть не в состоянии объяснить и того, что массовые газеты есть у партии власти, у коммунистов, у жириновцев, но нет ни одной, отражающей взгляды «ЯБЛока», стойко получающего на выборах более 5% голосов. Тем более нет подобных газет у оттесненного «диссидентского» демократического движения или у антиимперского русского национального движения. Все это объяснимо лишь стремлением власти выглядеть демократической, утаивая от народа, что подлинными демократами, как и подлинными патриотами, к ней как раз в оппозиции. Лишь господин Клинтон, российские дела рассматривающий даже не в интересах своей страны, но сугубо в видах личного переизбрания, может все это счесть «триумфом демократии».

Между тем авторитарность, пусть и выступающая под разными цветами; под любым из них, по самой своей природе, упраздняет реальную политическую жизнь, отражающую интересы разных социальных групп. Даже Государственную Думу, едва она берется обсуждать реальную жизнь — пусть ее решения оставляют желать лучшего, — тотчас винят, что она чересчур политизирована. Но, боже мой, на то ведь и представительные органы, чтобы объективно возникающие

политические противоречия разрешались легитимно и не перерастали в уличные схватки, не говоря о бомбежках собственных городов.

Полгода только и слышно было, что победа коммунистов влечет за собой гражданскую войну. Эта угроза коренится в самом авторитарном качестве наших, переименованных, но взятых из прежней жизни, институтов, в их неспособности адекватно учесть интересы разных слоев общества. А этому бы послужил не сговор авторитарных мощностей, не правительственная коалиция политических противников, а сбалансированность всех реально существующих, а не одних авторитарных, общественных сил. Для этого надобно правительству, подотчетное парламенту, и народом избранный президент должен бы его возглавлять, а не вышатайся над ним, как сейчас, со своим личным аппаратом, напоминающим отделы ЦК КПСС, удваивавшие комплекты чиновников. Власть должна быть не в одних руках, все равно — президентских или парламентских, но взаимодействовать между ними, тогда в их спорах и будет рождаться истина. Конечно, при этом и сам парламент должен адекватно отражать мнение народное, а для этого избираться не как сейчас, относительным, но абсолютным большинством голосов, и где его нет в первом туре, проводить второй.

Подводя итоги нынешним выборам, можно себя утешать, что, судя по прошлому, Ельцин вроде и впрямь все же меньшее зло, чем Зюганов, при победе которого Анпилов, вероятно, уже бы исполнял свои обещания. Но и меньшее зло — это зло, и, взяв верх, оно растет. К тому же, мы выбрали хоть и того же президента, но с несопоставимо большими правами, и если в ответ на взрывы в троллейбусах он сочтет нужным бомбить Замоскворечье или Марьину Рощу, у него теперь есть повод думать, что народ ему и это разрешил.

Победители приняли свою победу за разрешение и дальше жить, как раньше, и дальше воевать в Чечне. Хоть генерал Тихомиров, в лучших коммунистических традициях, заранее декларировал свою «революционную ненависть», самовольно он бы новую бойню не учинил, да еще слетав накануне в Москву. Приказ воевать армия получает от президента, и напрасно агитировавшие за него уверяют, что хотели не этого. Только значительное число голосов против обоих кандидатов могло если и не привести к новым выбо-

рам, то побудить президента одуматься. К тому же, заключая соглашение о взаимных обязательствах и одновременно, сам и через своих генералов, требуя безоговорочной капитуляции противника, он у сторонних наблюдателей подорвал доверие не просто к себе лично, но ко всем нам, к нашей стране.

Волонтаристски обращая марксову утопию к «слабому звену», Ленин, в отличие от своих последователей, порой спохватывался и после революции говорил, что злейший враг коммунизма — коммунистическое чванство, то есть уверенность, что коммунистическим декретированием можно решить все проблемы. Это чванство унаследовали не одни сторонники Зюганова и даже не одни сторонники Ельцина, — если за авторитарную власть кого-то из них голосовало в общей сложности 94% пришедших, значит, вера в магическую силу декрета пустила глубокие корни.

Новый человек, генерал Лебедь, объявил атаку на коррупцию. Но когда он объясняет, что без уничтожения коррупции экономические реформы бесплодны и надо сперва покончить с коррупцией, я перестаю верить в его добрые намерения. Коррупция — плод вмешательства чиновников в хозяйство. Сократите число чиновников, замените персональные разрешения автоматическими регистрациями, запретите исполнительной власти менять условия законов и соглашений и предоставлять непредусмотренные льготы, — словом, отделите хозяйство от государства, предоставьте его свободной конкуренции, где выигрывает производящий лучше и продающий дешевле, и без разоблачений и шумовых процессов коррупция пойдет на убыль. Вот и в Америке коррупция там, где выгодные государственные заказы, а если не за что давать взятки, их и не дают. Что же до воровства начальников, так они со сталинских времен, с отмены идеалистического партмаксимума, привыкли смотреть на всеобщую государственную собственность как на коллективное владение живущего за ее счет начальства, и чем меньше у государства останется собственности, тем меньше будут у него воровать.

Подлинная реформа, то есть переход к экономическому хозяйствованию монополизированного производства, сама и явится лучшим средством борьбы с коррупцией, в отличие от нынешних псевдореформ, когда все может быть дозволено, да в любую минуту все можно и пересмотреть, и надо непрерывно давать взятки, чтобы не пересмотрели. А

власть может искать популярности, борясь с коррупцией. Но жизнь страны и народа поправляет не просто голосование, потом позволяющее авторитарной власти, старой или новой, делать, что вздумает, а личные инициативы граждан. Дело власти — не подменять эти инициативы, а обеспечить им правовое пространство. Они бы и ограничили всевластие, а наши власти такого не хотят — ни те, ни эти.

Демократия — не брошка на государственном наряде, не самоцель, а в наш компьютерный век — необходимость, подобная правилам дорожного движения, сообразуемым с характером транспорта и дорог. Если постоянно возникают пробки, значит, что-то упущено. Полтора столетия назад непопулярный ныне Маркс писал: «Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом». Компьютер он себе представить не мог и не догадывался, как общество с ним преобразится. Но Маркс хотя бы ощущал, что хозяйство и общество взаимозависимы, что уже при паровой мельнице просвещенному и благонамеренному сюзерену за всесторонним развитием буржуазного плюралистического общества не поспеть.

Семьдесят лет нашей истории были, как при Петре Великом, дерзостной попыткой единой воли сжатой в кулак страны опровергнуть эту взаимозависимость. Рабы строили свободу, а упразднение наук слыло прогрессом. И вина за нынешние результаты не только на товарище Сталине, всем этим руководившем, вопреки морали и праву, но и на честных и законопослушных гражданах, веровавших, что воля одного человека способна отвечать разнообразным интересам миллионов, при том, что мир, все больше развивающий науку и технику, дробится и все более нуждается в свободных и равноправных связях своих раздробленных стран и людей.

По высокомерию победивших ныне на выборах, по охватившей их эйфории видно, что они ничему не научились, ничего не забыли и в доверенные им еще четыре года экономическую реформу всерьез не продвинули. А в 2000-м году, если худшего не случится, тех, кто доживет, опять призовут защищать мнимую демократию от коммунизма, ужасы которого к тому времени подзабудутся, и опять будут твердить, что демократическая оппозиция льет воду на мельницу врага.

Надеяться можно лишь на то, что за эти четыре года, вопреки усилиям власти, демократическую оппозицию не удастся ни заглушить, ни расколоть. Надо вырваться из порочного круга сменяющих друг друга авторитаризмов. Не велика честь с опозданием осознавать себя невольными орудиями борьбы за зло, пусть вчера меньшее. Голосовать всегда надо против зла, пока есть возможность голосовать. Если чему наша жизнь могла научить, так это тому, что зло добра не приносит. Чем больше свободы и правовых гарантий демократическая оппозиция сумеет отстоять, тем вернее будет расти производство, и не одного только драгоценного металлолома, но и предметов потребления для людей, чтобы люди в России жили не хуже других.

ЧИСЛА НИЗКОЙ ЖИЗНИ

Вот мы и вспомнили, что «осиянно только слово» и, вообразив, что оно теперь свободно, снова падки на слова. Но не на слова о реальности реформы, хоть круглый пшеничный хлеб перевалил уже за три тысячи. При наших-то высоких помыслах, неужто до такого опускаться? Ведь по запасам газа Россия занимает первое место в мире, по тракторам — все еще второе, по нефти — третье. В какой связи это огромное количество тракторов находится с урожаем и ценой хлеба? А чего про это думать, если, продав газ и нефть, можно хлеб купить за границей? Хрущева и Брежнева поминуют добрым словом за то, что не стыдились покупать и не морили нас голодом. Что уж гадать, сколько хлеба с нашими посевными площадями, тракторами и нефтью могли бы сами продать.

Сосчитать несложно. На пальцах можно, на счетах, да только считать недосуг. Российская Федерация уже не унитарная держава, а объединение 89 субъектов. Данные о них имеются в энциклопедиях и атласах. Но привычка считать чохом, по валу, гасит интерес к внутренним соотношениям и сопоставлениям, мало кто замечает, что 57 субъектов федерации — русские по населению и культуре, а 32 — национальные автономии. С распадом СССР российская империя стала меньше, но не перестала существовать. При этом в 57ми субъектах федерации, занимающих около 47% общей территории, живет около 83% всего ее населения, тогда как территория 32х национальных автономий — почти 53% общей (в большой мере это зоны вечной мерзлоты, скалы и т.п.), а живет там около 17% населения федерации. Расклад населения почти совпадает с национальным составом России, в которой более 82% — русские и более 17% нерусские.

57 русских краев и областей, конечно, заинтересованы в своем единстве, особенно в совместном развитии общей культуры. Не столь ясно в какой мере интерес к единству с остальными 32 субъектами тоже взаимен и доброволен, не удерживаются ли автономии в составе федерации насильно. Это возлагает на русское население непосильный груз. Зло тут не просто в памяти о том, как нынешние автономии входили в состав бывшей Российской империи. Память о царских и советских временах могла бы и не возбуждать в коренном населении автономий стремления к суверенитету, если бы их судьбы и особенности их хозяйства, сохранение

или отмирание их традиций, зачастую не определялись относительно к воле этого коренного населения.

Считаться с ней не всегда легко. Обучение на родном языке детей полумиллионной или даже стотысячной народности обходится заведомо дороже, чем обучение равного числа детей многомиллионного русского народа. Написание или перевод особенных учебников дороже, чем дополнительные тиражи на языке 120 миллионов. Да и художественная жизнь 120 миллионов во многом самоокупаема, тогда как в автономиях она требует налоговых льгот и целевых субсидий. Многие русские граждане, возможно, тяготеют таким неравенством, но ему нет иной альтернативы, кроме как предоставить автономиям самостоятельность. При современном хозяйстве ущемленность части населения подрывает единство страны. Западные империи потому и расстались с колониями, которые Россия преобразовала в лишённые суверенитета республики. От того, будет ли и дальше центральная власть, избираемая русским народом, составляющим в РФ квалифицированное большинство, сохранять неравенство, зависит единство федерации, лишь расшатываемое вооружёнными усмирениями строптивых.

Общее несовершенство нашего государственного устройства заметнее всего в национальных обострениях, но сказывается и на хозяйстве. Даже без национальных автономий 57 русских субъектов федерации, нуждались бы не в унитарном, а, как Германия, в федеративном устройстве государства. Слишком уж Россия велика и разнообразна, чтобы не только общие, но буквально все её дела и дальше решались по указке из единого центра. Будь федерация даже мононациональной, все равно сказалось бы, что в каких-то субъектах стоимость валового внутреннего продукта превышает расходы, а в других не достигает их уровня и там живут за чужой счет. Экономические соображения надлежало учитывать уже при формировании субъектов федерации, а ими запросто провозгласили области и края, расчерченные Сталиным по другим соображениям.

Первым делом надо бы уточнить, какие из них и впрямь обладают почвой для самоуправления. Иначе, находясь практически в полной зависимости от центра, они не могут ничего решать ни в жизни федерации, ни в собственной. Само преобразование РСФСР в Российскую федерацию требовало не декларативного, но подлинного изменения государственного строя, отказа от непомерной зависимости

субъектов федерации от ее центра. А чтобы прежним областям и краям стать полноценными субъектами федерации, их надлежало укрупнить, возродить их историческое единство с соседями, словом, преодолеть произвол, определявший административное деление РСФСР. Включение земель заселенных татарами, башкирами и русскими, не, соответственно, в Татарстан, Башкортостан и русские области, но в заведомо инонациональные административные единицы, - лишь частный случай такого произвола, от которого русские страдают не меньше, чем коренные жители автономий.

Перестав рассматривать тексты Маркса и Ленина как вместилища социальных истин, ныне у нас бегут от всякого социального анализа, а навыки сохраняют прежние. Для их преодоления как раз и надобен реальный и детальный, не только обобщенно качественный, но и количественный анализ. Увы, даже данные общих переписей пробивались к читателю с трудом, а то и вовсе пропадали. Но в перестройку и в официальные издания порой попало много интересного, и стоит взглянуть хотя бы в некоторые цифры, позволяющие видеть не сразу заметное в российской жизни.

В Германии, насчитывающей 80 миллионов жителей, лишь в трех городах — Берлине, Гамбурге и Мюнхене — население превышает миллион. В США при населении более 250 миллионов таких городов было 9. В обеих странах на каждый такой город — примерно по 27 миллионов человек, живущих не там. А в России с ее 145 миллионами таких городов 13, то есть на каждый 11 с небольшим миллионов жителей других мест. Можно сходу решить, что просто США и Германия более развитые страны. Но в Китае, все же менее развитом, чем Россия, где населения больше миллиарда, городов с населением больше миллиона всего 29, то есть, на каждый — 40 миллионов общего населения. Российская ситуация явно особенная, и стоит задуматься, чем вызвана такая концентрация людей. В целом и в Германии, и в США городского населения не меньше, чем у нас, но живет оно преимущественно в средних и малых городах.

А если просчитать валовой внутренний продукт не на душу населения, как считают обычно, но на каждую работающую душу, мы тоже резко отличаемся от других. Правда, Китай, где на одного работающего в год производится продукта менее чем на 4200 долларов, от нас, производящих по 10 956 долларов на работающего, отстает, но с другими странами опять странности. Как давно сказано, «искать себе

не будем идеала в Америке» с ее почти 53 тысячами долларов или во Франции с почти 50 тысячами на работающего. Сопоставим нашу великую страну с Португалией, где на работающего около 28-тысяч, с Мексикой — около 19 тысяч, с Турцией — более 16 тысяч. В чем дело? Неужто наша техника хуже и оттого намного ниже производительность труда? Или у нас непомерно много военных и бюрократов, никакого продукта не производящих, но вполне занятых? Снижение нашего производства за последние годы само по себе ситуацию не проясняет — ну, не снизилось бы оно, а до уровня Мексики все равно бы не достали, а Португалия так бы и осталась мечтой. Думается, дело не в технике и не просто в нынешнем кризисе, а в глубинных пороках нашего хозяйства.

За цифрами различима скрытая безработица, объясняющая и переполнение наших городов. Если мы лишь вдвоем нарабатываем, как один португалец, лишь в пятером, как один американец, для аналогичного эффекта нам и нужно вдвое или впятеро больше работников. Люди стремятся в большие города, просто потому, что не могут на месте добыть средства к существованию. А не могут оттого, что наша индустриализация отвечала не на спрос остального хозяйства, а на план, сочинённый без оглядки на хозяйство.

Уже сельское хозяйство индустриализовали торопливо, ломая крестьянские жизни, чтобы промышленность имела постоянный избыток ищущей применения дешевой рабочей силы. Этой цели достигли, но, как часто бывает с великими целями, плоды выросли непредвиденные. Государственная монополия не считала, во что обходится труд, и с легкостью брала пятерых рабочих на дело, которое за океаном делал один, получавший втрое больше нашего. А мы и по сей день верим, что экономим на рабочей силе. Где уж сообразить, что столь огромное число трудящихся, — а оно бы за семьдесят лет выросло и без силового сгона крестьян с земли, — могло бы произвести куда больше и люди действительно жили бы лучше. Отчего ж выходило наоборот?

Буржуазное общество бранят за потребительство, и там в самом деле производят в расчете на потребление. Недовольная потребность, если есть платежеспособный спрос, там быстро заполняется и даже упреждается инициативой частного производителя. Государственной монопольной машине за ним не поспеть. Чтобы поспеть и упредить конкурента, частный производитель и платит работнику

больше, чем государственный монополист, не имеющий конкурентов, и пренебрегающий тем, что низкая плата пятерым, вместо приличной одному, обходится, в конечном счете, втридорога — убытки покрывает казна, и, еще больше, сами же работники, которым просто недоплачивают. К тому же наемному рабочему отстаивать свои права у частного работодателя легче, чем у государственного, способного применить против своих рабочих все средства, которыми располагает государство — от расстрелов, как в Новочеркасске, или лагерей, то есть бесплатного принудительного труда, до временных задержек зарплаты.

Даже там, где человек вроде бы не собственник, но сам распоряжается продуктами своего труда, его труд продуктивнее. Растениеводство в с/х предприятиях в 1995-м, продуктивном году, дало продукции на 62 381 млрд. рублей, а в «хозяйствах населения» (то есть, на приусадебных участках) на 69 697 млрд. рублей — явно больше. Прибавим к этому фермерские хозяйства, давшие продукции на 3 400 млрд. рублей, и вместе индивидуальные и семейные хозяйства дадут еще больше — 73 017 млрд. рублей. А ведь земли у с/х предприятий куда больше!

В животноводстве на первый взгляд больше продукции дают с/х предприятия, тоже располагающие большим количеством земли. Можно предположить, что сенокосы и пастбища хорошо служат колхозно-совхозному животноводству, но если сопоставить продуктивность каждого гектара в разных типах хозяйства, оказывается, что с/х предприятия при 58,4 млн. га сенокосов и пастбищ дают продукции животноводства на 78 619 млрд. рублей, то есть 1 393 953 р, с одного га, а индивидуальный сектор при 2,8 млн. га фермерских сенокосов и пастбищ — 1 600 млрд. и 1,7 млн. га в «хозяйствах населения» — 44 303 млрд. продукции. То есть вместе в индивидуальном хозяйстве при 4,5 млн. га сенокосов и пастбищ производится 45 903 млрд. продукции, и один гектар в личном распоряжении дает продукции, в 7,3 раза больше, чем в с/х предприятии. Казалось бы, очевидно, что труд на себя плодотворнее. И мы ведь закрываем глаза на то, что у предприятий несопоставимо больше и лучше машинный парк. А подавляющая часть сельскохозяйственных угодий все еще в руках сельскохозяйственных предприятий.

Здесь приводятся цифры 1992 – 1996, то есть той поры, когда Россия, перестав силой удерживать союзные республики и страны Варшавского пакта, стала как бы иначе вести

хозяйство, но еще не впадала в кризис 1998 названный «дефолтом». Многим еще казалось, что, при всех трудностях, мы медленно, но верно, переходим к здоровому образу жизни. Но если вчитаться в цифры, уже и тогда проступали тревожные знаки, схожие с теми, о каких говорят сегодня, но опять как о временных, забыв коренные несообразности, еще заслоненные высокими нефтяными ценами мирового рынка.

Широко разрекламированная кампания по приватизации на деле не привела к сколько-нибудь сопоставимому весу частного производства в сравнении с государственным, все еще стыдливо именовавшимся «общественным». В течение первых двух с половиной лет до середины 94-го года, приватизация шла лишь в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании, потом она распространилась преимущественно в пищевую и легкую промышленность, а если и другие сферы акционировались, то контрольный пакет фактически удерживало государство или его порученцы, занимающие важные должности. Даже добывающие отрасли, и угольная, и нефтяная и газовая, тоже считающиеся теперь частными, распределялись среди новых владельцев не только без стоимостной компенсации, но без надежного юридического оформления, делающего их собственность неоспоримой, что позволяло государству держать их в полной зависимости. Абстрактно они дешево обрели принадлежавшее государству, а конкретно попали в круговую зависимость от него.

Без дополнительных данных статистике трудно прояснить, стал ли у нас в результате хоть кто-нибудь воистину частным владельцем, независимым от государства. Сообщают, что к 1996 году 63,4% всех предприятий — были частными (указания о масштабе продукции и численности рабочих на этих предприятиях, к сожалению, найти труднее, но сообщалось, что индивидуальные или семейные предприятия с привлечением наемного труда составили лишь 11,9% от общего числа частных предприятий). Но не статистики виноваты, что информация о важнейших социальных преобразованиях смутна, статистика лишь отражает характер самих преобразований.

Такая же невнятность проступала в тогдашних дискуссиях о неплатежах шахтерам, да и трудящимся других профессий. Кто, собственно, был работодателем шахтеров и был обязан им платить? Частная компания? Но почему тогда

местные власти, прежде всего, прокуроры и судьи, позволили ей полгода не выплачивать положенное? Российское государство? Но почему тогда угольная компания именовалась акционерным обществом (такowymi числятся почти 40% всех предприятий), а не государственным предприятием (ими числятся лишь немногим более 10%)? Не было бы беды, субсидируй государство в установленных размерах убыточную угольную промышленность, такое практикуем не мы одни. Но почему субсидия идет именно на зарплату? И что делают сами «владельцы», и кто они?

Не пора ли признать, что созданный в России капитализм носит условный характер? Хозяйственные отношения у нас все еще слишком тесно переплетены с административными, и власть не способна обеспечить их правовое положение, прежде всего потому, что сама в этих отношениях участвует, и уже не говоря о коррупции или отсутствии независимого суда, не в состоянии быть объективной. Нет ясности и в имущественных взаимоотношениях местной и центральной властей, по ходу «приватизации» первая часто просто норовила овладеть тем, чем прежде владела вторая. Но характер экономических отношений от этого не слишком меняется. С какой стати президент платит шахтерам? Разве президент получает добытый ими уголь? А если президент или, по его поручению, Совет министров, значит, нынешний «условный капитализм» ничем, по существу, не отличается от прежнего советского порядка. Так не пора ли открыто признать, что наша «приватизация» — по преимуществу никакая не приватизация, но лишь преобразование форм государственной собственности. И не потому ли так называемая «экономическая реформа» не дала эффекта, который призвана была дать?

Между тем причины кризиса ищут в чем угодно, но только не в том, в чем они заключены. Весьма распространено утверждение, что рост производства у нас тормозился непомерным импортом. Но достаточно обратиться к фактам, чтобы убедиться, что ничего подобного нет, что отечественное производство сокращалось параллельно сокращению, а вовсе не росту импорта. Вот как это происходило с трикотажем и обувью:

1992	1993	1994	1995
Импорт трикотажа в млн. долларов			
896	845	377	226
Отечеств. трикотаж в млн. штук			
456	340	190	105
Импорт, обуви в млн. пар			
85,5	132	41,7	25,3
Отечеств. обувь в млн. пар			
220	146	76,5	52,5

Здесь, понятно, не учтен импорт, доставлявшийся «челноками», но принято считать, что он составляет на рынке не более 10% и общую картину не меняет. Беда явно не в импорте. Почему же легкая промышленность, от которой как раз и надо бы ожидать эффекта, повернуться в которой легче, чем конвертировать производство ядерных ракет, не повысила производства? Или нет на ее изделия спроса? Или вообще, падает платежеспособный спрос и уровень жизни? Или у промышленности, ушедшей от партийных команд, доход еще не стимул к производству, то есть, она не стала частной?

Нет оснований жаловаться и на засилье в нашем хозяйстве зарубежных участников. Даже в 1995 году почти 60% весьма скромных зарубежных инвестиций сосредоточивалось в Центральном районе, прежде всего в Москве, что уже само по себе показывает, что место их в хозяйстве России невелико. Да и ожидать его роста при нынешних налогах и законах нет оснований. Известный ущерб преобразению хозяйства, думается, нанесла лишь прямая зарубежная финансовая помощь, в частности, выданная Международным валютным фондом непосредственно правительству России. Плохо понимая природу наших общественных и хозяйственных отношений, иностранцы, прослышавшие, что и в России нынче демократия, неправоммерно отождествляют русскую власть и русский народ, воображая, что и у нас власть в такой же мере зависит от народа, как в демократических странах. Желание помочь гражданам России вызывало бы лишь благодарность, если бы помогали конкретным гражданам, находящимся в трудном положении, как Сорос помогал учителям и ученым. Когда же огромные суммы давали власти, тратившей их по своему усмотрению, она получала возможность медлить с насущными реформами, вести войну в Чечне и повышать привилегии правящего слоя. Народу России это не было на пользу.

Промедление с реформами не только усугубляло кризис, но и увеличивало разрыв между правящим слоем и те-

ми, положение которых иначе как катастрофическим не назовешь, а в таком положении сегодня значительная часть населения. Рос разрыв индекса потребительских цен и среднемесячной зарплаты. Индекс цен за четыре года к концу 1995-го вырос в три раза больше, чем зарплата. Большинство граждан уже одним этим было обречено на буквальную нищету. Уже в 1995 году доходы почти 25% граждан России (сейчас около 40%) были ниже прожиточного минимума. Но и сам этот минимум, строго говоря, примерно в два раза занижен, а среднедушевой доход тогда превышал официальный минимум лишь в два раза, как бы достигая фактического минимума; то есть, подавляющее большинство граждан живет на грани выживания, а четверть даже и за его официально признанной гранью. Странно говорить при этом о формировании «среднего класса», призванного стать опорой демократии. А его отсутствие - важнейшая причина наших политических сложностей.

Она еще и в том, что у нас не выносят открытого политического содержания, то есть стремления разных общественных сил, разных слоев общества, открыто отстаивать свои интересы. А ведь и сами эти интересы, и способы их отстаивания находятся в прямой связи с развитием производства, то способствуя ему, то противодействуя. При Брежнев, не говоря о Сталине, пресечение политической жизни достигалось ее предписанной абсолютизацией. Все объявлялось политическим, и требовало не полемики, а единодушного исполнения государственных предписаний. Классовой борьбой называли не противоборство социальных классов, а пресечение государством их претензий иметь хотя бы свои голоса.

Ныне, когда псевдомарксистское лицемерие отброшено, политическая жизнь отвергается откровенно, как вовсе и не нужная людям, дело которых вкалывать и что-то за это получать. Для руководившего одно время российской экономикой Владимира Потанина «Государство — та же фирма, только очень большая», а уже для Ленина желанным было «превращение всех граждан в работников и служащих одного крупного «синдиката», именно: всего государства» (т. 33, стр.: 97). Ленин перед революцией воображал, что руководство монопольным синдикатом может осуществляться демократически, но мы-то по опыту знаем, что превращение государства в «синдикат», «фирму», всякую демократию пресекает, поскольку требования производства определяют

ся не на общих собраниях. Но именно в той мере, в какой государство — не синдикат, не фирма, оно способно демократически регулировать отношения разных фирм и синдикатов, сообразуясь и с их интересами, и с интересами разных социальных слоев, что и составляет смысл политической жизни как общественного регулятора жизни экономической. Политические институты, стараясь сбалансировать социальные интересы, достигая подвижных социальных компромиссов, как раз и добиваются необходимой обществу стабильности, спасают его от непрерывной гражданской войны. А нам все не понять, что серьезные, а не пропагандистские, споры в парламенте – это альтернатива кровопролитию. Нам сподручнее проливать кровь.

При чисто директивных попытках стабилизации хозяйства, практикуемых в едином синдикате, сама стабилизация остается весьма условной. Динамика официального курса доллара к рублю уже до дефолта показывала, сколь относительно рекламировавшееся замедление инфляции.

Цена доллара в декабре
В процентах к предыдущему декабрю

1992	415 р.	
1993	1247р.	300%
1994	3550 р.	284%
1995	4640 р.	130%

Инфляция замедлилась лишь к лету 1995 года, и благодаря не стабилизации хозяйства, а, с одной стороны, субсидиям МВФ и, с другой, административному регулированию обмена валюты. Если сопоставить апрель 1996-го года, когда административное регулирование ослабело, с июлем 1995-го, когда цена доллара достигла низшей, после остановки его роста, точки, то за последовавшие десять месяцев его цена поднялась до 112%, а если с ценой апреля сопоставить цену августа 1996, то всего за четыре месяца она поднялась до 107%, то есть темп роста явно ускоряется.

Любопытны перемены в культуре и средствах массовой информации, как орудиях народного самосознания. Число театров, равно как и музеев, в России не сократилось, даже несколько выросло, но общая их посещаемость ощутимо сокращается: по театрам с 44,2 млн. в 1992 году до 31,6 млн. в 1995-м, по музеям с 95 млн. в 1992-м до 62,5 в 1994-м.

Число названий книг на русском языке тоже несколько выросло: с 26,9 тысячи в 1992-м до 29 тысяч в 1994-м, но общий тираж за то же время сократился с 1248 млн. до 563 млн., а количество экземпляров на 1000 человек с 8830 до 4007, то есть более чем вдвое, хотя процент русских в России более чем в полтора раза выше, чем в СССР. Число русских журналов за те же годы сократилось с 2511 до 2166, а их общий тираж с 901 млн. до 291 млн. Число газет сократилось несколько меньше, с 4523 до 4197, разовый их тираж с 142 млн. до 84 млн., а годовой с 18 млрд. до 7,9 млрд., то есть более чем вдвое. При этом охват страны телевидением никак не уменьшился, а число приемников, принимающих три программы, даже возросло. Явное сокращение числа людей, имеющих возможность или желание посещать музеи и театры, читать книги, журналы и газеты, соседствует с господством средств наиболее массового государственного воздействия. Иначе говоря, нарастающая по тем, или иным причинам пассивность граждан, сокращение после 1991 года по сравнению с перестройкой звучания и распространения индивидуальных голосов, соседствует с активным воздействием государства.

Положение нерусской печати в целом, схоже с положением русской, но есть и примечательные отличия. Книжное дело идет идентично: растет число названий и более чем вдвое падает их общий тираж. По журналам сократилось и число названий и общий тираж, он чуть поднялся лишь в 1994 году, но уровня 1992 года не достиг. А вот число нерусских газет, в отличие от русских, тогда выросло, и общий их тираж держался. Это явное свидетельство не спадавшего и после распада СССР массового интереса к национальным проблемам, не случайно проявляющегося в самых дешевых средствах информации:

Актуальность национальных проблем подтверждают и перемены в национальной структуре населения России, то есть, в количестве лиц разных национальностей на 100 000 населения. Правда, в статистике есть странное упущение — не было данных, например, о чеченцах, прежде занимавших шестое место по численности среди народов, не имеющих иного национального очага, кроме как в Российской Федерации. Большинство таких народов с 1989-го по 1994-й в своем числе не уменьшилось или уменьшилось не более чем на 3%. Ощутимо сократились мордва — 87% и марийцы — 92% от 1989 года, число же русских, татар, башкир, аварцев,

осетин, бурятов, якутов, кабардинцев, коми, лезгин, кумыков, ингушей и тувинцев, хоть и не всегда значительно, но выросло.

Совсем иная картина у остальных народов, хоть и веками живущих в России, но имеющих национальные очаги и за ее пределами. За исключением армян, числа которых в национальной структуре России выросло до 134% за счет беженцев из других республик, где они подвергались преследованию, число остальных ощутимо сокращается. Медленнее всего у немцев, так и не получивших возможности восстановить республику на Волге, и постепенно выезжающих в ФРГ. В 1994-м их доля в национальной структуре России составляла 94% от 1989 г. Доля казахов за то же время сократилась до 90%, белорусов до 81%, украинцев до 79%, евреев до 73% от 1989 года. Одними экономическими причинами все это не объяснить. На Украине, в Белоруссии, в Казахстане уровень жизни еще ниже, чем в России, да если где-то и не ниже, сам переезд, утрата жилья и значительной части имущества, необходимость говорить на часто уже забытом или незнакомом языке и приспосабливаться к иному образу жизни, компенсируется разве что самоощущением. Но тенденция к выезду из России, наблюдаемая у совершенно разных народов, имеющих национальные очаги и в других странах, обозначилась еще до геноцида в Чечне, и ее причины должны быть осознаны. Едва ли откровенно шовинистические выступления видных деятелей российского общества и государства и самый размах шовинистической пропаганды в России тут ни при чем.

Особенно сократилось число евреев. В абсолютном исчислении оно упало до 400 тысяч вместо 808 тысяч в РСФСР в 1970 году и 701 тысячи в 1979-м. Не будет преувеличением говорить о конце русского еврейства. (По предварительным данным последняя перепись насчитала в России всего 240 тысяч евреев.) Конец российского еврейства, как в свое время конец немецкого или австрийского еврейства, не только трагичен для евреев, но и наносит ущерб странам, где они жили. Причина его более чем наглядна. Это, конечно, государственный советский антисемитизм, всем известные ограничения для евреев, которые сами по себе без эмиграции наносили России огромный ущерб не только так называемой «утечкой умов», даже не эмигрировавших, а просто не допускаемых к плодотворной работе, и, разумеется, соответствующая пропаганда. К сожалению, и нынешнее

отношение властей к подобной и даже еще более откровенной пропаганде не позволяет счесть, что государственный антисемитизм вышел из употребления, хотя формы его несомненно переменились.

Особенно интересны данные о последствиях специфических перемещений народов СССР по его территории, и в частности явная непропорциональность миграции из РСФСР в союзные республики и обратно. Лишь число армян в России (532 тысячи) превысило число русских в Армении (62 тысячи), где русские составили лишь 1,6% всего населения. (армяне в России — 0,36%). Это следствие особой исторической судьбы армянского народа, испытавшего жестокие гонения и, в поисках спасения, рассеявшегося по всему миру. Из общего их числа в 5700 тысяч лишь 3031 тысяча армян живет в Армении, 500 тысяч в США, 200 тысяч в Иране, 180 тысяч во Франции, 150 тысяч в Ливане и т.п. Их судьба во многом подобна еврейской, с тем отличием, что исконное отечество все же уцелело. Естественно, и в России есть армянская диаспора. В остальных республиках СССР число русских за советскую эпоху ощутимо превысило встречную миграцию, за вычетом лишь Белоруссии и Азербайджана, в которых взаимная миграция была соразмерна.

	1	2	3	4
Азербайджан	5,6%	392	336	1,2
Грузия	6,3%	341	131	2,6
Таджикистан	7,6%	388	38	10,2
Узбекистан	8,3%	1653	127	13
Литва	9,4%	344	70	4,9
Туркменистан	9,5%	334	40	8,3
Молдавия	13%	562	173	3,2
Белоруссия	13,2%	1342	1207	1,1
Киргизия	21,5%	917	42	21,8
Украина	22,1%	11356	4363	2,6
Эстония	30%	475	46	10,3
Латвия	34%	906	47	19,3
Казахстан	37%	6228	636	9,8

1 — Процент русских в республике.

2 — Число русских в республике в тысячах.

3 — Число выходцев из республики в России в тысячах.

4 — Отношение числа русских в республике к числу лиц ее титульной нации в России.

На фоне распространенной в России неприязни к инородцам, составляющим даже менее одного процента населения, как чеченцы, армяне, поляки, евреи, цыгане и другие, отношение к русским, процент которых в бывших союзных республиках куда выше, слава богу, не так худо, как его изображают. Не только в Азербайджане или Белоруссии, но и на Украине, и в Грузии, и практически во всех республиках, где русские не превысили четверти всего населения, национальные конфликты, если и доходили до применения силы, оно вызывалось не так односторонним наплывом, как вмешательством Москвы во внутренние дела, к примеру, в Таджикистане или Молдавии. Лишь там, где число русских превысило 30% населения и их удельный вес и пренебрежение к местному языку, грозили стране утратой национальной идентичности, как в Эстонии, Латвии или, по-иному, в Казахстане, ситуация обострялась, все равно не дорастая до такого насилия, какое практикуется к инородцам в России. На деле можно бы радоваться, что руководство большинства бывших республик СССР противостоит, хоть и не всегда успешно, насилию на национальной почве, не уподобляется нашим властям, которые организуют даже в Москве чудовищные акции против «лиц кавказской национальности». Когда Акаев призывает русских не уезжать из Киргизии, а многие российские руководители одобряют разнообразные «зачистки», легко понять, что национальные распри коренятся в не утихающем имперском шовинизме. Этот имперский шовинизм, конечно, присущ не всему русскому народу и даже не его большинству, но российской имперской власти, имеющей влияние.

Статистика побуждает и об этом задуматься. Хотя в большинстве республик, уважая, как принято, культуру и обычаи тех, среди кого они живут, русские вполне могут жить и дальше, не следует пренебрегать теми, для кого СССР всегда был Россией, и кто не хочет остаться вне родины. Многолетняя засылка людей из России в союзные республики привела к тому, что число их там превысило двадцать пять миллионов. А население России теперь неуклонно сокращается. Но власть, приняв закон о гражданстве, намеренно затруднила возвращение уехавших в пору СССР.

Вроде бы очевидно, что не только люди родившиеся в нынешних пределах России, но и те, у кого там родились отцы, деды и даже прадеды, которых, не говоря о царских временах, почти семьдесят пять лет перемещали в союзные

республики, то по заданию партии, то по приговору тройки или сталинского суда, должны, при желании, иметь бесспорное право на возвращение, на гражданство, на помощь в обустройстве, подобную той, какую репатрианты получают в Израиле. Но российские власти предпочитают удерживать в республиках русскую диаспору, как предлог к возврату в состав России самих этих республик. Демагогически рассуждая о трудностях русских вне России, власть не хочет принять всеобъемлющий закон о возвращении, который позволил бы эти трудности преодолеть, да еще восполнил бы убыль населения.

Разнообразные числа, всплывшие в официальной статистике, если и не всегда ответили на вопросы, то их задали, побуждая лучше видеть реальность и просчитывать бывшее прежде неосознанным. Числа не замена слову, но его подспорье. Чересчур отвлекаясь от чисел, слово порой раздувается от своей святости и лопается, а потом, действительно, дурно пахнет. Но не потому, что ему поставлены пределы, а потому, что, пьянея от беспредельности, оно уходит от реальности. А без оглядки на пределы низких чисел, раздумья о судьбах отечества не продвигаются дальше благих пожеланий. Тех самых, которыми мостят дорогу в ад.

ИГРЫ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Еще будучи советским гражданином, Александр Янов заговорил об угрозе русского фашизма, из-за чего и оказался эмигрантом. Вторая, третья и четвертая части его первой, изданной на родине, книги дают самую представительную покамест панораму отечественных тоталитарных течений, их политики, идеологии и практики. Уже это побуждает благодарить автора. Жириновский, Проханов, Стерлигов, Зюганов, Шафаревич, Гумилев, Кургинян, Дугин и другие выступают у него в одном строю, уже не как маргиналы, а как явление.

Янов уверен, что приход Гитлера к власти был вызван нежеланием западных держав политически поддержать демократическую Веймарскую республику. Он обнаруживает схожие ситуации в Китае Сун Ят-сена, в Японии перед первой мировой войной, в России после Февраля и даже в нынешней России, отчего книге, названной «ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНА», дан подзаголовок «Веймарская Россия». Но я думаю, что дела эти всюду, прежде всего, внутренние, убежден в примате внутреннего над внешним и тщетности внешнего, пренебрегающего внутренним. Германия сама решала свою судьбу. И судьбу России определит Россия. И если определит не лучшим образом, винить нам будет некого, кроме себя самих. Но сходство многих внутренних историй несомненно. Не будем им пренебрегать, хоть не стоит и обольщаться.

1

Сходство России и Германии подмечено задолго до Веймарской республики, и выдающаяся роль, сыгранная немцами в России XVIII века, неотделима от того, что для России примером был сам немецкий опыт учения у Запада. Петр и его преемники, помня о Голландии, приглашали не столько голландцев, сколько немцев, подражавших голландцам. Петр ведь перенимал не буржуазные отношения, утвердившиеся в Голландии, но лишь их производственные плоды. Подобно прусским королям, наши цари, особенно Екатерина II вслед за Фридрихом II, привили зарубежные ветви к старым отечественным корням.

Надежды на способность феодального государства добиться результатов, достигаемых буржуазным, в Англии и Франции после буржуазных революций отпали за ненадоб-

ностью. Реставрированные монархии там были наследницами революций. А в Германии и России продолжали надеяться на сильное государство, многих пленяющее поныне. Имелось в виду государство не столько сильное, сколько силовое, силой добивающееся от подданных желаемого. Но в различие смыслов однокоренных слов не всегда вглядываются. Да оно и невелико, покуда речь о внешней угрозе. Перед лицом агрессии мундир защитника отечества вызывает уважение. Иное дело, когда в мундир обряжают внутреннюю жизнь, не могущую быть полноценной без компромиссов, предполагающих разрешение противоречий мирным состязанием, а не вечными драками и угрозами. Представительные органы — у нас, если и выживавшие, то обращаясь в чисто формальные, — на деле как раз и призваны служить органами подвижного общественного компромисса. Но задолго до советской власти военные нормы определяли не только оборону от внешнего врага. Наш крупнейший военный гений Суворов побеждал не только немецких, турецких и французских военачальников, но и русского Пугачева. Это не столько личный грех великого полководца, который из почтения замалчивают, сколько порок государства, которому он служил.

А немецкие земли разрезала Эльба, делившая Европу на Запад, где зависимость крестьян от феодала переставая быть личной, оставалась лишь поземельной и судебной, и Восток, где личная зависимость возрастала как «второе издание крепостного права», в Пруссии не столь сурового, как у нас, но упраздненного лишь в начале XIX века. Немецкие земли объединило не «западное» демократическое Франкфуртское национальное собрание в 1848 году, а двадцатью с лишним годами позже Пруссия Бисмарка, — «железом и кровью». Но до полного абсурда восприятие силового государства как сильного дошло у нас, при Николае I, раздавившем декабристов, поляков и прочих свободолюбцев, но неспособном справиться с внешним врагом в Крыму.

Трагедии обеих стран крылись в привычной им надежде феодальной силовой властью добиться эффекта буржуазного развития. Столыпин, а до него Витте, а перед тем Александр II, медленными и частичными реформами создавали, конечно, условия для буржуазной экономики. Они не демократы, но будь у них сто лет впереди, Россия, возможно, была бы сегодня процветающей демократической страной. Однако упрямые цари так сильно опаздывали, что ста лет впе-

реди уже не было. И не только Витте или Столыпин на царской службе, но и Керенский не торопился. В Германии, раньше упразднившей крепостное право, дела шли бойчей, а соблазн силового напора тоже был велик. Русский царь и немецкий император безрассудно влезли в войну и потеряли короны. А вера в силу оружия и пользу принуждения уцелела и продолжала уродовать и немецкую, и русскую историю.

2

Анализируя «веймарскую» ситуацию в Германии, Янов ее упрощает. Хорошо сегодня писать, что «страна была затоплена кредитами», отвлекаясь от того, что куда кредиты были, с Гитлером и Людендорфом справились. А новый их натиск совпал с экономическим кризисом не только в Германии и Европе, но и в Америке, и субсидировать Германию в 1933 году (не говоря о том, чтобы руководить ею) никто на Западе не мог. При этом хрупкую немецкую демократию атаковала не одна, как получается у Янова, а две вроде бы друг другу враждебные силы: национал-социалистическая партия Гитлера и коммунистическая партия Тельмана, и без учета их противоборства меж собой и одновременно параллельной атаки на власть поведение Гинденбурга выглядит не политической ошибкой, а просто глупостью, что все-таки слишком просто, чтобы быть верным. А ведь еще в 1923 году, в пору мюнхенского путча, ЦК КПГ принял решение о вооруженном восстании, и потом коммунистическая партия, — кстати, под прямым давлением Сталина, размежевавшегося тогда с Бухариным, — боролась с «соглашателями» Брандлером и Тальгеймером, что исключало союз коммунистов и демократов, — Народный фронт, какой позднее уберег демократию во Франции.

Можно бы весело возразить, что приход Гитлера к власти был вызван не столько близорукой пассивностью демократического Запада, сколько близорукой активностью советского Востока. Но есть и нечто более важное. Оказалось, что силовые побуждения, хоть и росшие в противоположных обличьях, работали друг на друга, побуждая приверженцев демократии пугливо жаться к тому или другому, якобы, «меньшему злу», и робея противостать обоим, робко ждать, что волки «скушают друг друга».

Янов утверждает, что «веймарская» ситуация «не имеет решения на внутренней политической арене», но Гитлера привело к власти не бездействие Запада и даже не действия

Сталина, а массовое пренебрежение демократией, как величайшей ценностью, презрение к ней, то есть груз силового сознания, накопившегося в немецком народе, его готовность, пусть временно, как надеялся даже Гинденбург, довериться насильникам, воображая, что от насилия пострадают лишь другие. Переубедить большинство немцев, шедших, как они думали, за разными, но одинаково силовыми партиями, могли бы лишь приверженные демократии немцы, и такие были, но их не слышали. Стоит ли сетовать, что Запад слабо ощутил их тревогу, если и современный исследователь не придает значения тому, что атака на Веймарскую республику была и двойной и лишь как бы двойной. Неверно, что немцы демократически избрали Гитлера, — на свободных выборах он более 37% не собирал, но верно, что немцы демократически выразили склонность доверяться силе.

У нас то же самое шло еще быстрее. Демократических начал было еще меньше, и Россию больше, чем Германию, пугал попятный ход к самодержавию. Возможно, поэтому, оказавшись перед тоже вроде бы двойной опасностью, в отличие от фельдмаршала Гинденбурга, успевшего увидеть, что проделали коммунисты в России, и потому больше опасавшегося Тельмана, юрист Керенский, о силовых движениях еще не знавший ничего, больше опасался Корнилова и предпочел атаковать его, а убрав противовес, расчистил коммунистам дорогу. Российская и германская ситуации, как видим, схожи, хоть разрешились не вполне идентично, и Янов обоснованно их сопоставил. Жаль только, что не заглянул в бездну, открытую сопоставлением, и не взвесил, в какой мере в обеих странах впрямь из разных источников шло презрение к демократии.

3

Вот какой подводит он итог сопоставлению: «Передо мной были две страны, опоздавшие с либерализацией в девятнадцатом веке и пытавшиеся «прыгнуть» в демократию в начале двадцатого. В одной из них этот прыжок обернулся установлением фашистской диктатуры». И ни слова о том, чем обернулся в другой! А тоталитарные режимы установились в обеих. И немецкий тоже отнюдь не называл себя фашистским, — гитлеровцы именовали свою партию: «немецкая национал-социалистическая рабочая партия», и поныне их зовут «наци», нацисты. На наших глазах родился уже ис-

ламский социализм, в котором национальное знамя заменено религиозным. Формируются силовые движения и под другими национальными знаками и под сенью других религий. А если кажется, что в этот ряд не вмещается самое раннее среди них — коммунистическое, — то только потому, что оно таким не родилось, а стало.

История этого движения заслонена семьюдесятью пятью советскими годами. Утопический коммунизм Маркса выростал, ориентируясь на либеральные идеалы, и в насилии видел лишь «повивальную бабку», лишь кратковременное средство устранить старые помехи свободе, как устранила их французская революция, жестокая, но до Консульства Бонапарта длившаяся лишь десять, и даже до Реставрации лишь двадцать шесть лет. Коммунизм мыслился его автором как более либеральное, чем буржуазное, общество. Казалось, что таково объективное развитие человечества, и путь его неотвратим.

Крестьянская война в Германии, по сути первая буржуазная революция, в отличие от Нидерландской, Английской, Французской, потерпела поражение. Маркс, да отчасти уже и Гегель, устремили взор в грядущее, надеясь наверстать упущенное. Уже поэтому теория Маркса была не столь популярна в более удачливых странах, служивших ему примером развития, на который он, прежде всего, и полагался. Ее зато подхватили в других, тоже полуфеодальных и даже феодальных. Ее понимали, как залог всеобщности идеалов свободы, равенства и братства, осуществленных покамест, да и то далеко не безупречно, лишь на северо-западной окраине Европы. Преднамеренного злодейства, приписываемого ей ныне, в теории Маркса не было. Эта стройная утопия выглядит привлекательно. Не предусмотренные автором бездны, однако, прояснились при попытках осуществить ее на практике. Еще не заработало подрывающее ее под корень главное упущение Маркса — его презрение к умственному труду, как не создающему, якобы, ценности, между тем как со временем именно возрастание роли умственного труда в производстве изменило лицо капитализма, противоречия которого обернулись новыми вопросами, в утопии Маркса неразрешимыми. Но вскоре обнаружилось, что гегельянская универсальность упустила полуфеодальные и феодальные ответы на буржуазный вызов, не предполагаемые линейным прогрессом. А реальность была ими полна.

Пытаясь сообразоваться с реалиями полуфеодальной России, Ленин первым подверг Маркса коренной ревизии. Он еще дальше зашел в презрении к умственному труду и отверг постулат буржуазного развития до предела, за которым, по Марксу, «бьет час», и объявил, что переход к коммунизму начнется, вопреки Марксу, в менее развитых странах, в «слабом звене». Уже этим он порвал с материалистической, пусть нередко и упрощительной, тенденцией Маркса, и, при всех своих хвалах материализму, сам оказался идеалистом, волюнтаристом. Его волюнтаризм породил и вторую основополагающую новацию — учение о партии и ее руководящей роли, предполагающее не только убеждение рабочего класса, но и подмену «упреждающими» партийными директивами самосознания рабочих.

Если не сразу в 1917-м, то уже в 1921 году Ленин, Троцкий и другие мыслящие партийцы поняли, что мировой революции, которую они еще считали необходимой, придется долго ждать. Попытка «военного коммунизма» к успеху не привела. Вожди растерялись и ввели нэп, не только ради хозяйственной передышки. Предсмертные записки Ленина, равно как последующая вялость прежде блестящего организатора Троцкого, велят признать, что свои идеалы они так и не сообразовали с российской жизнью. Надо было либо делить власть с другими силами, либо, ревизуя не только марксистскую, но уже и ленинскую, утопию, продолжить их введение в практику, не загадывая, куда это заведет.

Это и делала партия, возглавленная Сталиным, в более прагматичном виде возрождая военный коммунизм. Ленин не сумел преобразить утописта Маркса в национал-социалиста, да и сам не вполне им стал. Но Сталин, следуя ленинскому пониманию социализма, его и строил в нашей стране. Какие-то тезисы Маркса и даже Ленина свелись при этом к мистификациям, но другим отказ от НЭПа и возврат к утопическому идеалу придали реальный смысл, утопией не предположенный. У Маркса понятие «диктатура пролетариата» аналогично понятию «диктатура буржуазии», которым он обозначил демократическую власть буржуазного большинства, а в своей утопии, соответственно, - демократическую власть пролетарского большинства, им ожидаемого с развитием общества. А при Сталине, при отсутствии пролетарского большинства, оно могло означать только прямую диктатуру партии, не предусматривающую демократических институтов, не то что меньшинству, но и пролетарскому большин-

ству не дающую высказывать мнения, отличные от партийного. Уже отсюда видно, что теорию Маркса преобразовали не уклонения или заблуждения, но практика ее приложения к реальной российской жизни, не оглядывавшаяся на условия, оговоренные им для развитых буржуазных стран Запада, и там, впрочем, утопические.

Российские марксисты по ходу революции переставали сознавать, насколько своим реализмом отрезали себя от пленявшей их утопии. Старые большевики, готовые выполнять директивы любыми средствами, еще надеялись достичь начальных утопических целей, уже несообразных с тем, к чему реально двигалась страна. Вот Сталин их почти поголовно и ликвидировал, избавляясь таким манером от буквалистской трактовки утопических формул, от попыток сопоставлять фантазии основоположников и построенное в России. Газету еще звали «Правда», а правды там уже не было. Но новый строй, заложенный Лениным и доделанный Сталиным, еще не был опознан и осознан.

Даже в пору союза с Гитлером (возможно, из-за его кратковременности) разительное сходство социализма в одной стране с национальным социализмом в другой и аналогичными движениями в третьих не побудило задуматься о том, что они представляют некий единый, противостоящий буржуазному, общественный строй. Янову не очень интересно сходство хозяйственных идеалов описываемых им движений.

Между тем широко используемое понятие «фашизм» происходит от слова, по-итальянски означающего «связка», единство, объединение; и не только для итальянской, но и для других разновидностей этого общественного строя характерна монопольность политической власти, слитной с безмерной властью над хозяйством и личностью. Этот новый порядок сложился как альтернатива демократическому государству, опирающемуся на разделение властей, признание частной собственности и гарантии прав личности. Демократические государства создаются буржуазным обществом. (Афинская демократия даже формально свои нормы на рабов не распространяла.) А современные государства нового порядка так или иначе следуют традициям феодального абсолютизма. Силясь экономически обойти буржуазный мир, технически вооружившийся с помощью наемного умственного и физического труда, новый, тоталитарный порядок возвращает хозяйство к внеэкономическому принуждению.

Поэтому его и уместно называть новым феодализмом, тем более, что его самоназвания либо не вполне точны, либо звучат уже как бранные клички, употребляемые безразлично к социальной природе.

4

За крушением нового феодализма Янову видится новый «веймарский» период, подобный наставшему за крушением традиционного. И опять он ждет политической помощи западных демократий для предотвращения тоталитарной угрозы. Он радуется, что Германии и Японии такую помощь оказали, и сетует, что ее якобы не оказывают России.

Стоит, однако, помнить о коренных отличиях старого феодализма от нового. Если феодальный абсолютизм, даже и реакционного толка, допускал буржуазные отношения, лишь бы буржуазия не лезла в политику, новый феодализм идет дальше и эти отношения либо вовсе ликвидирует, либо допускает под государственным руководством. Когда рушился старый феодальный абсолютизм, субъекты буржуазной жизни были наготове, в Германии Веймарское Учредительное собрание утвердило демократическую Конституцию. А в России князь Львов, а потом Керенский, затягивали созыв Учредительного собрания, а с ним и земельную реформу, то есть, у нас юридические преобразования не совершились, хотя потенции буржуазного развития тоже были налицо.

Совсем иначе обстояло дело после поражения национал-социализма в Германии и, тем более, кризиса коммунизма в России. Задатков другой жизни ни тут, ни там не было. Германия 1945 года менее всего походила на Германию 1919 года, и немцы мыслили совсем иначе. Победители, особенно Америка, конечно, помогли им выжить, но к формированию после Второй Мировой на западе Германии другого общества привела переоценка большинством немецкого народа господствовавшей перед тем системы ценностей. Если в тридцатые годы, видя неспособность демократической власти спасти страну от кризиса, большинство думало не об укреплении демократии, а о спасительной силе, то после крушения гитлеровского силового государства большинство немцев отстранялось не только от национал-социалистов, приведших страну к тотальному поражению, но и от коммунистов, показавших себя в восточной оккупационной зоне. Теперь они предпочитали христианских демокра-

тов, либералов и социал-демократов правого толка. Успеху немецкой демократии способствовало и то, что на западе Германии не были забыты старые либеральные традиции, опираясь на которые Аденауэр и Эрхард формировали политический и экономический курс.

Ничего подобного не было, да и быть не могло в России 1985-го или 1991 года. Прежде всего, вопреки всем воплям, мы не проиграли ни третью мировую, ни холодную войну. Наши города, слава богу, не были разрушены, да и отсутствие оккупационных войск не беда, а благо. Экономическое положение, при всей глубине кризиса и личных тяготах, у нас несопоставимо лучше, чем было в Германии в 1945. Конечно, пришлось отказаться от непомерных претензий на вечное господство над Восточной Европой и от завоевательной политики в Афганистане. Но ведь это не от проигрыша войны, даже не от «предательства верхушки КПСС», как раз упиравшейся до последнего. Просто наш новофеодалный порядок тоже обнаружил свою несостоятельность, хоть и продержался подольше немецкого, — может быть, потому, что, как в роковую минуту вырвалось у Сталина, «наша борьба слилась с борьбой народов Европы за демократию». Победив вместе с ними, уничтожив немецкий новый порядок, мы продлили свой. И теперь трудно смириться с мыслью, что, выстояв на поле боя, мы оказались жертвами беспощадного кризиса собственного неэффективного порядка. Силовому сознанию это не освоить. Наши преимущества перед немцами, тяжелее пережившими аналогичную ситуацию, заслоняют от нас то, что в трагический для них миг падения Берлина немецкие умы начали просветляться, а у нас такого отчетливого мгновения не было, лишь повседневные свидетельства несостоятельности.

К тому же немецкий порядок и фактически рухнул, а наш — опять вроде наше преимущество, — уцелел, и была возможность мирно его изменить. Но и первые реформаторы, надеясь на лучшее, очень старались его удержать. В августе 1991-го, при попытке ГКЧП загнать страну в догорбачевское стойло, мы, конечно, близко подошли к коренным переменам. О том, что народ хотел перемен, внятно говорили результаты первых же относительно свободных выборов. Но ни мирная, ни вооруженная, революция так и не состоялась, глубинные перемены не свершились. Старый Верховный Совет РСФСР не был распущен, Учредительное собрание не было созвано, аграрная реформа не была проведена,

другие преобразования свелись к тому, чтобы свалить на население расплату за вызвавшую кризис милитаристскую хозяйственную политику государства. Уже это резко отличает наш нынешний порядок от веймарского, что ни говори, на деле изменившего общественный строй. Было лишь объявлено, что с коммунизмом покончено, идеологический маскарад завершился, но суд над КПСС позволял создавать партийные ячейки, правда, лишь по месту жительства, а не по месту работы, чем, впрочем, коммунисты тут же пренебрегли.

Утопическую идеологию заменила утопическая экономика. Строй называли капиталистическим, но не было капиталистов — владельцев производства. Гайдаровское взвинчивание цен, заполнившее прилавки путем опустошения карманов и ликвидации сбережений, а вскоре и невыплаты зарплат, фактически еще и сокращавшихся, выступило под псевдонимом «либерализации цен», впрямь необходимой при конкуренции производителей, а не одних перекупщиков, сбывающих продукцию государства-монополиста или привозные товары. Конкуренцию производителей пресекали и административно, и непомерными налогами, и отсутствием четких законов, защищающих частное предпринимательство. Фермер все еще неравноправен с помещиком, правящим переименованным колхозом. «Приватизация» свелась к выделению большинству начальников и лишь немногим труженикам каких-то акций при сохранении контрольного пакета в руках государства, то есть правящий слой получил возможность легально обогащаться и прямо за счет предприятий, а не только, как прежде, из государственной казны. Все это означает не ликвидацию, но лишь дальнейшую феодализацию ново-феодалного порядка. Невозможно счесть чиновников и спекулянтов, кругом зависящих от государства, за «средний класс», долженствующий быть опорой демократии. Да и слово и печать в Веймарской республике были куда посвободней.

5

Стремление Янова к сопоставлениям резонно. Они — лучший способ выявить исторические закономерности. Но чтобы таковые установить, важно за сходством не упустить различия. В Веймарской Германии почти пятнадцать лет существовала демократия и работала свободная экономика, а в России и после августа ни то, ни другое так и не возник-

ло. Янов уверяет, что все непременно будет, объясняя, что наш порядок, как «гадкий утенок», хоть ныне и не красив,, непременно станет лебедем, то бишь настоящей демократией. Но сказка Андерсена метафорическим доказательством, увы, не служит. Живой организм преформирован, и хоть уткам не понять, какой красавец растет рядом, они не властны лишить его заложенной в нем лебединости. А развитие общественного организма, да еще в кризисную пору, переменчиво и не сразу определяется, пред ним открыты разные дороги. Нелепо возвращаться к коммунистической вере в неотвратимую предопределенность поступательного хода истории.

В нынешней России больше различного, чем общего, и с веймарской; и с февральско-октябрьской, и с немецкой послевоенной порой. Наше положение особенное не потому, что все у нас особенное, а потому, что больше нигде новофеодальный порядок не доходил до подобной полноты. Другие страны, пережив подобный строй, либо освобождались от него при военном поражении, как Германия и Япония, либо внешняя сила, его навязавшая, уже не могла его подпирать и уходила, как из Чехословакии или Прибалтики. Так способны ли мы преодолеть сложившуюся ситуацию? И хочет ли помочь нам Запад? И может ли помочь?

Хочет ли Запад (да и Восток), чтобы Россия стала демократической страной со свободной экономикой, далеко не очевидно. Если бы стала, была бы не только партнером, но и соперником, как, например, Япония. Появление Японии в качестве промышленного и финансового гиганта, да еще вместо милитаристской державы, явно отвечало глобальным интересам Европы и Америки, укрепляя в мире присущую им систему отношений. Но на американских рынках японские конкуренты местных производителей не радуют. Надо думать, Европа и Америка были бы довольны аналогичным преобразованием России, но не то что они будут приносить ему несчетные жертвы, и не только из страха перед будущей конкуренцией. Запад не так безгранично богат, как нам кажется, у него и свои проблемы есть.

Когда исходившая от нас угроза была смертельной, жертвы приносились огромные, но они нам не доставались, а нас еще выматывали, поскольку мы хотели быть сильнее, чем весь остальной мир, вместе взятый. И мы преувеличивали претензии Запада. Конечно, он хотел обеспечить свою безопасность, хотел объединения Германии, освобождения

Восточной Европы и Прибалтики. Но распада Советского Союза едва ли хотел. Президент Буш специально летал договаривать Украину. Не хочет официальный Запад и распада Российской Федерации. Наши кровавые действия в Чечне он замалчивал до неприличия. Президент Клинтон ни разу их членораздельно не осудил. Почему? Да потому, что Запад по-прежнему смотрит на нас сквозь призму привычных страхов, которые мы то так, то эдак все время подстегиваем. А тут, как ни парадоксально, удобнее иметь дело с крупной державой, ясно сознающей последствия своей агрессии, даже случайной. Опыт говорит, что хоть и подходили к краю пропасти, но обошлось. А уверенности, что Лукашенко способен вести себя хотя бы на уровне Брежнева, быть не может. Именно это, а не забота о «гадком утенке» и побуждает оказывать нам финансовую помощь. А поскольку стратегические ракеты были из Белоруссии заблаговременно вывезены, выходки Лукашенко Запад проглатывает, оставляя нам дружбой с ним пачкать свою демократическую репутацию.

Что за помощь, однако, оказывается? Если, по примеру Янова, задуматься, что мог бы сделать для нас Запад, так, конечно, оказать на нашу власть давление ради конкретных гарантий частным инвесторам: и российским, и зарубежным. Это более всего способствовало бы экономическому развитию России, установлению в ней демократии, и куда дешевле обошлось бы и России, и Западу. Но такого давления не видать. Напротив, нам выделяют огромные займы, укрепляющие не свободу экономики, а государственный патронаж над ней. Эти займы с удовольствием дают, и мы их с удовольствием берем, хоть что-то придется и отдавать. Сознательно или бессознательно, западные и наши власти действуют заодно, - и тем, и другим, очевидно, проще иметь в России хозяйство советского ново-феодалного типа, разве что чуть подсократив ВПК. При всем предпочтении Ельцина, объявившего себя антикоммунистом, Запад наверняка и с Зюгановым поведет себя точно так же, лишь бы не зарывался.

Янов, конечно, прав: «Попытка свести гигантскую задачу демократической трансформации имперского гиганта к тривиальной проблеме денег и кредитов не может окончиться ничем, кроме всемирного несчастья». Неразборчивая щедрость Запада к нему и ведет. Но с чего Янов взял, что Запад преследует гигантскую задачу демократизации России? Свою задача Запад видит куда скромней — не допус-

тить в России развала, голода, эпидемий, не просто, чтобы сохранить ее, но чтобы сохранить мир. Бросают же тонны продовольствия заирским и руандийским беженцам. И можно ли требовать, чтобы кто-то таскал каштаны из огня ради нашего преуспевания, делал за нас работу, которую все развитые страны проделывали самостоятельно? Даже радио «Свобода», пронзительно анализировавшее советские ситуации и внутренние силы еще в горбачевские времена, не говоря о прежних, нынче не слишком часто выходит за пределы официальных российских мнений.

Щеголяя почтенными именами, готовыми строить для нас новые города, Янов не задается вопросом, может ли Маргарет Тэтчер, даже вместе с Гельмутом Шмидтом, при всей вере в их добрые намерения, проконтролировать производимое потенциальными поделщиками Мишки Япончика. Дело не в криминальных опасностях, а в совсем ином понимании хозяйственных отношений. Коррупцию, лихоимство да и простую уголовщину, обвинения в которой висят на многих должностных лицах, у нас нынче понимают как аморальность, как упадок духовности общества. А куда любопытнее социальная сторона. При Сталине воров не считали социально чуждыми не только из-за пролетарского происхождения, но потому, что они делали, в сущности, то же самое, что и советское государство, и его представители. Конечно, закон одним это позволял, а другие шли на такое без позволения, но сам силовой принцип господствует поныне. Неразберихи, понятно, стало побольше — узаконили частную собственность, да расширили право ее легально отнимать. Но это не просто воровство, и не у всех есть случаи воровать. Преображение идеологии марксизма-ленинизма состояло в том, что с нее сорвали коммунистическую обертку, оставив простой идеологией силы. На этом основании она объявляет себя капиталистической, и остается феодальной. Отсюда же и постоянная борьба за «восстановление справедливости», то есть за постоянные имущественные переделы. А по опыту Октября известно: хоть все у богатых отними, на всех бедных не хватит, — даже на сотую их часть.

Вот бы и думать не о том, где что выпросить, отобрать, перераспределить, возлагая эту работу на государство, чтобы чиновники грели руки, а о том, чтобы они не мешали частному производителю произвести больше, обгоняя соперников в качестве и снижая цены. Иностранцы тут не подмога. На Западе бедным помогают не умереть с голоду, но люди

сами соображают как разбогатеть. Там закон дает это сделать честным образом. Вот и нам бы самим думать о себе и своей стране. Реформы нужны не иностранцам, а России.

6

Нельзя не согласиться с Александром Яновым, что «умеренного и цивилизованного национализма сегодня в России не существует». Какую напряженность тут нагнетают, видно из рассказа, как 8-9 февраля 1992 года на конгрессе гражданских и патриотических сил России в Москве сперва Александру Руцкому, потом Глебу Онищенко, вроде бы тоже привержцам силовых порядков, едва они заговорили о несовместимости патриотизма и шовинизма, устроили obstruction с воплями «Ступай в синагогу!», «Сионист!» .

Почему, однако, нет умеренности и цивилизованности? Прежде всего потому, что у нас нет грани меж национальным и имперским. Идет сознательная их взаимоподмена. Крайняя форма — предлагаемое Жириновским и Шахраем разделение страны на губернии, не считаясь с уцелевшим историческим заселением территорий, покоренных Российской империей. Другая крайность — предложение того же Жириновского выселить всех чеченцев в Чечню, полностью отождествляя народ и территорию. Но всюду какой-то народ исторически и фактически преобладает, а другие, оторвавшиеся от мест своего происхождения нередко еще в давние времена, образуют там меньшинства. Когда в разгар чеченской войны в Москве началась атака на давно живущих в ней чеченцев, а заодно и на прочих «лиц кавказской национальности», то есть азербайджанцев, армян и других, обнаружилось, что у высших должностных лиц нет элементарного понимания того, что никакая диаспора в целом не может нести ответственность за дела дальних единоплеменников, к которым нередко вообще находится в оппозиции. В Америке никому не приходило в голову подозревать Набокова или Стравинского в том, что они агенты России, хотя они и были «агентами» русской культуры. А нас не один Жириновский пугает наплывом людей иных рас.

Но и его страстный бунт против русской республики, которая как раз мешала бы путать национальное и имперское, не случаен. Нас пугают, что русская республика, охватив края и области России, якобы сведется к Московскому государству XV века, хотя очевидно, что за пять веков русские необратимо освоили множество земель от Петербурга до

Владивостока, на которые никто уже не посягает. Нас пугают, что русская республика непременно рассорится и с Якутской, и с Татарской, и с Карельской, хотя на деле отношения лишь прояснятся и уже этим улучшатся.

Национальное самоопределение не исчерпывается культурными задачами. Оно, прежде всего, определяет формы общественного бытия, отвечающие уровню и методам хозяйственной жизни. Неужто русский народ, в отличие от остальных народов Советского Союза, должен быть лишен такого элементарного права только потому, что в России еще немало людей видит свое личное будущее лишь на службе империи. Возможно, Узбекистан или Казахстан еще способны выжить при подобных советским порядках, хотя я этого не думаю. А самоопределение русской республики ради установления демократического строя со свободной экономикой не должно ущемить ни партнеров по Федерации, ни партнеров по СНГ, ни, разумеется, права людей иных национальностей, проживающих в русских землях, равно как права русских и других людей в нынешних автономиях Федерации. Русский национализм может быть умеренным и цивилизованным лишь перестав быть имперским. За жесткой борьбой вокруг национального вопроса, за той или иной его трактовкой, прячутся не одни экономические, но и социальные проблемы, и стоит смотреть на них открытыми глазами.

Не случайно само понятие «национальность», как этническая принадлежность, трактуется на практике очень уж расплывчато. По мере расширения Московского государства на восток многие тамошние народы, добровольно или принудительно, принимали православие и осваивали русский язык, и, поскольку до революции этническая принадлежность ни в каких бумагах не фиксировалась, тысячи людей числятся по советским документам русскими лишь потому, что их предки по дореволюционным документам числились православными (точно так же евреями считаются потомки разных народов, исповедовавших иудаизм), и только черты лица и порой фамилии выдают их явно не славянское происхождение. Ничего худого в этом, разумеется, нет, но одновременно не менее обрусевшие люди по советским бумагам не считаются русскими, поскольку их прадеды исповедовали католическую, армяно-грегорианскую, мусульманскую, иудейскую, буддистскую или еще какую веру, хотя потомки от религии ушли одинаково далеко.

Советские вожди никогда не могли внятно объяснить, зачем, вообще, прокламируя равенство людей, независимо от расы и национальности, фиксировать в документах этническую принадлежность, обычно в мире не фиксируемую. Не в ней, стало быть, дело, а в том, что реально происходит, — и не только у нас, но всюду, где и ассимиляция, и национальное самоопределение диктуются личными побуждениями людей, а не предначертаниями государства.

Если первоначально в ООН входило около пятидесяти стран, а за бортом оставались лишь немногие, воевавшие на стороне Гитлера, то сегодня в ООН чуть не двести стран. Империи распались, многие государства разделились и продолжают делиться, это общий процесс, идущий параллельно общему процессу нарастающей одновременно ассимиляции, и смысл его надо понять. Но мы понимать объективные явления не любим, хоть неизбежное от этого становится лишь мучительней.

Первая же буржуазная революция была национально-освободительной войной. Нидерланды проявили сепаратизм, отстаивая свое право на другую экономическую систему, ввести которую на необъятных просторах испанской империи им было не под силу. Хватит слушать байки о том, что три человека, собравшись в лесу, развалили нашу великую державу. Ее развалили неравноправная хозяйственная система, неадекватное распределение плодов производства и отчуждение природных ресурсов, даже и при поощряемой сверху ассимиляции возбуждавшие чувство национального ущемления. Нынешние империалисты поносят советскую власть за превращение колоний Российской империи в союзные и автономные республики, хоть то был единственный тогда способ сберечь империю от полного распада. На самом же деле худо то, что новое членение стало формальным, и, чем дальше, тем больше СССР становился унитарным государством. Такой же теперь хотят видеть «единую и неделимую» Россию, забыв, что Федерация заведомо делима, и ее единство держится добровольностью субъектов, а не бомбежками из центра.

Еще на съезде народных депутатов СССР нынешний президент Литвы Альгирдас Бразаускас предлагал союзным республикам заключить экономический договор, чтобы при экономическом суверенитете и росте политического выгоды всем хозяйственные связи сохранялись, а чувство отчуждения от собственной судьбы ушло. Увы, его голос был

гласом вопиющего в пустыне. Зал хранил поныне живущее убеждение, что опора единства — внутренние войска.

Экономическая самостоятельность не всегда ведет к более производительному хозяйству. Эстония провела серьезные реформы и становится буржуазной, а Туркменистан, живя новооткрытыми нефтегазовыми источниками, — еще более феодальным, чем при советской власти. Но Россия уже не обязана тратить силы и деньги ни на торможение реформ в Эстонии, ни на стимулирование в Туркменистане, и хотя бы это уже не оплачивается снижением нашего жизненного уровня. Не только малочисленные народы, но и огромный народ России вынужден думать о себе, и вряд ли стоит сводить эту неизбежность к паразитирующему на ней имперскому шовинизму «патриотов» все усердней напирающих на то, что народ России и русский народ — это не одно и то же.

К сожалению, уже и слово «патриотизм» потеряло у нас реальный смысл. Полно российских «патриотов» Праги, Кабула или Вильнюса и мало русских патриотов Смоленска, Перми или Томска, а лишь такой патриотизм — другого слова не нахожу — мог бы способствовать оздоровлению страны, ее обогащению собственным трудом жителей. В Соединенных Штатах живет более миллиона этнических русских, не считая остальных выходцев из России, и никто не говорит, что они работают хуже других. Но они работают в других социальных и экономических условиях. А нам все норовят доказать, что национальное — не форма социального, а некая спущенная с небес благодать.

России нужны иные формы социальной и хозяйственной жизни, соответствующие уровню научного и технического развития, какого она достигла, и точно так же иные отношения с другими национальными образованиями на землях бывшей империи. Дело не только в том, что насильно удерживать тех, кто этого не хочет, себе дороже. Стоит думать и о том, всех ли желающих принимать в свою компанию или только тех, кто подобно нам или лучше нас обновляет формы социальной и хозяйственной жизни и будет равноправным ее соучастником. У нас любят ссылаться на Европейский Союз как на пример объединительной тенденции, но молчат о жестких требованиях к вступающим, — и не только политических (с диктатором Лукашенко о вступлении туда и думать нечего), но экономически-правовых, к которым нынешняя Белоруссия, живущая по старым советским нормам,

даже не приближается. А к нормам, которые хотя бы на словах признает Россия, разве приближается? Говорят: белорусы — наши братья, и это правда, нет среди союзных республик такой, с которой культурные барьеры ниже, чем с Белоруссией. Братьям обязательно надо помогать в беде. Но в обыденной жизни Российская Федерация, подобно Европейскому Союзу, обязана братьям сказать: из-за того, что вы не хотите наладить хозяйство в своем доме, при нашем объединении каждому в России придется жить хуже.

Точно так же, если Яндарбиев создаст в Чечне исламское государство, в котором девочкам запретят учиться, а женщинам работать, и заведут порядки, какие сейчас заводят в Афганистане талибы, а народ Чечни с этим согласится, ущерб от такого субъекта в составе Федерации и в малой доле не покроется доходами от нефтяной трубы, как в Белоруссии — от газовой трубы. В отделении от такой Чечни Россия будет заинтересована больше, чем Чечня в отделении от России. Трубу, на худой конец, и в другом месте можно проложить. А вот если чеченцы, освободившись от нашего диктата, наладят более эффективное хозяйство, будет досадно, что наши власти, развязав войну, их оттолкнули.

Взаимоотношения эти рассматриваются у нас не по существу, но лишь как псевдоправовые. Министр юстиции Ковалев, да и другие официальные лица позволяют себе забыть, что еще в 1990 году Верховный Совет СССР предоставил автономным республикам права союзных, а значит, и право на отделение, которым воспользовалась не одна Чечня, но и Абхазия, и Приднестровье, и Нагорный Карабах. К сожалению, не во всех этих случаях отделение совершалось процессуально безупречно, без нарушения прав человека, и правомерны проверки и кое-где даже существенные коррекции, хотя как раз в Чечне отделение шло куда легитимней, чем, скажем, в Абхазии: чеченцы не выгоняли русское меньшинство, как абхазы грузинское большинство, русские жители Чечни погибали под российскими бомбами. Право на отделение в Российской Федерации осталось только у Чечни, поскольку остальные автономии либо подписали особые договоры, либо голосовали за Конституцию, лишаящую такого права. Потому, кстати, юридически нелепы рассуждения министра юстиции о том, что отделение Чечни автоматически ведет к развалу Федерации. Стремление такое может возникнуть и у других, и в интересах России предоставить

такое право, но никакого автоматизма тут быть не может, поскольку ни у кого, кроме Чечни, права на это покамест нет.

Что взять с министра — человек служащий. Но точно так же, к сожалению, рассуждает и Янов, человек свободный. Он пишет: «Никакой проблемы Чечни не существовало. Была проблема Дудаева», хоть знает, что генерал Дудаев благополучно служил в Тарту и был приглашен в Грозный именно потому, что обострилась проблема Чечни, неоднократно и жестоко завоевывавшейся Россией. А решив, что все дело в Дудаеве, Янов объявляет, что Сергею Ковалеву следовало, оказывается, не отправиться в знак протеста под российские бомбежки, а идти впереди русского войска, объясняя чеченцам, что танкисты и летчики любят чеченский народ, а дают его гусеницами и бросают бомбы только чтобы избавить от плохого Дудаева. В сущности все то же самое Янов хотел бы просто видеть сделанным чище, как обещал еще Грачев — за полчаса двумя парашютными полками. С таким пожеланием небось согласится и Кургинян. Не очень надежная позиция, чтобы спорить с фашистом.

7

Осталось выяснить, есть ли у России собственные силы переустройства, не смирилась ли опять. К 1929 году рухнули иллюзии о плодах революции. Оказалось, что обретенное с ней твердой рукой берут назад, даже с лихвой. То же самое после августа 1991-го — крови поменьше, уехало поменьше, да и революция, по существу, не состоялась, но иллюзии рушились еще быстрее — оттого, что по второму разу. А если помнить о надежде, что после войны жизнь переменится, так ведь и по третьему. Винящим народ России в пассивности и покорности стоит помнить, сколько силовая власть ему лгала и еще лжет.

А никто не может в одиночку обрести представление о мире, в котором живет. Команда «больше трех не собираться» и страх перед подслушивающими устройствами деформируют общественное сознание. Беда не в том, что мнения расходятся, — иначе и быть не может, — а в том, что нет возможности повседневно проверять себя другими мнениями, кроме официальных. Вот и возникает полсотни партий, ни одна из которых, кроме, конечно, коммунистической, сохранившей опытный аппарат, таковой не является и не может быть гражданину ориентиром. А коммунистический ориентир никуда, кроме прошлого, не ведет. Приходится сооб-

ражать самому, не располагая достаточной информацией. Вот и трудно понять, совсем ли люди пали духом или не хотят опять попасть впросак,

Президент объявил день Октябрьской революции Днем примирения и согласия, хотя именно этот день положил в основу жизни нетерпимость и непримиримость. А лидер коммунистов Зюганов отвечает, что примирение и согласие наступили в России уже летом 1941 года, когда напал Гитлер. Действительно, до Сталинграда и даже до Прохоровки не стало в России красных и белых, да только ведь знает Геннадий Андреевич, что еще не взяли Берлин, а уже миллионы русских, по вине власти оказавшихся в немецком плену, следовали из немецких лагерей в советские. Для Зюганова это примирение и согласие! Но и для президента суть в том, чтобы люди согласились со своей нынешней участью и были покорны и послушны. А между лагерной зоной, к которой неизбежно ведет нежелание власти признавать и разрешать общественные противоречия, и вырастающей из них гражданской войной, тоже разрешить их не способной, разница не принципиальная. Главное для страны — не угодить опять ни на войну, ни в лагерную зону, для чего и нужны коренные реформы.

Но возможны ли они ныне, если и совсем другой человек, Владимир Лукин, говорит о Чечне: «Я категорически против того, чтобы люди гибли... Но уж если какие-то долбаки (с обеих сторон) не смогли договориться о мире, то мне ничего не остается, как желать победы своей стране». Тридцать лет назад Лукин был против ввода войск в Чехословакию и даже карьеру себе этим подпортил. О тех днях он говорит: «Я в принципе не могу желать поражения своей страны», хотя тогда о поражении не могло быть речи, поскольку не было вооруженного сопротивления. Но следует пояснение: «Я бы никогда не смог взять в руки автомат и стрелять в наших солдат». Я тоже бы не смог, потому что знаю, что не по своей воле они идут. Но неужто цивилизованный Лукин не ощущает пропасти между нежеланием стрелять в солдат, быть может, своих или соседских сыновей и желанием победы своей стране в агрессивной, захватнической войне? Разве это одно и то же? Разве сам он тогда практически не предпочел третье — не стрелять, но и не желать победы? А нынче его понимание мира восстановило ложную советскую альтернативу и оказалось недалеко от ельцинского или зю-

гановского понимания примирения и согласия. А ведь эти три мнения разделяются большинством.

Когда Ельцин шел к власти, его поддерживали люди демократических убеждений, а также либеральная часть номенклатуры и немалое число хозяйственников, надеявшихся стать при нем самостоятельнее. Против него была преобладающая, консервативная часть номенклатуры. Но после 1993 года, когда внутри - номенклатурная схватка вылилась на московские улицы, консервативная номенклатура стала сблизиться с властью, и чем дальше, тем быстрее. Полного согласия еще нет, но и программные различия почти стерлись. После выборов коммунисты поддержали правительство Черномырдина. Жириновский совсем уже беспардонно поносит власть, но своими выступлениями работает на нее, да за нее в серьезных случаях и голосует. А как раз демократическая часть сторонников Ельцина уже с августа 1991 года стала распадаться на тех, для кого он в любом виде хорош, и тех, кто требовал реформ, выступая за лишь условную поддержку Ельцина, в зависимости от проведения реальных реформ. Именно оппозиционных демократов, а отнюдь не «непримиримую» оппозицию ощутило затронули нарастающие ограничения телевидения и печати. Ну что бы приглашать на телеэкран хоть на четверть часа в неделю Юрия Буртина, Леонида Баткина и других демократов критического направления, да еще вернуть те же четверть часа в неделю Солженицыну! Ведь без этого исчезает даже видимость демократии, и вместо палитры мнений остается лишь старое советское «кто не с нами, тот против нас», лишь мнимая альтернатива: Зюганов или Ельцин, с каждым днем все чаще сливающаяся в морально- политическом единстве.

Неспособность в течение пяти лет остановить падение производства и жизненного уровня, не говоря о прочем, возбуждает в обществе тяготение к наведению порядка силой, ведь оно не сумело осознать, что к нынешнему положению привело именно господство силы там, где были нужны свобода и расчет, то есть реальная демократия и свободная экономика. А перед выборами президент публично говорил: «Демократы и так за меня проголосуют, никуда не денутся!» Какое презрение к демократии выдает уже эта реплика! Но Янов, не придавший значения презрению к демократии, наставшему в Веймарской республике, опять его не ощущает и надеется на демократию только с Ельциным.

История, по Янову, зависит от ловкости и смекалки, от того, чье влияние на президента в данный момент сильнее. Но дает ли советы Бурбулис или Коржаков, решения принимает Ельцин. Советники служат ему своего рода представительной системой, дающей ориентиры, как некогда давали их генсекам отделы ЦК КПСС, тоже не раз схватывавшиеся в жестких спорах. Понятно, составленная из назначенцев система позволяет видеть лишь позиции правящего слоя, но то, что власть ничьи позиции больше не занимают, видно уже по нашей избирательной системе и обусловленному ею качественному составу Думы.

А Янову кажется, что «можно и самим переиграть мафию. В конце концов, там тоже не Талейраны сидят». Он сохраняет давнюю российскую веру, что дело именно за «талейранами», за ловкими людьми, за кадрами. Ленин, и Троцкий, и Сталин и многие их соратники, были такими «талейранами», и смешно отрицать достигавшиеся ими эффекты. Но именно эти эффекты создали ново-феодальный порядок, приведший страну к нынешнему состоянию.

Предстоящее после Ельцина тоже кругом зависит от происходящего при Ельцине. А он, если в чем и преуспел, то в лишении демократии престижа и популярности, обретенных было при Горбачеве. Поднявших его к власти демократов Ельцин скомпрометировал даже сильнее, чем Сталин совершивших революцию большевиков. Ельцину, правда, было легче, — послушные «демократы» быстрее перерождались. Кроме манер, принципиальной разницы между Коржаковым и Чубайсом, Грачевым и Гайдаром, Сосковцом и Сатаровым не обнаружилось, — война, затеянная президентом, многим не мешала его поддерживать. Прозорливо подбирая послушных «демократов» — а после ГКЧП без демократического фасада власть было не удержать, — Ельцин мастерски порочил демократию в глазах народа, внушая, что демократическая оппозиция не лучше «демократических» приспособленцев, что «все они такие», и Явлинский виновен в делах Гайдара и Чубайса, которые, между тем, потому его непрестанно и поносят, что он сразу выступил против того, что они делали. Янов не поддерживает демократическую оппозицию, а выступает против нее, браня за то, что не хочет быть послушной, не хочет войти в ряды советчиков Ельцина и благодетельно на него влиять, словно такое возможно.

А ведь анализируя политические сценарии, способные привести страну к фашизму, Янов теоретически предвидит и союз президента с сильнейшей авторитарной партией («коалиционный вариант конституционного переворота») и установление им режима личной власти, опирающейся не только на военную силу, но и на популистскую национальную символику («президентский вариант революции сверху»). Но вероятность такого Янов различает лишь после Ельцина, а на то, что «процесс пошел» чуть не с первых дней его правления, и «гадкий утенок» все меньше и меньше походит на лебедя, закрывает глаза.

Хоть Ельцин уже требует следовать национальной идее, я не думаю, что Борис Николаевич сознательно тянется к той же цели, что и Баркашов с Васильевым, поддержавшие его на выборах. У него свои политические цели, возможно, сочтенные им, как некогда Лениным, великими. Но, подобно Ленину, он тоже не задумывается о последствиях того, что делает для достижения своих целей. А последствия не только проявятся после Ельцина, но все ошутимей дают себя знать.

Книге Янова недостает внимания к происходящему в социальном пространстве, к объективным плодам предыдущих событий и поступков, на наших глазах совершенных людьми, не желающими рокового поворота, быть может, даже грядущими его жертвами. При обилии любопытнейшего материала, книга, написанная как обоснованное предостережение, внушает, напротив, ложную надежду, будто, пока Ельцин у руля, можно не тревожиться. Между тем, если демократическая оппозиция не окрепнет и не вынудит власть к подлинным реформам — как вынудила пойти на перемирие в Чечне, — новый феодализм будет и дальше набирать силу. А кто и при ком доведет его до крайности, не так, в конце концов, и важно.

ПАТРИОТИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ

Увидав по телевизору публичную казнь в Грозном, я сразу вспомнил первую виденную мной публичную казнь, правда не по телевизору, а в кинохронике, то ли после войны, то ли в самом ее конце. Четырех немецких офицеров вешали, кажется, в Харькове. Не то что было их жалко, не то что они были невинные жертвы. О происходившем на оккупированных территориях было известно не только из газет, и обвинение выглядело достоверно. Приговоренные вызывали неприязнь, если не отвращение. Но когда их вздернули, и они, мертвые, раскачивались, я ощутил, что происходящее, хоть вроде и справедливо, но несообразно с нормами людской жизни.

Раньше я думал, что Каменева или Бухарина, которые мне тоже не нравились, расстреляли все же несправедливо, поскольку даже по опубликованному в газетах протоколу суда было видно, что их вину грозный прокурор Вышинский так и не доказал. А тут впервые открылось, что казнь, даже и несомненных преступников, явление ненормальное, поскольку государству ради нее приходится встать с преступником на одну доску. В средние века казнь потому и совершалась публично, что была явлением редким, исключительным. Когда принялись казнить повседневно, стало ясно, что показывать это публике опасно.

Люди на харьковской площади были спокойны. Оборонительная война внушила, как ныне чеченцам, что убийство - лучший способ самозащиты. Публичные казни совершались у нас тогда не раз, и что-то не припомню, чтобы официально, пусть позднее, когда разоблачали культ личности, или еще позднее, когда отрекались от коммунизма, эти публичные казни осудили. А чеченскую осуждают единогласно, и не так даже саму казнь, как ее публичность, хотя в Харькове тогда народом было больше.

"Езжай своя Россия!.."

Никто при этом не поясняет, чем выстрел в затылок на Лубянке лучше автоматной очереди в лицо на площади. Осуждение именно публичности требует лишь не нарушать при казни интимность. Разумеется, показывать публике расстрелы не следует, но в том, что вся Россия видела чеченский расстрел, виноваты не чеченцы, а руководители телеканалов, наново распалюющие дурные чувства к Чечне.

Генеральный прокурор даже возбудил уголовное дело против шариатского суда, надеясь все же установить в Чечне наш конституционный порядок. Его правосознанию шариатский суд не кажется достаточно объективным. Но разве объективности служит обыденность у нас неопределенно долгого предварительного заключения подследственного? А что-то не слышать, чтобы прокурор Скуратов возбудил по такому поводу дело. Сталинские тройки отвечали правовому сознанию еще меньше, чем шариатский суд, а иные их члены живы. Но опять же не слышать, чтобы товарищ Скуратов возбудил дело хоть против одного. У нас двойной счет. Один для государства, для властей, – им движет целесообразность, да и то короткая. А для остальных мораль, и тут мы строже самых строгих пуритан. Одна мерка для себя, другая – для прочих. И корень зла отнюдь не в личности Юрия Скуратова.

Александр Солженицын – личность совсем другого толка. Книгами об Иване Денисовиче и ГУЛАГе он стал как бы, напротив, Генеральным заключенным, голосом миллионов погибших в советских застенках. В отличие от иных литераторов, рядившихся демократами, но спешивших, угождая власти, оправдывать чеченскую войну, он высказался тогда точно и недвусмысленно: "Если мы сейчас освободимся от Чечни, мы укрепим Россию". Это его выношенная точка зрения. Еще 28 июня 1994 года, до войны, он говорил: "Чечня имеет все основания отделиться, там действительно 80 процентов чеченцев". При этом, однако, продолжал: "Так принять оттуда русских! А понаехавшие чеченцы, пожалуйста, собирайтесь из Москвы, из Сибири, из Средней России". Готовность освободить Чечню слилась у писателя с желанием избавиться от чеченцев. Сам он между тем возмущен, что иные народы таким же образом хотят избавиться от русских, и указывает на плакаты "Русский, езжай своя Россия" и "Русские, убирайтесь домой". Не скрою, у меня такие плакаты тоже вызывают возмущение. Любая этническая чистка отвратительна. Но, по Солженицыну, выходит, не любая!

Равнее других?

Особенно тут выразительно словечко "понаехавшие". "Чего вы сюда понаехали?" - бросали мне в Латвии, естественно, считая меня русским, и говорили: "Убирайся в свою Россию!", точь-в-точь как в России говорили: "Убирайся в свой Израиль!" Вот уж от кого такого "понаехавшие" не ждал,

так от Солженицына. Еще до возвращения на родину, размышляя "Как нам обустроить Россию", он первым делом сказал, что из тогда еще существовавшего СССР, чтобы он стал Россией, надо вычистить, частично изменив границу лишь с Казахстаном, двенадцать союзных республик. Но и о двух, которым, на его взгляд, следовало остаться в России, он выражался осторожно, оговаривая, что "если бы украинский народ действительно пожелал отделиться, - никто не посмеет удерживать его силой". А теперь и не вспоминает, что после революции русские особенно интенсивно заселяли регионы, где прежде не жили или составляли явное меньшинство, а ныне часто уже и большинство составили. Он повторяет: "Старая Россия, сколько наций приняла, столько и сохранила". На деле, конечно, куда меньше, но в любом случае она их не приняла, а покорила, захватив земли, где они жили. Не сами чеченцы пришли с просьбой: примите нас. И не сами литовцы, не сами туркмены, не сами якуты. Надо ли удивляться, что они не хотят быть послушными вассалами русской власти?

Было бы чистым безумием выселять сегодня людей с мест постоянного жительства, чеченцы они или русские. Ужасно, что из Средней Азии, да и не только оттуда, люди бегут, и Солженицын прав, требуя, чтобы государство, поощрявшее их вселение туда, им теперь помогло вернуться. Но он кругом неправ, когда, точь-в-точь как советские начальники, предполагает, что русские "равнее других", что их выселять – дурно, а прочих – самое разлюбозное дело. Увы, не только у правящего Скуратова, но и у оппозиционного Солженицына мерка двойная.

Куда ни кинь, мерка двойная. Когда в Польше или Норвегии хотят снести памятники советским солдатам или не заботятся об их могилах, наши власти мигом возмущенно откликаются. Я разделяю их возмущение, но тотчас вспоминаю, что в наших лесах по сей день лежат непогребенными солдаты Отечественной войны, до которых тем же властям нет дела. Быть может, нынешние беды армии и растут из двойного отношения к тем, кто отдал жизнь за родину: демонстративного поклонения погребенным за рубежом или у Кремлевской стены и пренебрежения к тем, кто пал неведомо где. Если бы каждый будущий офицер в годы учения хотя бы месяц посвящал поискам непогребенных солдат, дух армии стал бы иным, и дедовщины в ней, думается, было бы поменьше. Если бы еще курсантом Лев Рохлин вместе с

другими проделал такую работу, он, думается, иначе держался бы в Чечне.

Уверяют, что престиж армии пострадал оттого, что в Чечне она не взяла верх. От военного человека люди ждут еще более ясного, чем от штатских, понимания того, что за войной наступает мир, и в нем должно быть место не только победителям, но и побежденным, иначе война не кончится. У нас этим пренебрегали и пренебрегают. Если мы забыли Буденновск и Первомайское, можно ли требовать от чеченцев, чтобы они забыли свои тысячекратно большие утраты? Вправе ли мы, когда на наши двухлетние бесчеловечные инициативы кто-то отвечает тоже не по-человечески, винить весь чеченский народ и его нынешнюю власть, которая, в меру возможного после имевшего место, как раз стремится наладить общение с нами? Немцов, затевая обходной нефтепровод (не станем спорить о вероятности того, что каспийская нефть вообще пойдет через Чечню и Россию, а не через Турцию и Грузию), твердит, что чеченцам нельзя доверять. Но их доверие к нам, и так уже небольшое, от его демонстративно двойной мерки лишь еще больше слабеет.

Наша специфика. "Никуда не денешься"?

Эта двойная мерка нашла и теоретическое обоснование. Ричард Иванович Косолапов, бывший главный редактор журнала "Коммунист", пишет в нынешнем партийном журнале "Диалог" (№ 6, 97): «Когда я слышу "Есть русский народ, есть австрийский народ, французский народ или, к примеру, народ Нидерландов", - то живо ощущаю за этим откровенную недооценку нашей специфики. Самосознание названных народов, понятно, как правило, носит патриотический характер. Но у них существенно другой, нежели у нас. Первая особенность этого патриотизма заключается в том, что это патриотизм ограниченных пространств. А России суждено было распространяться вширь длительный период времени без какого-либо ограничения. Только Запад возвел этому распространению стену, и Юг еще держал блокаду». А то бы Русь, по Косолапову, распространилась до Атлантического и Индийского океанов. Впрочем, если быть точными, то и на Востоке наши землепроходцы уперлись в Китай, а туда дошли легко, поскольку на Урале и в Сибири государства, способные оказать сопротивление, не успели сформироваться. Точно так же испанцы распространились по Южной Америке – или это тоже их специфика?

Почему же, по Косолапову, Запад, Юг и Восток обязаны примириться с нашей спецификой? Да потому, оказывается, что "Интернационализм есть наша национальная черта. Никуда от этого не денешься", словно не было ни выселения народов, ни известных способов подбора кадров. Косолапов признается: «Не вижу разницы между людьми, когда толкуют о "нерусскости" кого бы то ни было по крови, если в этой стихии (стихии русского языка и русской культуры. - П.К.) и армяне, и евреи, и татары, многие другие по своему "менталитету" (как теперь модно выражаться), ничем, совершенно ничем не отличаются от нас, коренных русичей, а то и превосходят "чистых" русаков и чувствуют себя не менее свободно». Ну что бы Ричарду Ивановичу давно опубликовать это справедливое суждение в своем журнале "Коммунист"! Увы, при нем там писали другое. Но и сегодня, признавшись, пусть с опозданием, в своей приверженности к равенству людей, он пишет: "Захватив с собой многочисленные национальные образования и не лишая их своеобразия, наша всероссийская общность создала предпосылки, для формирования великого советского народа, который был объединен на русскоязычной основе и цементировался прежде всего русской культурой".

Две родины — Русь и Европа

Здесь прелестны слова "захватив с собой"! Захватили их по их просьбе или вопреки их воле – Ричарду Ивановичу тоже неважно. А ведь даже евреи, для многих из которых русский язык и впрямь родной уже в третьем и в четвертом поколениях, так широко им овладели после ликвидации при Сталине еврейских школ. К тому же у евреев до революции была лишь черта оседлости, но не область общего проживания. Надуманный Биробиджан стать ею не мог. Даже к восстановлению исторического отечества в Палестине все-речь побудил только Холокост.

У армян, при всех гонениях, отечество сохранилось. Они часто действительно великолепно владеют русским языком, но в Армении живут все-таки не русской культурой, а армянской, которая к тому же и древнее. Подобное и у татар. А интернациональная общность с чехами и венграми цементировалась, к сожалению, не так великой русской культурой, как отличными русскими танками. Если же мы, вслед за Ричардом Ивановичем, возмечтаем включить в наше интернациональное единство и французский народ

или, к примеру, народ Нидерландов, то не то что без танков, а и без ядерного оружия вряд ли обойдется.

Не надо только верить, что коммунисты такое первыми придумали. Не надо даже вспоминать гоголевского героя, уверявшего, что "и все, что за лесом, все мое". Сам великий Достоевский утверждал, что "Константинополь должен быть наш". Он писал это в июне 1876 года и в марте 1877, а уже в апреле Россия объявила Турции войну. И Федор Михайлович отнюдь не кинулся объяснять про маленького ребеночка, которого нельзя замучить и для счастья всего человечества. Конечно, не в пример Косолапову, Достоевский одновременно писал: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами». Русь не была для него единственным светом в окошке. Но в ее праве учить и наставлять других он был уверен. Такая уверенность пошла еще с той поры, когда объявили: «Мы – третий Рим и четвертому не бывать» и стали действовать по образцам первого и второго, для которых прочие народы были варвары. Косолапов так и говорит: "Нам, как никому, свойственно искусство Всеведения". Вот оно как! Не то чтобы, как иные, вульгарно кричать: «Мы - высшая раса!».

Есть и еще один довод. «Мы – разделенный народ», - говорит он, имея в виду украинцев и белорусов и, конечно, русских, оставшихся в новых независимых государствах. Считают ли сами белорусы, не говоря об украинцах, себя русскими, в расчет не берется. Но что касается этнических русских, то они, действительно, сегодня разделены, в Российской Федерации - 120 миллионов, но и в бывших союзных республиках - около 25. Радоваться, понятно, нечему, но таков результат вековой имперской политики на шестой части суши. Англичане, владевшие некогда даже четвертью суши, разделены еще сильнее: в Великобритании их всего-то около 45 миллионов, а в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии, не считая остальных бывших колоний, людей английского происхождения (не просто англоязычных) более 150 миллионов. Но Британия не претендует на этом основании на право наново объединять бывшие колонии.

Более того, давно отпустив колонии, она теперь провела референдумы об автономии Шотландии и Уэльса, которые получили право иметь отдельные парламенты, и уже идет речь об отдельном представительстве Шотландии в Европейском союзе. Там осознали, что стремление народов к децентрализации и самостоятельности, ославленное нами

как сепаратизм, направлено не на разрыв полезных связей, а на их совершенствование и укрепление, на устранение из них неравенства и принуждения, мешающих не только взаимоотношениям народов, но еще больше развитию хозяйства каждым из них. Мы проглядели, что одновременно с возникновением крупных союзов и даже порой внутри них страны дробятся, их части расходятся, как Чехия и Словакия. Даже от Югославии Словения и Македония отделились мирно, и кровь полилась только в Боснии, где население веками густо перемешано, и мирно разделиться, гарантируя при этом всем равные права, не сумело, поскольку одними тоже овладел великодержавный соблазн этнических чисток, а другие не сумели признать право мирных сербов присоединить свою треть или даже четверть Боснии к Сербии, а не создавать второе сербское государство. От неотвратимости этой навязываемой нелепости там и растут симпатии к преступникам, обещавшим этническими чистками присоединить всю Боснию.

Границы: неизменность или естественность?

Интернационализм – дело хорошее, пока предполагает взаимность. Но когда один народ объявляют интернационалистом и уверяют, что он лучше решит за других, чем они сами, интернационализм неотличим от империализма. Такой "интернационализм" Российской империи Косолапов приписывает русскому народу. А империи – сперва австрийская и турецкая, потом британская и французская – распались потому, что внеэкономическое принуждение плохо совмещается со все усложняющейся техникой. Мытарства народов России, и не менее других русского, потому и нарастали, что и царизм еще с Петра I, и коммунизм, укрепляли страну разом и насилием, и техникой, не желая видеть их разрушительную несовместимость. Спасение в том, чтобы, усвоив эти уроки, раз навсегда проститься с патриотизмом без границ и, как другие народы, по доброй воле жителей очертить пространство отечества, составляющего предмет нашей заботы.

У нас больше пекутся о неизменности границ, чем об их естественности, дающей прочность, и, веря, что крепят интернационализм, готовят, не желая того, почву для разрывов. Именно так, укрепляя Советский Союз по сталинской теории автономизации, то есть подчинения во всем Центру, в нем задолго до Беловежской Пущи пробудили центробеж-

ное сопротивление. Именно так, укрепляя танками братство с Восточной Европой, ее отталкивали от России. Мы себе лжем, что она захотела в НАТО под давлением Запада, а ей такую инициативу внушил страх перед нами. Запад еще и упирается. А подумай мы раньше, что наше поведение будет иметь последствия, поведи мы себя иначе, ощущая границы и своего, и чужого патриотизма, и Чехия, и Литва, и другие ради собственных интересов жили бы если не в одном государстве, то в союзном с Россией пространстве. Афганистан был нашим другом, пока мы не попытались стать его хозяевами. Но после двухлетней бомбежки чеченской земли мы как ни в чем не бывало твердим, что границы России нерушимы. Между тем лишь независимость позволила бы Чечне удержаться в союзном с Россией пространстве и экономическом, и оборонном. Это можно бы сообразить и без войны, но стоит хотя бы сейчас. А фактическая независимость при номинальном статусе субъекта Федерации приведет к новой войне, которая еще сильнее России навредит. И все потому, что, на словах отрекаясь от коммунизма, никак не отделаемся от идеологии Косолапова.

Она мешает подумать о том, что публичная казнь в отколовшейся Чечне, громогласно осуждаемая властными лицами, нашла поддержку у множества россиян, уверенных, что и у нас только так можно "навести порядок". Это куда опаснее, чем отделение Чечни. Отдавшись патриотизму без границ, мы, вообще, утратили ощущение допустимого предела участия и безучастия в отношениях с другими, идет ли речь о воспитании детей, обязательствах перед больными и стариками, об искоренении преступности или о контактах с иными народами и государствами. Уклонение от отмены смертной казни, от ратификации договора о сокращении ядерного оружия, от предоставления самим себе стремящихся к этому народов, нравятся нам их обычаи и взгляды или не нравятся, – все это явления одного порядка, как явлениями одного порядка были самодержавие Романовых и сменившая его монополия коммунистической партии на руководство. Не то что временами народу не перепало от захваченной земли или проданной нефти, но до добра ни то ни другое довести не могло, вот и не довело. Пришло время не только говорить, но и поступать иначе.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Когда Янаев со товарищи вывели на московские улицы танки, надеясь по старинке, возобновлением страха продлить советской системе жизнь, никто их не приветствовал, не кричал: «Янаев! Янаев!» или «Варенников! Варенников!» Люди, преградившие танкам дорогу, кричали: «Ельцин! Ельцин!» — поскольку Президент России требовал в те дни возвращения к положению, существовавшему до ввода танков, и, в частности, освобождения Президента СССР Горбачева, еще символизировавшего надежду на перемены. Те августовские дни называют революцией, странным образом забывая, что люди, вышедшие на улицы, не захватывали власть, а противостояли ее силовому захвату. Да и силовой захват, совершаемый теми, в чьих руках и так была власть, выглядел странновато для путча.

Желавшие перемен теперь надеялись на Ельцина, еще до августа демонстративно вышедшего из КПСС, а в конце года совершившего и впрямь революционный шаг, согласившись в Беловежской пуще с независимостью союзных республик. Дальше удерживать их, как показали Тбилиси, Вильнюс, Баку, было России себе дороже. Но оказалось, что и Ельцин отверг лишь прежнюю идеологию, не посягая на привычное всевластие государства и номенклатуры.

Учредительное собрание так и не созвали. Деяния советской власти и КПСС юридически не оценили. Даже КГБ преступной организацией официально не объявили. Политические узники советских времен еще числятся уголовниками. Осужденные по пятьдесят восьмой, на словах упраздненной, все еще не провозглашены юридически невиновными и тем более борцами за свободу России. Им лишь дозволено, как уже при Хрущеве, в индивидуальном порядке просить органы, чинившие беззаконие, о личной реабилитации. Сами эти органы, именуемые правоохранительными, о людских правах не беспокоятся, сталинские и брежневские приговоры у них по-прежнему в чести. Реабилитированные и их дети получили право на льготы и скидки, не реабилитированные, хоть осуждены были по тем же сугубо политическим статьям, не получили не то что прав, но даже формальных извинений. Дальше того, что прежде имели место «отдельные беззакония», российские судьи и правоведаы, а тем самым и все российское государство, не продвинулись.

А без признания не только абстрактной вины покойных правителей перед богом, но и неисчислимых конкретных вин как самой Российской Федерации, так и Советского Союза, правопреемником которого она выступает, перед миллионами пострадавших, тоталитарный режим бессмертен. Твердят, что Хрущев подарил Крым Украине, и не вспоминают, что задолго до Хрущева Верховный Совет России упразднил Крымско-Татарскую автономию, благословляя этническую чистку. Ответственность у нас вечно валят на личность, словно государства и не было, оно ни за что не отвечает, и от его имени можно и дальше делать, что угодно. Россию усердно призывали к всеобщему покаянию, но каяться бы надо не миллионам пострадавших, а государству и его служителям, терзавшим эти миллионы. Но государство у нас по-прежнему священо, и авторитарный режим откровенно закреплён новой конституцией. Однако в глазах мира, да и в собственных глазах, нынешняя Россия претендует слыть свершившей революцию, ставшей другим, демократическим государством.

Уже здесь выдает себя живучая вера в революцию как радикальное средство изменить общественный строй, тогда как на деле она преимущественно свидетельство тупика, в который строй угодил. Не зря красноречивые Дантоны и доктринерствующие Робеспьеры по ходу революции погибают, а новый строй создает генерал Бонапарт и даже садящийся на его трон Людовик XVIII. Наивно надеяться на свободное общество с пламенным ликом Дантона. Революция — это катастрофа, выплеск общественного разлада, итог перегрузки обыденного порядка.

Чтобы избежать революции, надо неустанно приводить нормы общества в соответствие с грузом, который на нем лежит, либо облегчая груз, либо повышая подъемную силу экономических механизмов, то есть добиваясь реального социального компромисса. Третье — нагнетание принуждения, хоть и дано, но ведет лишь к нарастанию противоречий и тем самым как раз к революции, к бунту бессмысленному и беспощадному не в одной России. Когда же революционное насилие, присущее социальной стихии при крушении прежнего общественного порядка, сознательно обращают в средство созидания нового, оно из катализатора социальных перемен обращается в их тормоз.

Практический создатель нашего строя, Сталин мог бездумно убивать потому, что русская деревня предоставляла

казавшиеся неисчерпаемыми людские ресурсы. На каком-то съезде он вспоминал сибирского рыбака, говорившего: «А что нам жалеть людей-то? Людей мы всегда сделать можем!» Сталин верил и в неисчерпаемость природных запасов и не гадал, что тюменская нефть обойдется дороже бакинской. Когда же сперва он самолично, а потом отечественная война опустошили русскую деревню и некому стало делать людей, а ограбление российских недр требовало все новых вложений, пришлось и Сталину призадуматься, и он, как римские императоры, сообразил, что единственная возможность жить по-прежнему — это покорять новых людей и захватывать новые ресурсы, и стал готовиться к войне. Пожилым демонстрантам, выходящим сегодня на улицу с его портретами, предстояло стать ее пушечным мясом.

От личных нападков на Сталина после августа 91-го перешли к официальному отказу от идеологии марксизма-ленинизма, под флагом которой он выступал, но не слишком оглядываясь на хозяйственные отношения, прикрывавшиеся ею и формировавшие ее (что бы ни считать первичным или вторичным). А эти хозяйственные отношения как раз и разорили страну. Советское унитарное хозяйство не желало знать стоимостных критериев, и нельзя судить о нем по критериям буржуазной экономики.

В нем ведь не было экономики, это было внеэкономическое, по сути своей натуральное, хоть и циклопическое, хозяйство. Волюнтаризм — главное свойство такого экстенсивного хозяйства. Общегосударственная монополия устанавливала произвольные цены, где завышая их, где занижая. Более всего занижали цены на рабочую силу, отрицали, что она вообще имеет цену, и труд был почти неоплачиваемым. Но, чтобы люди все же работали, приходилось занижать и цены на товары (прежде всего на жилье, транспорт и хлеб), без минимума которых они работать и вовсе не могли.

Такая хозяйственная система, в отличие от буржуазной, экономической, не просто расшатывалась от ошибок и укреплялась от удач, она была заведомо несбалансированной и поддерживалась, кроме обилия людских и природных ресурсов огромной империи, внеэкономическими средствами, все тем же революционным насилием. Лагеря и всеобщий страх — не столько плод дурного характера Сталина, сколько условие такого хозяйственного порядка, нуждавшегося в беспощадном тиране. Сталин или Брежнев под искренние аплодисменты обогащавшейся на этом номенклатуры произ-

вольно тратили государственные богатства на убыточные дела, особенно на гонку вооружений и содержание непомерной армии, не говоря о разрастании самой номенклатуры, получавшей дань независимо от личного вклада в реальное общественное достояние и фактической прибыли. Государство держалось конфискациями, захватами, прямым грабёжом и принудительным трудом и, пока имеющиеся ресурсы в целом соотносились с убытками, позволяло себе не считаться со стоимостными критериями и экономической рентабельностью.

Понятно, настал момент, когда такое хозяйствование ресурсы исчерпало, и с середины семидесятых нарастал кризис. Его видели, о нем, сперва вполголоса, потом все отчетливей, говорили и люди вполне ортодоксальные, преимущественно, конечно, в докладах для ЦК. Надо было либо переходить к стоимостному хозяйству, либо примириться с нарастанием кризиса и неведомыми его последствиями, быть может, революцией. Брежнев, Андропов и Черненко, опасаясь неизбежного конфликта с большинством номенклатуры, дорожающей своим благополучием больше, чем судьбой страны, да еще сами страдавшие от тяжелых болезней, на существенные перемены в общественных отношениях не отваживались, и кризис обретал все большую остроту, уже попахивая грядущими Чернобылями.

Этот кризис и вынудил нового генсека Горбачева думать о «революции сверху» как о спасении от революции снизу. Сократив запреты на свободу слова и печати, допустив более широкие контакты со странами «за железным занавесом», он способствовал осознанию необходимости перемен. Он возродил «шестидесятничество», то есть дозволенное было после смерти Сталина предположение о неполном совершенстве построенного в СССР социализма и желательности превращения его в «социализм с человеческим лицом», который якобы установят уцелевшие «комиссары в пыльных шлемах». Потом власть отвергла «шестидесятничество» даже в качестве полезного идеологического мифа и, хоть приняла часть его сторонников в ряды либеральной номенклатуры, других вытеснила в диссидентство. Воскрешение «шестидесятничества» позволило власти сознать кризис в доступных ей формах, еще не разрывая с привычной идеологией. Но гласность дала проявиться и другим позициям, кроме имперского прагматизма и обновленческой утопии.

Горбачев допустил даже участие в выборах, хоть и не вполне еще демократических, нескольких кандидатов на одно место, что было в течение десятилетий неслыханным и тут же привело к провалу некоторых виднейших деятелей КПСС, не вошедших в «красную сотню», непосредственно назначенных партией в парламент депутатов. Однако идеологические и политические новации все же не дали достаточно широких протоков экономической свободе, при которой людское стремление к иной жизни в легальных формах, подобно реке, стремящейся к устью, приводило бы в движение турбины истории. Тотальное государство, желавшее ничего не выпускать из рук, не доверявшее людской самостоятельности, не могло произвести необходимые перемены, на экономическую самостоятельность прежде всего и рассчитываемые. Горбачев, возможно, искренне верил, что советская система способна продлить себе жизнь, став полусоветской, и с репутацией либерала совместно его стремление сделать Полозкова Председателем Верховного Совета РСФСР и маниакальное продвижение Янаева на пост вице-президента.

Груз, лежавший на стране, вроде облегчили, войну в Афганистане, хоть и не сразу, прекратили, сократили советскую опеку восточноевропейских стран, сократили некоторые внутренние расходы, воспользовались западным кредитом. Но далеко зашедший кризис все равно нарастал, поскольку к радикальным реформам так и не приступили. Горбачевым была уже недовольна не только консервативная номенклатура, но и противостоявшая ей часть общества. Навечно вписав свое имя в историю России, он не удержался в ее текущем дне, и конец Советского Союза стал концом его государственной деятельности, так и не преодолевшей социалистический миф. Никто, однако, не придавал значения тому, что не только консервативная, но и считавшаяся демократической оппозиция Горбачеву возглавлялась его бывшими товарищами по партии и Политбюро. Да и потом общество не стало разбираться в неоднородном составе этой оппозиции Горбачеву и социальной природе ее экономической политики после прихода к власти.

Сопоставляя реформы Польши и России и проводивших их Бальцеровича и Гайдара, современный исследователь Д. Травин («Звезда», 1996, № 5), напоминая на их сходство, все же вспомнил, что Бальцерович с 1981 года был консультантом «Солидарности» — «главной оппозиционной силы по

отношению к коммунистическому правительству (здесь отличие от Гайдара, который не был связан с оппозицией ввиду отсутствия таковой при коммунистическом режиме в СССР)». Как видим, уже в 1996 году запросто заявляли, что в СССР «не было» демократической оппозиции, хотя ее лидера Андрея Сахарова знали не только как создателя водородной бомбы, когда о Гайдаре не знал еще никто. При объединении для борьбы за перемены под знаменем демократии столь разных людей, как номенклатурные либералы и вчерашние политэки и «отщепенцы», затуманились принципиальные различия меж ними, и распространилась вера, что демократия впрямь сводится к номенклатурному либерализму. Не одному Травину присуща убежденность, что иной демократической оппозиции в России не было и нет. А стоит задуматься, почему в России, в отличие от Польши или, скажем, Эстонии, реформы проводили люди, прежде не причастные к демократической оппозиции, – ведь и цели и плоды реформ во многом от этого и переменились. Стоит взглянуть в противоборства по этому поводу меж объединявшимися «демократами», движимыми совсем разными стимулами.

Нет, конечно, оснований сомневаться в искреннем желании Гайдара, как и пригласившего его с этой целью Ельцина, и впрямь произвести в сталинской хозяйственной системе, продолжавшей держаться и в либеральную горбачевскую пору, какие-то изменения, чтобы вывести страну из кризиса. Существенно, однако, каких изменений хотели и почему к их проведению, подхватив знамена оппозиции, не привлекли реальных оппозиционеров. Новая российская демократия создавалась без демократов, вот и создала капитализм без капиталистов. Между тем основа капитализма — частная собственность. Так оно и по Марксу, и по Ленину, и так оно, конечно, и есть. Только частная собственность дает опору стоимостной экономике, живущей реальным соревнованием, конкуренцией, выявляющей все мыслимые возможности усовершенствовать и удешевить производство, то есть, служит развитию – и техническому, и общественному.

Но именно этому, по самой своей природе, и мешает государство, распоряжающееся хозяйством, и с силу этого становящееся особой своекорыстной частью общества, уже не способной честно ему служить, но служащую себе самой и своему аппарату. Претендуя быть всеобщим собственником и распорядителем, претендуя на всевластие, государст-

во противится демократии и вытраивает ее. Оно мыслит себя хозяином жизни, а своих граждан своими слугами, холопами. А самому быть слугой общества государству удается лишь там, где у него нет наследственных, не только по родству, хозяев, где его руководители избираются гражданами на заведомо ограниченный срок. Именно против непомерных претензий государства выступало российское диссидентское движение, не зря имевшее правовой, а не революционный характер. Назначение государства не в том, чтобы подменить людскую самостоятельность и инициативность, но в создании и поддержании правовых условий для них, чему всевластное государство всегда противится, поскольку необходимость считаться с кем-то, кроме себя, и является главной преградой волюнтаристскому всевластию. Смешно винить Гайдара или кого бы то ни было в том, что он, в отличие от Бальцеровича, не был диссидентом. Но смешно и отрицать, что это, как и то, что в «реформаторском» правительстве оппозиционеры, диссиденты, не заняли заметного места, свидетельствует об образе мыслей наших «молодых реформаторов», по инерции сохранявшем советское понятие о государстве. Вот их и не волновало, как совместятся частная собственность и либеральные реформы с испытанными номенклатурными кадрами, все еще державшими вожи государственного аппарата в центре и на местах.

Опасения усугубились, когда, вместо отделения хозяйства от государства, Ельцин с Гайдаром начали с «либерализации цен». Слов нет, без свободы производителя устанавливать цены на свою продукцию конкуренция и стоимостные отношения невозможны. Да только Ельцин с Гайдаром эту свободу провозгласили при том, что в стране был один-единственный производитель — государство, которое никаких конкурентов себе не допускало и полученной свободой воспользовалось лишь затем, чтобы взвинтить цены, судя по установившемуся в результате новому соотношению цен и зарплат, фактически сократив последние в четыре-пять раз, да еще обесценив личные сбережения граждан, в одних только сберкассах в совокупности равные стоимости годового ВВП, которые могли бы послужить массовыми, пусть и небольшими инвестициями.

То есть, они спасли всевластное государство от последствий его хозяйничанья и взвалили на частных граждан не только восполнение убытка от заниженных прежде цен, но и оплату всей вообще убыточности ведущегося государ-

ством хозяйства, никак еще не измененного. Провозглашая свою свободу цен, то есть беспредельный произвол государства в ценообразовании, Ельцин и Гайдар спасали государство за счет граждан. А от реформы ожидали как раз обратного, – что она спасет граждан от государства, и если не вернет награбленное, хотя бы остановит грабеж. Они спасали государство и в более наглядном смысле: склады были пусты, и только многократное повышение цен могло, заполнив прилавки, как-то упорядочить распределение еще имевшихся и получаемых из-за ру бежа товаров.

Лишь ликвидировав с Гайдаром приватные сбережения граждан, Ельцин взялся с Чубайсом за приватизацию государственного имущества. И опять за государством удержали руководящую роль не только в так называемых «естественных монополиях», ничего естественного в которых нет, но во всех существенных областях производства, и ожидавшееся самодвижение плюралистической экономической стихии так и не началось, поскольку она не стала на деле плюралистической и производство продолжало падать. Не зря, когда даже и не «бюджетники», а трудящиеся акционированных, то есть как бы частных, предприятий бастуют, требуя выплаты задержанной зарплаты, президент и премьер обещают ее выплатить за счет бюджета, но не заикаются о продаже с молотка имущества обанкротившегося владельца, тем подтверждая, что владелец он подставной, а реально все принадлежит по-прежнему государству.

Плоды такого хозяйствования списывают на коррупцию, на то, что государство якобы попало в руки «новых русских», срослось с капиталом, схвачено мафией. В действительности, собственностью, а потому и «мафией», командует по-прежнему государство, но уже не в былых партийно-административных формах, и тогда, впрочем, подкреплявшихся «теневой экономикой», но в как бы буржуазных формах, однако допущенных на столь коротком поводе, что самостоятельности у так называемых частных владельцев не больше, чем прежде у обкомов и райкомов. Потому и сохраняется коррупция, о которой прежде знали по слухам о Медунове или Щелокове, кому-то не угодивших, а теперь говорят открыто. Оттого и коррупция, что каждый шаг совершается лишь с дозволения государственного чиновника.

Главный порок приватизации по Чубайсу в том, что она не стала подлинной приватизацией. Изменилась лишь форма получения номенклатурой пайка, прежде выдававшегося

из общей кормушки, а ныне непосредственно из доходов от записанных на каждого владений, подконтрольных государству. К этому и свелась «реформа», в этом и суть происшедших перемен: новый феодализм, в котором поначалу все решения принимались в центре, подобно традиционному, движется к раздробленности. Смысл изменений как бы в том, чтобы более гибко использовать разнообразие возможностей, не только новых, но и старых, отказываясь от многих прежних жестких регламентаций, лишь бы вассалы сохраняли верность имперской целостности и центру. Центр при этом сокращает прямые выдачи, но щедрей позволяет доверенным лицам обогащаться, как сумеют. Меняется и состав номенклатуры, пополняющейся людьми более открытыми, в прежнее партийное лицемерие не вмещавшимися. Структура общества при Ельцине выглядит иной, чем при Брежневле, но его привычная внеэкономическая природа, с которой обещали покончить, целехонька.

Никакой экономической порядок, даже идеально прошедший испытания в других странах, не возникает по приказу, если в стране нет социальных и политических сил, ищущих в нем выход из кризиса и его отстаивающих. Переход к экономическим отношениям был бы в России, конечно, совсем не прост. Он труден уже из-за структуры промышленности, ориентированной преимущественно на производство оружия. Понятно, даже будучи приватизированы всерьез, такие предприятия не могут мгновенно вписаться в гражданский рынок, а перевод сложной техники на изготовление подстаканников и сковородок к самокупаемости не приведет. Пришлось бы долговременно поддерживать рабочих и инженеров предприятий, не способных к быстрому преобразованию, и параллельно активно вкладывать деньги в новые предприятия мирного профиля, где эти люди в не слишком все же долгие сроки могли бы получить достаточно квалифицированную работу.

И той, и другой цели как раз и должны бы служить помощь и займы Запада, второй из них служило бы и прямое обильное инвестирование западного капитала в российскую промышленность, создай государство для этого необходимые юридические условия. Однако их не только не создавали, но препятствовали частному, и западному, и отечественному инвестированию, и непомерными налогами, и высокими таможенными тарифами, и отсутствием надлежащих правовых гарантий. В деревне, соответственно, надлежало

облегчить переход от прокорма крестьянина за счет натурального приусадебного участка к фермерскому, то есть товарному крестьянскому хозяйству, чего тоже не сделали.

И население, приветствовавшее в 1991 году Ельцина, а не Янаева, стало свои симпатии смещать. Процесс этот шел не очень быстро, еще в начале 1993 года огромное большинство поддержало экономическую политику Ельцина, и голоса, указывающие на ее номенклатурную природу, были крайне редкими. Однако недовольство граждан своим тяжелым положением росло. В октябре 93-го, когда этим пыталась воспользоваться оттесненная Ельциным часть номенклатуры, не желавшая изменять ничего, большинство еще надеялось на президента. Но проведенные вскоре выборы уже не дали сторонникам ельцинских реформ ощутимого большинства, зато коммунисты с «аграриями», как именовалась партия председателей колхозов, и Жириновский получили явную народную поддержку. Наивно думать, что это не свидетельствовало о глубоком разочаровании в реформах, сведенных к мероприятиям Гайдара и Чубайса.

Успехам коммунистов, фашистов и подобных им в небольшой степени способствовало и то, что им отдали монополию на критику так называемых реформ. Печать, объявлявшая себя демократической, не говоря о телевидении, как бы боялась подорвать авторитет «реформаторов», а на деле, находясь в зависимости от их власти, боялась, что выяснение номенклатурной природы реформ прибавит популярности демократической оппозиции, требующей социально-экономических преобразований, а не просто чуть большего сбалансирования за счет трудящихся и пенсионеров вконец расстроеного коммунистами хозяйства. Сведение на нет в «демократическом» реформаторстве влияния тех, кто заложил основы демократического движения, при совершении время от времени реверансов в их сторону свело публичную общественную жизнь России к противостоянию двух номенклатурных группировок — старой, фундаменталистской, не прячущей коммунистическое нутро, и обновленческой, выступающей как антикоммунистическая.

Различие меж ними коренится в разной реакции на кризис, постигший сталинскую хозяйственную систему. Фундаменталисты не придают ему значения. Партия Зюганова объясняет его случайными обстоятельствами или личными промахами и даже кознями своих непосредственных предшественников и не боится прежнего пути, надеясь на силу

империи, которую жаждет укрепить и восстановить в прежних масштабах, отчего из наследства КПСС усерднее всего берет шовинизм, ставший у нее откровенным, выступает не просто патриотической, но уже именно национал-патриотической.

Простого патриотизма им как раз недостает, иначе неизбежное нарастание сопротивления покоренных народов, которое народу России придется усмирять, жертвуя своими сыновьями, побудило бы их даже под социалистическим флагом искать более мягкие, чем прежде, компромиссные варианты. К этому же побуждало бы подлинных патриотов и дальнейшее падение уровня жизни при продолжении гонки вооружений. Такие компромиссы, хотя бы на словах, и пытался искать Горбачев. Но именно за это национал-патриоты и ненавидят его даже больше, чем Ельцина.

Обновленцы во главе с Ельциным, напротив, поняли, что экстенсивная советская система без непрерывных дополнительных вложений нежизнеспособна. Но и они систему сохранили, пожертвовав ради ее спасения идеологией и перепоручив командирство, осуществлявшееся прежде партией, непосредственно государству, открыто или через своих уполномоченных действующему как монопольный держатель всех контрольных пакетов. Политическую жизнь, и прежде показушную, предложено заменить доверием «крепким хозяйственникам», хотя их-то как раз советская власть выдвигала в избытке — от Пятакова и Сокольников до Косыгина и Устинова, и такие люди в самом деле немало нарабатывали, но лишь до предела, допускаемого внеэкономическим хозяйствованием. Советское хозяйство осело не столько потому, что Тихонову или Рыжкову не достало здравого смысла или хватки Косыгина и Устинова, сколько потому, что сталинский метод хозяйствования себя исчерпал. Признав это на словах, обновленцы не сумели отступить от него на деле.

Сохраняя имперские привычки, что подтвердилось авантюрой в Чечне, да и другим, обновленцы, однако, еще удерживают ореол созданный Горбачевым, отпустившим Восточную Европу, и самим Ельциным, отпустившим в 1991 году союзные республики СССР. Уже это изменение облика создало и в России и за рубежом иллюзию преодоления системы. Стали поступать дополнительные вложения от международных финансовых организаций и всех желающих помочь становлению демократии. Но эта помощь не была об-

ращена к конкретным людям, ее не инвестировали в конкретные предприятия, а передавали непосредственно государству. Оно эти поступления, если их не разворовывали, проедало, а с демократией не спешило, ее, напротив, свертывало, и можно сказать, что Запад помог российскому авторитаризму выстоять.

Его отечественные сторонники и сами не терялись, придавая своим отношениям с населением видимость буржуазных и внушая, что это и есть капиталистические отношения, которые, хоть и не сразу (так ведь было везде), приведут к процветанию, — как будто возможен капитализм с одним капиталистом, да еще обладающим государственной властью. Не секрет, что буржуазный порядок плюралистичен по природе, что и при нем абсолютное господство монополий, не испытывающих конкуренции, тормозит развитие. Но в России этот мнимый капитализм, а на деле — новый феодализм, дает, пока народ не вымер, возможность кормить номенклатуру, не только выставившую себя антикоммунистической, но и открыто коммунистическую, преобладающую в Думе и выражающую доверие «антикоммунистической» власти.

Спор фундаменталистов и обновленцев — это спор коммунистов, которые «ничему не научились и ничего не забыли», с коммунистами памятьными и способными учиться на опыте неудачи, выжимающими из внеэкономических методов все до последнего. В октябре 1993-го, как и в 91-м, они спорили с оружием в руках у Белого дома, хоть и в изменившейся диспозиции. Но напрасно именовали мятежом вооруженный захват столичной мэрии и Останкина, конечно, преступный, однако совершенный по воле числившегося законным Верховного Совета. Столь же нелепо было именовать весьма топорный ответ еще более законного президента «расстрелом парламента», тем более что ни у одного депутата и волос с головы не упал, пострадали только толпившиеся там люди. Задержанных зачинщиков военных действий вскоре амнистировали, а генерала Варенникова, которому не угодно было принять одновременную амнистию по августу 1991-го, даже по суду оправдали.

Ни в 1991-м, ни в 1993-м не было у нас ни «мятежа», ни «расстрела парламента», ни революции. Не бунтари поднимались против власти, а меж собой сражались разные группы власти, одинаково опасавшиеся обратиться за мирным разрешением своих разногласий к народу. В условиях кри-

зиса власти пришлось выносить разборки, прежде шедшие на закрытых заседаниях, на люди. Слившиеся с одной властной группой и обличавшие другую и вспоминать не хотели свое сходство и родство, и единое происхождение от КПСС. А оно между тем и после самых острых схваток возвращало их к сотрудничеству, за которым стояло желание не подпускать к решению судеб страны никого больше.

Многие сторонники Ельцина, официальные обновленцы, да отчасти и он сам, в глубине души и особенно *инстинктами* тоже фундаменталисты, вот им и не найти общего языка со сторонниками подлинных социал-либеральных реформ и легче договориться с декларируемыми противниками. Легкость возрастает по мере того, как фундаменталисты различают в Ельцине Янаева, только Янаева более смелого, более разумного и более гибкого, у которого руки не дрожат даже тогда, когда он вынужден пустить танки против братьев по номенклатурному классу, не готовых ради продления своей власти поступиться малостью из прежнего образа начальственной жизни.

Преодолеть такое «двоевластие» мешает не только апатия, охватившая людей, замученных новыми лишениями. Не забудем, что на президентские выборы три с половиной миллиона избирателей (5% пришедших) явились лишь затем, чтобы вычеркнуть обоих кандидатов, хоть и понимали, что на результатах это скажется не больше, чем неявка на выборы. Эти люди все еще политически активны, но политическая система не дает им получить не то что пять, но хотя бы один процент телевизионного времени. Декларированная свобода печати, успешно служащая и фундаменталистам, включая откровенных фашистов, и обновленцам, ощутимо ужата для их оппонентов, не имеющих денег, которые коммунисты черпают из старых запасов, а партия власти прямо из казны.

Нет и одного на всех органа печати, представляющего оппозиционные Ельцину демократические движения. Лишь немногие либеральные проправительственные издания для приличия иногда допускают на своих страницах отдельные критические выступления. Но тиражи либеральных изданий сведены к минимуму уже произволом Министерства связи в установлении цен на доставку. Огромные возможности вздувания цен обрели государственные типографии, бумажные фабрики и торговцы розницей, а сверх всего — драконовские налоги. Когда газета догоняет по цене буханку хлеба, а

миллионы недоедают, окупаемость печати недостижима, и уже это держит ее в узде при переходе от сенсаций к общему и системному анализу. Трудно предположить, что так вышло случайно, без намерений власти. Говорят, печать, став предметом рыночных отношений, может публиковать лишь пользующееся спросом. Тут можно бы указать на примеры стран, где коммерческая сторона как-то сообразуется с законами и традициями, учитывающими, что это товар особого рода. Но уже то, что у нас владельцы средств массовой информации мигом исполняют волю власти, как было при конфликте «Лукойла» с «Известиями», обидевшими премьер-министра, говорит о понятных взаимоотношениях.

Не касаясь авторитарности конституции, развитию социально-политического сознания ощутимо препятствует сама наша избирательная система с голосованием в один тур, как по индивидуальным округам, так и по партийным спискам, при том, что, кроме старой коммунистической, ни одна партия не могла в таких условиях нормально сложиться. А для победы достаточно относительного большинства, и, при множестве кандидатов, для получения депутатского мандата нередко хватает пяти-семи процентов голосующих, отчего Дума и другие представительные органы теряют представительность, что тоже мешает формированию демократического сознания, не говоря о возможностях манипулирования столь малым числом необходимых голосов.

Зло идеологического государства не столько в неверных и даже абсурдных идеях, которые надо, дескать, просто заменить верными, сколько в том, что всевластное государство, как прежде партия, воображает себя владельцем абсолютной истины и, не спрашивая, вовлекает граждан в иначе окрашенное, но опять механическое единство, хотя беды нашей страны и проистекают прежде всего из долголетнего принудительного единства. У общества нет эффективного способа самоосознания, кроме открытой политической жизни, строящейся не на единстве указания свыше и вере в руководящую силу, а на открытости позиций разных общественных сил и стремлении к компромиссу. Это первое условие демократии, заменяющей гражданские войны дискуссиями, порой мучительными, но бескровными. Компромисс — это не поражение, как издавна считается в России, но и не верхушечный партийный сговор, не готовность фундаменталистов и обновленцев вместе противостоять народу, но взаимоприемлемое согласие разных социальных сил,

составляющих народ. Компромисс как система постоянных взаимных уступок наступает лишь там, где становится делом не одной власти, но широких масс людей, сознающих его плодотворность.

Ощутимее всего это в ходе выборов, если, обнаружив, что предпочтительный кандидат, а с ним и предпочтительная позиция не проходят, люди могут проголосовать во втором туре за кандидата и позицию, хотя бы близкие к желанным. На последних выборах в Думу 225 депутатских мандатов, отдаваемых партиям, были распределены между перешагнувшими пятипроцентный барьер коммунистами, жириновцами, НДР и «Яблоком» пропорционально поданным за них голосам. Только ведь все они вместе представляли лишь примерно половину избирателей, а мнение другой половины страны, проголосовавшей за партии, пятипроцентного барьера не достигшие, так и осталось неучтенным. Между тем, если бы проводился второй тур, в котором выбирать пришлось бы лишь из четырех партий, победивших в первом, но снова выбирали бы все граждане, соотношение голосов и, соответственно, депутатских мандатов, полученных этими партиями, было бы совсем иным и куда более представительным, отвечающим реальному соотношению политических симпатий граждан. Второй тур надо бы проводить и в индивидуальных округах, где никто не собрал больше половины голосов, – избиратели смогли бы уточнить свои предпочтения. И Дума обрела бы авторитет, действительно стала бы голосом народа, и партии и политические группировки представляли бы не только самих себя да кучку сторонников, но более широкие социальные слои. И то, что сами эти слои нынче расслоены, тоже нашло бы адекватное отражение в политической жизни.

Часть промышленных рабочих, особенно рабочие военных заводов, возможно, все равно голосовали бы за коммунистов, не видя иной перспективы, чем государственное хозяйство, но другая их часть, видимо, голосовала бы все же за тех, кто добивается настоящей цены рабочей силы, а не подачек, которые уже и негде брать. Точно так же часть крестьянства, видимо, голосовала бы за аграрную партию, за трудное, но безответственное батрачество, но другая часть предпочла бы фермерство на своей земле. Переходному периоду от кризиса к здоровому обществу, у нас еще и не начавшемуся, свойственны не столько противоречия между классами и сословиями, сколько противоречия внутри клас-

сов и сословий, поскольку в новом обществе роль этих сословий меняется и не каждому она останется по силам. Оттого и пестры позиции и рабочих, и крестьян, и номенклатуры, и, особенно, интеллигенции.

Ее положение уже в советской системе было откровенно противоречивым, поскольку XX век непредвосхитимо поднял значение умственного труда в общественном производстве, чем, кстати, и подорвал марксистскую утопию, живущую предположением исключительной роли физического труда. Противоречия между интеллигентами, духовно слившимися с номенклатурой, и теми, кто пытался уцелеть в своем интеллигентном качестве (что парадоксально позволяло этим уцелевшим даже и номенклатурному государству приносить больше пользы, чем их нравственно капитулировавшие товарищи), обозначились в первые же послеоктябрьские годы, и особенно диссидентским движением, где преобладала интеллигенция.

Обновленное номенклатурное государство, обострявшее отношения со всем обществом, обострило их и с интеллигенцией, свернув государственную поддержку науки, литературы, искусства и просвещения. Одновременно оно вовлекало готовую служить интеллигенцию в ряды новой номенклатуры. Интеллигенции фундаменталистской активно противостояла обновленческая, оправдывающая любой поступок президента-реформатора. Однако интеллигенция не исчерпывается этими двумя группами. Даже возлагая на интеллигенцию всю вину за правительственную политику, честный человек непременно оговорит, что имеет в виду не широкую массу российской интеллигенции, но лишь ее верхушечный слой. А строго говоря, и в нем идет расслоение. Уже появление Ковалева в Грозном, который бомбили по приказу Ельцина, обозначило не только его личный разрыв с властью, но противостояние ей важной части интеллигенции, как перед тем его обозначал ответ Сахарова с трибуны съезда народных депутатов на атаку майора Червонописского, поощряемую Горбачевым и Лукьяновым, сидевшими в президиуме. И ведь Сахаров в кремлевском зале был фактически одинок, а примеру Ковалева тут же последовал не один интеллигентный политик.

Конечно, и интеллигенция, и даже та ее часть, что прежде выходила на улицы, ратуя за правовое государство и свободную экономику с социальными гарантиями, нынче, когда не появилось ни того, ни другого, ни третьего, а все

свелось к иной расстановке и обновлению номенклатуры да замене портрета Ленина на лик Спасителя, тоже расслоилась. Иные обратили общественное поражение в личное продвижение, безоглядно поддерживая власть даже в чеченской войне или не взирая на нее. Но это не повод отождествлять с кучкой принявшихся раболепствовать перед начальством вчерашних приятелей всю российскую интеллигенцию. Скорее всего, интеллигенция составила большинство голосовавших против обоих кандидатов в президенты. И от кого сегодня скорее всего можно ждать активной защиты демократии, а если власть еще более ожесточится, то и нового диссидентства?

Признав очевидное: революция не состоялась, а «реформы» не избавили страну от внеэкономического порядка, стоит сразу же думать о более дальновидном возобновлении попыток от него избавиться. Без перехода к либеральному обществу Россия обречена на увядание. Внеэкономические способы продержаться, применявшиеся царским и советским самодержавием, показали свою несостоятельность. Наивно полагаться на революцию, но еще наивнее — на «хорошего человека», на «культ личности». Действенным может быть лишь повседневное и неустанное давление общества на власть в пользу конкретных преобразований, его умение открыто и быстро оценивать их результаты и на них реагировать, то есть мирная политическая жизнь. Недаром внеэкономическая власть старается свести мирную политическую полемику на нет, сопоставляет не анализы, а лозунги.

Нельзя полагаться на то, что «процесс пошел», поскольку наперед не известно, к чему он придет. Пренебречь его ходом, его красноречивыми деталями — трагично, как мы могли за минувшие годы убедиться, и для сознания, и для практики. Не потому жаль, что Ленин так быстро после гражданской войны отошел от дел, что якобы при нем жилось бы получше, а потому, что аппаратный захват власти Сталиным избавил формировавшуюся номенклатуру от необходимости утверждать свою власть поисками поддержки народа и позволил ей легко, по решению «троек», избавляться от инакомыслящих и вообще мыслящих. Наивно заведомо хвалить, как и заведомо бранить власть, так или иначе получившую массовую поддержку. Важно лишь не чересчур ей доверять, ни на мгновение не оставлять ее без контроля и публично фиксировать политический, экономиче-

ский и социальный смысл каждого ее шага. Разочарование людей в политике выгодно именно власти. Бесконтрольность позволила Брежневу уйти от кризиса в Афганистан, а Ельцину — в Чечню. А будь против войны в Афганистане не один Сахаров и против войны в Чечне не один Ковалев с горсткой примкнувших, а сотни тысяч мирно вышедших на улицы, история и жизнь России были бы лучше.

Сегодня обстоятельства менее благоприятны для возрождения реальной политической жизни, чем при Горбачеве. Спор между обновленцами и фундаменталистами не завершен, за «третью силу» сочтены лишь промежуточные между ними течения, но и они тоже противодействуют социал-либеральному движению, образующему демократическую оппозицию фундаменталистам и обновленцам, и любая из авторитарных сил способна в любой момент вернуть страну к тоталитарной методике правления. Нынешние «молодые реформаторы», налаживающие под обновленческим флагом корпоративное хозяйство, цементирующее тоталитаризм, когда пройдет нужда в псевдодемократических играх, тоже будут отброшены, как, выполнив порученное, был отброшен недавний «молодой реформатор» Гайдар. В то же время социал-либеральное движение не организовано, и едва ли при нынешней скомпрометированности всех лозунгов и обещаний оно укрепитя просто провозгласив новые лозунги.

Даже если тоталитаризм не пресечет саму возможность об этом думать, формирование оппозиционного социал-либерального движения не будет быстрым. Но к нему будут тяготеть люди, сознающие, что в длительной перспективе только социальное стоимостное хозяйство служит благоденствию людей и страны, понимающие, что социальная защита эффективна лишь за счет прибылей стоимостного хозяйства, а оно, в свою очередь, эффективно, лишь неся какое-то удовлетворение разным социальным силам. Но эффективность эта не задана раз навсегда, а держится постоянным взаимодействием всех участников, как граждан единого общества, сознающих необходимость поддерживать баланс своих противоборствующих интересов, то есть, постоянно искать компромисса, отчего она и невозможна при нашей всегда бескомпромиссной власти.

По опыту XX века видно, что государство, берущее на себя и руководство хозяйством, и социальные гарантии его участникам, их неизбежно смешивает, и зарплата становит-

ся формой социальной помощи, что само по себе подрывает эффективность труда («как они нам платят, так мы и работаем»). Старания обновленческого государства, выступающего как монополичный капиталист, заставить людей оплачивать прежде уцененные жилье или транспорт по их объективной стоимости, без такой же объективности в оплате рабочей силы, ведут не к стоимостному хозяйству, а в противоположном направлении. Можно, конечно, напустить туману и называть все это народным капитализмом. Да только уже в советском словоупотреблении «народный» всегда и значило «государственный», по крайней мере в приложении к собственности. Даже изначально буржуазная монополия, став всеобщей и единой, действует внеэкономически. Оттого буржуазный мир и не оставляет забот о плюрализме и конкуренции, и даже в Европейском союзе стремление создать единые экономические нормы для всей Европы то и дело входит в конфликт с хозяйственными директивами Брюсселя. Одно дело — равные условия и единые принципы, другое — монополия центра на принятие решений.

Демократия как раз и есть антитеза монополии, но сама на монопольность не претендующая, и потому антитеза мирная. Гражданский мир — не безмолвная покорность, он отнюдь не предполагает отказа от общественной борьбы, в легальных формах непрерывно происходящей в любой демократической стране. Конечно, тяготение к насилию не прекратилось, но кровавый XX век сумел и противостоять вере в спасительное насилие, в террористов и генералов. Он стал свидетелем мирных побед Ганди и Мартина Лютера Кинга, последователей великого русского мыслителя Льва Толстого. Наша родина подарила планете учителя ненасильственной борьбы, а сама предалась завоевательным и гражданским войнам. Неужто и впрямь нет пророка в своем отечестве?

ОДИНОКИЙ ГОЛОС ЛИБЕРАЛА

Покуда религией советского народа был марксизм-ленинизм, законы общества официально считались не слабее законов природы. Частным образом все, конечно, знали, что ни политбюро, ни даже чрезвычайный съезд КПСС не заставят воду кипеть при пятидесяти градусах. Но социализм в одной, отдельно взятой, да к тому же отсталой стране, строили обособленно, хоть основоположник объявил научным законом его одновременное явление во всех странах, начиная с высокоразвитых.

Отрекшиеся ныне от мифологии коммунизма с чистым сердцем рассуждают о различии законов природы и общества. Ссылаются на то, что против природы не попрешь, и чтобы ее обратить людям на пользу или во вред, надобны всякие академики, а законы общества – теперь лишь правила, людьми для себя устанавливаемые. Дело, дескать, за тем, какие правила какому народу по душе: кому "Билль о правах", кому "Домострой". Вот и выбираем меж либерализмом и коммунизмом, находя в каждом свои преимущества.

Почему проиграл Левша

Что на деле кроется за обольстительными именами, составляют обычно без внимания. И уж вовсе не берут в толк, что диктует выбор того или иного знамени, под которым устривают нечто мало похожее на то, что на нем написано.

Поскольку условия Маркса его последователи нигде и никогда не соблюдали, можно уверять других и самих себя, что лишь потому мы и не построили коммунизм, не вступили в царство божие на земле. Либерализм – не царство божие, а работающая модель людской жизни и прежде всего людского хозяйства. Но и ее породило не само по себе благородство пророков (в числе которых Локк, и Вольтер, и Адам Смит, и Кант), а осознание ими общественных потребностей хозяйства.

Тысячелетиями хозяйство было принудительным. Формы принуждения менялись, различие меж рабом и зависимым крестьянином — не мелочь. Но жизнь и того и другого определяло внеэкономическое принуждение. Пока производили хлеб, скот, простые орудия труда и оружие, жизнь в разных концах земли различалась не по существу. Но когда оказалось, что наемный труд дает преимущества, особенно в применении машины, которая при подневольном не столь

эффективна, началось новое время. Свобода обрела производственные преимущества перед насилием. Осознали это не сразу и не везде, а иные не сознают поныне. Но внеэкономическим обществам противостояли экономические.

В XVIII и XIX веках шло состязание наемного и подневольного труда. Гениальный рассказ Николая Лескова о подневольном искуснике, подковавшем механическую блоху, в результате чего она, однако, перестала прыгать, предсказал исход соревнования добровольности и принуждения, свободного труженика с подневольным, хоть и более одаренным. Еще полней их состязание охватило XX век, когда техническая вооруженность стала интенсивно расти, а умственный труд в производстве перевесил физический.

Не выдерживая состязания, отстававшие пытались взять верх внеэкономически и покончить с либерализмом «в мировом масштабе». Традиции феодальной реакции вскормили под революционными флагами новые антилиберальные режимы. Вырастая из справедливого неприятия социальной, национальной или религиозной ущемленности, они отвечали на нее еще более жестоким произволом. Новый феодализм рвался к техническому просвещению активнее, чем Петр Великий, и в нем преуспевал. И все же немецкая его разновидность не выдержала военного, а российская – экономического состязания. И хоть нет причин объявлять "конец истории", наивно закрыть глаза на закономерную в технизированном обществе связь свободы и благосостояния.

Если благосостояние большинства граждан России не только не выросло в сравнении с прежним внеэкономическим режимом, но наглядно сократилось и слабо поправляется, значит, к либерализму мы не перешли, и под псевдонимами "либерализм" и "демократия" победило нечто совсем другое.

Либерализация вместо либерализма

Пора преодолеть популярную ложь, будто в России с 1991 года идет борьба между стоящими у власти либералами и непримиримой оппозицией коммунистов. Можно обсуждать меру непримиримости, но, что страной правят по-прежнему коммунисты, видно всякому. Просто Ельцин, Черномырдин или Строев в силу занимаемых должностей вынуждены считаться с реальностью последствий семидесятилетнего внеэкономического порядка, которой могут пренеб-

регать Зюганов, Илюхин или Анпилов. Либералов у власти в России покамест не было, хоть и звучали либеральные речи. Законы, указы и постановления Федерального собрания, президента и правительства так и не создали правовую систему, в которой возможны экономические и прочие свободы. Это можно по-разному объяснять, но невозможно опровергнуть.

Мероприятия, названные реформами, изменили лишь форму, но не сущность хозяйства. Из многих взаимосвязанных свойств либерализма были допущены лишь отдельные, не работающие в отрыве от других и потому сыгравшие иные роли, чем в либеральном обществе. Уже начальная "либерализация цен", проходившая при сохранении административных ограничений частного производства, стесненно-го к тому же несообразными налогами, фактически лишь аннулировала сбережения граждан да поощрила беспардонное взвинчивание цен старыми советскими монополиями, которым ныне широкошумно противопоставляют "народный капитализм".

Но и с "народным капитализмом" не кругло. Первым и, казалось, обещающим шагом к нему выглядела раздача ваучеров. Вскоре, однако, разъяснили, что ваучеры на бирже не котируются, ценными бумагами не являются и до назначенного срока должны быть сданы в государственные приватизационные фонды или проданы за бесценок все тем же скрепленным с государством монополиям. То есть частному предпринимателю, являющемуся важной социальной опорой либерализма, даже изначально не отводилось самостоятельное место в производстве. Он лишь допускался ввиду кризисных обстоятельств к торговым и посредническим услугам, где зависимости от государственных монополий все равно не избежать. А как эти монополии оформляются, кем числятся господа Потанин, Вяхирев и Березовский – их собственниками или, как бывало, "командирами производства" – большого значения не имеет.

Либерализм европейской традиции состоит не просто в терпимости или даже самих по себе правах человека. И то и другое и много чего еще служит в либеральном обществе заслоном от внеэкономического принуждения, так или иначе осуществляемого государством или с его благословения. Надежнее всего людей защищает отделение хозяйства от государства. Пока государство распоряжается хозяйством, оно всевластно распоряжается обществом. Когда, освобо-

дась от государственного произвола, хозяйство считается с экономическими законами, государству так или иначе приходится служить обществу.

Свобода от зарплаты

Конечно, общество и призванное выразить его интересы государство не равнодушно к землетрясениям и наводнениям экономической стихии. Достаточно вспомнить, что государство выпускает деньги – мерило создаваемой и потребляемой ценности – и поддерживает их соответствие хозяйственным процессам. Уже это – могучий рычаг воздействия на хозяйство, не говоря о политике налогообложения, установлении таможенных сборов и прочем.

Экономическое промышленное общество, по самой своей природе менее стабильное, чем внеэкономическое (где кризисы, хоть и более катастрофичны, но разражаются лишь в конечном счете, поскольку на страже внеэкономического хозяйства стоят внутренние войска), давно осознало значение социальной регуляции хозяйства, и здесь опять же огромна роль государства. Оно в развитых странах так или иначе участвует в пособиях по безработице, пенсиях и других вспомоществованиях. В большинстве случаев оно участвует в оплате, а то и полностью оплачивает врачей и лекарства. Не мал его вклад и в образование, и в развитие культуры, в подготовку специалистов. Все это тоже рычаги воздействия общества и государства на хозяйство.

Но, ведя при этом собственное циклопическое хозяйство, государство теряет объективность в понимании нужд страны и нужд как самого хозяйства, так и трудящихся в нем, и заработная плата неизбежно снижается до уровня пособия по безработице в развитых странах и даже ниже его. Потеряв нынче это пособие, граждане России, естественно, ропщут. Но то, что в ходе реформ они его потеряли, тоже подтверждает, что реформы, пренебрегшие социальной регуляцией, не были либеральными. Смешно говорить, что у нас либеральное общество, когда и эту жалкую зарплату не выплачивают не то что еженедельно или дважды в месяц, но и по полгода. Неоплачиваемый труд – первая примета внеэкономического хозяйства и даже самой низкой его формы. Российское хозяйство, в котором главный товар – рабочая сила – не оплачивается немедленно, можно называть каким угодно, но только не рыночным.

Назад в Европу

Как видим, государственность, к которой у нас регулярно взывают, понятие неоднозначное. Одно дело государственность директивная, обеспечивающая преимущества правящего слоя, без особого интереса к последствиям для страны. Другое – государственность либеральная, направленная на сбалансирование интересов всех слоев общества и создание условий для выполнения каждым своей роли. Последнее, конечно, не занимало коммунистических государственников, требовавших выполнения воли партии. Но для практического утверждения либеральных ценностей ничего у нас не сделали и государственники, провозгласившие себя либералами. Все еще не видать ни законодательства, ни практики создания предприятий без разрешения властей. Не легализована купля-продажа пахотной земли хотя бы для российских граждан, взявшихся ее обрабатывать. Государство не обеспечивает даже охрану частной собственности.

Да и трудно требовать от силовых структур, десятилетиями воспитывавшихся в убеждении, что частник – это враг, которого надо уничтожать, и, вообще, частное лицо – не ровня представителю власти, чтобы они вдруг коллективно перешли на противоположную позицию. Их представления о порядке не изменились, и поддерживать иной порядок они не в состоянии. Отмена крепостного права при Александре II не случайно сопровождалась коренной судебной реформой. А нынче никто и не подумает создавать другую прокуратуру, другие суды, другую полицию с другими понятиями о праве и законе. Нас уверяют, что коммунистическое государство с избирательной системой, искусственно обеспечивающей коммунистам большинство в парламенте, эволюционным путем само собой перерастет в государство либеральное. А то, что для такой эволюции надо сперва провести коренные экономические и политические реформы, как бы и не в счет.

Конечно, сегодня приниматься за такие реформы не сопоставимо сложнее, чем в 1991 году. Власти, сознательно или бессознательно, внушили населению недоверие к демократии и либерализму, толкнули людей от заботы о перестройке нашей общей страны к личным усилиям по выживанию в нищете. Но только либеральное переустройство дает России надежду сохранить и умножить свой человеческий, производственный и всякий другой потенциал. При Ярославе Мудром и Владимире Мономахе Русь была европейской

страной. Господин Великий Новгород стоял в одном ряду с Бременом и Любеком. Уж если патриотически искать исконное, надо брать в пример их, а не тех, кто почти на триста лет обратил наше отечество в свою колонию.

Ради этого нужно противопоставить и коммунистической оппозиции, и псевдолиберальной власти впрямь либеральную оппозицию. От того, проявится ли она не только одинокими голосами и хватит ли у нее сторонников, способных объяснять и отстаивать либеральные ценности, зависит судьба России.

БАНКРОТСТВО ЕЛЬЦИНА

Внезапную отставку Ельцина сразу объясняли страхом перед возможным за шесть месяцев выявлением альтернативных Путину вариантов. Меньше думали, кто принял решение об отставке и когда оно было принято – под Новый ли год или еще при назначении Путина, – и какова мера участия в нем самого Ельцина. Слушая его новогоднее обращение, трудно верить, что решение об отставке было добровольным. Сперва президент здраво говорит о стремлении заложить традиции цивилизованного перехода власти от одной думы к другой, от одного президента к другому, а для этого, – он прав, – жизненно важно соблюдать сроки. Быть президентом, равно как и депутатом, не привилегия, а обязанность перед избирателями, доверившими тебе управление. Конечно, болезнь или признание своей несостоятельности побуждают просить об отставке, но если этого нет, – а Борис Николаевич подчеркнул, что ни того, ни другого нет, – самовольное бегство от обязанностей называется дезертирством.

Не хотел же Ельцин объявлять себя дезертиром, подчеркивая, что на то была его воля: "И все же я принял другое решение". Каковы мотивы? "У страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее. Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода?" Здесь все удивительно. Во-первых, Ельцина неточно информировали о надеждах россиян. По итогам выборов в думу можно предположить, что 38%, отдавшие голоса за "Единство", "Союз правых сил" и блок Жириновского, в основном, действительно, с Путиным, но это *меньше половины*. Ждать еще полгода следует затем, чтобы новый президент, пусть даже Путин, еще России не известный ничем, кроме готовности принимать беспощадные решения, был избран в хотя бы формально объективной обстановке, то есть, как принято, при своем предшественнике, а не тогда, когда он сам уже держит в руках всю полноту власти. И, самое удивительное, чем может Ельцин, опытный и талантливый политик, сам же и выдвинувший в преемники безвестного человека, этому человеку мешать? Мысль, что он мешает, возникла никак не у самого Бориса Николаевича. И если он эту мысль, как нынче говорят, озвучил, то из каких-то побуждений, далеких от стремления к цивилизованному переходу

власти. Он потому и не углублялся в ход и результаты думских выборов, рекламировавшихся как удачные для Путина, хотя накануне отставки президента сообщалось лишь, что из 450 мест "Единство", "Союз правых" и блок Жириновского вместе получили 137, тогда как коммунисты вместе с ОВР - 160, "Яблоко" - 21, а более 100 депутатов по индивидуальным округам еще не определились и свои позиции уточнят в ходе работы думы, то есть не ранее 18 января. Россия, впечатленная успехом "Единства", наступившего на пятки коммунистам, могла, конечно, верить, что индивидуальным депутатам никуда не деться, кроме как примкнуть к "Единству". Но квалифицированным сотрудникам ФСБ легко было считать, что при нейтралитете "Яблока" коммунистам и ОВР для вынесения вотума недоверия правительству Путина достаточно прибавить 55 голосов – то есть меньше половины не определившихся, и установить что клонящихся к такому вотуму недоверия там и побольше. А вынесение вотума недоверия и (при соблюдении конституции) отставка Путина разом лишили бы его всех преимуществ на выборах президента. Разогнать вновь избранную думу было бы невозможно, и резко бы возросли шансы, если не Примакова, то какого-то другого открыто оппозиционного Ельцину кандидата. Единственной возможностью этого не допустить и было совершение государственного переворота. Теперь дума не в силах хоть как-то ущемить Путина. Исполняющий обязанности президента ее утверждению (по конституции) не подлежит. Назначать нового премьера, который бы подлежал ее утверждению, он тоже не обязан. Российская конституция предусмотрела не только установление авторитарного режима, но и его поддержание, передачу власти новому правителю по воле прежнего. Искренние демократы, за эту конституцию голосовавшие, могут поздравить себя с дальновидностью.

Не вполне еще, правда, ясно, когда переворот произошел – после выявления опасности вотума недоверия или уже при внезапном увольнении Степашина. Но когда бы это ни случилось, важнее всего *кто* переворот совершил и *зачем*? Ельцин, конечно, его жертва, но он же и виновник, создавший предпосылки для переворота. Вписанный в историю как упразднитель коммунизма в России, он разом его спаситель. Не потому, что не запретил компартию, не предал суду виновных в ее конкретных преступлениях. Стремление к национальному примирению можно бы даже приветствовать,

если бы на словах противостоящее коммунистическому государству Ельцин не строил, опираясь на коммунистов и на их ментальность, изъяв из обихода лишь «единственно верное и всесильное учение марксизма-ленинизма».

Обещанные реформы он свернул, не разворачивая. Реальная политическая жизнь, держащаяся осознанием людьми своих интересов, не началась. А подорвав этим широкую опору, которой пользовался сперва, но не имея возможности после Горбачева целиком возродить прежний тоталитарный порядок, он надеялся на наращивание авторитарности, наращивая вес силовых структур. А даже Сталин был осторожней, не забывал о первостепенной значимости идеологического пресса, и не допускал сближения разных силовых структур. Армия и КГБ в сталинской системе были противоположностями, службы КГБ пронизывали армию, и уже одно это мешало офицерам им доверяться. Противостояние КГБ и МВД тоже известно. Или Ельцин, после 1993 года твердо контролировавший все силовые структуры не видел опасности в их сближении?

Или уже в 1995 году он не понимал, что война подрывает гражданское государство не только милитаристским духом и повседневностью насилия, но и опасностью объединения силовых структур и их возвышения над официальным правлением, у нас и так часто формальным? Или заключение мира с Чечней после первой войны Ельцин не зря поручил не своим доверенным лицам, а нелюбимому Лебедю, который, противопоставив авторитет боевого генерала генералам-неудачникам, смог заключить мир? Но Ельцин не воспользовался его успехом и, полагаясь на фантастическое соотношение сил, чуть не сто к одному, при самолетах, ракетах и танках лишь на одной стороне, начал новую войну. А отказавшись от демократических реформ, и опираясь и в гражданском правлении уже прямо на силовые органы, он трех последних премьеров тоже призывал оттуда, и армия в нынешней войне оказалась под прямой командой человека из КГБ, чего с 1917 года никогда не было. Андропов, нередко даже воспеваемый, как человек из того же ведомства, возглавил его все же, в отличие от Путина, не как кадровый работник, а как партийный комиссар. Устинов возглавил армию как организатор вооружения. И это давало обоим не столь одностороннее понимание реальности.

Не будем гадать, чего ждать от наперед объявленного неизбежным президента Путина, известного покамест лишь

неограниченной готовностью убивать. С такой репутацией к высшей власти не приходил еще никто, даже Сталин, в изобилии проявивший ее по ходу дела. Путин открылся наперед, чем и завоевал у части сограждан популярность. Инакомыслящим его не остановить уже потому, что слишком различны их собственные мысли. Не сопоставляя главных персонажей, нынешнюю российскую ситуацию можно сопоставить с немецкой в 1933 году. Одни считали необходимым остановить коммунистов во главе с Тельманом, и, президент Гинденбург, хоть презирал Гитлера, продвигал его, и 37% голосовали за него. Другие считали необходимым остановить национал-социалистов, и 30% голосовали за Тельмана. В сумме 67% немцев проголосовали за тоталитарный режим, хоть и разной окраски. А была другая возможность, за которую были прежние лидеры компартии Брандлер и Тальгеймер, предлагавшие выступить против Гитлера в союзе с социал-демократиями и либералами, создать нечто вроде народного фронта, позднее возникшего во Франции и сохранившего там демократию. Сталин объявил их предателями и через Коминтерн заменил Тельманом. Результат известен.

Зюганов выдвинет свою кандидатуру и получит меньше голосов, чем Путин. Но и неизбежность этого не учит российских коммунистов (меж которых, увы, ни Брандлеров, ни Тальгеймеров уже нет) не выдвигать своего лидера, а поддержать независимого кандидата, способного поддержать не строевое единство, а национальное примирение. Может быть, его знамя мог бы поднять генерал Лебедь, или другой генерал, тоже, в силу своей профессии и опыта, сознающий опасность размахивания ядерным оружием и щегольства средствами доставки, вроде Воробьева или даже Громова. Может быть, штатский человек способный объяснить, что страна Пушкина и Менделеева, Толстого и Сахарова великой будет вечно, и преступно жертвовать ее благоденствием ради величия всенародной голодухи. Другого знамени для защиты от Путина уже, показавшего большие способности к диктатуре и к прямой лжи и никаких других, к несчастью, уже нет.

КРОТ ИСТОРИИ

Недавно мне довелось повидаться со старым другом и снова обсуждать, есть ли еще у отечества надежды на демократию и благоденствие. Я стал их терять, когда Ельцин слез с танка, на который смело забрался в августе 1991 года. Уже в ту пору мне казалось, что он исчерпал себя в роли демократического лидера, а "либерализация цен" и "приватизация", как их "обустроили", да еще при авторитарной конституции, независимо от воли авторов, влекут страну вспять.

Острее всего мы спорили в 1996-м. Мой друг голосовал за Ельцина, уверяя, что иначе неизбежна победа Зюганова и возрождение коммунистического режима. А я голосовал против обоих, поскольку избирательный закон обещал, что если против обоих будет больше голосов, чем за каждого, то назначаются новые выборы, в которых прежние кандидаты вправе участвовать. Провал ложной альтернативы позволил бы стране выбрать президентом человека, который не был коммунистическим функционером. Как чехи выбрали Вацлава Гавела, а поляки Леха Валенсу. Это позволило им провести всамделишные реформы, и хоть не все у них и ныне хорошо, но сильно лучше, чем у нас. А победа Ельцина, естественно, привела к Путину и нынешним спорам.

Не то что мой друг рад простереться ниц перед властью, вопить: "Путин - наше все" и уверять, что Путин – демократ, поскольку сотрудничал с бывшим питерским мэром А.А. Собчаком, ныне, увы, покойным. Тем не менее надежды, что можно с прежним руководством создать новое государство, увядшие было за последние ельцинские годы, в старом товарище ожили опять. Он мне указывал, что Путин обещал ввести в стране свободную экономику, а это и впрямь самое главное, остальное тогда приложится, и рано или поздно восторжествует не показная, а реальная демократия. И все поминал великого философа, сказавшего: крот истории роет глубоко. И спрашивал: почему же ты не веришь, что Путин действительно хочет открыть дорогу свободной экономике?

А я, между тем, охотно верю, что он этого хочет, совершенно так же, как верю, что Владимир Ильич Ульянов, тоже пришедший к власти в 47 лет, искренне хотел принести свободную и счастливую жизнь всем труженикам земли и, во всяком случае, России. Моя неприязнь к Владимиру Ильичу вызвана, прежде всего, тем, что, при разгоне Учредительно-

го Собрания, его гениальный ум ему не шепнул, что всего через пять лет он сам признает: "Я безмерно виноват перед рабочими России" и станет писать письма к партии, призывая пополнить ЦК сотней "сверхпроверенных" рабочих, забывая, что проверять их некому, кроме тех самых руководителей, от которых он партию предостерегал.

Ленин успел увидеть, что средства, которыми он надеялся придти к цели, к ней, во всяком случае, не привели. Но его предсмертное отчаяние, запечатленное на последних фотографиях, страна оплатила слишком дорого. Когда силовую машину Лубянки завели, преемник уже мог ею пользоваться по своему усмотрению и физически уничтожить не то что десяток, а почти поголовно всех тех, кто разделял ленинскую веру в установление лучшей жизни силой и поддерживал разгон Учредительного Собрания. Сталин тоже полагался на силу, и при нем победила тоже она, но не лучшая жизнь, и не важно, во что Сталин верил. Я допускаю, что Путин верит в свободную экономику, но думаю, что теперь тоже важна не вера, а последствия того, что во имя нее совершает верующий. Не в том даже беда, что Путин из КГБ. Это позволяло ему сказать: сограждане, я по опыту знаю эту преступную организацию, и горько сожалею, что по молодости ей прельстился, но теперь мы будем строить жизнь иначе. А он, как известно, напротив, высказавшегося в таком роде, когда это было еще рискованно, своего бывшего начальника Калугина объявил предателем. У него на глазах сильное советское государство было не слишком эффективно – и в Афганистане, и в создании новой техники, и в уровне жизни людей, – но на это он закрывает глаза. Он говорит о сильном государстве, более всего веря в силу. А если советские годы чему-то учили, так тому, что не все осуществимо силой. Эффекта, которого ждали Ленин, Троцкий, Бухарин и другие силовики-идеалисты, она не дала. Но зная все это Путин ставит телегу силы впереди экономики. Или все же не свободная экономика – главная его забота?

Буквально на днях он заявил: "Фактор военной силы является важнейшим для сохранения стабильности в России, обеспечения ее целостности и суверенитета". Бесспорные суждения смешаны с очень сомнительными. Для сохранения независимости нашей родины, ее суверенитета военная сила и впрямь жизненно необходима, и можно бы только радоваться, если новый президент приведет армию в соответствие с реальными внешними угрозами, улучшит ее техническую оснащенность, увеличит материальное обеспечение

солдат и офицеров, резко подняв их оплату, сократит численность и сроки службы, и, станет ли армия наемной или будет по-прежнему формироваться по призыву, установит, что солдат срочной службы ни при каких обстоятельствах нельзя посылать стрелять в сограждан.

А для сохранения целостности военная сила хороша, лишь когда на эту целостность посягает внешний враг. Сама возможность удерживать те или иные части страны, желающие из нее выйти, военной силой, меняет статус государства, превращая его в колониальную империю. Понятно, в том, что Санкт-Петербург отделится, - а есть уже партия, за это ратующая, - ничего для России, да и для города, хорошего нет. Я – убежденный противник такого отделения, и заявлял это публично. Но еще меньше я хочу, чтобы на мой город бросали ракеты и вакуумные бомбы. Тут надеяться надо не на военную силу, а на политику, признающую особые интересы разных регионов, находящую и создающую мирные стимулы к согласию.

И уж совсем удивительно заявление, что военная сила – важнейшее средство поддержания в стране стабильности. Оно явно предполагает использование армии против населения, пусть и не отделяющегося, но так или иначе, даже мирно, выступающего против тех или иных действий власти. Это и есть военная диктатура. Не менее Путина желая иметь надежную военную силу для защиты нашей независимости, но сознавая ее бесплодность, если не пагубность, в других направлениях, понимаешь, что вышеприведенный призыв президента, в который он тоже, видимо, верит, не укрепляет, а подрывает стабильность и целостность страны. Еще меньше возможности силы и сильного государства в экономике.

Стоит помнить, что поначалу буржуазия нуждалась в государстве лишь как в "ночном стороже". Сегодня этим не обойтись, за государством важные финансовые и социальные проблемы, да и суд, без которого экономическая свобода перерастает в криминальную, важнейшая, но независимая от исполнительной власти ветвь государства. Конечно, не только у нас государство выступает в качестве регулятора экономики. Но его регулирование дает эффект пока не уничтожена экономическая стихия, которую оно берется регулировать. Когда же государство само ведет хозяйство или обращает каждое частное хозяйство в исполнителя своих директив, подменяя собой стихию свободной экономики, оно неизбежно приходит к обратному результату. Не зря госу-

дарственные предприятия как правило убыточны. Советская власть на том и погорела, что была всевластна и покончила со стихией как таковой, – вот ей и остался хаос ее аппарата, никакому продуктивному регулированию не поддающийся. Законодательная ветвь государства должна создать правовые условия, в которых свободная экономика возможна, тогда исполнительная власть будет не командовать хозяйством, а исполнять предписания закона и судебные решения, а судебная - в каждом конкретном спорном случае определять соответствует ли закону поведение граждан и, не в меньшей мере, самой исполнительной власти. На государство в развитии хозяйства нельзя полагаться вовсе не потому, что всякий чиновник - непременно вор и взяточник, а потому, что и кристально честный чиновник не может знать наперед, какое конкретно предприятие будет работать успешней, – это выясняется только на практике, в конкурентной борьбе. Ленин, пока сам не превратил страну в супермонополию, понимал какой ущерб хозяйству наносит монополизация. Всесильный чиновник, назначенный генерал-губернатор, право увольнять избранных губернаторов и разгонять законодательные собрания, крепят государственную, и, при нашем порядке, разом и хозяйственную монополию центра. Она сковывает свободную экономику по своей монополистической природе, а не потому, что Путин хочет нас обмануть. Я не священник, и мне важно не то, во что президент верит, а то, что он делает, возможно, не вполне даже это сознавая.

И великий немец, сказавший про крота истории, и до него просветители, и задолго до них христианские апостолы, уверяли, что путь человечества – это путь к спасению, хоть спасение они понимали по-разному. Отсюда и выросла теория общественного прогресса, все еще имеющая успех, особенно в изложении Маркса, но не подтвержденная жизнью. Реальный прогресс имеет место лишь в науке и технике, да и там нередко деформируется сторонними интересами. Само собой, технический прогресс сказывается на жизни общества и общественном развитии, но не адекватно и не параллельно. Технику и производство можно перенять в более развитых странах и до поры укреплять режимы менее прогрессивные. Такое случалось не раз, но мы не всегда и не сразу понимаем, куда роет крот истории, и, как мой старый друг, верим, что он ведет вперед, к лучшему. А он роет и в других направлениях.

СОЦИАЛИЗМ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ?

Да разве меж ними надо выбивать? Разве их неразрывное единство давным-давно не стало мечтой человечества? Конечно, стало. У пленительной мечты один недостаток – неосуществима. Появление понятия "демократический социализм" свидетельствует, что сам по себе "социализм" демократию в себе не содержит. В реальном социализме, российский, немецком, китайском, кубинском, ею и не пахло.

Стремление к социализму, однако, моложе стремления к демократии. Его отсчитывают от начала XVI века, когда Томас Мор написал "Утопию". А через сто с небольшим Томмазо Кампанелла – "Город солнца". На излете средних веков рушилась привычная устойчивость. Социальной защиты, которой в какой-то мере служили подаяние, церковная благотворительность, общинная взаимопомощь, уже не хватало, чтобы голодным и сирым не перемереть. Желание преодолеть угрозу всеобщей нищеты не было абстрактным. Саму-то бедность считали идеальным состоянием истинного христианина. Кампанелла принадлежал к нищенствующему ордену доминиканцев, да и англичанин Мор – католик. Но в нараставшей бедности было не выжить, – отсюда и мечта, что утопический строй спасет, иной надежды не было.

К концу XVIII века она, меж тем, появилась. Машины изобретали и раньше, человеку они помогали, но его даже отчасти не заменяли, пока не создали паровую машину. Она открыла простор производству, способному одолеть бедность. Вместо принудительного труда и подаяния она предложила добровольный труд и заработок. Но не хватало экономической свободы. Не только свободы торговли от государственных стеснений, борьба за которую, кстати, тогда же в Англии и развернулась, но и от других препон росту производства, от преград личной инициативе и личной готовности к риску. Угадать, кто и как лучше ответит спросу, невозможно, и к экономическому состязанию надлежало допускать всех.

Экономическая свобода сперва оттеснила заботу о социальной защите. Заработок позволял обойтись без подаяния. А демократия экономическую свободу укрепляла, и Англия первенствовала в промышленном производстве не только потому, что паровую машину изобрели там, но, быть может, еще больше потому, что там с феодальных времен государство опиралось на демократический институт — пар-

ламент — и демократические навыки. Демократия уже тем политически адекватно воплощала свободу экономики, что сама была выражением взаимной терпимости и подвижным компромиссом участников хозяйственной жизни общества.

Но в силу компромиссной природы демократии вскоре четче зазвучал и голос социальной защиты, компенсирующей стремление свободных производств к рентабельности, нередко оставлявшее других голодать. Начавшись в Англии в первой трети XIX века требованиями сократить рабочий день, тяга к социальной защите обретала социалистическую окраску, тоже ища спасения в идеальном общественном строе. Но в английском рабочем движении прагматизм не давал его оторвать от конкретности социальной защиты. Уже к середине прошлого века вроде стало ясно, что экономическая свобода, политическая демократия и социальная защита — непрременные условия развития индустриального общества.

Прошло полтора столетия, общество уже именуется постиндустриальным, к паровой машине прибавился компьютер, но три условия развития хозяйства и терпимой жизни остаются непрменными. Однако одни поныне норовят обойтись без социальной защиты, заново повторяя опыт первых предпринимателей, и уверяют, что, не пройдя стадию "дикого капитализма", хозяйственных успехов не достичь. Их не тревожит мысль, что люди, сегодня, возможно, и впрямь не нужны "дикому капитализму", ни как труженики, ни как потребители, жизненно необходимы развитию завтра. Другие, напротив, не видят нужды в экономической свободе, а, тем самым, и в частной собственности, равно как и в политической демократии, свято веря, что государство даже лучше наладит хозяйство, поскольку будет производить именно то, что считает нужным обществу. Этим тоже не тревожит мысль о людях, из которых состоит общество, о том, что нужно им, равно как не терзает вопрос, почему при идеальном строе государственная оплата трудящихся, как правило, ниже, чем частная при дурном. Возникают и гибриды, отвергающие разом все три условия развития хозяйства, как в России при Ельцине, — земля осталась государственной, производство ведут полугосударственные монополии, подконтрольные государству, а социальная защита сошла почти на нет.

Социализм как бы сохранял социальную защиту, но ирония в том, что в хозяйстве, ориентированном не на инди-

видуальные, но лишь на "общие", "государственные", потребности, заработок, сведенный, как правило, к прожиточному минимуму, сам стал почти единственным видом социальной защиты по принципу «кто не работает, тот не ест». Государство – монопольный предприниматель и монопольный работодатель, – взяв на себя жалкий минимум социальной защиты, думать не думало о стоимости рабочей силы и самом ее рынке, и этим исключило трудящихся из экономического процесса, тем самым лишив их, реального места в обществе. Наше общество потому и объявили бесклассовым, что ни за одной социальной группой особых интересов в социально-экономическом процессе при социализме не признали. Создатели английского парламента, не твердые в учении о классовой борьбе, понимали, что свои интересы есть у каждого социального слоя, и признали необходимость избрания в парламент представителей разных слоев, хоть еще и не всех и не пропорционально. Советские марксисты не видели в этом нужды, поскольку классовое строение социалистического общества отрицали. И лишив трудящихся права отстаивать хотя бы адекватную оплату рабочей силы, им все же оплачивали больничные дни и давали другие жалкие подачки. Немудрено, что при Ельцине, их еще фактически уважавшем, а реального рынка рабочей силы не создавшем, немалое число людей затосковало по прежней, хоть и скудной, но более надежной жизни, и голосовало за коммунистов. Так и не став субъектами экономической свободы, миллионы тружеников разуверились в Ельцине.

Увидев в свободе лишь причину возросшей бедности, люди забыли главную черту социализма – отказ от частной собственности на средства производства. Забыли, что без нее социалистическим странам, даже при выдающихся успехах отдельных производств, в целом было не выстоять в состязании с Западом, и нашу страну разорил не Горбачев, как им кажется, и даже не так Ельцин, как хозяйствование государства. А уверяя, что социальные гарантии могут быть успешны, указуют на страны, где дань частной собственности социальной защите больше, чем в советском государстве.

Экономические преимущества частной собственности объясняют по-разному, – и большей заинтересованностью частного собственника в рентабельности, и большей его ответственностью от сознания, что рискует он собой и своим достатком, а не другими людьми и казенным имуществом, и,

с другой стороны, бюрократизмом и коррупцией казенного управления, и, опять же, приоритетом при социализме государственных нужд перед индивидуальными. Хотя эти и прочие объяснения справедливы, тщетность усилий социализма в "соревновании двух систем" вызвана другим.

Даже у глубоко изученных в научно-технических и организационных ракурсах производств, за оградой – океан неведомого. Природа, из которой растет производство, равно как общество, для которого оно растет, не могут быть столь упорядочены, как само производство. Это стихии. За стихией рынка, обращенной непосредственно к производству, различимы голоса других, натуральных и социальных. А перед лицом стихий важны не так и даже не столько средства безопасности, как способы ориентации, помогающие не только выжить, но и обращать стихии во благо себе и людям.

В постижении и укрощении стихий первенствуют личные усилия, нередко героические, однако оправдывающие себя далеко не во всем. И у отдельного человека в противостоянии стихии есть преимущество перед могучим государством: он может быть смелее уже потому, что ошибка или незнание тут, как правило, и губят его одного, тогда как государственная ошибка запросто становится роковой для многих, для страны, и самого государства. При всех преимуществах, какие есть у монополии, особенно государственной, она свое развитие стреноживает, а множественное конкурентное хозяйство, в котором разоряются отдельные участники, в целом успешно развивается. А государство, ведущее хозяйство, это даже сверхмонополия, и склонно к внеэкономическим методам. Как гоголевская невеста мечтала соединить дородность Ивана Павловича с развязностью Балтазар Балтазаровича, все еще мечтают соединить социализм с демократией, и неудачи объясняют случайностями, – то вождь плохой, то народ, то климат, то еще что-нибудь, а беда в том, что, игнорируя социальную дифференциацию, внеэкономическая диктатура лишает общество демократической саморегуляции. Эту диктатуру можно называть диктатурой закона, диктатурой благих намерений, диктатурой любви, дело не в названии. Но любовь сильна взаимностью, и общество тоже, а если вместо любви – руководящая сила, демократии места не остается.

ПАМЯТИ БУРТИНА

На смерть Юрия Буртина откликнулись немногие. Человек известный, он был не из шумных знаменитостей журнализма, номенклатуры или диссидентства. Между тем, это едва ли не самая большая утрата демократически мыслящей России после Андрея Сахарова. Его присутствие в общественной жизни вынуждало признавать, что в вихре косметических перемен не вовсе забыты давным-давно надобные стране глубинные перемены, ради которых она не раз вставала на смертный бой сама с собой, и которые ей все не давались.

Ельцин свел политику к демонстративному и потому никчемному противостоянию коммунистам, из рядов которых вышел. Никчемному не только потому, что преступления КПСС и КГБ не были обнародованы, обдуманы и осознаны, а архивы остались закрыты. Но и потому, что коммунистическое движение изображают джином из бутылки, напустившимся вдруг на Россию. Почему этот джин носит нимб борца с самодержавием, которое он-то как раз, и укрепил в другом виде (вместо царя-самодержца генсек-самодержец), ни Бориса Николаевича, ни его псевдо-демократическую свиту не занимало. Они торопливо забывали недавнюю историю отечества. Борьбы за освобождение крепостной и полукрепостной России для них как бы и не было. Уже уверенно твердили, что декабристы, революционные демократы и народники именно и дали власть советской номенклатуре. А и без архивов известно, что она пачками убивала не то что эсеров, продолжателей народников, но и большевиков, не забывших о целях освободительного движения, то есть, большинство своих былых товарищей.

Буртин, как историк литературы по образованию, не обличал по пересказам, а сам читал и Герцена, и Чернышевского и Добролюбова. Он видел, чем большевики-ленинцы, коммунисты-зюгановцы, и «анти-коммунисты» - ельцинисты от них отличаются. Он первым исчерпывающе называл ельцинскую эпоху: «Номенклатурная приватизация», «Украденная революция». Субъекты его размышлений – не Ельцин, Зюганов, Гайдар или Путин, а общество, народ. Он не впадал в народопоклонство, но понимал, что надо покончить с положением, «при котором народ бесправен и безгласен, при котором рядовой человек лишен возможности воздействовать на ситуацию в стране, предопределяющую

во многом и его личную судьбу, когда он бессилен перед хапугой-чиновником или самодуром-«работодателем», не знающими над собой никакого закона, и ни органы власти, ни партии, ни профсоюзы пальцем не пошевелинут, чтобы защитить его от произвола». Можно спорить, как с таким совладать, но необходимые России перемены обозначены.

Буртин не раз упрекал в равнодушии к ним ту часть интеллигенции, которая, прельстясь послаблениями, поневоле допущенными властью в ходе кризиса, слепо поддерживала эту власть, отвлекаясь от ее природы и социальной реальности. Упрекал справедливо, хоть перемены застряли не от одной подлости людей, оправдывавших, чтобы попасть в новую номенклатуру, что им прежде и не мечталось, даже войну в Чечне. Человек следующего поколения, Дмитрий Фурман, во многом с Буртиным согласный, тут, однако, сказал: «Какая элита – такой и народ, какой народ – такая и элита».

Сетуя на «силовое навязывание народу либеральных и буржуазных реформ», Фурман счел, что даже возврат власти КПСС был бы не отказом от демократии, а ее развитием. Но Россия – не Польша, где революционные преобразования состоялись, и коммунист Квасневский уже не мог бы мирно восстановить сломанное годами правления Валенсы. Да и в польской компартии верх к тому же взяло либеральное крыло, а в России фундаментализм молодой компартии РСФСР.

Вину не разделить меж народом и либеральной интеллигенцией, тем более, что «перестройку» затеяли не те и не другие, а более дальновидная часть верхушки партии. Ощутив масштаб кризиса, к которому КПСС привела страну, и надеясь «революцией сверху» упредить революцию снизу, неизбежную, если жить по-прежнему, сама КПСС «навязала» перестройку. Руководители, ощутившие кризис, – а это, конечно, не только Горбачев, Шеварднадзе и Яковлев, но и Лигачев и прочие вожди, за немногими исключениями, – смутно понимали в чем этой революции сверху надлежало состоять. К тому же, в «перестройке» сомневалось большинство среднего слоя номенклатуры, возможно, и не ведавшего реальное положение вещей. Либерально настроенная интеллигенция сперва лишь использовала щели гласности, чтобы вставить словечко. А народ в своей массе был пассивен, хоть на введенных Горбачевым выборах уже проваливал партийных руководителей. Но отношение народа к «перестройке» сказалось 19 августа 1991, когда толпы лю-

дей вышли против ГКЧП и никто не вышел его поддержать, хоть безопасней быть заодно с танками, чем против них.

Возражая Буртину, Фурман считал, что «народ не может быть другим». А народ, хоть и не был инициатором перемен, в роковой день вел себя недвусмысленно. Иным он стал полгода спустя. И одновременно раскололась либеральная интеллигенция. В руках Ельцина были главные средства массовой информации – телевидение, радио, и крупные газеты, и не забыто, кто шел за ним. Однако, другая часть интеллигенции, которую знают хуже, поскольку у нее не было возможности говорить с народом, составила не столь уж малую, хоть и реже слышную, демократическую оппозицию, в которой Буртин был целиком, а Фурман, – лишь отчасти. Около десяти процентов собирал на выборах Явлинский, до окончательной победы Путина державшийся довольно стойко, а еще процента два избирателей голосовали против всех. Они и составляли российскую либеральную интеллигенцию, в немалой части не поддавшуюся даже таким умелым организаторам ельцинских избирательных кампаний, как Чубайс и Малашенко. Неужто всю ее винить за то, что не могла пробиться к государственному микрофону? Мог ли, опять же, народ, под властью вчерашних коммунистов, ряженных демократами, различить, что противостояние вчера перекусившихся коммунистов оставшимся откровенными – искусственно, что положение могли бы изменить лишь настоящие демократы, голос которых до людей не допускали? Наивно ожидать, чтобы рядовые люди, оставив все усложняющуюся заботу о хлебе насущном, сами отдались разработке политических позиций. Такое выходит стихийно, как 19 августа. Сознание становится общественным либо в условиях свободы, дающей каждому слою общества обдумать свои интересы, либо стихийно, если жить уже совсем невмочь.

Если российский народ себя не защитил, это не вина его, а беда, обусловленная во многом тем, что и дальновидные силы КПСС во главе с Горбачевым были не слишком все же дальновидны, надеясь на постепенные административные перемены, без народного соучастия. Они недооценили враждебность к переменам аппарата своей власти, особенно его вооруженной части. Вот и дожили до ГКЧП.

Но ответом на ГКЧП стала не только минутная народная инициатива. Его провал поощрил средние слои номенклатуры, к тому времени рассредоточившейся меж компарти-

ей, Верховным Советом РСФСР и окружением Ельцина. Хотя они-то и были, – единодушно предпочитая авторитаризм, если не прямо тоталитаризм, – главной надеждой ГКЧП, они повели себя по-разному. Компартия сочувствовала ГКЧП. А Верховный Совет и Ельцин, благодаря провалу ГКЧП, добив Горбачева, стали высшей властью, заплатив за это распадом СССР, все равно назревающим.

Ельцин и Верховный Совет сообразили, что привычные привилегии и порядки возможны не только в привычных одеждах под привычным красным знаменем, что авторитарно-элитарную власть можно вырядить и демократической. Борясь за власть и привилегии эти группы тоже потом расходились и даже шли друг на друга с оружием, одни атаковали телецентр Останкино и московскую мэрию, другие в ответ – Верховный Совет. Но еще до того обе отказались созвать Учредительное собрание, призванное определить как новой России жить дальше, и страну охватили гайдаровские «реформы».

Люди не от «народной отсталости» отвернулись от «демократии», под флагом которой прошел «шок без терапии», не давший демократической оппозиции возражать. Скорей проявилось народное чутье к природе нового режима, иными методами осуществившего цель ГКЧП, не давая ходу революционным переменам, сведя их к переодеванию. Отсюда и открытое реставраторство Путина, и в память Сталина выпившего, и с гекачепистом коллегой Крючковым свидевшегося. Но корить Путина за откровенность так же странно, как народ за «отсталость».

Куда полезней взглядеться в складывающиеся социальные отношения, что как раз и делал Юрий Буртин. Без него понимать начавшееся за поворотом будет много трудней.

СТРАНА ВСЕ ТА ЖЕ, ДРУГОЙ НЕТ

Восторги в связи с причислением отечества к сонму демократических государств сменил похоронный звон. Кто только нынче не сетует, что «Россия гибнет, России больше нет». А «мы живем в другой стране» звучало и до Горбачева, - и после 1917, и после 1861, и после Петра. Иные все-речь говорят, что постмонгольская Русь, вообще, не та страна, что домонгольская. Но мы потому только вправе звать страну отечеством, что, как она ни менялась, обращали ее в христову или в марксову веру, шла ли речь о битве при Калке или у Прохоровки, это была страна наших отцов и отцов их отцов. Перемены и их причины бывают разные. Не всякий отказ от вчерашнего - гибель, порой он - спасение. Дорожащие вчерашним укладом именуют себя патриотами. А великий поэт, видя пороки отечества, признавался: «Да и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне». Хоть и хотел ее видеть новой Америкой.

Россия в ужасном положении, большинство граждан, усердно работающих, готовых работать или всю жизнь отработавших, не имеет средств к существованию. Откуда это главное наше бедствие и как с ним совладать? Ответы расходятся. Одни считают, что зло в демократии, перенятой, как прежде христианство и марксизм, у инородцев. Другие убеждены, что власть с народом не считается, и так нам и жить в нищете. Третьи взывают к геополитике и верят, что Россию губят США, НАТО и МВФ, советовавшие Ельцину дурное. Прочие ответы сводимы к этим трем.

Одно непонятно, а мы-то сами где были? Голосовали за Ельцина, как за «меньшее зло»? Или за Зюганова, сулившего вернуть страну к вчерашнему? Да и как, при том, что оба были и прежде не последними меж правителей, она дошла до жизни такой? Не само ведь сделалось, что покупали в Америке хлеб. Бедность, хоть не столь откровенная, царит у нас давно. Куда же все шло? Не только ведь на ожирение безмерного числа начальников. Не только на ненужную гонку вооружений. Просто не щадили затрат. Не потому не щадили, что Сталин или Брежнев арифметики не знали. Знали. Все видели. И даже порой проговаривались. Да хозяйство устроили так, что, дыша не прибылью, а приказом, оно заведомо убыточно.

Когда матрос Железняков, разогнал Учредительное собрание, а потом - чекисты пресекли разговорчики, стало не

просто даже уклониться от соучастия, а публичный протест становился самосожжением. Это избавило начальников и, тем более, рядовых граждан от чувства ответственности за происходящее. Установилось до нас. Но обидно. Вот и винят в бедах других. Французы все не простят американцам, что те в XX веке дважды их спасали. А мы все не поймем, то ли «заграница нам поможет», то ли она нас губит.

На деле, однако, о нас там думают не слишком много. Преимущественно об угрозе наших ракет. Рейген был, пожалуй, единственный, кто говорил с нами на равных, на том же языке. А до него нас чаще старались задобрить. Хотели бы сгубить, не продавали бы хлеб, - конечно, они теряли бы доходы, но мы – жизни. За последние десять лет кучу денег дали нашей власти, и в долг, и без отдачи. Другой вопрос, на пользу ли это шло, и кто и на что те деньги тратил, но нужно богатое воображение, чтобы твердить, что то были козни, а не глупость. А твердят именно это, дескать, Америка и после холодной войны ведет против России крестовый поход.

Громче всех эту идею популяризует Борис Кагарлицкий в демократической «Новой газете». Для объективности он нашел американца, известного советолога Стивена Коэна, и впрямь сразу говорившего, что демократические реформы ни до чего хорошего нас не доведут. Поскольку ничего хорошего у Ельцина и впрямь не вышло, легко решить, что Коэн оказался прав, и поверить Кагарлицкому, что именно из-за своей дальновидности и откровенности он вышел из моды в Америке, кидавшей в Россию деньги, чтобы ее сгубить.

Но как же все-таки так? Разве интерес к советологам, - Коэн не исключение, - не оттого пропал, что они, как выяснилось, слабо себе представляли, чем на деле живет советская страна и никак не предвидели предстоящего краха? Для них он стал полной неожиданностью. Уже западное радио передавало записку советского социолога Татьяны Заславской в ЦК КПСС о состоянии страны, уже Андропов, а за ним еще отчетливее Горбачев, давали понять, что система нуждается в ремонте и даже перестройке, а советологи все твердили, что Советский Союз прочен и нерушим. Неужто Кагарлицкий забыл, как советологи разом вышли из моды? Или надеется, что другие забыли?

Да и свои дурные предсказания Коэн мотивировал тем, что «полностью приватизированная система «свободного рынка»... противоречит традициям России». То есть, не в том, по Коэну, беда, что Ельцин со своими Гайдарами и Чу-

байсами уклонился от подлинных экономических реформ, чем и усугубил кризис системы, обострившийся с середины семидесятых, а беда в самом намерении перейти к экономическим отношениям, где хозяйство живет прибылью, а не приказом. Левый социал-демократ Коэн видит зло в отказе Ельцина от «социалистической» системы, словно не она пришла к краху. А на деле зло в том, что Ельцин и подсознательно, и сознательно держался за эту, привычную ему систему, за ее авторитаризм. «Социализм» не в цитатах из Маркса и Ленина, он управится без них, лишь бы встать попереk экономической свободе, не дать хода вольному крестьянину, мелкому и среднему предпринимателю, и свести реформы к передаче госимущества в управление кучке подобранных лиц, знающих свое место и помнящих, что владения при них, пока они служат власти.

По меньшей мере, наивно предъявлять претензии к Америке за то, что она не взяла на содержание советский социализм. Не слишком убедительны и упреки прибывавшим отсюда и из Европы некомпетентным советчикам. Никто не вынуждал Ельцина, Гайдара и Чубайса следовать их советам. А соросовские стипендии, между тем, поддержали сотни учителей и реально помогли тысячам детей у них учиться, даром что наши власти облагают благотворительность налогами. Впрочем, еще великий Растрелли заметил, что России свойственна неблагодарность. Но отсюда не следует, что Запад вовсе не при чем и ни в чем не виноват. Виноват и оцутимо, но не в крестовом походе.

Профессор Нью-Йоркского университета Стивен Холмс, рецензируя книгу Коэна, исходит из того, что «Владимир Путин ... не может демонтировать демократию, ведь, когда он пришел к власти, ее в России и не было». Прежние западные советчики, журналисты и политические лидеры не замечали ее отсутствия. Они усердно твердили, что Россия стала демократической страной, приняли ее в восьмерку, ходили с «гарантом демократии» Ельциным в сауну и, вообще, были на дружеской ноге. Президент Соединенных Штатов Клинтон даже уподобил войну Ельцина против возвращенных из изгнания чеченцев войне Линкольна против рабовладельцев южных штатов, а захват нашей армией Грозного величал освобождением. Осуждая это, Кагарлицкий, конечно, прав. Но предвзято решив, что американцы хотят навязать России свои порядки, он проглядел, что они уже заявили, что у нас такие порядки почти установились, хоть этим и не пахло.

На деле шла давняя политика задабривания, или, как некогда говорили, умиротворения. Внезапной российской ядерной атаки Клинтон уже не боялся, но страх перед хаосом, способным запросто у нас возникнуть, побуждал помогать Ельцину, чтобы тот держал ядерные ракеты под контролем. Запад хочет, чтобы в ядерной России власть была сильна именно в том смысле, который популярен у нас, то есть способна держать страну и население под полным контролем. Чеченская война показала, что и Ельцин этого жаждет, вот Запад его и поддерживал, а о Чечне мямлил позорную чушь. В остальном мы не слишком ему интересны.

Нам про перемены надо думать самим и понимать, чего мы хотим. Швеция, к примеру, в XVII и в начале XVIII века тоже была великой державой, сотрясавшей Европу, но давно, никого не завоевывает, а живут чуть не богаче всей планеты. Дорожащие нищим величием больше, чем благодеянием граждан, не вправе сетовать на демографию. У нас тоже есть другие возможности, и погибать России не обязательно.

Популярный телекомментатор Сергей Доренко недавно, в связи с очередными выборами, объявил, что не только в наши дни, а никогда у русских не было выбора. Но это неправда. В конце 1917 года крестьянская страна отдала в Учредительном собрании большинство мест крестьянской партии эсеров. Она выбрала здраво, но ее выбор растоптал человек с ружьем. Не только Ленин. Депутатов Учредительного собрания, хотевших отстоять демократию за пределами столиц, не менее успешно разгоняли белые генералы, и остался выбор меж Лениным и Деникиным, Колчаком и Троцким, Врангелем и Сталиным, и выбрали неведомое зло, надеясь, что оно меньше знакомого.

Клинтон и его Тэлботы вправе счесть Ельцина меньшим злом, чем Зюганов, хоть и он не отверг, вопреки уверениям Козна и Кагарлицкого, а только переукрасил «социализм». Но они нас убеждают, что Ельцин сам по себе благо. Ему дали авторитетный диплом демократа, сбив с толку миллионы, прежде понимавшие под демократией иное. А Ельцин не сделал ничего, чтобы спасти сограждан от валившихся на них осколков рушившегося советского хозяйства, и люди верили своим глазам, своему быту, а не Клинтону, и вместо того, чтобы полюбить Ельцина, возненавидели демократию. Чтобы добиваться ее благ, нужно открыто, мирно и здраво разбираться в происшедшем. Если позволят обстоятельства.

ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ

Русский язык обогатили словом "политтехнолог". Явление, вроде, не новое. Политики издавна думали о технологии власти. Новое слово вошло в обиход в силу разделения труда. Ныне одни сочиняют технологические проекты, сами к власти как бы и не стремясь, а другие по этим проектам ее получают. Прежде такого деления не было, крупнейший политтехнолог России Ленин был и одним из крупнейших ее политиков.

Не было другого видного политического деятеля так много и упорно думавшего о теории и методике политических действий, обдумывавшего как, вообще, организовывать революцию, как подымать восстания или вести гражданские войны. Этому у него учились и люди совсем других взглядов. Автарханов исследовал эту его технологию, вросшую в мировоззрение, ставшую важнейшей его частью. Ленин разрабатывал политическую технологию для себя, для своей партии, предавшей, конечно, его идеалы, но поныне верной его политическим методам.

Обособление методики от идеалов, самим же Лениным совершённое, и толкнуло к разделению труда технолога и политика, и политтехнологами числят людей несопоставимого с Лениным масштаба, вроде Кургиняна, Миграняна или Глеба Павловского. Нынешние политики, в отличие от Ленина (и даже Сталина и Гитлера), верят, что возможна методика вне идеологии и вне социологии. Сталин, следуя за Лениным, еще сознавал, что свободное крестьянство порождает капитализм, и чтобы его не допустить, стал, по слову поэта, мужикоборцем, разработал методику ликвидации русского крестьянина, его преобразования в колхозника. Практика Ельцина и Путина, говорящих о "рыночном хозяйстве", но тоже не жаждущих возрождения свободного крестьянства, потому и обходится чистой технологией без идеологии, что никакой идеологией свободный рынок с колхозным крепостным правом не увязать.

В сталинской идеологии реальность все же проступала хотя бы тем, что крестьянина объявляли кулаком и губили как такового. Ныне социальной структурой не интересуются, для власти общество – не система социальных отношений, а сброд, который надо держать в руках. Она думает не о гармонизации разных, но необходимых или неизбежных составляющих общества, а об их унификации. Оттого и забота

лишь о том, какой методикой толпу легче успокоить и оболванить. А начинать бы надо не с "либерализации" цен, а с опознания структуры общества и выяснения ее ценников.

Опознание затруднено тем, что общество подвижно, некогда крестьянская Россия стала городской. Порой политические перемены побуждают заявлять, что мы живем в другой стране. Технологическое мышление верит, что от переименования Верховного Совета в Государственную Думу люди, туда помещаемые, меняются. Между тем, власть тоже узнается по плодам, по тому, как при ней перелопачивают социальную структуру. Мало констатировать, что "процесс пошел", надо видеть – куда пошел. Затяжное сопротивление российской феодальной реакции буржуазным реформам не прошло бесследно. Феодальная структура нашей страны, при Ярославе Мудром или Иване III сопоставимая с европейскими, вопреки мощному развитию сперва подхваченной на Западе культуры, при Петре, Екатерине и Николае по спинам крепостных пошла вспять. Когда Александр II стал подводить под наше отечество новый фундамент, уже ощущалась несообразность количества земли, множества нуждавшихся в ней крестьян и того их числа, которое могла поглотить быстро развивавшаяся промышленность. К тому же, экономические преобразования не подкреплялись политическими, и вместо социального компромисса все острее становился внутренний разлад. Чеховскому Фирсу, уже не мальчику при великих реформах, воля казалась несчастьем, как нынче многим крушение привычного советского режима.

В этой ситуации большевики, как до них народовольцы, были почти неизбежны. Не потому вовсе, как писали в советских учебниках, что развитие буржуазных отношений вызвало к жизни рабочее движение, – в Германии, да и во Франции, в ту пору во многом марксистское. Европейский политический марксизм, именуемый у нас меньшевизмом, большого развития в России, как известно, не получил. А вот его антипод, большевизм, заслонившись промахами и просчетами экономической и социалистической теории Маркса, расплевался с подлинным открытием своего классика, с материалистическим пониманием истории, и, подобно народовольцам, ударился в чистый волюнтаризм, и в этом качестве набирал силу.

Думая о прошлом нашей, все той же, а не всякий раз другой, страны, надо бы видеть, почему борьба против реакции была у нас волюнтаристской, да еще перенимавшей

методы той самой реакции, против которой велась. Нам все норовят внушить, что в этой борьбе вообще не было нужды, поскольку царствование дома Романовых – не реакция, а благодать, и сам царь Николай, виновный в Ходынке и расстреле на Дворцовой, прекрасный семьянин. Получается, что волонтеры были просто злодеями. А почти все они искренне, хоть и, конечно, безосновательно, верили, что несут людям добро, и прежде чем убивать других, готовы были жертвовать собой, что и отличает их от позднейшей партийной, советской и гебистской номенклатуры.

Понятно, вооруженную реакцию самосожжениями не останавить. Государство насилия считается только с силой. Всякое отличное от казенного мнение в нем числят безумным, а политическое движение недопустимым. С чего бы вдруг Алексей Константинович Толстой, приятель царя-освободителя Александра, так прямо ему и сказал, что русская литература надела траур в связи с арестом Чернышевского? Едва ли он ценил прозу Чернышевского и уж никак не разделял его политические взгляды. Но, как здравый человек, он понимал, что благие перемены наступают, лишь сообразуясь с людским самосознанием, которое и помогает разным силам прийти к компромиссам, приемлемым для большинства. А власть хотела победы над инакомыслием, и Чернышевский до конца дней остался узником и ссыльным. И новые инакомыслящие, народовольцы, взаимоприемлемых решений уже не искали, а стреляли в царя.

Потом Николай II, сперва вынужденный революцией даровать свободы, совершил государственный переворот, изменил состав новообразованной Думы, и все еще насущно необходимая земельная реформа стала столыпинской, не оглядывавшейся на большинство крестьянства, а потом и Столыпина, в отличие от царя, еще хоть как-то сознававшего нужду в реформах, убил эсер, по совместительству служивший в охранке. Такое положение, усугубленное войной, довело до новой, Февральской революции. Царю пришлось отречься. Но Временное правительство не спешило созвать Учредительное собрание и слушать разногласия граждан. Оттого немалая их часть и пошла за Лениным, что прежним, побывавшим у власти, силам верить стало трудно.

Не хитро сегодня повторять ту бесспорную истину, что совершилась трагическая ошибка. Важней, однако, понять, почему не худшие из сограждан ее совершали и в ней упорствовали, покуда им не заткнули рты и не выстрелили в за-

тылок. А ведь большевики взяли верх еще и потому, что по другую сторону фронтов гражданской войны царские генералы душили правительства эсеров и меньшевиков, пытавшиеся править от имени разогнанного Лениным Учредительного собрания, в котором у эсеров-то и было большинство. Пора признать, что на выборах 1917 года воля России была демократически выражена с полной ясностью, но большевики-ленинцы и царские генералы, сообщая противостав воле большинства, помогали друг другу его прижать, твердя, что воюют меж собой. В итоге неведомое новое самодержавие одолело хорошо знакомое старое.

За сто лет, расстановка не изменилась. Ни Ельцина, ни Гайдара, ни Зюганова, ни Чубайса, ни Березовского, ни Путина, – зовут они себя демократами, патриотами, или тем и другим разом, – не заботит многообразие стремлений сограждан. Конечно, их симпатии не идентичны, но в одном едины. Все хотят самодержавия и нерушимой идеологии, именуя ее, одни – православием, другие – ленинизмом, третьи – рыночным хозяйством. Священные тексты не совпадают ни в чем, но в социальном обиходе читаются одинаково. Не смыслом своих слов, но технологической значимостью текста. Технология стала социальным ритуалом. Реформы, не решив общественных проблем, носят ритуальный характер.

Отсюда и недоверие к политическим идеям. Не случайно программы нынешних партий сложены из одних и тех же кирпичиков, лишь по-разному поставленных. Но отказ от идеологии, даже как вывески политической технологии, вовсе не означает, что в самой технологии нет реального идейного содержания. Оно и при советской власти не вполне отвечало официальной идеологии, еще при Ленине, не говоря о Сталине, обращенной в декорацию. Ленин реального смысла содеянного им в гонке за недостижимым, возможно, не сознавал, хоть неладное ощущал. Сталин оценил пользу и соблазн безнаказанного насилия. Да только наступившая, как назло, научно-техническая революция потребовала иного устройства общества, державу стало не удержать, что вконец скомпрометировало стократ перекореженную идеологию. Вот Ельцин ее, ради сохранения российского остова державы, и отбросил. И Путин, тоже не видя в ней нужды, пользуется политтехнологиями, и легко сочетает двуглавого орла с гимном партии большевиков. Да и велик ли меж ними разлад?

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛЕВЫЕ

В детстве слова имеют чёткие значения. Сбивают, конечно, синонимы, но они различаются областями применения. С отрочества я знал, что слово «левый» обозначает не только сторону улицы, но и сторону общества. Но любая сторона улицы могла попасть и в тень, и на солнце, а в обществе «левые» выглядели симпатичнее «правых». Левые за свободу, их преследуют, сажают в тюрьмы. Не то, что я не слышал, что в октябре 1917-го всё перевернулось, что у власти левые, а в тюрьмах — правые, буржуи. Но они ведь сами против свободы. Так бы я и прожил жизнь, деля людей на правых и левых, веря, что бомба, подложенная левыми, служит добру, а правыми — злу...

Но начались великие процессы. Судили вчерашних вождей партии. Печатали обвинительные заключения, протоколы допросов, речи прокурора. А я, двенадцатилетний мальчик, их читал, а то и слушал, часами сидя в наушниках у детекторного приёмника. Самым удивительным было, что подсудимых часто винули в левом уклоне, говорили даже «левацком». Но я не понимал, я-то думал, что быть левым хорошо, да и власть, которая судила, слыла левой. И вдруг сообразил: правые это консерваторы, они хотят, чтобы всё оставалось, как есть, а левые хотят перемен и сами меняются. Как за сторонами улицы, качество за ними не закреплено.

Великие процессы были пиком гласности, на которую советская власть на моей памяти шла. Даже в начале войны, обращаясь к народу за поддержкой, она утаивала и лгала. Даже Горбачев о многом умалчивал. А тут открыто, на глазах у всего мира, именем революции судили людей, совершивших революцию, в измене которой их обвиняли двадцать лет спустя. А обвинитель, прокурор Вышинский, в октябре 17-го служил в милиции Временного правительства, и защищал ту сторону, которую атаковали подсудимые. Лились потоки лжи, вождей партии называли агентами английской, немецкой и, особенно, японской разведок, винули в убийстве Ленина и бог весть в чём. Но была выговорена и правда: наша левая власть уже не хотела слыть слишком левой, не хотела перемен. Она хотела, оставить всё, как устроила.

Для подростка это было ужасное, но благодетельное открытие. Не то что советская жизнь представлялась мне

очень уж хорошей, но сознавая и себя левым, я надеялся на перемены и верил, что власть тоже хочет перемен, как всюду писали. Я был октябрёнком, вступил в пионеры, побывал даже председателем отряда, но после процессов пришла пора вступать в комсомол, и я отговаривался, что не считаю себя достойным — так и не вступил. На том моя политическая жизнь и кончилась, отчего реальная жизнь легче не стала.

Даже по правленным текстам было видно, что процессы отрететированы, и когда Крестинский или Бухарин возражали прокурору, председатель ставил их на место. Но я не так сочувствовал подсудимым, как был потрясён выставлением напоказ нового лица советской власти. За двадцать лет она из левой сделалась крайне правой, и когда вскоре вступила в союз с немецкими национал-социалистами, удивлялись лишь те, кто преобразования не заметил. Союз вышел непрочный, но война, на время которой советская власть неожиданно для себя объединилась с народами, боровшимися за демократию, и вместе с ними победила, не изменила её природу. Напротив, продолжая именоваться левой, она, подобно Гитлеру, занялась геноцидом — истребляла ингушей, чеченцев, крымских татар, калмыков, карачаевцев, взялась уже было за евреев. Она душила не только политическую мысль, но и литературу, искусство, науку. До самой смерти Сталина страх нарастал. Но сильнее страха терзал вопрос, который ещё до войны задал великий поэт, тогда же и уничтоженный:

Кого ещё убьёшь? Кого ещё прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдёшь.

Но не только наша государственная печать звала наш порядок свободой. Всюду в мире левые, не одни коммунисты, уверяли, что в Советской России, в маоистском Китае, в полпотовской Кампучии, в кимирсеновской Корее, на кастровской Кубе, при мелких несовершенствах, живут куда лучше, чем во Франции или в Дании. И не то что это говорили дураки или невежды. Жана-Поля Сартра к ним не причислить. А он тоже уверял, что левый тоталитаризм лучше правого консерватизма, хотя по всем конкретным чертам

этот левый тоталитаризм был ультра-правым, но под левым флагом.

Природа перерождения левого движения ещё не привлекла общественного внимания, хотя это перерождение, вероятно, – главное общественное событие XX века. О перерождении задумывался ещё Троцкий, но, к сожалению, уже после того, как его оттеснили от власти. Перерождение объясняют по-разному, но коренится оно в различии политических схем и экономических реальностей. В Англии социализм стали строить мирно — тем более, что сам Маркс верил в такую возможность, — мирно национализировали промышленность. Но довольно быстро выяснилось, что в руках государства она убыточна. Китай, наоборот, к социализму шёл с винтовкой, которая рождает власть; и только потом, когда хозяйство зашло в тупик, Дэн его укрепил улучшенным подобием нашего НЭПа. Но поныне оставшиеся государственными заводы работают в убыток. В Англии и в Китае всё разное, а социалистические заводы одинаково убыточны. А у нас и колхозы были убыточны, и концы с концами сводили за счёт общегосударственной казны, пополнявшейся за счёт полезных ископаемых, не говоря о затягивании поясов.

Но признать, что социалистическая система неэффективна, не хотят поныне. Между тем, эффективная буржуазная система не дарит счастья всем, да ещё равного, и недовольные ищут ей альтернативу. Альтернативы покамест не видать, люди способны лишь создать страховку, защиту, гарантии на случай неудачи. Но парадокс в том, что такие гарантии тем более успешны, чем выше буржуазное развитие. А у стран полуфеодалных, лишь вступающих на буржуазный путь, нет денег для защиты людей, особенно если нет полезных ископаемых или других даров природы. От безвыходности идёт вера, что накормить всех бесплатно может государство, что принудительный труд даст больше благополучия, чем свободный в развитых странах. Люди не берут в толк, что уже при паровой машине, а тем более при компьютере, так не выходит. Именно поэтому промышленности давно пришлось отказаться от рабства. А сторонники левого тоталитаризма не вспоминают об этом великом отказе от принудительного труда — верят в возможности рабов.

В России, разорённой семидесятилетием рабского труда, спасение ищут справа, и от Солженицына до Гайдара с Чубайсом идеализируют то царизм, то «первоначальное на-

копление». Но там, где страдают от несовершенств капитализма, особенно если петух левого тоталитаризма ещё не клевал, многие, как когда-то и в России, не загадывают, не будет ли он ещё хуже правого консерватизма, и десятки левых движений всё ещё мостят ему дорогу. А все тот же великий поэт, наперёд обдумывал навязываемый выбор:

Ужели я предам позорному злословью...
Присягу чудную четвёртому сословию
И клятвы крупные до слёз?

Не только у нас левые движения, натываясь на сопротивление объективной реальности и мирно с ней не совладав, перерождались и вырождались. Но это не повод порочить ценности, которые они открывали до вырождения, и тех, кто эти ценности утверждал. Я держусь старых левых взглядов, дорожу свободой слова, равенством гражданских прав и правом наций на самоопределение уже потому, что режим, при котором прошла моя жизнь, ничего такого не допускал, что он был оголтело правым, и такова по сей день создавшая его партия, ныне ведомая Зюгановым. Я по-прежнему предпочитаю Радищева Уварову, Герцена Каткову, Соловьёва Леонтьеву, Федотова Победоносцеву, Короленко Шульгину. Конституционалистов у нас всегда затаптывало сословие, богатевшее по монаршей воле: Дмитрия Голицына — дворянство, Андрея Сахарова — номенклатура. Но номенклатуру создали не идеалы свободы, а изменившие им Ленин и Муссолини. По их примеру действовал Сталин, а следом немецкий национал-социализм, исламский социализм и много ещё других. Эту великую метаморфозу тщательно анатомировал Джордж Оруэлл. Его книги — чуть запоздалое, но ещё вполне актуальное предостережение человечеству. Но примечательно, что даже в пору «холодной войны», людям левых взглядов, внявшим этому предупреждению, трудно было выступать против левого тоталитаризма, защищать левые идеалы не только от буржуазных предрассудков, но и от коммунистического террора. Трагедию России ныне хотят замолчать, забыть, объяснить случайностями или особостью национального характера, а левые в Европе и Америке бывают еще реакционней своих правых оппонентов. Чтобы облегчить жизнь миллионам, надо, прежде всего, понять, что двадцатый век завёл социальное сознание в тупик, выхода из которого не будет, пока не

менее твердо, чем правым, левые не противостанут левому тоталитаризму. Левые чего-то стоят лишь если, опережая правых реакционеров, противостоят тем, кто с похожими левыми лозунгами повторяет уже пройденное. Братаясь с ними — они их пособники.

НОВОЕ ПЛАТЬЕ ТОТАЛИТАРИЗМА

Русские народовольцы, убив царя, отменившего крепостное право, нанесли России тяжелый удар, сбили ее с едва маячившего пути к социальному компромиссу, который чуть не все русские цари, кроме убитого, отвергали. Но народовольцы верили, что убийство вынудит нового царя перейти к демократическому правлению, а иного способа добиться этого не видели. Когда же в США террорист убил президента Д.Гарфилда, Исполком «Народной воли» заявил: «В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, политическое убийство, как средство борьбы, есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей». В XX веке террористы, как раз и явили «дух деспотизма».

Террор развязали не таившиеся в подполье, а возглавившие государства террористы – Ленин, Гитлер, Сталин, Мао, Пол Пот и прочие. Они не просто убили десятки миллионов, они ввели убийство невинных в принцип. Конечно, убитых винили в принадлежности к плохому классу, плохой расе, плохой религии, плохой нации, плохой профессии, плохой компании, плохой семье. Но не считали нужным искать конкретному человеку конкретную вину, и убивали малых детей, за свои поступки и, тем более, за происхождение не отвечающих.

Страсть убивать невинных неспроста овладела умами и душами правящих убийц. Они ощущали себя земными богами, хотели сделать мир «правильным», отвечающим их верованиям, и убивали казавшихся неподходящими их иллюзорному миру. XX век по-новому отнесся к другому человеку. Если еще в XIX, даже отмечая, что он «другой» и хуже «своих», хотя бы делали вид, что проявляют терпимость, то новый век эти глупости отбросил. Его девиз: бей другого! Не важно, кто этот «другой», русский крестьянин, еврейский интеллигент или тибетский лама. Других убивали для счастья своих. Стоит ли удивляться, что так действовали не только Сталин и Гитлер, но и нынешние воины бен Ладена?

В XX веке демократия дважды выстояла под напором тоталитарного деспотизма, но всякий раз удивлялась ему как неожиданности и случайности. Советскую власть многие на Западе числили утверждающей справедливость, а что не сообразовывалось со справедливостью, списывали на «русское варварство». Немецкий национал-социализм был от-

кровенной советского, но неизбежность схватки с ним тоже осознали не сразу. А когда нараставшее сближение немецких нацистов и русских коммунистов сорвалось и между ними началась война, демократический Запад поддержал СССР и в союзе с ним выстоял, а СССР, захватил пол-Европы и рвался дальше. Началась холодная война. От ее горячей развязки спасла внеэкономическая природа советского хозяйства, рухнувшего под непомерным грузом вооружения.

Еще в ходе холодной войны страны делили на развитые и развивающиеся и уверяли, что кроме коммунистического и свободного миров есть «третий мир». А его, если не сводить его к политике «неприсоединения», никогда не было. В одних странах, как в Чили, большинство тяготилось правлением и Альенде, и Пиночета и предпочитало реальную демократию и экономических отношения. В других утверждались Саддамы и аятоллы. Если гитлеровская Германия была им примером преимущественно теоретическим, то Советский Союз помогал вооружаться практически, и Россия помогает поныне. Но все же одни страны, подобно Западу, тяготеют к экономической жизни, другие, подобно России, – даже без портретов Ленина и Сталина, – к внеэкономической. Третьих не видать.

Крушение Советского Союза и высвобождение Восточной Европы изъяло из сознания западного мира висевшую над ним прежде угрозу. А можно бы понять, что либеральной демократии в ее западном понимании противостоят не только национал-социалистическая Германия и советская Россия. Она чужда большинству планеты, все еще живущему по внеэкономическим нормам. Кризис России, долгое время внушавшей Западу страх, побудил его верить, что врагов больше нет. Твердили даже, что Америка сочиняет себе врагов. 11 сентября показало, что враги более чем реальны, но, не понимая, кто они и где, Америка искала укрывателей и сообщников, не доискиваясь до инициаторов и заказчиков.

А дух деспотизма рос не так из священных книг, будь то Коран или «Капитал» Маркса, как из социальных тупиков. Сознание, поделившее мир на развитые и развивающиеся страны, тешилось надеждой, что все образуется, когда развивающиеся станут развитыми. Словно от электричества, электроники и ядерного оружия нравы смягчатся. На словах отвергая догму о перерастании технического прогресса в общественный, ей упорно следуют. А заемный технический

прогресс тем временем становится опорой феодальной реакции и деспотизма. Но кто в Европе помнит, что еще Петр Великий положил этому начало и, перенимая европейскую технику, усугублял крепостничество.

Покуда технический разрыв углублялся, то тут, то там, то так, то этак, среди стран, числимых развивающимися возникали силовые режимы, возрождавшие крепостное право. Возникал новый феодализм, хозяйство он стимулировал не выгодой, а опять принуждением. Почти весь XX век прошел в борьбе меж экономическим миром, хоть еще не вполне благополучным, и теми, кто хотел командовать. Гитлеровская Германия делала это в перченых социализмом традициях прусской и австрийской феодальной реакции. Сталинская Россия, приведя социалистический лагерь в соответствие с традициями самодержавия, полвека держала мир в напряженном ожидании упреждающего удара. Но запад Германии после поражения врос в экономический мир, а Россия и большая часть планеты так и жили внеэкономически.

Между тем, из того, что люди должны быть равны в правах, никак не следует, что цивилизации, к которым они принадлежат, равноценны и замечательный шаман племени мумбо-юмбо ничем не хуже Шекспира. Уверения эти – глубоко расистские, поскольку отрицают пользу людям бедных племен от знания Шекспира и других открытий европейской культуры. Но еще больше, чем сам по себе, этот расизм страшен общим отвержением развития, возвратом к средневековью в Новое время. Конечно, другие цивилизации, отличаясь от западной, не обязаны за ней следовать, и кто не хочет – пусть бы и не следовал, но тогда бы и не пользовался ее плодами, начиная с противооспенной вакцины Э.Дженнера. А из стран, спасенных западной медициной от пандемий и массовой смертности, Западу ныне шлют сибирскую язву!

Вакцины, как и вся технотронная жизнь, начатая в XVIII веке, выросли из западноевропейской цивилизации с Шекспирами, психологическим романом и вниманием к отдельному человеку, обладающему личной ответственностью и правами. Не то что европейцы биологически умней или даровитей других. Ничего подобного. Но в их цивилизации раньше сложились экономические отношения, позволившие людям наладить массовое производство и обмен, создать экономический мир, знающий счет ценностям и потому обо-

гнавший внеэкономический в массовом уровне жизни. В феодальных странах, перенявших эти открытия, их получают властные и богатые. Но закупка Чингиз-ханом самолетов и компьютеров не изменяет его социальную природу.

Некогда в Голландии, Англии, Франции постепенно взревшие экономические отношения взяли в революциях верх над старыми феодальными порядками. Не зная феодализма Америка стала воплощением экономического мира. Но за него стояли не только западные христиане. Мустафа Кемаль совершил буржуазную революцию в мусульманской Турции, а после войны и далекая Япония завела у себя экономический порядок, к которому тянулась еще с середины XIX века. Противостояние цивилизаций, которым пугает Сэмюэл Хантингтон, растет лишь оттого, что под их покровом противостоят разные социальные порядки. Внеэкономический новый феодализм, объявив себя социализмом и разжившись чужим техническим прогрессом, потону и жаждет сгубить мир, где этой техники набрался, что догнать его в экономическом состязании не может без свободы, а она с тоталитаризмом несовместима.

В разных концах земли на смену старому феодальному деспотизму приходит не свобода, а новый деспотизм, строящий хозяйство не на выгоде, а на принуждении. Спорят, кто лучше, царь Николай или Ленин со Сталиным, словно в России не было противников и белого и красного самодержавия, вроде В.Короленко или Г.Федотова. И за Саудовскую Аравию тоже говорят либо ее принцы, либо бин-Ладен, а другим арабам заткнуты рты и заморочены головы. Если Россия, самая развитая из «развивающихся», родина Лобачевского, Менделеева, Павлова, Вавилова, Колмогорова, Сахарова, по сей день не шагнула всерьез к экономическим отношениям, не удивительно, что исламские страны, бедные или живущие лишь нефтью, держатся за феодальные нравы. Нас даже собственный опыт не побудил одолевать нищету более результативным социальным путем, по которому шли Европа и США. Мы воображали, что и при наших порядках их техника сработает. Что ж удивляться, что страны Востока или Латинской Америки не учатся на чужом опыте? А вложи арабские страны нефтяные миллиарды в экономическое хозяйство с демократическими порядками, они были бы среди самых благополучных. Вкладывая Палестинская автономия текущие к ней деньги не в оружие, а в развитие, она за минувшие годы стала бы мирным независимым государ-

ством, соперничающим, но и сотрудничающим, с Израилем. Однако, у арабов, как и у нас, бунтари перещеголяли в деспотизме прежних деспотов.

Бин Ладен выразил их цели яснее всех, потребовав, чтобы европейцы и американцы ушли с Аравийского полуострова, но ни арабов, ни, вообще, мусульман, не призвав уйти из Европы и Америки. Шли бурные демонстрации по поводу гибели афганцев от американских налетов, горечь которой невозможно не разделять. Но скорбевшие о сотнях неповинных афганцев, не скорбели о тысячах неповинных американцев, и подобных демонстраций не проводили. Проводили демонстрации приветствовавшие убийства. Вот карты и раскрылись. Но нужен единый счет, тогда арабы вправе жить в Вашингтоне, а американцы в Багдаде, и нельзя убивать людей ни за то, что они американцы, даже евреи, ни за то, что они афганцы. А выходит, свой счет для своих и смерть другим!

Мракобесы-талибы хотя бы честнее прочих, они хотят сами вернуться и вернуть свой народ к первобытной бедности и дикости, коль скоро народ это терпит, пока не дошло до оспы и чумы. Другие же хотят богатства и роскоши, но феодальные и социалистические режимы не способны существовать на экономических началах. Поэтому во власти или с ее молчаливого согласия там растут, а где уже и выросли, новые Ленины и Гитлеры. Философия и стратегия у них прежние. А тактика, понятно, другая, и террор из-за угла им сподручней, чем открытый бой.

Чтобы одолеть новую волну тоталитаризма надо осознать, что ее подъем – не случайность, что это волна нового феодализма, не разрушенного ни в 1945 с рейхстагом, ни в 1989 с берлинской стеной. Новыми Мюнхенами и Ялтами от него не откупиться. Мир все еще расколот, но его раскол трактуют чисто политически и поэтому по-разному. Одни верят, что Европа и Америка так и будут богаче остальных, хоть это возможно лишь пока они, сохраняют первенство в науке и технике, сопротивляясь новому средневековью. Другие, даром что назвались антиглобалистами, хотят единства, но чтобы богатые страны отдавали большую часть своих заработков на прокорм и вооружение бедных. Как некогда помещикам велели делить доходы с бедными крестьянами. А дело было не за дележкой, а за ломкой подневольной системы, за передачей крестьянам земли и переходом в эконо-

мический мир, где из бедности их бы вызволял труд, а не подаяние.

Единство мира возможно лишь на экономических началах и лишь в той мере, в какой народ каждой страны не дает своим властям от них уклоняться. Но, чтобы этот выбор стал внятен народам, Америке и Европе надо поощрять людей и страны переходить к экономическому образу жизни, создавать ценности, а не проедать щедрые подаяния, которые странным образом переппадают и без того богатым, а нищие не выходят из нищеты. Надо поддерживать лишь страны, дорожащие экономической свободой и демократией. Надо помогать конкретным людям, попавшим в беду и силящимся ее одолеть, а не коррумпированным правительствам их стран. Вообрази ликовавшие при виде упавших башен палестинцы, что обедневшая Америка не станет их подкармливать и каждый это ощутит, возможно, их чувства бы переменились.

Говорят, в остальном мире – логика другая, и убедить фанатиков, мыслящих иррационально, невозможно. Но иррациональность присуща не народам, не культурам, даже не религиям в их бытовом бытии, а тоталитарным нравам. Иррациональные печи Освенцима создала страна выдающихся европейских философов. И не гений Канта, а союзные армии, вошедшие в Германию, вынудили национал-социалистов заметать следы. Значит они понимали, что делают. Поймут и нынешние иррационалисты, увидав, что ответ неизбежен и неодолим. Америка растеряна лишь потому, что не ждала нападения, не готовила ответа.

Не надо навязывать развитие тем, кто хочет изоляционизма, но пора признать, что граждане развитых стран не обязаны их содержать, отказывая себе в необходимом. Нет объяснения, почему бельгийская женщина, позволившая себе родить лишь одного-двоих детей, поскольку больше ей не прокормить, должна делиться с бангладешской, родившей пятнадцать, не загадывая, чем их кормить. Когда такое перестанет быть моральным долгом, наглядней станет выбор меж готовностью «жить и жить давать другим» и готовностью обращать других в лагерную пыль. Встав в XX веке перед человечеством, этот выбор не сделан, а помогать надо тем, кто хотя бы не зовет убивать других. Иначе будущего нет и впереди лишь былое.

Наивному Бушу кажется, что на его страну напала, пусть не горстка, но банда преступников, и, сговорившись с

«хорошими парнями», Блэром, Путиным, Шредером и Цзян Цзэ-мином, он террористов осилит. А это не горстка, не банда, а могучее тоталитарное движение, не слабее национал-социалистического и коммунистического. Оно уже взяло власть в Ираке, в Иране, в Ливии, в Афганистане и процветает, как в фундаменталистском, так и в социалистическом (БААС) виде. Гляньте в лицо террористу Атте, взорвавшему первую башню, - он страшней и Гиммлера и Ежова! Но ни Буш, ни Америка, ни Европа, глядеть в лицо новому тоталитаризму не спешат и даже 11 сентября свели к бен Ладену, к заговору.

Похоже, американская военная машина его осадила и даже, возможно, изловит. Но у тоталитарного движения в запасе толпы вождей. Урок 11 сентября велит не просто покончить с одним, вступая в союз с другими, а осознать угрозу нового феодализма, нового тоталитаризма, не только исламского. Ради минутных выгод «реальной политики» нельзя спускать попытки силой ликвидировать «других», под каким бы флагом и кем бы они ни совершалась. Увы, единственный ответ на удар, – это ответный удар. Но он эффективен, когда не импульсивен. Когда деспот знает, каков будет ответ, когда другая ланита не подставлена, он становится разумней, чем выглядит, и войну не разжигает. Она остается холодной, и неизбежный кризис потом вынуждает деспотов хотя бы для вида ее прекратить.

Мирные люди не хотят новой холодной войны, как не хотели и прежней, но, раз уж Сталин ее начал, не отвечать означало сдаться, жить под тоталитаризмом. Мирные люди не хотят новой горячей войны, как не хотели и прежней, но, раз уж Гитлер ее начал, не отвечать означало сдаться, жить под тоталитаризмом. Ныне тоталитаризм начал с атаки на Америку, но это не значит, что он не хочет водрузить свое знамя на Эйфелевой башне. А левые европейцы не просто критикуют Америку, но в принципе отказывают ей в праве отвечать на нападение. Их опять тянет к тоталитаризму, хоть они и предпочли бы его не под зеленым исламским, а под привычным красным соусом.

Отличающим допустимый, «хороший» тоталитаризм от дурного уже был дан урок. Вторая Мировая война началась с того, что советский социализм и немецкий национал-социализм заключили договор о дружбе и стали делить Восточную Европу. Левые растерялись, и пришли в себя лишь когда Германия вероломно нанесла другу удар. Война про-

шла, и левые свою растерянность забыли. А тоталитарных стран все больше, и не обязательно мир снова спасет крушение их дружбы. Они могут и не поссориться. Вот и не стоит забывать, что поддержка готовых дружить с Гитлером служит делу тоталитаризма.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Главной угрозой человечеству объявлен терроризм. Но террор обезличен. Убивают не Цезаря, не Линкольна, не Александра II, не Столыпина, не Кеннеди. Убивают случайных людей. Умри Цезарь естественной смертью, императором все равно стал бы Октавиан, а Столыпин, и останься жив, не предотвратил бы 1917 год. Но устранение влиятельного лица отчасти все же меняет коллизию. Индивидуальный террор отвергает концентрацию власти в конкретных руках. Массовый идет дальше, – пугая граждан, он отвергает общее волеизъявление. Сея страх массовыми казнями, диктатуры наводят тоталитарный порядок. Терроризм – это метод борьбы, а не единое социальное движение. Это преступный метод борьбы, но им пользуются разные силы, растущие на разной социальной почве, и не понимая их различий и природы каждой, с терроризмом не совладать.

Феодализм отступил в XVI веке в Нидерландах, уступил в XVII в Англии, рухнул в XVIII во Франции. США от него ушли в войне за независимость. Запад окреп экономически, одолевая внеэкономическое феодальное принуждение. Буржуазные государства стали национальными, правовыми и социальными. Мало было смекнуть, что так продуктивней. Людовик XVI об этом догадался, да переубедить двор не мог.

Америка, не столь отягощенная феодальным наследством, опередила других. Ее ненавидят от бессилия навёрстать свое отставание. Неодолимость американских достижений подбила арабов на 11 сентября. Европа не плясала, как палестинцы, но искала этому оправдание. Между тем, Америка дважды спасала Европу и уходила. Она даже Садада не тронула, освободив захваченный им Кувейт. Но не арабы изобрели массовый террор. Германия и Россия практиковали его раньше, хоть по-иному. Нынешняя агрессивность арабского, да и всего «третьего» мира, – продолжение истории. Это попытка дать задний ход, вернуть мир от экономического хозяйствования к внеэкономическому. Их спор не завершили ни мировые войны, ни холодная война. Он продолжается.

Кризис советской идеологии, выросшей на Марксе, подорвал интерес к общественным процессам. «Социальное» стало синонимом «гуманитарного» и обозначает лишь помощь неимущим. Но Маркс не сводится к советскому опыту.

Поняв, что техническое развитие преобразит общество, он сделал два несовместимых прогноза: развитие шло к диктатуре (ему казалось, что пролетариата), и одновременно к отмиранию государства. Он посеял иллюзию, будто диктатура пролетариата и станет формой отмирания государства. Но бесчеловечные диктатуры под его портретом такого стремления не проявляли, а если вдруг либеральничали, то из-за кризисов, прежде всего, внутренних. И сбывался другой прогноз: государства, не желавшие не то что отмирать, но хотя бы соблюдать демократические нормы, повисали на своих народах неподъемным грузом и застревали в развитии.

Национальное государство

Буржуазные отношения рождались как добровольные и частные. Но феодальная власть их «регулировала». Чтобы им устоять, надо было, если не сломать систему, то выгородить национальное государство, где не отнимают имущество. Нидерландская революция вывела северные провинции из империи Габсбургов. Причина тому не этнические свойства голландцев, а нетерпимость империи к самостоятельности подданных, на которой и держатся экономические отношения.

Буржуазные перемены в «отдельно взятой» стране, в отличие от социалистических, сперва не посягали на планету. Но проступило отличие нации от этноса. Право наций на самоопределение состояло в территориальном, а не племенном обособлении. Буржуазный национализм — территориальный и хозяйственный. Складывались этнически смешанные народы, а единые этносы растекались по разным. Полиэтническая Америка стала национальным государством, при том, что американцев объединяет не так общий язык, как общий интерес. На Западе национальная принадлежность — это гражданство, а в «третьем» мире, в России и еще недавно в Германии — это расовая, этническая или религиозная категория. Буржуазное государство спланировало граждан, не слишком интересуясь их кровью, ценя стремление к экономической свободе выше происхождения.

Империя — это вертикаль подданных, столп феодальной силы. А национальное государство — вольная горизонталь граждан. Не всегда богатых, но свободных создавать богатство. Буржуазная революция отвергла **обязанность**

трудиться в силу феодальной зависимости и дала **право** работать по найму. Это и создало нужду в праве на труд, нелепом там, где люди зависимы и труд принудительный, пусть даже именуемый священной обязанностью. Белая Америка Линкольна воевала не только против бесправия завезенных африканцев, но и против белых людей, норовивших, опираясь на зависимый труд, обскакать опиравшихся на свободный. Государство, даже этнически однородное, не становится национальным без свободы от внеэкономического принуждения. Русские помещики были той же крови, цвета и веры, что их крепостные, но в Российской империи не было национальной метрополии, в отличие от Британской или Французской, где не было крепостных, лишь зависимые держатели. Пока рабов хватает, государство — лишь палка в руках вертикально правящей «элиты», и вся его природа — рабская, а национальную общность съедает социальный разлад, и помещики говорят по-французски.

Этнически однородным жителям малого государства, чтобы стать нацией, обрести общий интерес, помимо независимости от развалившейся империи, тоже нужна экономическая свобода, а не просто свой малый тиран. Уйти из под руки имперского силового величия — недостаточно. Нужно самим создавать свое благоденствие, а это большинству доступно лишь в экономическом мире.

Буржуазные государства тоже заводили колонии и строили империи, однако их метрополии жили иначе, нежели колонии, и в них произвол стихал. Голландская, Британская, Французская буржуазные империи отличались от феодальных Византийской, Священной Римской, Османской, Испанской, Российской, где процветали не так метрополии, как «элита».

Хозяйство давно вышло за государственные границы. Глобализация — не буржуйская выдумка. Коммунисты, понося глобальную свободу экономики, затем ведь и призвали пролетариев всех стран соединяться, чтобы регулировать хозяйство из единого имперского диктаторского центра.

Парадокс глобальности в том, что бедным странам еще нужней жить по экономическим законам, чем от природы богатым. Но к унификации враз не приладиться. Многие страны осторожно объединяют зоны своей свободы. Однако, даже Конституция Европейского Союза уже предложила отвлечься от самостоятельности и обратиться континент в единое государство, возрождая имперские установки, которые и так

норовила возродить мелочная диктатура Брюсселя, действующего как некогда Москва в соцстранах. Вот внутри Европейского союза и возникла борьба за отличие своего единства от советского и за отдельность в важных аспектах, за право не душить отдельное общим. Отдельность и дает частному преимущества перед казенным. Народы Франции и Нидерландов, вопреки своим правительствам, отвергли на референдуме унифицирующую Конституцию, а Швеция еще до того отвергла евро. Но прошло немного времени, Лиссабонский договор навязал и европейские страны приняли почти все, что демократическим путем, в качестве Конституции, провести на референдумах не удавалось. Народы СССР в свое время проглядели угрозу имперской унификации. Ленин до Октября писал, что монопольное хозяйство враждебно людям, а Советский Союз построил как единую монополию, не защитив отдельность.

Глобальность плодотворна при федеративности и автономизме. Страны, сопротивлявшиеся национал-социалистическому Третьему Рейху, охотно сотрудничают с либеральной Германией. И надо отличать оборонительный территориальный национализм от агрессивного расово-религиозного. Неверно оба их именовать патриотизмом. Расистские идеалы порой оживают там, где эмигранты сбивают цену на труд, но нередко кто-то прямо претендует быть «первым среди равных», а это ущемляет не одни бывшие колонии. В России вертикальный монополизм не только развязал войну в Чечне, но лишил и русские субъекты федерации возможности избрать губернатора. В различии патриотизмов – территориального, сложившегося в борьбе за права и свободы, и мировоззренческого, взывающего к происхождению, расе и религии, - проступает различие буржуазного и феодального, внеэкономического, сознания.

Правовое государство

Феодальный и социалистический вертикальный порядок разрешает диктатуре нарушать правила. А буржуазный – горизонталь сословий, разных работодателей и разных работников. Там, чтобы соблюдать правила, действует право. Его олицетворяют процедуры, сообразные с человеческой отдельностью и достоинством каждой личности. Добрая воля диктатуры, милость, которую она может проявить и отнять, не гарантирует свободную деятельность, на это нужна

правовая защита. Люди не равны ни в усердии, ни в талантах, ни в достатке, но наперед неизвестно, кто на что способен, и, чтобы каждому себя выявить, надобно равенство в правах, — оно и отличает капитализм от феодализма и социализма. Права и свободы тут обеспечены не анкетой и начальственным подбором кадров, а растущим спросом на квалифицированных людей. Равенство прав еще не делает бедного богатым, но сознание проясняется.

Никакая отдельная часть общества, ни дворянство, ни номенклатура, ни пролетариат, — не носитель всеобщих интересов, В XX веке научно-техническое развитие сокращало численность пролетариата, как раньше крестьянства. Но в Англии еще в XIII веке интересы уравнивались не только силой и страхом. И хоть сила поныне сильна, научно-техническое усложнение производства вынуждает к компромиссам. Даже советский режим обошелся с дерзким А. Сахаровым не столь жестоко, как с не позволявшим себе сопоставимого Н. Вавиловым. Режим не подобрил, но осознал свою нужду в Сахарове, а не меньшую нужду в Вавилове не сознавал. Право — плод осознания нужды считаться с другими. Общественное устройство, предполагающее экономическое, а сегодня это и научно-техническое развитие, вынуждено внимать не только единому гласу нации, не только ее большинству, но голосам всех своих участников, и приходится к компромиссам без оружия в руках. Отмирание государства, если оно, вообще, возможно, как сокращение насилия, согласие ради взаимной выгоды, но не как диктатура, тем более, не как ее ожесточение.

Компромисс и составляет сущность демократии. Она тоже не уравнивает достаток граждан. Но и не выдает, как при социализме, единогласным голосованием нужды правящего класса за нужды общества. Феодальная власть, допуская буржуазные отношения, временами шла на компромиссы, становилась конституционной. Социалистическая диктатура, не терпящая ничего частного, нигде не стала конституционной, правовой, хоть любит декларативные конституции. Правовым стало лишь буржуазное национальное государство. Экономические отношения вынуждают считаться с нуждами и интересами других социальных классов. Не то что классовой борьбы нет, но она протекает в виде смены подвижных классовых компромиссов. Когда же насильственно ликвидируют сугубо экономические классы — «кулачество, как класс», — насилие рождает другие, паразитические но-

вые классы, а главное, подрывает экономические отношения.

Правовое государство, в противоположность властной вертикали тоталитарной диктатуры, держится разделением властей, приматом представительной и независимостью судебной. Судебной, а не прокурорской и прочих, именуемых правоохранительными, на которых нет благодати олицетворять законность. Они служат ей лишь как исполнители, и законность их действий должны проверять не только назначавшие их исполнительная и представительная власти, но и независимый суд. А независимости можно ожидать лишь от органов, так или иначе, избираемых населением и ответственных перед ним. Прокуроры и министры не избраны, а назначены, и должны быть зависимы от законов. Но ими чвсто движут безответственность и самоуправство. А президент, не рискуя пресечь беззакония таких «правоохранителей», — их соучастник.

В феодальном или социалистическом, самодержавном, авторитарном, тоталитарном государстве, защита персональных прав и презумпции невиновности — уже оппозиционная деятельность. Но без соблюдения прав каждого невозможна горизонтальная конкурентная работа миллионов работодателей и десятков миллионов работников наемного труда. Правовая модель общества, именуемая либеральной, сама по себе не снимает социальные проблемы, но, в отличие от тоталитарной, позволяет их решать и потому продуктивней. Но большинство государств — не либеральные.

Социальное государство

Едва ли не главная проблема всякого общества — социальные гарантии, но на них способно лишь эффективное хозяйство, а экономическое хозяйство эффективней внеэкономического. Как показал XX век, в обществе, открыто тяготеющем к феодальной реакции («правые»!) или рядящемся социалистическим («левые»!), так или иначе торжествует тоталитаризм. Без свободы экономики нет и других свобод, отпадает и социальная защита. Выбор невелик - либо отказаться от свободы и, конечно, несовершенного буржуазного порядка, либо, опираясь на него, на его нормы и процедуры, восполнять его упущения и наращивать благоденствие граждан. Ради этого государство и стало на Западе не только

правовым, но и социальным. Там гарантии выживания при утрате работы, гарантии медицинской помощи, страховой или государственной, имеют место. Где полностью, где частично, государство оплачивает образование, и часто дает жилье бездомным и субсидии бедным. Этим оно компенсирует несовершенство экономики. Но, как национальное государство противостоит империи, а правовое – тоталитарной диктатуре, социальное государство противостоит социалистическому.

Социалистическая утопия внушает, что социальные гарантии обеспечит лишь упразднение частной собственности и частного производства. Но хозяйствующая социалистическая диктатура ради эффективного производства ожесточает традиционное внеэкономическое принуждение, устраивая новые аракчеевские трудовые лагеря и, — вместо фабрик с наемным трудом, — демидовские крепостные заводы. Радикальная антибуржуазность не только крепит империю и тоталитаризм, но подменяет сбалансированные социальные гарантии патерналистскими подаяниями за счет захвата чужих земель и недр своей, как бы компенсируя несбыточность социалистической утопии.

Маркс, самый сильный ее проповедник, понимал социализм как постбуржуазный порядок, призванный к общей выгоде сменить буржуазные отношения, сменившие некогда феодальные. Он ожидал, что диктатура пролетариата демократично выразит волю большинства, но, взяв власть, коммунисты уподобили ее самодержавию Ивана Грозного, считавшего подданных холопами. Начиная с Ленина, коммунисты отrekliсь не только от демократии, но и от постбуржуазности, как фундамента марксистской утопии, и, не смутясь несообразностью этого с материалистическими представлениями Маркса, вообразили, что могут, не дожидаясь плодов буржуазного прогресса, сами продвинуть прогресс, и технический, и социальный. В XX веке такой волюнтаризм в разных формах овладел умами. Во многих странах коммунистические партии с помощью России строили социализм, всюду установив тоталитарный строй с феодальной нормой перевеса силы над правом и моралью и с феодальным волюнтаризмом.

Патернализм социалистического государства, тоже удививший от Маркса, предполагавшего, что государство, вообще, отомрет, не так помогал пострадавшим, как поддерживал (и то лишь в городе) общий ничтожный жизненный

минимум. Жалкая зарплата для всех, при скрытой безработице, вместо реальной оплаты труда и субсидий реально безработным, была не разновидностью, но альтернативой социальных гарантий. В СССР всем надлежало трудиться, «тунеядство» объявили уголовщиной, твердили: «кто не работает, тот не ест», но владевшее всем государство, делило доход от производства не по труду, а как бы «по справедливости», то есть, на деле по усмотрению.

По справедливости, то есть, по затраченной рабочей силе, социалистическое хозяйство платить и не могло, поскольку не считало рабочую силу товаром, не оценивало, и не могло судить в какой мере возмещают ее стоимость продавшему ее труженику, которого и продавцом не числило. Государство распределяло создаваемое в пользу правящего класса, порой не заботясь даже о возмещении средств, необходимых развитию той или иной сферы. Но беда была не просто в ненасытности номенклатуры или даже бесчисленных расходах на оружие, армию и карательные органы, а прежде всего в том, что, попирая даже частичные имущественные права отдельного человека, отчасти признанные традиционным феодализмом, социализм не мог самоокупаться и, тем паче, дать прибыль.

Ощущение неизбежности разорения порой толкало хоть как-то отделить хозяйство от государства, прежде всего, от произвола исполнительной власти. Но, в силу ее советской нераздельности с законодательной и судебной, государство было разом и администратором хозяйственных процессов, и их регулятором и судьей. Попытки учесть реальность не удавались уже потому, что никто не может быть судьей в собственном деле. В Германии и Италии, где частная собственность сохранялась, государство тоже подсекало ее саморазвитие, и благосостояние жителей поддерживала внешняя экспансия. В Китае государственные предприятия поныне неспособны состязаться с частными и убыточны, — едва ли так может длиться вечно, тем паче, что там реформы заделали лишь меньшую часть граждан. Самоокупаемого социализма с человеческим лицом нет в природе. Отсюда и произвол — не только в хозяйстве.

Строители социализма обещали свободу, но насаждали свое господство, и вышло по Оруэллу: «свобода — это рабство». С таким социализмом, а точнее, новым феодализмом, Запад и боролся в XX веке. К его середине пала агрессивная Германская третья империя, а к концу, усилив гонку воору-

жений и затеяв афганскую войну, частично распалась советская империя, и берлинская стена рухнула. Как образ ушедшей угрозы, ее разобрали на сувениры. Между тем, большинство в мире по-прежнему составляли отнюдь не национальные, правовые и социальные государства, да и Россия таким не стала. Но этому не придали значения даже США, дважды спасшие мир от тоталитарного милитаризма,

Непредусмотренное продолжение

Запад охватила эйфория. Сразу пропала охота защищать Израиль. Уже мало кто задумывался, почему оказались схожи исходившие из разных идеологий интернационал-социализм в СССР и национал-социализм в Германии. Почему, даже наведя свои порядки, оба проиграли состязание с демократией (Германия – военное, Россия – вооруженное). Или почему арабские страны, почитая Гитлера, дружили с Москвой. 11 сентября никто не заметил, что Мухаммед Атта поднял знамя, оброненное немецким национал-социализмом и российским коммунизмом, и затихшая война продолжается.

А русские, немецкие и арабские противники атаковали Запад по схожим причинам. Слишком многое пришлось бы им у себя менять, чтобы достичь западного уровня жизни, и менять быстрее и резче, чем в свое время Западу. Сомнения в успехе такой эволюции еще в конце XIX века породили стремление силовым штурмом под знаменем всемирной революции заставить вырвавшихся вперед отдать достигнутое, и так догнать их и перегнать. Но принудительный, по образцу феодального, труд, сменивший во многих странах после революционных побед труд, покупаемый по рыночной цене, заведомо уступал тому в производительности, не говоря уже о презрении к умственному труду и диспропорциях от монопольности хозяйства. И германский и российский социализм проиграл. Но не увяла надежда вынудить Запад кормить неконкурентный феодальный мир, поднять помощь его жителям чуть не до уровня оплаты труда на Западе. Условно инфраструктура и прогресс техники внушили ново-феодальному миру, что, хоть сил для большой войны мало, зато технически изощренный враг более уязвим, и насмерть разить его террором даже легче. И обезличенный террор взял на себя роль прежних КГБ и ГеСтаПо.

Нелепо объяснять трагедии XX века порочностью немцев или русских, или свести причины преступлений коммунистов и нацистов к наивности Маркса или Ницше, к тому же нередко передедранутых. Столь же нелепо ныне пенять на зловредность арабов и порочность ислама. Но если прежде Запад хоть как-то пытался понять социализм и национал-социализм, сегодня он в упор не видит, сколь подобны им движения, охватившие мир.

Холодная война с Советской Россией объявлена недо-разумением, давно, к тому же, исчерпанным, и со всех сто-рон слышен вздор о конце истории, об зре всеобщего либе-рализма и политкорректности. А противостояние ново-феодальных диктатур экономическому обществу не кончи-лось. Это – не конфликт цивилизаций, как уверяют ныне, а социальный конфликт, коренящийся в техническом прогрес-се производства, позволяющем овеществленному умствен-ному труду теснить физический, меняя социальные и геополитические отношения. Но этот конфликт не так прост, как казалось еще в XX веке.

Русский случай

Буржуазные революции привели Запад к промышлен-ному, а потом научно-техническому перевороту. Техниче-ский прогресс там вел к социальному прогрессу, к демокра-тизации общества и социальным гарантиям. Но в феодаль-ных странах, осваивавших заемные технические плоды, — особенно эффективно в России, — ими укрепляли абсолю-тизм, как бы наперед опровергая самую верную из мыслей еще не родившегося тогда Маркса — о взаимозависимости хозяйства и общества. Разумному царю, вроде Петра, за-падная техника не казалась опасной феодальному порядку, напротив, она вооружала его армии. И социальным плодом заемного прогресса стало ожесточение крепостного права. Сходным образом русские революционеры во второй поло-вине XIX века желали не так буржуазной революции, как со-циализма, похожего, однако, не столько на утопии учителей, сколько на старый феодальный абсолютизм. Миф об авто-матизме социального прогресса увядал, и внеэкономический бум разыграл не в одной России.

Ныне вроде признали палку хозяйственно неэффектив-ной, но капрал ее не выпускает. После распада СССР лишь в Прибалтике хозяйство стало буржуазным. В других рес-

публиках и в России государство еще командует хозяйством, а прочие перемены оказались косметическими. Покамест еще дозволено выезжать за границу и читать книги. Но открывшаяся было возможность публично судить о власти почти пропала. Социальное преобразование не совершилось. Ельцин, как отец русской демократии, был мнимой альтернативой Зюганову, лидеру реваншистской КПРФ. При Зюганове возврата к прежнему ждали сразу, при Ельцине он пошел не спеша, но Путин его ускорил, полней подчиняя власти как бы новые формы хозяйства. Но в самих этих формах уцелел прежний порядок, разве что чуть упрощенный в сравнении с советским.

В СССР формальным собственником всего и вся было государство, и его именем номенклатура распоряжалась страной. В наново провозглашенной России, чтобы пробить хозяйственные тупики, имущество формально передали узкому кругу лиц, поздней названных «олигархами», но оставленных в круговой зависимости от государства. Построили, так сказать, условный капитализм, с условием беспрекословного послушания властям. Назвали это приватизацией. Став как бы частными, добывающие отрасли проявили больше гибкости и обильней пополняли карманы государства в целом, равно как и правящих лиц и самих «олигархов» по отдельности. Частное обличье собственности позволило, к тому же, валить ответственность за уровень жизни на «олигархов». Но еще важней, что и без марксистско-ленинской идеологии и прямого правления обкомов и райкомов, правящий класс удержал контроль над хозяйством.

Он вполне контролирует собственность, числящуюся частной. «Олигархов», возомнивших себя независимыми владельцами, быстро ее лишают. Сделать это нетрудно, законы о приватизации, нарочно или нет, сочинены нескладно, что подсекает ее законность и побуждает большинство условных «владельцев» быть покорными. Будь буржуазные реформы всамделишными в полуторастамиллионной стране возникли бы миллионы собственников, которых не удержать в узде. А немногочисленных «олигархов» успешно держат силовые органы, прибавившие веса даже в сравнении с былыми временами, когда все же первенствовала партия.

На всякую сколько-нибудь крупную коммерческую операцию «олигархам» нужно соизволение власти, то есть, из формально частной собственности изъята важнейшая правовая часть – право распоряжаться ею по собственному ус-

мотрению, определяющее гибкость частного хозяйства и победы тех из конкурентов, кто точнее распоряжается. Большинство граждан даже приветствует показательные ущемления «олигархов», поскольку имущество им раздавали, параллельно обесценивая сбережения рядовых людей, которые, потеряв все, что имели, не могут согласиться с бурно растущим богатством немногих.

Олигархов называют ворами, повторяя: «Вор должен сидеть в тюрьме». Наш новоявленный капитализм именуют грабительским, и не то, что это вовсе выдумка. Но олигархи не унесли недра земли под полкой! Их наделяли чиновники, которых, коль скоро они преступили нескладные законы, скорей бы надо звать ворами. Олигархи - лишь по дешевке скупали краденное. А винят их одних, обходя должностных лиц. И всё потому, что не только капитализм у нас грабительский, но и водящее его на поводке государство.

Приватизация, понятна, нарушила советские законы, не допускающие частной собственности, но не установила новых недвусмысленных. Задним числом приватизацию даже объявили революцией, а революция – всегда беззаконие, но ее не узаконили и задним числом, сознательно предпочтя неопределенность. А захват советским государством заводов Путилова и Рябушинского в 1917 году тоже не соответствовал действовавшему закону, и советские декреты юридически не безупречны, но уверяли, что грабят якобы награбленное. И официально утверждали, что краденая собственность отныне принадлежит народу, хоть распоряжалась ею номенклатура.

Твердящие ныне, что олигархи нас обокрали, забывают, что мы сообща, хоть и чисто номинально, владели тоже краденным. Стремись власть к законности, она искала бы наследников былых владельцев. Но не желая отказаться от созданного Октябрем государственного самодержавия, даром что без царя, новая власть заводила не реальных, а лишь условных капиталистов. Ссылки в судах на беззаконие нынешней приватизации, при умолчании о грабеже чужого имущества в 17, а потом в 29 году, показывают, что ельцинская «революция», в отличие от ленинской, для нынешней власти не легитимна. Советский порядок ей ближе.

Условный капитализм не упразднен и не ясно будет ли упразднен. Но требования послушания ожесточаются, отчего видимость частной собственности теряет смысл даже в добывающих отраслях. Возврат к советскому порядку не за-

вершен, и сейчас хозяйство отчасти походит на национал-социалистическую Германию. Властвующим чекистам это тоже годится, лишь бы не конкурентная система, способная разорить, а государство, пока не грянул общий кризис, свою «элиту» кормило щедро. Свобода, хоть и стимулирует хозяйство, но, в отличие от несменяемой власти, никому персонально не гарантирует богатство, и «номенклатуре» это не столь выгодно, как советский или нацистский порядок.

«Номенклатура» устояла не только потому, что ее не вешали на фонарях. В Англии XVII века компромисс старого и нового правящих классов был плодотворен. Но там аристократия, входя в буржуазный мир, приняла его нормы, а наша «номенклатура» по-прежнему хочет рулить, держа Потаниных и Абрамовичей как бы на оброке. Арест Ходорковского объясняют его политическими амбициями и личной мстительностью Путина. А грех Ходорковского в стремлении пересилить «условный капитализм» и быть экономически самостоятельным, самому решать, что, кому и у кого купить и продать. Это тоже политическая проблема, но она в природе предпринимательства. Сделав ЮКОС прозрачным и дав казне больше дохода, чем прежние казенные нефтедобытчики, Ходорковский надеялся с властью сотрудничать, видимо, не заметив, что она не расположена переходить от «условного капитализма» к реальному. С этим и Ельцин не спешил, отчего и оформлял приватизацию, не озаботясь ее узаконением. Не нужно оно и Путину, еще в КГБ узнавшему, что сила круче коммерции.

Предъявлять претензии тут стоит не так Путину, который открыто воздвигал свою вертикаль, как тем, кто уверял, что Путин - жаждет экономики и права, а не просто власти. Презрение к индивидуальности и к ее независимости – вполне в традициях КГБ, где не один Путин служил, и КПСС, где не он один состоял, и этим традициям Путин верен. В том и проблема, чтобы обществу эти традиции одолеть, а не просто заменить Ельцина Путиным, а Путина другим их приверженцем.

Но хоть и признано, что купцы Алексеев (Станиславский) и Третьяков обогатили Россию театром и картинной галереей, не вспоминают, что и они и другие купцы, не обладавшие их художественными талантами и вкусом, обогатили Россию самой своей производственной и коммерческой деятельностью. Оттого и не меняется у нас ни государство, ни социальный строй, и не идет десоветизация. А если она

не под силу великой России, могут ли страны не столь богатые добиться большего?

Конечно, не только Восточная Германия, влившаяся в Западную, а и Венгрия, Чехия, Польша, даже Прибалтика, в отличие от нас, перешли к буржуазному строю. Но там этот переход был частью борьбы за национальное государство, традиции которого они и при социализме защищали от Москвы. В других республиках СССР эти традиции были слабее, а в России национальное сознание еще Иван Грозный заменил имперским. Где губят социальные силы, нуждающиеся в демократии, ее и нет. Причина в насилии, а не в недостатке способностей.

В том и смысл глобализации, чтобы по возможности мирно помогать таким силам формироваться и оттеснять в своих странах господство произвола, вынуждая к компромиссам. Буржуазное хозяйство - не царствие небесное, но это единственная известная форма экономического порядка. А ему нужен либерализм, при котором люди вольны улучшать производство и свою жизнь.

Что дальше?

Сознание не схватывает наперед, к чему ведут социальные усилия. Философия не сразу осваивает хозяйственные перемены. Западная советология не ощущала советского кризиса, не ждала Горбачева. Услыхав новые нотки, когда еще шли бесчинства в Афганистане, Запад их приветствовал. Но Сахаров говорил: «Мы окажем Горбачеву условную поддержку», что означало готовность поддержать, если до них дойдет, демократические перемены. А Запад занимали не сами эти перемены, а уйдет ли советская военная угроза.

Ее там рассматривали, как нынче арабскую, чисто прагматически. Сила англо-саксонского прагматизма в способности действовать. Но отказ от обобщений мешает просчитать последствия. Потворство президента Клинтона Ельцину, включая геноцид в Чечне, переросло в потворство президента Буша Путину, атакующему не только Чечню и Грузию, но и свободу слова и печати, и зыбкие демократические процедуры. У нас уже есть новая военная доктрина, сулящая превентивные ядерные удары и вводящая в школах общую военную подготовку. Обещано, что, хоть экономики несопоставимы, наша армия будет не слабей амери-

канской. Слово не погоня за «паритетом» ускорила распад СССР.

Запад глядит лишь на сиюминутные расклады внешней политики, пренебрегая сущностными. Такова изнанка англосаксонского прагматизма. А при противостоянии политических структур стоит, опять же, видеть их социальную природу. Не то что вечно вести войну, горячую или холодную, со всеми тираническими режимами, но хотя бы их не поощрять и в любой коллизии предпочитать социал-либеральные порядки монархическим и социалистическим диктатурам. А Западу часто проще подкормить тоталитарный режим.

Эти режимы пользуются защитой международного права, поскольку в блюдущей его ООН большинство у диктатур, и давно пора заводить организацию демократических наций, признающую, что государства, где гражданам не дают на деле избирать власть, опасны другим. Но Запад упрямо не видит опасности в том, что арабские, да и другие страны, подобно нашей отчаявшейся России, ищут счастья на путях Петра или Ленина, приведших потом к падению Российской империи и распаду СССР. А дивится взрывам в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне.

В объяснение арабского терроризма ссылаются на войну в Ираке, словно она началась до, а не после 11 сентября, словно без удара в сердце Америки Буш мог такую войну начать. Ссылаются и на ислам, служащий террористам знаменем, хотя уже самоубийства при взрывах не в ладу с Кораном. Ислам, конечно, анти-буржуазен, но не более католицизма, отступившего под натиском Реформации и Просвещения. В католической Франции, где гугеноты не возобладали, стало зато особенно активно Просвещение, приведшее к торжеству светских начал. Конечно, в исламских странах, такого не испытавших, экономическое развитие застревало, ему мешали многие привычки, начиная с шариата и отношения к женщине. Но там, где они смягчались, как в Турции при Мустафе Кемале, экономические отношения брали верх. А преуспевание мусульман в западном бизнесе общеизвестно. Ислам - не идеология террора, террористы его лишь выставляют таковой, пряча свои лица, как Сталин прятал свое за портретом Маркса, которого не читал.

За террором различимо предпочтение тоталитарной системы и силового хозяйства совершенствованию обменных экономических отношений. Тут можно начать на левом политическом фланге и говорить о разрушении «до основа-

нья» мира насилия, можно начать на правом и говорить о традиционных ценностях. Но в итоге, торжествуют «ценности» традиционного насилия. Левый и правый тоталитаризм (у мусульман – социализм и фундаментализм) воюют друг с другом за власть, но их различия преходящи, а повадки схожи.

История демонстрирует многообразные тенденции общего и частного развития разных краев в разные времена. Эти тенденции порой легко экстраполируют на будущее, еще не обнажившее ход своих старых и новых процессов и явлений, радикально, меж тем, преобразующихся и переиначивающих предсказания, обращая ожидаемый прогресс в мракобесие. Из материалистического понимания прошлого, на которое при этом ссылаются, такие волюнтаристские прорицания на деле вовсе не вытекают. Но слишком многим они заслоняют реальность. Российская история XX века наглядно показала как левое движение, сулившее свободу и равноправие, стало оголтело правым, переняло приемы, манеры и позиции правой царской власти и прямо черносотенцев. При этом оно поныне числится левым, а партии выступающие за экономическую свободу, как СПС, и даже за социальные гарантии, как «Яблоко», - правыми. Понимание советской жизни, где под революционными знаменами торжествовала оголтелая реакция, прояснило бы нынешние споры левых и правых в Европе и Америке, и пролило бы свет на будущее России, где режим отбросил идеологию, но не повадки.

Запад не опускается до анализа российской реальности. Дав нашей номенклатуре очухаться и снова поднять меч ВЧК-КГБ, США объявили Россию главным своим союзником. Ничему они не научились, и поддерживают авторитарную власть, уже фактически вернувшую «выборы из одного». Надеяться на поддержку Запада российской демократии не стоит. Теперь, как в 1985 году, повернуть Россию к экономическому хозяйству, сможет, видимо, лишь глубокий кризис, которого, любя свою страну, ей не пожелаешь. Но главная сфера политики - хозяйство, и главная проблема политики в том, чтобы хозяйство, как церковь, отделить от государства.

Чтобы выглядеть сильной, Россия на деле беднеет, и, чем дальше гонится за силой, тем бедней, и этой гонки, как СССР, тоже может не пережить. Сетуют на пассивность граждан, - и на выборы не идут, и на площади протестовать не выходят. Но потому и не идут и не выходят, что и ходили и

выходили, а обернулось это ничем, и веры, что, если пойти и выйти, станет лучше, нет уже никакой. Да и кандидатов, которым можно бы довериться, наперед изымают из списков, и голосовать уже велят не за людей, а за фальшивые партии.

Мир по-прежнему расколот, хоть не так наглядно, как в дни, когда по другой стороне берлинской улицы вдоль стены шагал гэдээровский солдат. Стены нет, границы иные, но по-прежнему по одну сторону – экономическая свобода и компромиссы, а по другую – наращивающие диктаторство государства. Для большинства людей Сталин, Гитлер, холодная война, Прага, диссиденты, – уже древняя история, их помнят в плюсквамперфекте, а они еще за дверью. На сцене продолжается пережитое, но новые актеры не знают, что было в предыдущем акте и что будет дальше. События вновь непредвосхитимы, растет отчаянье, и вера в силу и в террор, – и антигосударственный и государственный.

СОЛЖЕНИЦЫН И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Веками вторя молитве: «В будущем году в Иерусалиме!», евреи лишь с Холокостом возродили свое государство, способное защитить, если опять погонят стадами в крематорий. Сотни тысяч, преследуемых таким страхом, покинули Советскую Россию, сделавшую борьбу с «космополитами» и дело врачей столь же яркими символами, как царская Россия – погромы. Но меньшинство, сочтя, что угроза миновала, продолжает ассимилироваться. Да и как иначе, если живешь в России, если твой родной язык – русский, если никаких дедовских обрядов и обычаев не знаешь, и дед сам уже думал по-русски. Разве что с детства помнишь бабушкин маковый пирог, испеченный по рецепту, оставленному еще ее бабушкой. А русским себя не называешь потому же, почему прадед не крестился: стыдно отречением от неправедно гонимых добывать привилегии себе. В СССР пятый пункт напоминал, что ты еврей. Но большинство русских, среди которых ты жил, в анкеты не заглядывало, и ты не ощущал грани меж собой и ими.

А для видного писателя, властителя дум немалой части русского народа, по возвращении из изгнания главным делом стал двухтомник об отношениях русских и евреев. У одних это вызвало удивление, хоть писатель не скрывает своей приверженности царским порядкам, другие – увидали тут продолжение его неприязни к левым, среди которых немало евреев, хоть и антисемитов не меньше. О двухтомнике посудачили и забыли. Между тем, он - не малость, а сущностное выражение эпохи. Конечно, научности, на которую претендует автор, там и близко нет, не соблюдены первейшие условия достоверности. Но, исходя из глубин души одной из виднейших фигур диссидентства, эти книги обнажают некоторые его стороны. Не все общественные движения рождены теориями, иные – страстями, чувствами, пусть даже не праведными, но роль их в обществе велика.

Для писателя меж русскими и евреями существует грань, которая мне за долгую жизнь не показалась всеобщей, хоть я вполне ощущал антисемитизм изрядного числа русских и русофобство некоторых евреев. Из этой воображаемой грани писатель вывел свое мировоззрение, способное, застряв в отечественных умах, стать в нашей стране тоже роковым - не только для евреев, но и для русских. Вот

и надо вновь и вновь в него вглядываться и говорить о нем открыто.

1

Имя Александра Солженицына после публикации в конце 1962 повести «Один день Ивана Денисовича» сразу стало одним из самых популярных в СССР неофициальных имен. Наряду с Андреем Сахаровым, он был центральной фигурой противостояния власти. Его неопубликованные романы ходили по рукам, подобно протестным письмам и политическим статьям. Кто ратовал за интеллектуальную свободу, кто - за экономическую, кто - за национальную, кто – за свободу передвижения, кто за элементарную законность и соблюдение властью ее собственных установлений.

Советская система, ощутив жестокий кризис, не признавала, привели к нему ее собственные свойства, ошибки ее политиков или неблагоприятные стечения обстоятельств. Государственная идеология марксизма-ленинизма, вытекающая из утопических построений Маркса и волюнтаристских действий Ленина, за семьдесят лет притирки к новым реалиям так далеко разошлась с общественной практикой, что не могла разумно подсказать, что делать. Наверху опять возникали разные ориентации, отчасти проступавшие в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Молодая гвардия». Диссиденты говорили разное, и еще резче. Лишь в 1985 году Горбачев объявил гласность и впустил вольные голоса в легальную печать.

Солженицын, еще в 1974 году высланный, двадцать лет прожил в США, работая над многотомным историческим циклом «Красное колесо», и вернулся в 1994 году, после распада СССР и перемен в России. Страна, в дни его отъезда надевавшаяся на перемены, быть может, еще не скорые, к его приезду была в отчаянии от происшедших, при том, что большинство прежних проблем осталось неразрешенным. В этой ситуации писатель, считая себя социальным мыслителем, если не пророком, не мог довольствоваться брошюрами об общем кризисе и выпустил двухтомник «Двести лет вместе», посвященный еврейскому вопросу в России. Одни рецензенты винили его в антисемитизме, другие отвергали обвинение. Поймать писателя на том, что, признав сквозь зубы дурное дело русских, он тотчас добавляет, что евреи

еще хуже, не трудно. Но не тем двухтомник интересен, что выдал еще одного антисемита.

Да и то сказать, XX век отличился не простой активизацией антисемитизма. Он создал небывалый социальный уклад, в новых формах вторивший традиции феодально-абсолютистской реакции. Этот ново-феодальный тоталитарный режим, обычно именуют по его итальянской версии фашизмом, хоть в России он именовал себя социализмом, в Германии – национал-социализмом, в арабских странах – исламским социализмом, в Китае – социализмом с китайской спецификой. Его плодом и приметой, – хоть порой, как в Италии или в России, не сразу, – непременно становился радикальный антисемитизм, не ограничивающий, а ликвидирующий евреев. Солженицын, взявшись за еврейский вопрос рассматривает его как бы вне контекста этого социального уклада. Но его суждения о евреях не только проясняют отношение к контексту, но прямо из него вытекают.

Писатель не очень склонен считать антисемитизм, вообще, стоящим внимания. Он счел вымыслом признание Александра III: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев...». Но рассказал о нем один из ближайших к царю людей, С.Ю.Витте. И передал целиком всю фразу, сказанную варшавскому генерал-губернатору Гурко после погрома: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев, **но позволять это ни в коем случае не следует!**» Витте хотел показать, что прежний царь, в отличие от нового, в политике был движим не личными чувствами, широко, к тому же, известными, а интересами страны. Рассказ, конечно, идеализирует царя, который и в пределах черты оседлости повелел евреям жить только в городах. Но все же Александр III сознавал, что пролитие невинной крови не прибавит ему уважения, чего ни Николай II, ни Ленин, ни Гитлер, ни Сталин уже не считали.

Но двухтомник написан не затем, чтобы еще раз оскорбить евреев. Подобной литературы ныне в России хватает. А здесь, хоть и раздражают автора евреи, его больше беспокоит будущее России, и его трактовка еврейского вопроса дает понять, как бывший диссидент трактует русский вопрос.

Книга названа: «Два века вместе». Почему два, когда отношения длились более десяти веков? Уже первый русский митрополит отмечал в «Слове о законе и благодати»,

что, в отличие от христиан, евреи живут по закону, а те по благодати. Ярчайшим проявлением благодати, то есть прямого вмешательства бога в жизнь, текущую по им же установленным законам, стало ниспослание Спасителя, которого ждали евреи, – поверившие, что дождались, как раз и стали первыми христианами, а не поверившие продолжали ждать, оставаясь евреями.

Различие важное: для иудеев явление Спасителя еще предстоит, а для христиан оно однажды уже совершилось. Но это не отменяет исходной общности. Солженицын о ней как бы не помнит, словно и не слышал, что христианство, в том числе и православное, - родилось как иудейская секта, поныне почитающая еврейский Ветхий завет и Новый завет, записанный евреями-сектантами, первыми обратившимися в христианство, - не зря они то и дело ссылаются на Ветхий. И как учит в Новом завете апостол Павел, евреям, даже не признавшим Христа, его явление все-таки тоже сулит спасение.

Забыл писатель и то, что русский народ, став христианским, больше других ощутил себя как бы вошедшим в еврейство, образовавшим новый Израиль, ощутил себя, подобно евреям, избранным народом, и своим назначением – мессианство, спасение остальных. Еще до «двух веков», в семнадцатом, под Москвой, как оплот веры, построили не Третий Рим и не Второй Царьград, а Новый Иерусалим. Тут бы подумать, что и кроме обид, два народа чем-то связаны. Но Солженицын лишь гневается, что евреи не пашут землю и спаивают украинских крестьян, и старательно сглаживает сообщения о погромах и Катастрофе, которые не замолчать. Читаешь и дивишься, как же при такой ненависти, - если это не только личное чувство писателя, - шла столь глубокая еврейская ассимиляция?

3

Откуда, опять же, в заглавии словечко «вместе», когда менее всего речь – о взаимодействии народов. Слова «русские» и «евреи» Солженицын относит к разным русским и разным евреям, не проясняя, каких в каком случае имеет в виду. Слово «русские» часто у него означает лишь русскую власть, хоть ее – ни царскую, ни советскую, – народ, пусть бы даже только русский, не избирал, и не его волю она выражала. Кого писатель понимает, говоря «евреи», понять

еще трудней. В начале второго тома, не дав своего определения еврея, он решительно отвергает «определение ортодоксальных раввинов: «Еврей – это тот, кто рожден от матери еврейки или обращен в еврейство согласно Галахе» (2,6)*. По Солженицыну «принадлежность к народу определяется *по духу и сознанию*», то есть, приемлема лишь вторая часть раввинской формулы. Но эсэсовцы забирали в Освенцим не только по духу и сознанию, не просто по религии, а по происхождению от матери еврейки и даже отца еврея, причем поголовно. К расцвету коммунистического антисемитизма немногие евреи в СССР были верующими, но и свободомыслящих детей неверующих еврейских матерей от русских мужей власть считала евреями. Бог вещь, евреи ли они, но дискриминация была им уготована.

Раввины определили евреев двояко, хоть тоже знали, что и «чистокровный» выходец из еврейской семьи не всегда следует Галахе и числит себя по духу и сознанию – евреем. Но они считались с тем, что участь евреев по духу и сознанию не отличается от участи евреев по происхождению. А для писателя это единство национальной судьбы при явных духовных различиях ничего не значит. Зато он со страстью валит в одну кучу и то, что какие-то части обоих народов впрямь делали вместе против других частей обоих народов, тоже объединявшихся, и то, что люди и группы людей из одного народа делали против другого. На деле он принимает как раз первую часть определения раввинов, и считает евреем – потомка евреев, как русским – потомка русских, и каждого русского или еврея – воплощением единообразных свойств, присущих каждому народу, дурных или добродетельных.

4

Невнятным, однако, остается само понятие «народ», «нация», которым писатель широко пользуется. Оно обозначает у него, по русской традиции, некое специфическое единство, более близкое, чем даже семья. Одновременно он отождествляет, как на Западе, нацию со страной постоянного проживания, а ощутившим себя связанными и с другой страной, говорит: «Конечно – и нацию, и страну можно *любить* далеко не только одну, и даже хоть десять. Но принадлежать, но *сыном* быть – можно только одной родине, как

можно иметь только одну мать» (2,461)². Дозволено ли иметь также отца и ощущать себя и его сыном, не поясняется. Уезжая в Израиль, евреи, родившиеся в России, порой говорили, что едут на историческую *родину*, и это звучало косноязычно. Точнее бы говорить «в историческое *отечество*», каковым впрямь была им Палестина, как немцам Поволжья – Германия, но родиной, не исторической, а реальной, им была, конечно, Россия, Украина или Литва.

Можно ли предписывать детям, у которых мать и отец разных национальностей, разной веры, из разных социальных кругов, кого им любить больше? Родина и отечество – тоже не одно и то же, хоть обычно совпадают. Но тут тоже «сколько сердец, столько родов любви». Игнорируя коллизии жизни, достаточно сложные в XX веке, уверенно сочтя свои ощущения единственно допустимыми, и навек отождествляя человека с одной нацией и одной страной, писатель действует толь в толь как ненавистные ему большевики, определявшие «пятый пункт» инструкциями, не оставлявшими выбора. Уже этим себя выдает его склонность к тоталитарной системе, пусть не советской.

Всякая нация пестра, в любой есть преступники и святые, посредственности и гении, люди непроглядно серые и прекрасно образованные, и всюду люди различаются восприятием жизни и способами существования. Ни русские, ни евреи, – не исключение. Общий интерес нации, прежде всего, составляет национальная независимость, неподатливость колониальному гнету. Когда идет оборонительная война, своего тирана обычно предпочитают иноземному. Но при наступлении тирании на другую страну далеко не все симпатизируют своему тирану.

В национальной культуре полное единство, вообще, редкость. Против известного ленинского «учения» о двух культурах в каждой культуре приходится возражать потому, что на деле их не две – угнетенных и угнетателей, а может быть, двадцать две, и лишь взаимодействуя и переплетаясь, они образуют общенациональную культуру, которой потому и не способствует единый командный пункт, что ее бытие – органичный процесс, осуществляемый всем народом, не только языкотворцем, но и культуротворцем. Потому и государство, и даже церковь способствуют культуре лишь тем, что ее поддерживают, главным образом, материально, как

² Здесь и далее цифры в скобках обозначают том и страницы двухтомника.

римские папы – Микельанджело или Рафаэля, а начавшие культуру регламентировать, вопреки своим немалым расходам, ее разрушают, как выходило в СССР.

Солженицыным движет представление о единстве нации как высшей ценности. Его послушать, так меж собой общаются не люди, – хоть из разных наций, но связанные общим интересом или чувством, или, наоборот, столкнувшиеся в споре, – а, прежде всего, некие полномочные представители наций. Отсюда и ведущая мысль писателя об ответственности каждого за свою нацию и за дела любого, к ней принадлежащего.

За что, однако, возможна общая ответственность? Скорей всего, видимо, за действия своего национального государства или своей империи по захвату и покорению других. Но даже это сомнительно. Тогда каждый русский на вечные времена виноват перед народами Прибалтики, Польши, Украины, Кавказа, Урала, Сибири и Средней Азии, тогда русофобство в бывших колониях, – навеки обосновано. Но трудно с этим согласиться, уже потому, что Российская империя, их покорявшая, никогда не была демократическим государством, и русских не спрашивали, хотят ли они очередного похода. Даже признавая вину всех участников этих походов, нелепо говорить о вине всех русских живших тогда и, тем более, живущих теперь. Мало того, даже и тогда к этим походам относились не одинаково, и вина Ермолова в насилии над Кавказом, изначально не желавшим смириться, русофобия натывается на повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Уже один этот русский гений опрокидывает русофобское обвинение **всех**. А у него есть единомышленники, и не один, даже не одна тысяча. Есть, конечно, единомышленники и у Солженицына, их немало, но тоже не все, не большинство.

Но писатель декларирует готовность принять на русских ответственность не только за русскую империю, но и за, как он выражается, отщепенцев, относя к таковым Ленина. Ленина, конечно, можно обозвать по-всякому, он был верховным палачом погибших в советских застенках и палачом русской революции, но называть его отщепенцем все-таки странно. Хорош отщепенец, сперва неведомый никому, а полгода спустя собравший четверть российских голосов. Миф о его благодати и по сей день, к сожалению, жив. Но отвечать за его действия никак не может каждый русский, даже если с ним не боролся, а лишь наблюдал, чем дело кончилось. За него должны отвечать члены его партии, какой бы на-

циональности они ни были, они же должны отвечать за Троцкого, за Сталина и прочих своих вождей. Но уверения, что за Ленина особую ответственность несут русские, за Троцкого – евреи, а за Сталина – грузины, лишь сбивают людей с толку, затемняют смысл политической ответственности. Конечно, речи писателя об ответственности русских – лишь полемический прием, никого из них конкретно он к ответу не требует, но сказано это затем, чтобы и на каждого еврея возложить вину, внушить ему, что в России он чужой, – хоть и на родине, а не в отечестве. Затем и написан двухтомник.

5

Российский парадокс покорения других народов ценой порабощения собственного писателя не занимает. Он словно не заметил, что Российская империя возникала параллельно обращению русских крестьян в крепостное состояние. Царская власть сменялась советской, та – псевдодемократической, но имперский дух, претензии на господство над соседскими пространствами, бывшими республиками и странами, не уходит. Претендует не так русский народ, сам прав не имеющий, как русская власть, чтобы, удержав прочие народы в бесправии, уверять русских в их первородстве и внушать почтение к себе.

От этого отношение русских к иностранцам и инородцам, в обиходе вполне умеренное, пока не ищут самостоятельности, меняется, когда они ее хотят. Польша всегда хотела активнее других, и Днем России ныне вызывающе провозглашена дата четырехсотлетней давности освобождения от краткого польского захвата, хоть потом два века с лишним Российская и Советская империи делили и удерживали Польшу. Но Россия не празднует Стояние на Угре, едва ли не главные дни своей истории, без которых ее бы просто не было. Тогда, более пятисот лет назад, она одолела двухсотпятидесятилетний колониальный гнет монголов. Но великий праздник самостоятельности Россия забыла, чтобы не возбуждать подобные стремления в колониях.

Евреев Россия колонизировала рассеянными в захваченных землях, не имеющими обособленной территории, и они стали исключением из правила. Они хотели не отделения, не независимости, даже не автономности, а лишь равноправного участия в жизни родины, России. В советское

время они уходили от религии, забывали языки отцов и дедов, жили по обычаям соседей. Не помогло. По Солженицыну, оставалась грань, покруче черты оседлости.

6

Как это понимать? Конечно, народы уже биологически не единообразны. Племенное родство слабело, а по ходу формирования все нации, – русские и евреи особенно, – обильно пополнялись иноплеменниками. В рассуждениях о единой крови больше метафорического, чем фактического смысла. Едиными биологически евреев признать трудно. В начале нашей эры люди нередко «по духу и сознанию» принимали еврейскую веру – не только в христианской, но и в традиционной форме. Нынешние евреи – потомки не одних палестинских беженцев времен Вавилона и Рима, но и принявших иудаизм выходцев из разных народов. Нет еврейской расы, и ни к какой другой они тоже не принадлежат, а бывают и чернокожими, и, как монголы, с третьим веком. Как ни относиться к сионизму, – объявляя его расизмом, ООН продемонстрировала свою малограмотность.

Заметим, что если в давние времена многие стали евреями «по духу и сознанию», то в нынешние, просвещенные, перестать ими быть, даже сменив сознание и дух, трудно. Крещенных евреев не щадили ни фашисты, ни коммунисты. Да и Солженицын пренебрег тем, что глава НКВД Ягода был выкрест, и включил его в общий список зловредных евреев.

Русские тоже – народ множественного происхождения. Приняв православие, Русь шла на восток, обращая в свою веру новые племена. Обращенных стали считать русскими, а удержавшие язычество или мусульманство остались в других народах. По лицам и фамилиям иных активных русских шовинистов видно, что они происходят не только из Новгородской или Киевской Руси. Но Солженицын, сопоставляя евреев с русскими, пренебрег сближающей два народа биологической пестротой.

7

Неравноправие народов империи он тоже отрицает, отвлекается от того, что государство Ивана Грозного и Петра Великого, а потом Сталина и Брежнева, – это русская империя. Конечно, Ленин и Троцкий, избрав ее опорой для все-

мирной коммунистической, твердили о равенстве наций, что сперва сказалось и на советской России, где начальственные посты заняли уже не одни русские да обрусевшие немцы, но и евреи, и латыши, и армяне, и поляки, и грузины и другие выходцы из ущемленных прежде народов, потому и активных в революцию. Но пятилетка Ленина – Троцкого, тоже далеко не благая, к концу 1922 года увяла, и революционные пережитки постепенно, но все быстрее, снижали перед новым феодализмом.

При царях было видно, кто «первый среди равных», а кто последний. Евреи были из последних, были не просто меньшинством, а жестко ущемляемым. На них навесили особые ограничения, начиная с черты оседлости, установленной, после захвата Польши, когда их в России прибавилось. У них не было ни земли, ни доступных рабочих мест в пределах черты. Покупать землю им запрещалось, что придает особое изыщество попрекам писателя в нежелании пахать и сеять. Чуть не половине евреев в черте приходилось жить подаянием, рабочих мест не было, но Солженицын уверяет, что евреи просто ленивы. Но исполнения гражданских обязанностей с них требовали в полном объеме, начиная со службы в армии, куда другие колониальные народы не призывались. С 1876 года их лишили общей льготы для единственных сыновей, каковых у русских не призывали. Не мог еврей и выслужить чин выше унтер-офицерского. Но Солженицын осуждает уклонение евреев от призыва. Что ему до того, что обязанности у евреев были, как у русских, а прав – меньше, чем у других колониальных народов.

Русские тоже были угнетены феодальной властью, но она была русской. Еврейскую власть, которая ущемляла бы русских до революции, даже и смелому писателю не сочинить. Не еврейское государство покорило русских, а русское – евреев. Отношение евреев к русским, хорошее или худое, личное или групповое, не было и не могло быть властным. Опять же, черты, за которой где-либо в империи русским не давали жить, не существовало. Евреи не запрещали русским владеть землей или определенными профессиями, как запрещали евреям. Не ограничивали они русским доступ к образованию, как ограничивали евреям. Попадавшие в гимназию или университет евреи занимали свои места не в ущерб более одаренным русским. Но писателя неравноправные законы не беспокоят.

Не занимают его и социальные различия внутри обоих народов. Богатого еврея и безработного жителя местечка³ разделяло не только имущественное положение. Богатый и образованный еврей, не говоря о крестившемся, получал преимущества перед другими евреями, порой даже право жить вне черты. Наняв детям репетиторов, он повышал их шансы занять в учебных заведениях места, отводимые процентной нормой, но, тем верней, процентная норма закрывала путь к образованию детям бедных евреев, а таланты не пропорциональны богатству. Богатые русские, конечно, тоже имели преимущества перед бедными. Одаренным русским путь к учению часто преграждала бедность, служившая барьером и для одаренных евреев. Но готовых ради учения нищенствовать способных русских в учебные заведения принимали, а столь же готовых нищенствовать и столь же способных евреев останавливала процентная норма. Одаренные русские имели возможность встать в систему, а одаренные евреи в нее не допускались. Несправедливость, естественно, вызывала у них недовольство, и вела к тому, что среди недовольных одаренные евреи составляли более высокий процент, чем одаренные русские. Неудивительно, что в руководство революционных партий зато попадало немало евреев. Винить в этом можно только дискриминационную систему. Но писатель ей не придает значения, тем более, что находит у евреев, кроме высокого процента жаждающих демократии, и другие вины перед русскими.

Он вторит тем, кто приписал евреям исключительную роль в спаивании русских, давно оспоренную еще такими, отнюдь не либеральными, авторами, как М.Н.Катков и Н.С.Лесков. Лучший метод борьбы с русским пьянством по Солженицыну – выселить евреев из деревень, что и сделал Александр III, не прибавив трезвенничества. Винокурением занимались не одни евреи и не все, а те немногие, кому помещик, не только польский, но и русский, это разрешал. Но писатель не считает, что для борьбы с пьянством надо было, наряду с еврейскими корчмарями, ограничивать и русских и –а так борьба шла не против пьянства, а против евре-

³ Слово «местечко» происходит от украинского «місто» - город, и означает «городок», но употребление его и производного от него «местечковый», как уничижительных, сложилось в России.

ев, за право русских корчмарей без помехи спаивать свой народ, получая доходы.

Сердит писатель и на то, что запрет держать христианскую прислугу евреи соблюдали лишь к полякам, а русских, бежавших от податей или рекрутского набора, брали на работу или, точнее, давали им работу. Русскому писателю все равно, отчего русские из России бежали, и лучше ли было не дать им работу. Работу по найму можно бросить, найдись лучшая. Но не было лучшей, и люди предпочитали наемную работу у евреев, может, их и не любя, крепостному ярму соплеменников и единоверцев.

Возмущен Солженицын и нежеланием евреев переселяться в Новороссию, как требовали власти, чтобы, по словам писателя, заняться производительным трудом. Примеры позднейших насильственных переселений народов его не смущают. Уклонение евреев он, опять же, объясняет их ленью. Но, помимо того, что и торговля – не безделье, сотни тысяч евреев и тогда занимались ремеслами. А землепашеством не занимались, повторим, по отсутствию земли и права ее покупать.

При переселении в Новороссию евреям давали землю не в собственность. Уже одно это побуждало задумываться, как оно обернется, когда все состоится. А еще задуматься велел пример украинских крестьян, которых матушка Екатерина, присоединив одновременно с евреями к империи, прикрепила к земле и обратила в крепостное состояние. То же самое ждало и евреев.

Русский и украинский крестьянин были крепостными, но имели свои клочки земли. Так сказать, «земля – наша, а мы – ваши». До реформы такое положение отчасти было хуже еврейского. Еврей был бедней, но лично свободен, его нельзя было продать. Но реформа освободила крестьян, а еврей, все еще запертый в черте, не очень-то мог пользоваться свободой, а источника существования, даже жалкого клочка земли, не имел. К тому же, черта оседлости ограничивала почти всех евреев, а крепостничество примерно половину русских. В другой были дворяне, чиновники, духовные лица, мещане, казаки, государственные крестьяне, рабочие.

Перед тем, как начать свои двести лет писатель вкратце оглядел предыдущие восемьсот и едва ли не величайшей еврейской виной счел возникновение в XV веке ереси «жидовствующих», или «новгородско-московской», во многом совпадавшей с европейскими протестантскими движениями. Как и вообще протестантизм, она ближе к раннему христианству, а тем самым, действительно, и к иудаизму.

На Ивана III, сделавшего двух ведущих новгородских еретиков протоиереями московских соборов, ересь сперва повлияла, хоть от секуляризации церковного имущества царь потом отказался и ересь осудил. Но Солженицын рисует антирусский еврейский заговор во главе с неким Схарией, еще неизвестно, существовавшим ли вообще. Наличие схожих движений в чешских, немецких и других землях не напомнило писателю, что, как и в других европейских странах, в феодальной Руси, тоже в религиозных формах, шли антифеодальные движения, поднять которые кучке евреев было просто не под силу.

Не то что евреи к протестантским движениям непричастны. Именно, что причастны. Но не так евреи – современники событий, как Моисей и пророки, как Иисус из Назарета, апостолы и евангелисты. Но Солженицын за обращением к еврейским корням христианства ищет интригу современных событиям евреев-заговорщиков. Так писатель понимает христианство. Существенно тут не столько даже то, что злостный подрыв российского государства и его феодальных традиций приписан именно евреям, сколько уверенность, что, не будь подобных злодеев, Россия бы успешно «подморозилась» и объективной нужды в развитии, в смене форм общества не испытывала.

Солженицын пишет: «В России 60-70-х годов XIX в. при широкой поступи реформ – не было ни экономических, ни социальных оснований для интенсивного революционного движения». И сразу сообщает: «И именно же при Александре II, когда столь ослаблены были ограничения еврейской жизни в России, – начинают встречаться еврейские имена среди революционеров» (1,213). Потом, правда, он оговаривает, что происходило это преимущественно уже в семиде-

сятых. В отличие от XVII века, он признает, что еврейское участие в революционном движении обозначилось лишь после того, как оно возникло в русской среде. Но и у русских, оказывается, оснований к тому не было.

А крестьянской реформе яростно сопротивлялось большинство крепостников, и только энергичные действия Великого князя Константина Николаевича, руководившего ее подготовкой, и самого царя позволили все же провести реформу, дать крестьянам личную свободу, но землю, не говоря о другом, им не отдали. А личную свободу продолжала стеснять община, до роспуска которой власти дозрели лишь полвека спустя.

В ответ на куцую реформу революционеры ждали восстания, которое так и не вспыхнуло. Неопределенная надежда в крестьянах теплилась. Реформы принесли России ощутимые плоды, втрое вырос вывоз зерна, активно стали строить железные дороги, развивать металлургию, изготавливать машины. Но крестьянское большинство продолжало беднеть. Чеховский Фирс не зря назвал волю несчастьем. Но Солженицын этого не расслышал и убежден, что революционные организации возникали без серьезных оснований. Ему не указ не то что демократ Чернышевский, но и либерал Кавелин. А на подключившихся позднее евреях он не сразу сосредоточился не только потому, что нет сколь-нибудь серьезного материала, но и потому, что, выбирая меж реформаторами и крепостниками, спешил доказать, что феодальный порядок России хорош, на чем стоит и предпочитая царя Февральской революции.

Александр II этот порядок, хоть не пересилил, но избавил от самых реакционных институтов, что страну оживило. Евреи реформам, – как потом, в Феврале, демократизации, – сочувствовали, хоть послаблений им было не много, черта оседлости никуда не делась, а политических и гражданских прав они не получили. Их участие в российской общественной жизни еще только начиналось. Никак нельзя сказать, что царя убили евреи и что террористическая «Народная воля» была еврейской. В группе, совершившей убийство, была одна беременная еврейка, державшая конспиративную квартиру. Здесь Солженицын и не утверждает противоположного. Но тот известный факт, что в ответ на убийство царя в разных местах начались еврейские погромы, он оставляет без объяснения. А тут бы и прояснить, чем евреи, на сей раз

явно неповинные, не угодили погромщикам. Но писателю не это интересно.

Однажды он проговаривается: «Конечно, была значительная прослойка в российском еврействе, которая не приняла большевизма. Не ринулись в большевизм ни раввины, ни приват-доценты, ни известные врачи, ни масса обывателей..... Но им не дан был тогда общественный голос, и эти страницы, естественно, заняты не их именами, а – победителями, взнуздавшими ход событий» (2,112). Состав обывателей темен, и вкупе с раввинами и приват-доцентами они выглядят явным меньшинством. А на деле, да и сам Солженицын в других местах это признает, большинство евреев ожидало от Учредительного собрания демократического порядка.

Писатель признает, что многие евреи (речь, естественно, не об отдельных ведущих фигурах) не сами пришли к диктатуре большевиков, а были «вовлечены». Хоть потом и срывается на утверждение, что «они и были *механизмом той самой диктатуры*» (2,298). С тем, что *вовлечены*, можно бы согласиться, скажи писатель, что *вовлечена* была вся Россия, кроме эмигрировавших, посаженных и расстрелянных, каковых, правда, оказались десятки миллионов. Но большевизм обратил страну в единый и монополярный концерн. Другой возможности выжить, кроме как служить в этой монополии, не было. Еще во время Гражданской войны в Красную армию была «вовлечена» добрая половина офицеров царской армии. Во многом они и стали *механизмом* обеспечившим победу большевиков в Гражданской войне. Но их писатель не осуждает. А при неизбежности службы стоит как раз разобраться, какие работы безвредны, а где невольно служишь дурному делу. Но писателю не важно, что люди «по службе» делают, ему важно, кто служит.

Он признается, что «предоставляет страницы своих книг победителям», то есть, его проценты недостоверны, - они и не могут быть достоверны там, где нет свободы слова, и люди помалкивают, если не поддакивают. Однако, писатель не только ссылается на дозволенные речи, зная, что недозволенные наказуемы, и люди избегают слов. Он энергично вопрошает: «а что же евреи молчали, когда, как с ними сегодня, вчера обходились с другими народами?» А весь

советский народ уже давно безмолвствовал, зная, что дают за нарушение молчания. А Солженицын, видно, ничего о всеобщем безмолвии не знал.

Сознавая лицемерие большевиков, обративших всю общественную жизнь в потемкинскую деревню, изображавшую демократию, которой и прикрывали произвол, Солженицын пишет: «официальная советская атмосфера 30-х годов была абсолютно свободна от недоброжелательства к евреям» (2,322). Это сказано о годах великих открытых и множества закрытых процессов и знаменитых «троек», когда в массовом порядке уничтожались как раз те самые евреи, которые после революции были *вовлечены*. Проблема «завышенного процента евреев в руководстве», даже на низовом уровне, тут и была исчерпана. Тогда же, в 1939 году, о чем писатель и сам вспоминает, уже появились негласные инструкции об ограничении приема евреев в вузы. Но верить предлагается не фактам, а советской показухе.

Солженицын не только переступает факты, но совсем уже безосновательно судит о происходившем в головах. Он уверяет, что «до самой войны подавляющее большинство советского еврейства оставалось сочувственным к советской идеологии, согласным с советским строем». Так было, выходит, даже при сталинско-гитлеровской дружбе, которую советская идеология не только терпела, но и пропагандировала, объясняя, что западные «поджигатели войны» извращают положение в Германии. А новая дружба как раз беспокоила советское еврейство, ее опасность подтверждалась удалением с важных постов евреев, даже не политиков, а специалистов. То ли в молодости у писателя не было знакомых евреев, то ли очень уж прекраснодушные. А «Правду» в 1940 году он, видимо, не читал.

А уж кому, как не Солженицыну, помнить, что произнесенные вслух диссидентские речи становились событиями. С них-то и началась гласность. Но путь к ней был долог, и героическая демонстрация на Красной площади против вторжения в Чехословакию смогла продлиться лишь минуту и участвовали в ней семь человек. Таковы были условия советской жизни, и выяснять, молчали евреи или говорили, стоит разве затем, чтобы выяснять, были ли они лучше других. Но требовать, чтобы были лучше, можно лишь признав их избранным народом. А так, не довольно ли того, что были не хуже?

Русские, как немцы, французы, англичане, испанцы, – народ средневековья и нового времени. Евреи, – едва ли не единственные, среди занимающих ныне заметное место, уцелели с древности, держались за древность и в Средние века и в Новое время. Нынешние египтяне – арабский народ, а не жители древнего Египта. На Ближнем Востоке живет триста тысяч ассирийцев, потомков жителей великой Ассирии, но ныне мало кто это знает. Итальянцев знают все, но никто их не путает с древними римлянами, от которых, как, впрочем, и от византийцев, германцев и арабов, итальянцы происходят. А чтобы современных греков не приняли за народ Перикла и Эврипида, тех зовут древними греками. Но евреи поныне – народ, если не Адама, то Авраама, Моисея да Иисуса больше, чем Эйнштейна, Фрейда или Троцкого.

Во многом это оттого, что два величайших творения еврейской культуры, Ветхий и Новый заветы, стали священными книгами христиан и, тем самым, выступали в не еврейской среде, как подтверждения, – хоть это и трудно произнести после Освенцима, – права евреев на существование, оспаривавшегося не только там и тогда. Древность сказала на новой истории евреев, не только тем, что продолжалось юдофобство. Но, потеряв в боях с Римом государственность, евреи продолжали жить в рассеянии, начавшемся еще до римлян, - их захватывал и уводил уже Вавилон. Не будь рассеяния, они, возможно, тоже пропали бы без вести, как другие народы древности, ассимилировавшись, как древние египтяне, или, потеряв возможность жить прежней жизнью, как ассирийцы.

Евреи ее как бы продолжали, но рассеяние отвело им в феодальном мире место отличное от соседских. В древности римляне обращали их в рабство так же просто, как прочих. А в среду зависимых крестьян они войти не могли, - без земли крестьянином не станешь. Гетто закрепило их обособленность, как государства в государстве, ущемленного извне и не райского внутри. Но феодальные зависимости туда не простирались, и жизнь стесняли не законы, а религиозные регламенты и стены.

Едва подъем буржуазии подточил и даже ликвидировал то и другое, – а европейские гетто не были окружены единой чертой оседлости, и у каждого была своя судьба, – их жите-

ли стали свободны, когда соседи еще были зависимы. В мире, становившемся буржуазным, это дало бедным евреям преимущество перед богатыми, но еще зависимыми соседями, и отчасти возбудило юдофобство. Единственной надеждой от него избавиться могло стать избавление соседей от феодальных зависимостей. Уже этим наперед определилось сочувствие большинства евреев буржуазным революциям, их заведомый либерализм. Антисемитизм древности к нему не побуждал.

Тем не менее, Маркс, крещенный в детстве и, возможно, стыдившийся своего происхождения, смолоду, за четыре года до Коммунистического манифеста, утверждал, что капитализм чуть не проистекает из еврейской религии. Возникли самые разные теории такого рода, не только поносные, но и как бы хвалебные, утверждавшие, что евреям якобы присущи особые посреднические, меркурианские таланты. Их объявляли непрременной частью еврейского национального характера, подменяя им социальный. Но Библия сообщает, что евреи веками занимались сельским хозяйством, отчим Иисуса был плотник, апостолы – рыбаки, а если в рассеянии эти занятия стали недоступны, так ведь и в долгой палестинской истории никаких особых меркурианских талантов евреи не проявили.

А вот обращение свободы, даже нищей, безземельной, беспочвенной, в социальное преимущество, хоть и весьма относительное и временное, сыграло важнейшую роль в жизни евреев, определив общественные симпатии их большинства и роль, какую они часто играли в разных странах. О нашей Александр Блок написал:

**И однозвучны стали в ней
Слова «свобода» и «еврей».**

Написал, не пряча досаду, но, как великий поэт, глядя в лицо реальности. Из миллионов российских евреев за полвека – от великих реформ до семнадцатого года – в поле общественного зрения попадали, конечно, люди самые разные. Но сочувствие преобладающей еврейской массы в эту пору было на стороне либерального освободительного движения. Кто симпатизировал кадетам, кто эсерам, кто социал-демократам, прежде всего, меньшевикам, а если порой и большевикам, то ожидая отнюдь не разгона Учредительного собрания, с которого они фактически всевластны. Мало ев-

реев сочувствовало октябристам и никто черносотенцам. Это Солженицын и счел диспропорцией.

13

Он, однако, согласен, что высшая точка еврейской политической активности в России – Февральская революция, что именно она отвечала интересам евреев России. К тому же, именно Февраль отменил черту оседлости и уравнил евреев в правах с другими. Неудачи Временного правительства, не спешившего созвать Учредительное собрание и разрешить до крайности обострившиеся аграрный, национальный и другие кризисы, привели к насильственному захвату власти большевиками. Многие их противники искали тогда спасение в эмиграции, – евреи составили среди них одну десятую, куда больше, чем среди населения России, а ехали еще не в Израиль. Процент евреев-эмигрантов от общего числа российских евреев был выше, чем процент русских эмигрантов от общего числа русских. А большевики наперед не объявляли, что станут потом оголтелыми антисемитами, и евреев среди них тогда еще хватало.

Казалось бы, уже это опровергает домыслы о некоей общей еврейской позиции в 1917 году и об общей вине всех евреев. Но для Солженицына само сочувствие Февральской революции, сами надежды на переход России к правовому конституционному порядку, уже непростительная вина, более ужасная, чем ересь «жидовствующих» и прочие перечисляемые им «вины». Ересь успеха не имела, а в Феврале рухнуло самодержавие. Большинство евреев, в отличие от Солженицына, ни тогда, ни позднее, о нем не сожалело, чем они и ненавистны писателю.

14

Писатель не раз обличал Февраль и последующие восемь месяцев. Провал русской буржуазной революции неоспорим, и даже в советское время говорили о ее нерешительности и непоследовательности. Но Солженицын толкует эту неудачу, как доказательство того, что надо было упорней защищать прежний порядок, всё больше противоречивший здравому смыслу, поскольку социальные реформы, начатые Александром II, не довернулись. А стремление «подморозить» развитие, избежать перемен, с их неясными последст-

виями, не только лило масло в огонь, но разжигало и самый огонь, особенно при войне с Японией и вступлении в Первую мировую.

Если в западной Европе сбывалась теория поступательного социального прогресса, возраставшего с техническим прогрессом, с развитием производительных сил, то в центральной, восточной и южной Европе, не говоря о других регионах, она не подтверждалась. Запад изменял структуру общества, совершал буржуазные революции и, прежде всего, разрабатывал технику, а в центре, на востоке, на юге Европы, перенимая западную технику и методы хозяйствования, жаждали этим укрепить старые структуры, хотя уже поражение в Крыму вынудило отказаться от крепостного права.

Но одной его отмены, даже подкрепленной удачной судебной реформой, для коренных перемен было недостаточно. Режим так и не стал конституционным. На Западе экономическая свобода подталкивала социальное развитие, а в России, и даже в Германии, монархии свергли, но буржуазную республику некому было защитить. Еще казалось, что даже ее падение оставляет два пути, и в России началась Гражданская война.

Но войну против большевиков повело не разогнанное ими Учредительное собрание, а оттеснившие его царские генералы и адмиралы. Схватка шла меж новым, ленинским, самодержавием и прежним. Тоталитарная природа красных не вполне была еще видна населению, а белые о своей сразу напоминали, отнимая землю, поделенную при большевиках, и поощряя еврейские погромы. Когда барон Врангель в Крыму их решительно пресек, они тут же прекратились. Но другие командующие с этим не спешили. Демократические силы, выплеснувшиеся в Феврале, победившие на выборах в Учредительное собрание осенью 1917, вышибались и красными и белыми, и задним числом трудно решать, чья победа была бы предпочтительней, – мы знаем ужасные плоды большевистской, а о плодах реставрации можем лишь гадать.

Солженицын не колеблется, он, прежде всего, «против» большевизма и, вообще, «левого» экстремизма, чем, кстати, сразу и привлек сочувствие множества евреев, тем более, что за гитлеровцев и правых экстремистов долго не выступал. Он как бы только реставратор, мечтающий лишь возродить царскую Россию, даже что-то поправив, признав, что не

все было ладно, Но как раз опыт Германии напоминает, что гитлеровцев призвала именно та среда, которая подавила там демократическую революцию и от Веймарской республики, даже придя в ней к власти, была не в восторге. Президент Гинденбург, командовавший германской армией в мировой войне, назначил Гитлера рейсканцлером, хоть лично терпеть его не мог. Его начальник штаба Людендорф был сообщником Гитлера еще в 1923 году, А Солженицын и сам себя не спросит, что бы делали наши генералы, начиная с Корнилова, смилив большевиков. В том и трагедия России, провозвестившая трагедию мира, что уход от демократии усиливает крайние стороны, не слишком, как показала практика, отличающиеся друг от друга по существу. При всех заблуждениях левых экстремистов, часто преступных, не они одни губили Россию. Не они завели крепостное право. Жить, как страна жила, она давно не могла, крепостники ее слопали, реакция тормозила реформы и не дала довести их до конца, отчего к началу века и дошло до взрыва 1905 года.

Понося уже само стремление сменить царский порядок на либеральный, писатель оставляет будущему выбор лишь меж левым и правым экстремизмом, меж Лениным и Гитлером. Но сам упорно твердит, что величайшее зло века вовсе не немецкий национал-социализм, но российский большевизм. А признать это, по Солженицыну, мешают евреи. Но не только потому, что их было немало среди большевиков. А, прежде всего, потому, что и для глубоко чуждых большевикам, в отличие от писателя, нет ничего хуже Треблинки, а что готовил Сталин, они не знают. Тем более, что тут Сталина выгораживает сам Солженицын, упорно отрицающий информацию о готовившемся массовом выселении.

15

Но свою логику писатель строит на песке. Он убежден, что кто-то все-таки слаще, редька или хрен, и на него можно взглянуть снисходительней, хоть ни Сталин, ни Гитлер, как и чуть более сдержанный Муссолини и даже Франко, того не заслужили, Но разное происхождение и разновременность схожих действий не одному Солженицыну заслоняют их единую сущность.

Решать, какой порядок, гитлеровский или сталинский, хуже, имело смысл лишь в дни Отечественной войны. Выбора не было только у евреев, которых Гитлер уничтожал по-

головно, а о схожих планах Сталина догадывались лишь самые прозорливые. Западные демократические государства предпочли Сталина. Возможно, благодаря лицемерию коммунистического режима, не признававшегося во многом, что национал-социалисты выбалтывали. Можно посмеяться над идеализацией советского союзника, кругом обставившего Запад. Можно упрекать в близорукости евреев, удивленных атакой на «космополитов» или «врачей». Но, во всяком случае, в этом нет русофобства, коль скоро русофобской не сочтена позиция всей армии, защищавшей советскую власть, и не заявлено, что истинно русской была лишь армия генерала Власова.

Такого Солженицын все же не говорит. То есть, он признает, что евреи защищали Россию, и процент воевавших евреев был не ниже процента русских. Он счел, правда, нужным оговорить, что воевали они больше на офицерских должностях, а это полегче. Но молчит, что, молниеносно продвигаясь, захватчики отправили в лагеря уничтожения миллионы советских евреев, ушедших из числа реальных жителей как дым. А то пришлось бы признать, что воевавшие евреи к своему общему числу в стране на то время составляли еще более высокий процент.

16

Однако, Солженицын не только исчисляет национальные проценты воевавших, но составляет списки евреев, служивших Сталину, вписывая в них режиссеров Мейерхольда и Эйзенштейна, композитора Соловьева-Седого или журналистку Татьяну Тэсс (сестру известного украинского поэта Владимира Сосюры), ни по крови, ни «по духу и сознанию», евреями не бывших, что достоверно известно. Но и других в этих списках надо бы проверить на еврейство, если бы такие списки что-нибудь доказывали. Даже не углубляясь в то, что наука, литература и искусство советских лет, при всей их нарастающей сдавленности, все же не сводились к служебному режиму, трудно понять, что худого, если, после отмены черты оседлости, в научной, художественной, да и производственной сфере появилось больше евреев. Хочет ли писатель такими списками, не сплошь состоящими из агитаторов и осведомителей, сказать, что отмена черты оседлости была ошибкой и надо ее возродить? Или, что работать в научной лаборатории легче, чем на заводе? Или, что труд уче-

ного, писателя, художника, на самом деле – безделье? Бесспорно, Василий Гроссман, Исаак Дунаевский или Анатолий Эфрос – евреи. Хочет ли Солженицын сказать, что лучше бы их не было? Не глядя на каждого, а довольствуясь пунктом анкеты, писатель действует как советский кадровик.

А уже среди партийных деятелей первых лет революции не все одинаковы, и в одном ряду с идеалистами, доверившимися утопическим лозунгам, но лично ничего худого не делавшими, а порой даже много делавшими для реального блага, и расплатившимися за свою наивность насильственной смертью, стоят негодяи, насильники и убийцы, может быть, тоже имевшие когда-то лучшие побуждения, но лишенные совести и чести, и на деле причинившие огромное зло народам России, и русским и евреям. Среди евреев, как и среди русских, и в любом народе, достаточно мерзавцев. Нет оснований считать, что евреи этого не признают. Да и коммунисты-идеалисты тоже, конечно, несут моральную ответственность за коммунистов-насильников, даже если сами погибли от их рук. Партия – не нация, в партию и даже в комсомол, люди вступали сознательно.

Но и нация – не партия, и за дела коммунистов-евреев не отвечают другие евреи, и за дела коммунистов-русских не отвечают другие русские, как и за русский шовинизм не все русские отвечают. Нацию, в отличие от партии, не выбирают сознательно, и она пестра. Правда, у Солженицына практически лишь евреи должны отвечать за других евреев. Нигде он не предлагает за палачество Ежова или измену Власова поставить под подозрение всех русских, и списков палачей не составляет. Более того, призывая русских видеть «свои провальные недостатки», вдруг даже соглашаясь с молодыми евреями, которые «обвиняли русских, что они ползают под прилавками пивных и жены выволакивают их из грязи, что они пьют водку до потери сознания, склочничают, что они воры,.. что ни Бога у них, ни духовных интересов» (2,464), писатель делает оговорку: «Только забыто то, что русских-то подлинных – выбили, вырезали и угнали, а остальных оморочили, озлобили и довели – большевицкие головорезы, и не без ретивого участия отцов сегодняшних молодых еврейских интеллигентов». И тут весь Солженицын вылезит наружу.

Получается, что евреев-то подлинных не выбивали и не вырезали, а остальных не морочили и не озлобляли, что евреи в России лишь благоденствовали. А русских выбивали и

вырезали именно отцы сегодняшних еврейских интеллигентов. Давно ли писатель выступал с призывом «жить не по лжи!», а удержаться не может. Куда пропал провозглашенный сперва призыв: давайте с обеих сторон! Страстной натуре Солженицына это, к сожалению, недоступно, он видит лишь одну сторону, себя. А что бы ему, хоть по дружбе с нынешним президентом, справиться, сколько евреев и какой их процент был выбит, вырезан и замучен, да еще при этом обнаружить, что многие из выбитых и замученных как раз и были отцами сегодняшних еврейских интеллигентов. Но писатель опьянен своей ложью. И не слышит, как сам же и объясняет, что на деле русские за себя не отвечают и отвечать не должны, и за них другие русские не должны отвечать, а должны евреи, которые должны отвечать и за других евреев и, понятно, за себя. Этому посвящены два тома. Если так думает большое число русских, с грустью придется признать, что исход евреев из России обоснован.

17

Цифры призваны придать лживым утверждениям видимость объективных. Но объективность возникает лишь там, где объективны сами исчисляемые данные. Без учета объективных различий в условиях жизни, не только природных, но и социальных, подсчеты процентов от численности народа бессмысленны. Если евреям запрещено жить в деревне и владеть землей, без подсчетов ясно, что не только по числу, но и по проценту крестьян, русские впереди, а евреев-крестьян может быть лишь ничтожное количество. Но характеризует это евреев или власть, и исторические обстоятельства, к такому приведшие? Если же исчислять проценты русских и евреев в городских профессиях, следовало бы, опять же, соотносить их с числом горожан, которое у евреев в те годы равнялось общему их числу, а у русских составляло меньшинство, тогда различие окажется меньше, а то и пропадает.

К тому же, статистические расчеты обретают смысл лишь при учете их динамики, проводясь не одномоментно, а регулярно. В марте 1919 года было создано, как постоянно действующий орган, Политбюро ЦК и его членами стали Каменев, Крестинский, Ленин, Сталин и Троцкий, - двое евреев (Каменев и Троцкий) в пятерке. Так продержалось до марта 1921 года, когда Крестинский был заменен Зиновьевым, ев-

реев стало трое, и можно бы указать даже на их перевес, не враждуй Каменев и Зиновьев с Троцким. В те годы политическая позиция еще была важнее пятого пункта. Однако, уже в апреле 1923 пятерка выросла до семерки и в нее вошли Рыков и Томский. Будь даже Каменев, Зиновьев и Троцкий вместе, евреи опять оказывались в меньшинстве. Летом 1924 место умершего Ленина в Политбюро занял Бухарин и соотношение сохранилось. Однако уже в январе 1926 Каменев был понижен в кандидаты, а членами стали Ворошилов, Калинин и Молотов, и в образовавшейся девятке осталось два еврея, Зиновьев и Троцкий. В июле исключили Зиновьева, которого заменил латыш Рудзутак. А в октябре все того же года исключили и Троцкого. Евреев среди членов Политбюро после 1926 года не осталось. Лишь в июле 1930 туда был введен Каганович, говоривший голосом Сталина, и, как член «антипартийной группировки», выпавший летом 1957 уже из Президиума ЦК. Больше евреи на самом веру партии не появлялись, да и единственного там с 1930 года Кагановича считать самостоятельной фигурой трудно.

Бесспорно, в высшем руководстве партии, а, тем самым, страны, то есть, в ходе революции, Гражданской войны и в начале НЭПа, многие евреи играли с 1917 почти до конца 1926 года важную, хоть уже с начала 1923 сокращавшуюся, роль. Уже в ту пору видна резкая динамика на высшем уровне. На более низких - сокращения идут медленнее и не всегда заметны, еще какое-то время на вторых ролях цепные псы из евреев продолжали действовать вместе с цепными псами других национальностей, а иные и подольше были пропагандистами режима, но процесс общего вытеснения евреев из начальства очевиден. Вот бы и взвесить, с чего бы так, что сие значит? Не любопытно разве, к примеру, что ликвидация НЭПа, а вместе с ним и свободного крестьянства, происходила при отсутствии с конца 1926 до середины 1930 на вершине правящей хунты, в Политбюро, хотя бы одного еврея? Но Солженицын об этом молчит, а вот сказать, что 5,2% евреев в партии (третье место после русских и украинцев), - это слишком много, не забывает, хотя евреев в стране было чуть не пять миллионов. Но он не задумывается, почему четвертое место занимали латыши с 2,5% (2,206), хотя тогда, в 1922 году, Латвия уже была зарубежным государством, а в СССР латышей оставалось всего несколько тысяч. Несообразно высокий процент латышей писателя не тревожит. Лишь бы не евреи.

Признав, что евреев привлекал не постоктябрьский, а постфевральский порядок, а в постоктябрьский они были, как писатель признает, «вовлечены», надо бы объяснить, почему меньше чем через десять лет их начали извлекать, вытеснять и оттеснять, а этому служили и борьба с НЭПом, шедшая не только в деревне, но и в городе, и политические процессы, сперва меньшевиков и эсеров, а в тридцатые годы, и самих большевиков, и договор с Гитлером, не только о ненападении, но и о дружбе, при которой многие ведомства очищались от евреев. А еще убийство Михоэлса, закрытие Еврейского театра, процентные нормы приема в аспирантуру и вузы, борьба с «космополитами», дело врачей, да и потом многое.

Растущее юдофобство советского режима – не единственное, но важное проявление его сущности, не просто рерождения. Он обещал силой насадить свободу, социальную справедливость и братство народов, а создал Гулаг, колхозное крепостничество и депортации наций. Ленинский социализм обернулся национал-социализмом, отличавшимся от немецкого происхождением и фразеологией. Если не замечать его развития, можно и дальше противопоставлять два режима и выяснять, который хуже, но если замечать, придется признать, что, при частных различиях, они схожи и, как говорят, оба хуже.

18

На любимый русский вопрос «Кто виноват?» нужны конкретные ответы. Были конкретные русские, конкретные евреи, и другие конкретные лица, были конкретная политическая партия и конкретное ведомство, то и дело менявшее название, которых и надо уличать в конкретных преступлениях. Иначе виноватых нет, это знали еще римляне. Но советская судебная система учила довольствоваться обвинением, не заботясь об уликах и доказательствах. Вот у нас и считают виновным не только преступника, но и членов его семьи, соседей, земляков, и «всю вашу нацию». Если русского убил русский, еще скажут: зарезал убийца, а то - зарезал чеченец, пристрелил татарин, отравил еврей. Так рассуждает и Солженицын.

Уже в предисловии он сетует, что в ответ на призывы к русским и евреям «признать свою долю греха» часто слышит: «Да это же не мы...» А мало того, что это не мы, – это

наши идейные, и не только идейные, противники, это наши гонители, мучители и убийцы, хоть они тоже евреи или тоже русские. А писатель нас призывает брать на себя их грех убийства наших отцов, да и нас самих. Он верит в общенациональную вину, по образу и подобию «вины» евреев в том, что «они распяли Христа», хоть достаточно прочесть одно Евангелие, чтобы узнать, что Иисус из Назарета сам был еврей, а не признавшие его евреи не могли его распять. Распятие - это римская казнь, и распяли Христа римляне, а прокуратор, хоть руки и умыл, тут же отдал Иисуса своим солдатам, отнюдь не евреям, перед казнью зверски его избившим. А у евреев и казнили иначе, – побивали камнями.

Солженицын ссылается на немецкое покаяние в военных преступлениях и, в частности, в Катастрофе, за которую даже платили репарации Израилю, не существовавшему во время войны, и, как государство, в ней не участвовавшему. Но современные немцы, лично не причастные к гитлеровским злодеяниям, не виновны в гибели миллионов евреев. В этом виновно немецкое государство 1933-1945 годов, его власти и исполнители их приказов. Некоторых из них, – к сожалению, не всех, – в отличие от безнаказанных советских государственных убийц, судили и как-то наказали. Но утверждение, что виновны все немцы на вечные времена, означает, что не виновен никто.

А здоровые современные немцы, вопреки Солженицыну, не себя считают виновными, но сознают, что творило тоталитарное немецкое государство, сознают свою нынешнюю ответственность за то, чтобы ему опять не стать таким, а остаться либеральным. Вот новая Германия и помогала Израилю. Кстати, это делала только Западная Германия (ФРГ), но не послушная нам Восточная (ГДР). В России немало русских и еще есть евреи, тоже сознающие свою ответственность за то, чтобы наше государство было впредь не тоталитарным, а либеральным, но Александр Исаевич Солженицын, к сожалению, не принадлежит к их числу и себя ответственным за это не считает.

Зиновьев и Троцкий виновны во многом, хоть виновны тоже по-разному и не вполне в одном и том же. Но можно ли на одну доску с ними или с их коллегой Дзержинским, тень которого внушала поэту Эдуарду Багрицкому приказ, приписываемый ныне самому поэту:

**«И если он скажет: Солги! – Солги!
И если он скажет: Убей! – Убей!»**,

поставить этого поэта, отвечавшего:

«Феликс Эдмундович, я нездоров!»,

и, тем самым, уклонявшегося от исполнения приказа железного Феликса, - разделяя, быть может, его идеалы, но не желая ни лгать, ни убивать? И можно ли ставить на ту же доску большинство евреев, чуждых тем идеалам, приверженных идеалам Февраля? И можно ли туда ставить евреев, пострадавших от большевиков и в революцию и при ликвидации НЭПа, когда, подержав еврея в парилке, чекист с его, как уверяют, «чистыми руками», говорил: «Ты, жидовская морда, золотишко-то лучше отдай! Хуже будет!», хотя никакого золота у того отродясь не было. А лауреат Нобелевской премии в этой связи замечает: «удар по нэпманам-евреям не мог не смягчаться их связями в административных советских кругах» (2,203). Не мог, и все тут! Доказательства не требуются. Достаточно верить старой байке, что евреи всегда заодно, что ни социальных, ни религиозных, ни политических распрей среди них нет и не было, только взаимопомощь! И даже бедные не против богатых! Уж не избранный ли они, в самом деле, народ? В России при погромах, действительно, создавали самооборону. Помогали, где могли, спастись от нацистов. Способствовали, когда круг сжимался, выезду из СССР. Но была не только взаимопомощь, а и противоречия, и соперничество. Даже при приеме евреев на работу, другие, там работавшие, порой не радовались, а боялись увольнения, - знали, что «завышать» процент евреев не дадут. К несчастью, уже парилку не всякий выдерживал, но Солженицын ответственности за не выживших не ощущает. Вот он и подсчитывает какой процент евреев служил в ЧК, но не считает, какой составляли сидевшие и расстрелянные. Да еще уверяет, что, вообще, в лагерях евреям «жилось легче, чем остальным» (2,331).

19

Всему этому, кажется, нет объяснения, кроме животного, зоологического антисемитизма. Многие не без удивления так и говорят. Но это слишком просто. Тогда бы писатель

примирился с советским режимом, тоже дошедшим до зоологии, а он не мирится и все еще настаивает, что советская власть – худшее из зол. Да вроде и впрямь, гитлеровская выглядит хуже лишь из-за газовых камер и печей для живых людей. Что бы гитлеровцам убивать евреев попросту, как в Бабьем Яру, или как чекисты на Колыме, да еще не поголовно! Поляков убили не меньше, но выборочно, а не всех подряд, как евреев. Убивай они так и евреев, возбуждение было бы меньше, и первое место, быть может, досталось бы коммунистам. Но и так они идут ноздря в ноздю. Цельной натуре Солженицына трудно признать, что, бесчинствуя на многих направлениях, два зверя первенствовали на разных. Советская власть по общему числу убитых сограждан впереди, а в еврейском вопросе припозднилась, до печей не дошла. Но шла туда же, и довела бы, да силенок на всё уже не хватало. Впрочем, при нашем климате в печах нужды нет, снег и лед не хуже пламени. Да и терзавшая гитлеровцев проблема, куда девать трупы, при наших просторах не стоит.

Солженицын отмахивается от того, что и советские евреи в страхе ждали свою Катастрофу. А была даже поговорка: решительные уезжают, смелые остаются! Но разве не катастрофой для последнего миллиона был страх упустить внезапную возможность отъезда, - она могла не продлиться.

Конечно, эту бескровную катастрофу многие из них сочли спасительной, и даже неловко пользоваться словом, какое по-русски означает великую Катастрофу еврейства. Но эта, новая, обозначила и конец русского еврейства, и конец его небывалого сближения с русским народом и его культурой, начавшегося, хоть не двести, но сто с лишним лет назад. Солженицын знает, что погибают серьезные ценности, что теряют не только евреи, но и Россия. Но разговорами о взаимной вине силится заслонить дряхлеющее тысячу с лишним лет, - разве что с перерывом от Февраля до середины НЭПа, - фактическое неравноправие. Он наперед отвечает: «под *равноправием* евреи понимали нечто *большее*». То есть, «отказ русских от своего национального чувства», при том, что «еврейская интеллигенция – не отреклась от национального» (1,474). Под «еврейской интеллигенцией» писатель, конечно, понимает русскую интеллигенцию еврейского происхождения, но она и отрекалась, как тот же Багрицкий («**Уйти? Уйду. Тем лучше. Наплевать!**»), и, еще чаще, без демонстраций отходила и уходила от националь-

ного, как и Мандельштам, и Пастернак, и десятки и сотни тысяч.

Солженицын не похвастался сказать, что в неравноправии виновен не русский народ, а самодержавная, диктаторская, тоталитарная русская власть, хоть это в большой мере так. А все оттого, что и сам хочет подобной власти, только не красной, не советской, не той ужасной, какой и впрямь мало равных. Только бы взамен ни в коем случае не подсунули либеральную, Февральскую, которая для него еще хуже.

20

Большинство граждан России сегодня растеряны и по опыту не доверяют политикам. Лишь около четверти, явное меньшинство, хочет буржуазного порядка, но тяготеет к разным его тенденциям, - кто к консервативной, кто к социал-либеральной. Как везде, они скорее спорят меж собой, чем составляют единую силу. На возвращение писателя они не реагировали, а он, по неприязни к либерализму, их не жалуется.

Коммунисты, потерявшие власть, не отреклись от прежних догм и стали даже откровенней, чем прежде. Их шовинизм вырос и обрел православные мотивации. Но писатель, не приемлющий коммунизма, их не поддерживает.

Коммунисты, удержавшие власть, отрекшиеся от марксизма, не то что новой идеологии, а и сколько-нибудь связанного понимания общественного порядка не изложили. Судя по действиям двух российских президентов, их цель - авторитарной властью удержать в зависимости от государства хозяйственные монополии, которым для большей поворотливости придали вид частных, дав им небольшую свободу на поводке. Советскую власть как бы смягчили, вместе с идеологией ушел партийный аппарат, остались лишь гэбэшный да общегосударственный. Власть искала поддержки Солженицына, Путин его посетил, после чего писатель власть не критикует. Но и активно не поддерживает.

А русский фашизм, плодящийся на глазах, обозначает схожие цели прямой и резче власти или коммунистов старого толка. Власть еще сеет иллюзии, что запредельными ценами на нефть и закрытыми мерами удержит свой растущий авторитаризм от прямой тоталитарности, но открытые фашисты готовы на все.

Их лозунг «Россия для русских» был бы абсурден, уж- мись даже страна до размеров Московского государства XV века, – ныне и в сугубо национальных государствах защи- щены права меньшинств. Но Российская федерация куда побольше, и в приложении к ней этот лозунг означает: Та- тарстан для русских, Якутия для русских, Кавказ, включая Чечню, для русских. И даже при коренном сокращении в России числа евреев, от них все еще хотят избавиться пол- ностью. А международным языком фашизма антисемитизм назвал Сталин, еще не друживший с Гитлером, и не гадав- ший, что вскоре сам этим языком публично заговорит.

Сегодня в России популярна книга Гитлера и ориги- нальные русские сочинения того же толка. Да и выступления известных фигур от Васильева и Баркашова до Жириновско- го и Рогозина находят сочувственный отклик. Солженицын знал на какие волны спускал свой челнок. Но в этой атмо- сфере он, видимо, счел недостаточным лишь утверждать, что фашизм - меньшее из зол (пусть не для евреев), и сам взявшись за обличение евреев, главной мишени фашист- ских атак, оказался идеологом русского фашизма.

Одним национализмом это не объяснить. Мы чтим Га- рибальди и Боливара, и Томаса Джефферсона с Джорджем Вашингтоном, которые как раз и были в прямом смысле на- ционалистами, борцами за национальную независимость, и никак не фашистами, а демократами. Российская история не выдвинула сопоставимых фигур уже потому, что тем при- шлось за свободу своих народов бороться с чужими – Авст- рийской, Испанской, Британской – империями, а за свободу закрепощенного русского народа Радищеву, Никите Муравь- еву и Герцену приходилось бороться со своей Российской, русской империей. Нынче Солженицын вроде тоже болеет за русский народ, но словно не знает, забыл, что не было и нет на нашу общую беду традиций демократического русско- го национализма, складывающихся в борьбе за националь- ную независимость. Ее отстаивали у нас как сугубо импер- скую. Слово нашлось подходящее, – самодержец, – значит, князь правит Русью не оттого, что где-то в Каракоруме на- значен, а сам от себя, – да только смысл слова тут же и пе- ревернулся, – и всероссийский самодержец правил не одной Русью, а еще и ее соседями, держал других. Вот национа-

лизм и рос у других, враждебный Руси, ставшей империей. А место русского национализма заняла русская великодержавность, и ее непреходящий оплот – крепостничество, людское бесправие.

Ныне силятся на этой почве сеять русский национализм, на что русский народ, – пребывая он в зависимости от кого-то, кроме своего российского царского или советского, авторитарного или тоталитарного государства, – имел бы, конечно, не меньше оснований, чем любой другой. Да только национализм противоположен великодержавности и совмещается с ней лишь дорастая до шовинизма, до агрессивности к «инородцам», то есть, теряя пафос самозащиты, главного своего оправдания.

Рядя ныне Российскую империю русским национальным государством, иные дивятся, что не только чеченцы, кстати сказать, в империи Романовых выполнявшие охранные функции, но и татары противятся. Взяли, опять же, подходящее слово «федерация», то есть, добровольный союз независимых национальных государств. Но государство, силой оружия принуждающее другое быть своим союзником и даже своей частью, становится не национальным, а великодержавным. Начав чеченскую войну мы отреклись от национального государства и потеряли доверие возможных союзников. Вот русскому националисту первым делом и протестовать бы против этой войны!

Русскому националисту, чтобы его не спутали с фашистскими авторами, заполнившими прилавки, первым бы и выступить против русских фашистов. Они, к примеру, сетуют, что русскому (как и другим европейским народам) навязали, дескать, еврейскую (христианскую) веру. Ну, что бы русскому националисту, да и церкви, именующей себя русской, неустанно разъяснять, какой удачей для России было приобщение к этой еврейской секте, выросшей в мировую религию. Фашистские листки беснуются от присутствия в русской литературе «инородцев» – от молдаванина Кантемира и немца Фонвизина до абхазца Искандера и еврея Бродского, и призывают отогнать их в особые национальные литературы, пусть даже на русском языке. Вот бы писателю националисту на этот вздор возразить. Но не возражает, занят другим.

Национальные государства, начиная с первого из них – Нидерландов, как раз были толерантны к людям иного происхождения, это империи делили жителей на римских граж-

дан и варваров, арийцев и расово неполноценных, русских и инородцев. Но есть и другие традиции, от евангельского «ни эллина, ни иудея» до защитника беззащитных русского писателя Короленко. Солженицын чурается таких традиций, вот и оказался заодно с фашистами.

22

Он слыл иным, и ждали от него иного. Но жизнь – не тротуар Невского проспекта. Честные люди, прежде сочувствовавшие большевикам, в январе 1918 не могли не увидеть, что разгон Учредительного собрания учредил, – как позднее это назвали, – «обыкновенный фашизм». Его можно было не углядеть наперед, но не разглядеть странно. Солженицына тоже стоит разглядеть.

Национальный вопрос остается в Российской Федерации самым существенным после экономического (как до революции – после аграрного). Но Солженицын не исследовал кавказские и, в частности, чеченскую, проблемы, не углубился в проблемы татар – второго по величине, после русских, народа России, или в проблемы народов Севера и других. По идеологическим мотивам он предпочел еврейский вопрос, решение которого, меж тем, уже свернуло на трагический путь эмиграции. Писатель забыл, что в 1998 году в брошюре «Россия в обвале» сам высмеивал тех, кто «кинулись в незрячую крайность: за поражения России в XX веке искать виноватых не в нас самих, так дешево клюнувших на ленинский призыв к грабежу и «штык в землю» вместо защиты Родины; и не в нашей же отнюдь не масонской династии и правящем слое, – но во всем происшедшем обвинить «сионизм», а кто и прямо «евреев», и даже с карикатурной подачей»⁴ (142). Кидающихся на это всё больше и больше, но теперь писатель сам снабжает их доводами.

Советский тоталитарный порядок, новый феодализм, как всякий феодализм, жил внеэкономическим принуждением, и великий поэт назвал отечество: «Страна рабов, страна господ». Такой порядок многие, – как покойный Аркадий Белинков, – отвергали всецело. На его статью, озаглавленную лермонтовским определением, Солженицын в двухтомнике грубо нападает (2,457). Сам он вроде тоже отвергает советский режим, но его имперским шагам сочувствует и даже

⁴ «Россия в обвале»

сетует порой на их недостаточность. Особенно он недоволен тем, что первенствующее положение русских в СССР прикрывалось лицемерным интернационализмом. Словно не знает, что все империи рухнули, а российская устояла и поныне стоит, благодаря большевистскому лицемерию.

Советскому режиму справедливо указывали на то, что он не воплотил марксистскую утопию. Но эта утопия, при всей своей несбыточности и нелепом представлении о физическом труде, как единственном источнике ценности, все же предполагала стартовые условия, которым «отдельно взятая» Россия не отвечала ни в 1917, ни в 1929 годах, ни потом.

Режиму справедливо указывали на отсутствие демократии в стране и в самой коммунистической партии. Но марксистская утопия предполагала множество «рабочих ассоциаций», а не единый общегосударственный концерн, которым нельзя было править не обратив партию и народ в беспрекословных исполнителей спущенных задач, да и то, как выяснилось, только до поры. Не тайна и то, как смещаются при этом первоначальные задачи утопии и чему она в итоге служит.

Режиму справедливо указывали на разрушение привычного уклада жизни, запрет религий, подавление национальных традиций, контроль над литературой, искусством и даже наукой. Но коммунистические порядки едва ли бы имели шанс возобладать, будь коммунизм не единственным, а одним из многих допустимых верований, или будь народам позволено возражать против задач, угрожающих их существованию.

Оставайся коммунисты даже верны букве марксистской утопии, она бы все равно не сбылась ввиду отчасти уже названных просчетов первооткрывателей и, еще больше, ввиду общего развития хозяйства и общества, пошедшего совсем иначе, чем ожидал Маркс. Дело бы кончилось неудачей, и все тут. Но утопический волюнтаристский социализм, и не только марксистского толка, строился в странах, спешивших развиваться, не покончив с феодализмом. Вот утопия и оказалась на практике химерой, гибридом революционных намерений и феодальных традиций, совокупившихся в тоталитарный порядок. Иначе эти химеры бы не родились.

Немецкая уже на седьмом году затеяла войну, которую проиграла. А там, где тоталитарный порядок удерживался подольше, его внутренние противоречия выливались в постоянную внутрипартийную схватку, и он сам наносил себе

ущерб, а Сталин еще, запрещая науки, подрывал благополучие и обороноспособность страны. То были не ошибки вождя, а природа порядка, который он воплощал. Нелепо искать тут оплошности и бранить за них, почитая химерический порядок в целом. Как же страна верила все новым и новым вождям, что «основа верна», и «допущенные ошибки» они исправят?

Большевизм не продержался бы семьдесят лет, будь он лишь заемной модой, не влияя на него все сильней традиции русского феодализма, начиная с крепостного права. Русский марксизм отличается от западного еще заметней, чем православное национал-христианство от католичества, не говоря о протестанстве. Но тут писатель спохватывается, что критика большевизма идет, как он выражается, в «оборот на Россию», то есть, злодеяния советской власти находят частичное объяснение в русской истории, а ее-то писатель и хочет от советского периода отгородить. И защищает уже не советский, но тоталитарный режим, по ходу отмыwania красного цвета, коричневеющий.

Гений молодого поэта, хоть и не дожившего до термина «внеэкономическое принуждение», увидел и обозначил его наглядный результат. Понятно, в России было и есть много чего помимо рабов и господ, но эта строка – не частное мнение поэта, а, как говорилось в советские годы, правда жизни. Солженицыну бы надо это понимать, ведь и в его главной книге «Архипелаг Гулаг» есть разные страницы, – иные детали и характеристики там можно оспорить, как оспаривал Варлам Шаламов, но не опровергнуть, что в России такой архипелаг был, что у нас так бывает, и мы уважали писателя, который в опасных условиях это записал. Да мы и «Записки из мертвого дома» читали. И тоже не сочли их «оборотом на Россию», хоть об «Архипелаге» советская печать выражалась именно в таком роде. Но двадцать лет спустя сам Солженицын готов счесть, что Лермонтов оклеветал родину. Мысль отступает перед страстью, но страсть, сколь ни сильна, не заменяет анализ.

Солженицыным движет не одно юдофобство. Он скорей распаляет юдофобство в себе и других, чтобы, тыча читателю в нос нераскаянными «винами» евреев, упредить «либеральный соблазн» и внушить России новый тоталитарный проект, как он надеется, наконец-то, истинно русский, - евреи по преимуществу уехали, - но, как уже видно, не менее пагубный для русского народа, чем советский.

ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ

В предвидении визита Обамы в Москву Л.Гудков, И.Клямкин, Г.Сатаров и Л.Шевцова в газете «Вашингтон пост», и одновременно А.Пионтковский в газете «Москоу таймс», предостерегли его от советников, зовущих принимать Россию такой, какая есть, то есть, вернуться к так называемому «политическому реализму» и примириться с ее отказом от обещанной при выходе из СССР демократии, И тотчас были контр-атакованы А.Ливеном в вашингтонском журнале «Нэшэнэл интерес». Спор, однако, вышел не так о политике США, как о судьбе России. Российские авторы утверждают, что «две трети россиян выступают за установление в стране демократии и верховенства закона», и в том, что ни того, ни другого, нет, винят лишь нынешнюю российскую власть, а Ливен пугает, что «практически по всей России либералы просто не имеют никаких шансов на избрание в ближайшем поколении, а то и дольше». Но не так все просто.

Что говорить, иллюзии августа 1991, если не тогдашнее слабое понимание происходившего, ушли, но не Америка их создала и не она рассеяла. Если Обама сочтет, что Россия живет так, как хотят ее жители, ничего хорошего это нам не сулит. Но наивно думать, что обозначив российскую ситуацию, он спасет нашу страну. Спасти мы можем только сами. Никому не сформировать демократию в другой стране, если та не оккупирована, да и там, как подтвердил Ирак, это зависит от местных жителей. Обаме полезно видеть, что, интересы России не идентичны интересам ее нынешнего режима. Но ему еще полезней видеть, что интересы Соединенных Штатов тоже не идентичны нынешним советам Киссинджера и комиссии Харта-Хейгла. И отнюдь не потому, что их советы реалистичны.

Можно понять американцев, разочарованных несбывшимся преобразованием России, понимающих, что она осталась лишь ужавшимся Советским Союзом, помнящих, что требовать от Брежнева или Андропова демократии было смешно, но и тогда, и теперь, хотящих не военной конфронтации, а сообразия с реальным положением вещей. Но то-то и оно, что Киссинджер и другие советники Обамы влекут вспять от реализма и на подобную брежневской, даже более жесткую, политику Путина зовут отвечать совсем иначе, чем отвечал Брежневу сам Киссинджер. Вообразив, что Россия

слаба, они готовы нынче ей легкомысленно уступить Абхазию, завтра Крым, потом Эстонию, а там, глядишь, и Польшу, лишь бы Россию ублажить и успокоить, забыв, что аппетит приходит во время еды. Даже готовы звать режим, возвращающийся к иначе декорированному тоталитаризму, демократическим.

А когда-то тертый Киссинджер реалистично играл на всех клавишах. Ракеты с ядерными зарядами стояли друга против друга. В Афганистан, куда мы влезли, Америка слала стингеры, предопределившие исход войны. Она содержала радио «Свобода», доносившее до нас происходившее в нашей стране, скрываемое советской псевдо-информацией. И в то же время Америка поставляла Советскому Союзу хлеб и многое другое, жизненно ему необходимое, и подписывала соглашение в Хельсинки, декларируя, как повсеместные и общие, демократические нормы и права, но не претендуя сама их в СССР установить. Холодная война, никак не радовавшая, все же спасла от горячей, не будем неблагодарны. То и был реализм, но Киссинджер с ним расстался и предлагает «новый реализм», а разницу меж тем и другим авторы «Вашингтон пост» упустили. Если бы Обама ее ощутил, он бы, – не ради нас, а ради Америки, – не признавал за Россией особые права на воспитание соседей, использованные в Грузии, и вместо басен о возможности вместе с Россией укоротить иранскую бомбу, помнил бы, кто помогает Ирану ее создать, словом, вел бы себя с Путиным, как Никсон и Киссинджер с Брежневым. Если он этого не поймет, – значит и его интересы не идентичны интересам США. Но нам тут ничего не поделать, хоть русской демократии это во вред.

Оплот реализма в политике – взаимность. Рейген смягчил к Горбачеву, внятно сделавшему лишь политические шаги к нормализации жизни в СССР. А Клинтон в пришедшем потом Ельцине не углядел реставратора былого порядка, сшившего ему наряд, по форме сообразный либеральным стремлениям народов СССР, но пренебрегшего содержанием, и быстро утратившего массовые симпатии. Не забудем, что он России и навязал в президенты Путина, и не просто по личной симпатии, а выбрав из нескольких сотрудников спецслужб.

Трудно не согласиться с Ливеном, что стремление большинства россиян к демократии «совершенно точно не означает одобрение «демократии» в том виде, в котором она практиковалась администрацией Ельцина». Между тем,

авторы «Вашингтон пост», отождествляя авторитаризм с Путиным не вспомнили, что он прописан уже в Конституции 1993 года. Не вспомнили, что хозяйственные реформы Ельцина-Чубайса подменили переход к свободной экономике, вырядив советские монополии «собственностью» Потанина, Абрамовича, Дерипаски, и прочих. Ельцин вместе с псевдо-либерализмом завел псевдо-капитализм, который иные бесстыже именуют государственным, хоть государство можно счесть капиталистом лишь когда ему равноправны частные конкуренты, а когда оно ими, как у нас, управляет, никакого капитализма нет и быть не может.

При такой системе на реальный либерализм шансов у нас мало, хоть Обама на голову встань. Ливен прямо пророчит, что либералы не будут избраны во власть «в ближайшем поколении, а то и дальше», хоть большинство россиян, как сам Ливен признает «хотят, чтобы в России было больше определенных элементов демократии». Но режим устоит лишь, если, во-первых, нынешнее хозяйствование за два поколения не развалит страну, а во-вторых, если Путин, Медведев и другие члены их кооператива сумеют и дальше держаться на фальшивых выборах, не допуская сильных оппонентов, и даже тех, кого к выборам допустят, не допуская к средствам массовой информации. А это зависит и от готовности Америки и Европы принимать это за демократию.

Конечно, широкая неприязнь к тем, кто под именем либералов и демократов семнадцать лет назад начал шить советской системе псевдо-капиталистический наряд, умрет не скоро, тем более, что кумир псевдо-либералов Чубайс все эти годы занимает во власти видное место и славит Чеченскую войну. Но прошло достаточно времени, чтобы разобраться, была ли гайдаровская «либерализация цен» в государстве, остававшемся монопольным владельцем производства, впрямь либеральной, и в какой мере либеральными можно счесть реформы Чубайса, начавшего «строить капитализм» созданием мощных монополий, всюду возникавших в финале, а не в исходной точке буржуазного развития, начатого миллионами крестьян, освободившихся от феодальных пут.

То-то и оно, что все это время, уже с 1993 года, было трудно публично обсуждать, что со страной проделали, да и самому существованию впрямь либеральной оппозиции якобы «либеральной» власти, усердно мешали, а при Путине оно стало невозможно. Противившаяся ельцинским рефор-

мам социал-либеральная партия «Яблоко», при всей робости и слабости ее критики чубайсовского «либерализма», не имела ни своей газеты, ни повседневного доступа на телевидение, и шельмовалась, как враг единства либералов. Власть взяла монополию на либерализм, и донести до людей коренные различия реальных и ряженных либералов было немыслимо. Многие принимали за либералов не защитников свободы и самостоятельности людей, а защитников свободы государства командовать, быть авторитарным и даже опять тоталитарным. Об этом не вспомнили ни авторы «Вашингтон пост», ни Ливен, а здесь-то и зарыта собака. Уже при Ельцине критиков власти убивали из-за угла, и свободу печати ужимали. А при Путине пошли и открытые преследования инакомыслящих, запреты собираться, дубинки ОМОНа, и много чего еще. Нашей власти хватает терпимости лишь к антилиберальным движениям, к коммунистам, фашистам, нацистам. А подлинные либералы – для нее экстремисты.

И если, – как Ливен предрекает, – после Путина и Медведева будет еще хуже, или, скорей, они сами станут еще хуже, то в этом они сами, прежде всего, и виноваты тем, что не дали развиваться свободной дискуссии о том, как стране жить. Авторы «Вашингтон пост», в отличие от Ливена, это признают, и это важно. Россия обрела нынешний порядок не по свободному выбору населения. Как сказано, «Народ безмолвствует». Недобросовестно выдавать его отстранение от «демократии» Ельцина, Гайдара и Чубайса за склонность к авторитаризму Путина и Медведева. По традиции у нас ходят на избирательные участки не затем, чтобы выбирать. Лишь свободные обсуждения по всей стране, подобные хотя бы шедшим в последние годы власти Горбачева, при свободных голосованиях, каких в России так почти и не было, выявят новых, еще неизвестных, подлинных либералов и демократов, как выявляются они в той же Украине, где, при всех нескладницах, есть политическая жизнь, которой в России нет.

А Ливен внушает, что и без нее страну, уже более двадцати лет тщетно пытающуюся стряхнуть большевизм, президент Медведев приведет к демократии, пользуясь советами Игоря Юргенса. (Как Обама, пользуясь советами Киссинджера). Не исключено, что Юргенс впрямь хочет, как лучше. Советником Путина долго был Андрей Илларионов, о котором мы в Питере слышали много хорошего, и это Пути-

на украшало, но о власти судили не по советам, которые Путин получал, а по его поступкам. Вот и ныне приходится судить по поступкам Медведева, а он в противодействии демократии уже и Путина обошел, продлил президентский срок, заменил выборы Председателя Конституционного суда его назначением, создал комиссию по извращению истории в интересах России, и т.д. Поэтому Юргенс с его институтом воспринимается как ведущий актер перформанса, затеянного, чтобы придать Медведеву либеральный облик, в чем, как видим, и Ливен принимает участие. Илларионов, в конце концов, той роли не выдержал, и ушел в отставку. Чем бы ни кончил Юргенс, всерьез ждать от Медведева реальной «перестройки» или хотя «оттепели», оснований покамест нет, рассорится он с Путиным или будет и дальше его маской.

Ждать перемен к лучшему сегодня трудно. Ведь и перестройку Горбачева, вздыбившую страну, вызвала не сама по себе его добрая воля, а катастрофа, до которой хозяйство дошло под руководством КПСС, отлично, кстати, изложенная Гайдаром в книге «Гибель империи». Горбачев понял, что жестокие меры, свойственные его партии, для страны и населения уже губительны, и хотел их избежать, хоть на серьезные экономические реформы так и не пошел. Но и после него руководящие места остались у коммунистов, лишь спрятавших партбилеты. Вот при всех, немалых, вроде, обновлениях, и жив прежний советский дух. Нас уверяют, что на глубокие перемены нужны десятилетия, а после замены продрозверстки продналогом страну вскоре было не узнать, и в «год великого перелома», 1929, она опять мгновенно переменялась, да и голод начался. Но нам внушают: «Надо погодить!» Лучший способ выдвижения новых идей и людей - свобода, у нас опять отвергнут. Конечно, углубление кризиса, с которым Путин, хоть и хорохорится, справляется плохо, способно вызвать оползни, а они дальнейшие повороты, временно отсроченные подскоком цен на нефть, но, как ни относиться к Путину, родной стране оползня не пожелаешь.

В рассуждениях Ливена ключевое место заняли отличия происшедшего в России от перемен в зависимых странах и союзных республиках, хоть не все они обрели демократию. Отмечая, что в их освобождении от советской империи немалую роль сыграл национализм, он пишет, что «для россиян антироссийский национализм не может стать двигателем реформы», хотя антиимперский русский национализм, отказ русских от империи, которой Россия осталась, как раз мо-

жет. Но Ливену национализм кажется полезным лишь там, где он связан «с восстановлением позиции России в роли великой державы». Между тем, Россия более всего изнемогает от державного груза. И ее спасение в отказе от великодержавности, в том, чтобы национализм перестал быть шовинистическим, биологическим, расистским.

Гарибальди был националистом, но не империалистом и не шовинистом. Становление Европы во многом совершенно национальными движениями, отнюдь не направленными против инородцев. Вспоминается и Бисмарк, ценивший вклад немецких евреев в объединение Германии. Но возникновению здорового русского национализма издавна мешало то, что русский народ, наполовину закрепощенный, и думать не мог о национальном самоопределении, а мог лишь под командованием правящего класса расширять империю, в которой крепостной мог быть господином лишь номинально. Русский демократический национализм, в отличие от имперского, вопреки Ливену, побудил бы не удерживать чужие земли и другие народы, а, напротив, предоставить желающим отделиться полную свободу, а желающим остаться в России равные права. По последовательности в этом его и можно будет опознать. Каспаров, конечно, заблуждается, надеясь в союзе с недемократическими группировками привести страну к демократии. Но, посмеиваясь над ним, Ливен выгораживает правящую великодержавность, словно хрен слаще редьки.

Лишь национальное самоопределение уберезит Россию от великодержавного шовинизма, процветавшего в СССР, и ныне питающего не только власть, но и те неофашистские группы, которые Ливен вроде осуждает. Чтобы этого не видеть, нужно закрыть глаза. Демократический русский национализм, зовущий русский народ отказаться от двойной роли — полутюремщика-полукрепостного царской или советской империи, — едва ли не единственная реальная надежда страны. А советчикам Обамы, велящим ему потворствовать российским властям, как и, к сожалению, их критикам в «Вашингтон пост», и, еще более, обличающему этих критиков Ливену, как раз реализма и недостает. Но, не воспринимая реальность, невозможно вести реалистическую политику.

ПУТИН И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Путин объяснил, что такое правовое государство: «Это соблюдение действующего законодательства». Он уточнил: для проведения собраний, митингов и демонстраций «нужно получить разрешение местных органов власти». Если не получили – «не имеете права!» (то есть такое право дает не Конституция раз и навсегда, а местная власть всякий раз заново.) «Вышли, не имея права, - получите по башке дубинкой».

Как человек законопослушный, я не хотел бы нарушать законные распоряжения власти. И никто не хочет. Но Конституция России в статье 18 гласит: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». То есть закон говорит прямо противоположное тому, что говорит Путин. По закону человек и гражданин не только не должен испрашивать разрешения пользоваться своими «непосредственно действующими» правами, а напротив, его права и свободы должны определять поведение властей.

Разумеется, когда в одно место сходятся две разномыслящие толпы (особенно если одну власти сами присылают), надлежит не допустить их соприкосновения. В Нью-Йорке полиция разделила сторонников и противников строительства исламского центра, хоть никому, кажется, не дали дубинкой по башке.

Премьер-министр как глава исполнительной власти обязан не только знать статью 18, но и в своем поведении исходить из наличия у граждан прав и свобод. Иначе распоряжения власти заведомо противозаконны.

Законопослушный гражданин послушен именно закону, а власти – лишь в той мере, в какой она соблюдает закон. Нашей власти всегда было трудно это понять – она ожидает выполнения любых своих распоряжений, не только законных. Тем более что гражданам ответить нечем. Им не восстановить ни верхнюю палату, в которую субъекты федерации сами выбирали своих представителей, ни выборы губернаторов, ни четырехлетний президентский срок; им не лишить чекистов возможности предостерегать граждан от неподсудных действий. Единственное право, которым можно попробовать воспользоваться, - это право собираться. За

это национальный лидер обещает и впредь бить дубинкой по башке. Если такое у него уже на языке, значит, на уме новый Новочеркасск. Но у нас в городе на Дворцовой площади стреляли еще 9 января 1905 года. Не помогло.

А правовое государство – это законопослушная власть. То есть не самодержцы и не самозванцы.

ПЛОДЫ БЕЗОТЧЕТНОСТИ

Шум вокруг учебника Вдовина и Барсенкова обнажил схожее состояние псевдопатриотических и псевдолиберальных российских умов, их общее презрение к объективности при верности моральным устоям, даром что противоположным. Эка невидаль - очередная тоталитарная пропаганда, помесь советизма с нацизмом. Да таких книг, не говоря о листовках, в свободной России ходят десятки. Уже всерьез поговаривают, что на очередных выборах, если они будут свободными, неотвратимо победят нацисты. Это, по-моему, перехлест, но характерный для атмосферы. А тут пеняют профессорам за нелюбовь к евреям. Помилуй бог, любовь безотчетна, никто не обязан любить евреев, равно как чеченцев, грузин или русских. Обществу бы углядеть перерастание отсутствия любви в реальные гонения, от ограничений при приеме в вузы и на работу до депортаций и массовых убийств, нынче не так евреев, как чеченцев и грузин. Но и евреев касающихся.

Конечно, в Уголовном кодексе есть еще и статья о клевете, которой у Вдовина с Барсенковым полно. Но эта статья не защищает ни народы, ни научные теории, ни религии, хорошо если отдельных людей. Единомышленники профессоров, к примеру, утверждают, что евреи распяли Христа. Объяснить, что этого не только не было, но и быть не могло, способен не только патриарх, но и простой священник, читавший Писание и знающий, что Христос сам из евреев, и явился евреям, и немалая их часть его признала, и все апостолы были евреи. Но Христа не признало иудейское священство. Однако, даже осуждая его позицию, отворотившую от признания Христа другую часть евреев, честный христианин знает, что распять его иудейская община никак не могла – не было у евреев такой казни, это римская казнь, сколько бы Понтий Пилат ни умывал руки. И объясняли сотни раз, а клевета воскресает и возносится. Указывать на такое, как и на профессорское вранье, конечно, полезно. Но смешно выставлять государственную охрану истине.

Государство не является непременно носителем истины. Если что в полемике и любопытно, то не пропагандистские банальности национал-социалистической и коммунистической выпечки, а именно позиция нашего государства. Она видна уже по поддержке, оказываемой профессорам гном Карповым, деканом истфака МГУ, то есть государствен-

ным служащим. И в появлении на книге рекомендательного грифа, согласно которому это полезный учебник, а не просто проявление свободы слова, на которую и у коммунистов, и у национал-социалистов, конечно, тоже есть право, покуда они не призывают к насильственным действиям.

Этот декан и этот гриф имеют место по воле важных лиц в Министерстве образования. А важные лица выносят важные решения, лишь если министр Фурсенко не видит в них ничего дурного. А г-н Фурсенко остается министром лишь потому, что его позиция не волнует главу правительства, а позиция главы правительства не вызывает сомнений у президента. В этом и состоит вертикаль власти. Если даже Медведев и Путин не одобряют Вдовина и Барсенкова, то все же, выходит, терпимы к их прокоммунистическим и пронацистским идеям и не видят беды во внушении их студентам государственных учебных заведений. Это и беспокоит. И беспокойство не заглушить призывами посадить в кутузку Вдовина с Барсенковым, словно от них все зло. А разрастается угрожающее идейное течение, оказывающее влияние на власть. Без всяких свободных выборов.

Не так важно, распространяют эти взгляды в виде книг, подписанных авторами, или анонимно в Интернете и даже самиздате. Ничего удивительного, что они проросли в обществе, двадцать лет после формального отречения от коммунизма уклоняющемся от публичного выяснения, что он на деле собой представлял, в чем совпадал с другими видами тоталитаризма, чем от них отличался и почему обрел в России власть. Авось дойдет и до выяснения этого. Но уже сегодня важно видеть позицию власти. Красноречивое молчание ее прояснило. Но псевдолибералы и псевдопатриоты это обходят. А если думать не только о вечности, но о настоящем дне, это главное.

ЧТО ПОТЕРЯЛА РОССИЯ В ЧЕЧНЕ?

К годовщине указа президента России от 11.12.1994

Понятно, потеряла Россия своих солдат. И еще ухудшила этим демографию – у погибших молодыми детей не будет. Но наша власть своих не жалеет. Такая у нас государственная мудрость. Ельцин и Путин ею не пренебрегли. Пренебрегли они будущим России. А думали, что ратуют за целостность страны, которую не мыслили без чеченцев, живых или мертвых. Россия не была для них государством русского народа, как Франция – государство французского, а Германия – немецкого, среди которых там на равных правах живет немало выходцев из иных народов, но нет огромных массивов, издавна и поныне заселенных иными народами.

Россия была для них, как сказано в Конституции, государством многонационального народа, соединенного общей судьбой. Понимать, что это значит, стало особенно трудно после того, как Советский Союз, тоже населенный многонациональным советским народом, тоже соединенным мистической судьбой, распался как карточный домик и народы союзных республик стали спасать свои национальные государства. В иных тоже остались массивы, заселенные, как говорится, нетитульными народами, и это тоже порой ведет к кровопролитию. Но Россия упрямее всех держится за унаследованное от СССР представление о народах, состоящих из наций, первых и последних.

Чеченцы воспротивились - их ведь было не меньше, чем, скажем, мирно обособившихся эстонцев. Но Ельцин не общероссийскую проблему стал решать, а железом и кровью удерживал мятежную Чечню, как внутреннюю землю. Как премьер еще при Ельцине, а потом как президент, то же самое делал Путин, который и через шестнадцать лет после начала войны ее фактически продолжает. А схожее положение, хоть и не в столь резких покамест формах, охватывает и другие республики Северного Кавказа, и не только Кавказа. Не воюя с внешним врагом, Российское государство военной силой удерживает покоренные некогда территории, и нужда их защищать от их населения куда реальней внешней опасности, которой еще, слава богу, нет. Китай не дозрел, а Иран отрезан тюркским пространством. Может ли страна нормально жить и развиваться, пребывая в состоянии затяжной войны сама с собой?

А чеченское восстание сулило спасение от такой войны. Его подняли люди, прожившие жизнь на службе советской стране, а значит и России, близкие ей по своим представлениям. Конечно, генерал Дудаев и полковник Масхадов хотели видеть Чечню независимой, но не враждебной, а дружественной, даже союзной России и, чтобы завоевать эту дружбу, а по ее примеру и дружбу других, готовых при случае взорваться республик, России достаточно было не считать их больше своим инвентарем, а отнести к Чечне с уважением. Россия отлично умеет ладить с посторонними, пока ей напоминают, что необходимо соблюдать договоренности, что компромисс – это взаимные, а не односторонние уступки. Вот и от чеченцев не капитуляции надо было добиваться, а договариваться с ними, что было возможно. Генерал Лебедь это показал.

Тут и России открывалась возможность стать национальным демократическим – не в сурковском смысле – государством. Но сперва Ельцин, а потом Путин этой возможностью пренебрегли и ее потеряли. Русофобия, отвечающая на русификаторство, чинившееся советским режимом в автономных республиках еще беспощадней, чем в союзных, обрела неопровержимый довод. Всем видно, что новой России, как и прежней, еще с Ивана Грозного, покорение других народов дороже благоденствия своего. Чтобы это оспорить, в стране должны смениться власть и строй. Если Россия при этом распадется, убийства на Северном Кавказе и взрывы в московском метро будут задним числом осознаны как плоды ельцинского и путинского понимания патриотизма. Стоит это осознать, не дожидаясь катастрофы. Ведь и дальше придется жить рядом.

ДОБРОВОЛЬНАЯ РОССИЯ

Советского строя нет, а фашизм актуален, но поныне уверяют, что советский строй победил фашистский. И судят о фашизме по-советски - дескать, «террористическая диктатура наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии». Сводят его к шовинизму, затеняя суть. Она, конечно, и шовинизмом красна, но не прежде всего. В Италии, на родине фашизма, приему в партию, созданную редактором социалистической газеты Муссолини, этническая принадлежность не мешала - сперва принимали даже евреев.

Фашизм – социальная зараза. Буржуазия к нему тянулась не всюду и не вся, а враждовавшая под феодальным грузом и с властью, и с рабочими разом. Фашизм соблазнял там, где наверху упущенное. Он дитя отставания. В развитой стране он привлекал Генри Форда, но широкой опоры не имел. А в отставших к нему влекла мечта навести порядок - абсолютистский порядок, рухнувший или несостоявшийся.

В рабочее движение, там тоже росшее, внедряли коммунизм, по природе ему чуждый. Марксистская утопия хотела сделать как лучше. Ленин обратил ее в руководство к действию. Надежду Маркса, что к коммунизму подведет капитализм, достигший высшего уровня, сменила надежда Ленина, что это сделает власть, наводящая порядок. В октябре он взял власть, в январе разогнал «Учредилку», хотевшую его ограничить. Тут человечеству и засияла заря принудительного рая.

А ее разжигали и другие радикальные социализмы, росшие из других теорий и даже религий. В стратегии они совпадали с Лениным, но изъяснялись прямой. Уже для Ленина главным было единство. Муссолини обратил его в название партии. Слово «фашизм» (от *fascio* – пучок, связка) в буквальном переводе значит «единизм». В фашистской партии все, как один, заодно. Как большевики. Но единизм не просто создает такую партию, он навязывает ее нормы беспартийным и государству. «Все в государстве, ничего вне государства», - говорил Муссолини. У нас так стало после ликвидации НЭПа. Для единистов, знающих, «как правильно», государство - машина подавления всех противящихся единообразию в социальной, национальной, религиозной и других сферах. А вовсе не орган демократического социаль-

ного компромисса, избавляющий от гражданских войн меж классами и нациями.

Вертикальная власть единизма простирается и на все хозяйство страны, если не в качестве собственника, как в СССР, то на других началах, и не дает ему воли. Аналогично регулируют культуру, науку, искусство, религию, информацию и национальные проблемы. Немецкие национал-социалисты сразу были шовинистами – сказалось поражение в войне, ронявшее национальную честь, а сверх того они отвергали – почти как наши единисты «проклятые девяностые» – Веймарскую республику, заведшую западную демократию, как чуждое веяние. А в России сперва даже Сталин на словах осудил великодержавный шовинизм и местный национализм. Однако «местный» истреблял, а великодержавный поощрял.

Ныне ищут корни шовинизма и заодно фашизма в самом по себе национализме. Но национализм по меньшей мере пятьсот лет выражает самосознание наций, как общностей, объединенных хозяйством и культурой и лишь в ничтожной мере - родством, плохо прослеживаемым на протяжении как-то известных пяти тысяч исторических лет человечества и неразличимым в двух миллионах доисторических.

Но стройся даже нации на родстве, им враждовать necessarily. Из того, что мои жена и дети мне ближе и дороже других людей, не следует, что других я ненавижу и желаю им зла. Пока разнообразие и разномыслие легальны – а уже с XVI века к этому привыкали, – ненависть ужимается. Даже в религиях, считающих себя единственно верными (Христос сказал: «Кто не со мной, тот против меня»), возникают постулаты терпимости к иноверцам.

У наций бывает нужда в самообороне, в отделении, но жажда поработить и тем паче уничтожить других растет не из национальной природы, а из имперских претензий. Единизм такие претензии умножает и абсолютизирует, ему невыносима чужая свобода, и так же, как в рабочее движение, он внедряется и в национальные, отбивая своим запахом национальный дух. Не надо путать причины и следствия. Единизм уродует национальные движения, отвращая от них (иных умников даже наперед), но не они рождают единизм, нацистский или другой.

Советский единизм, еще до того как стал открыто разжигать национальную рознь, фиксируя этническую принад-

лежность в паспортной и анкетной системах, регулировал положение наций. Регулировка и помешала хозяйственной и культурной жизни, сблизившей людей разных наций, сплотить их в единый советский народ, провозглашавшийся наверху. Нужно потерять либо память, либо совесть, чтобы выставлять советские годы положительным примером национальных отношений. Словно не было ни выселений, ни дискриминаций, ни привилегий, ни ответной русофобии, перекладывавшей на всех русских, «первых среди равных», ответственность за преступления советской власти. Об этом переговаривались шепотом, страна была терроризирована. А ныне внушают, что ничего такого не было. Но и признать, что было, понять, что из нынешнего – оттуда, недостаточно.

Недостаточно клеймить шовинизм, хоть это дело благое. Окажись я в то воскресенье в Москве, конечно, пошел бы на Пушкинскую. Но клеймить шовинизм, умалчивая о его единистских корнях, значит украшать политическую витрину. Кличу «Россия для русских» противопоставили клич «Россия для всех». Но что означает «для всех»? Открыть, что ли, государственную границу? Или «Россия для всех ее граждан»? Но это говорят и Конституция, и Уголовный кодекс, да попусту. Витрину и в советские годы оформляли прилично, а равноправия не было.

Убийца должен быть наказан. Но обществу важно сознавать, что в бытовой драке дагестанец мог убить русского просто как соперника и не глядя, что он русский. Это не оправдывает убийство, но должно бы удержать от избиения к нему непричастных. Но глава партии «Единая Россия», премьер и национальный лидер, обращаясь к друзьям убитого, сказал: «Вы должны воспринимать это действие как направленное против вас всех». А даже если этот дагестанец шовинист и русофоб, и убил Егора Свиридова именно как русского, что усугубляет вину, прежде чем обсуждать изменение правил прописки, пусть бы хоть доказали, что убивать русских хотят многие дагестанцы, живущие в Дагестане или в Москве.

Между тем не только фашиствующие молодчики вместо доказательств избивают неповинных, а премьер-министр России вопреки Конституции обещает не пускать в столицу России некоторые категории граждан. И опять задумаешься, где корни русского фашизма, если премьер распространяет вину преступника на всех лиц той же нации? Его подход многие уже усвоили и даже в ответ сочли, что и все русские

разделяют ответственность за бесчинства фашистских молодчиков у Манежа. А даже не все вышедшие на Манежную – фашисты. Присутствие других могли оплатить. Третьи сбиты с толку официальной пропагандой, им не понять, отчего жизнь миллионов русских, как и людей других наций, мучительна и беспросветна. А причина тому - господствующая, застряв в умах, идеология - единизм, зовут его еще ленинизмом или нет.

Его последствия не пересилит ни лозунг «Россия для всех!», ни призыв «Давайте жить дружно!». Реальность велит помнить, что не все, кого ныне зовут жить дружно, вошли в состав России по доброй воле. Иные, пережив невыносимые страдания, устали в ней пребывать, не верят, что она станет «для всех», - это ведь им всегда и обещали. Украинцы не отрицают, что русские тоже знали голодомор, не легче украинского. Они лишь хотят, чтобы впредь, проводить у них голодомор или нет, решали не в Москве, которой они не верят. Вот и хотят независимости. А Москва, вместо того чтобы искать доверие погранных ею народов, перебила пятую часть чеченцев и готова закрыть уцелевшим въезд в столицу. И пока оно так, лозунг «Россия для всех!», когда она не для всех, – не лучше откровенного «Россия для русских!».

Благими призывами на митингах не заслонить мнимость федерации, у субъектов которой нет прав на самоуправление, и не прикрыть то, что лишь 15 процентов этих субъектов могут жить на заработки, а не на подачки патерналистского государства.

Только горизонтальное самоопределение спасает от вертикального единизма. Одинаково нелепы расчеты растворить автономии в губерниях вертикальной России, или держать по-нынешнему, или вытолкать силой. Русь покорила разные народы, и ей их не заглотать, да еще при нынешней демографии. Нужен неторопливый, но неуклонный процесс самоопределения всех, включая русских, уточняющий отношения – административная или договорная автономия, а там, где центральная власть насадила непримиримость, – отделение. Наперед неизвестно, как где пойдет. Мордовская республика не обязательно будет определяться раньше русских Дона и Кубани. Но чем лучше власть расслышит волю граждан, тем крепче будет Россия, не только Московия, ее обирающая.

Империй вроде нашей уже нет. А демократиям нет нужды держать свои части силой, большинство жителей каждой

хочет жить в общей стране. Вот там и нет страха перед распадом, гложущего наше начальство. Современная цивилизация стоит на добровольности. Она погибает, если забывает, что себя исчерпали и подневольный труд, и покорение народов, и закрепощение ради этого титульного народа империи. Нас спасет лишь призыв «Да здравствует добровольная Россия!». В нынешнем году – сто пятьдесят лет официальной отмене крепостного права. Пора ей стать, наконец, реальной.

ТЕРРОР – ЭТО СТРАХ

Слово «террор» в переводе с латыни означает «страх», «ужас». Производное от него «терроризм» надо бы понимать как средство наводить страх. Массовое убийство не всегда наводит страх на всех. Ни ликвидация шести миллионов евреев, ни депортация сотен тысяч кавказцев, ни уничтожение двух миллионов африканцев в Дарфуре ни у кого кроме обреченных страха не вызывали. Царило равнодушие. А терроризм страшит всех, и, безусловно осуждая всякий терроризм, пора выяснить, зачем сеют страх, кто это делает. Терроризм – только средство, всегда преступное, никогда не имеющее оправдания, но только средство. Нет такого политического движения — «терроризм».

После Домодедова разъясняют, что это война, иные даже выговаривают: гражданская война. Но на войне, тем более гражданской, не вызывают сыщиков, чтобы установили, с кем война идет. Террорист сам-то прячется или сам погибает, но в любом случае дает знать, от чьего лица убивает, чтобы знали, кто не пощадит. Но в Домодедове, как и в домах Москвы и Волгодонска, было иначе: террористы промолчали, внушая безымянный страх перед любой тенью. А гражданские войны откровенны: это белые, это красные.

Гражданскую войну 1918-1920 забыли, а наш нынешний терроризм оттуда. Говорят, войну против свершивших мирную революцию большевиков затеяли тогдашние Абрамовичи да Березовские. А тогда их не было, не давал царь Абрамовичу и Березовскому концерны в управление, а Рябушинские да Путиловы сами сколотили богатства. Но в Гражданской войне виноваты не они. Конечно, большевики, почти мирно взяв власть в Петрограде, дали дивные обещания, каких от царей было не дожидаться: Декрет о земле и Декларацию прав народов России. И, главное, провели выборы в Учредительное собрание, которые Временное правительство затянуло. Но за них проголосовала лишь четверть избирателей, и они разогнали собрание. После революции законная власть так в России и не возникла. Потому и началась Гражданская война.

Ее несчастье в том, что депутаты собрания, в основном люди штатские, воевать с вооруженными большевиками не могли. Сопrotивление оказали Денинин, Юденич, Колчак, тоже не считавшиеся с Учредительным собранием. Гражданская война шла между диктатурой с демократическим

знаменем и царским порядком. Большевики и царистское охвостье съели русскую демократию сообща.

Но наряду с войной начался террор. В Ленина и других стреляли не царские офицеры, а эсеры, люди из крестьянской партии, применявшей террор еще против царской власти. За них голосовало большинство. Большевики, уже введшие в деревне продразверстку, объявили их террор белым и начали красный террор. Но обманувшие надежды большевики побоялись, что крестьяне повернут против них, и пошли на компромисс – новую экономическую политику, и террор стих.

А к 1929 году, когда от нэпа отказались (Ленин еще в 1922-м говорил: «Мы год отступали. Достаточно»), уже сложился карательный аппарат, готовый преобразить крестьянство в класс сельскохозяйственных рабочих. Советское государство, уже с 1927 года практикуя массовые репрессии на хлебозаготовках, стало террористическим. Высылка миллионов не сдававшихся крестьян запугала десятки миллионы оставленных работать. Взаимность террора прошла. Террор стал односторонним.

Но террористическое государство, устрашавшее весь мир и постоянными репрессиями державшее в страхе свое население, стреножило насилием и себя, запуталось и в 1991 году распалось. Обособившись, Россия могла стать иной. Однако ее хозяева, вышедшие из коммунистического аппарата, хоть и обновили детали былого порядка, тоже вынуждали всех жить так, как хотели они, не давая людям решать самим.

Сопrotивление принуждению начиналось под знаменем национальной самостоятельности. Чечне отказали в реальной автономии, и на самопровозглашенную республику, армии не имевшую, обрушились войска мощной военной державы. Чтобы устрашить чеченцев, бомбили Грозный. Наша армия стала террористической. Чеченцы тоже отвечали террором. Басаев и Буданов снова сделали террор взаимным.

Принуждение росло и за пределами Чечни и Кавказа в целом. С переходом к назначению губернаторов возглавляемые ими области, края и автономии фактически перестали быть субъектами федерации и Россию, как прежде СССР, на деле снова сделали унитарным государством, воюющим против своего населения. Но террористическая машина уже не рискует, да еще и не в силах, как советская, разом давить всех, и ей дают сдачи. Ответы на репрессии

считаются терроризмом. А сами репрессии – нет. И борьба с терроризмом сводится к стремлению пресечь ответы, снова сделать терроризм односторонне государственным.

Наша власть верит, что с инициативным терроризмом можно совладать, не думая о политике, лишь совершенствуя организацию работы силовых органов да технику. Они нашли в США и Израиле положительные примеры борьбы с терроризмом. Но у них и у нас террор совсем разный. У них внешние войны, в которых их противник применяет террор. Чтобы воевать против США, другого средства нынче и нет. А семь арабских стран, напавшие на новорожденный Израиль, обычным путем с ним не совладали, и начали террор. США и Израиль ведут войны, где террор применяют против них, а у нас гражданская война, в которой террор ведут обе стороны.

Не будем здесь выяснять, могут ли прийти к миру со своими противниками Израиль и США, и входить в неоднозначные проблемы, Домодедова не касающиеся. Но нам покончить с гражданской войной легче, чем им с войнами внешними, поскольку наш правящий класс сам попирает народы своей страны. Никаких причин кроме его желания держать население покорным абсолютизму центральной власти у нашей гражданской войны нет. Это доказал еще переход к нэпу в 1921 году, разом изменивший состояние страны. Противоречие диктатуры, отрицавшей частную собственность, и частное производство крестьян не ушло, но обрело мирную экономическую форму, и это оттянуло расправу с крестьянством.

Нынешние противоречия не сводятся к национальным конфликтам. Об этом напомнили партизаны Приморья. Да и рост русского национализма, и демократического, и фашистского, при всем различии их идеалов, тоже выдает неудовлетворенность принудительной и скудной жизнью, нехваткой свободы, впрямь способной быть лучше несвободы.

Объективные противоречия развития, терзавшие Россию на выходе из феодализма, не оригинальны, их приходилось разрешать и другим западным странам, но у нас их разрешение, надеясь на внеэкономические методы, тормозили цари и большевики. Чтобы мирно решить накопившиеся за столетие проблемы, недостаточно честно провести выборы органов власти всех уровней. Надо открыть простор мирной эволюции, обеспечить свободу деятельного самовыражения каждого и свободу негосударственных организа-

ций, чтобы даже и честно избранные не выходили за пределы, в которых государство правомочно действовать, и не пренебрегали безопасностью граждан.

Советское самодержавие, развивая традиции царского, таких пределов знать не желало, и пуще глаза берегло безопасность особого советского строя и его властителей. А на граждан силовые органы давили, не только не обеспечивая им безопасность, но представляя для них опасность. После 1991 года начальство уже не объявляет наш общественный строй особым, но силовые органы, как прежде, подавляют население, не то якобы развалится страна. Что говорить, открытый показ народам СССР, что у себя дома они не первые, принес плоды: Союз, не будучи союзом, не выжил. Но автономии и исторические русские регионы поныне страдают от пренебрежения ко всему, что не Москва.

Власть хочет пресечь ответный терроризм, удержав нахватанное, и внушает, что России не устоять иначе как на штыках. Такая, дескать, национальная особенность. Твердят, что без государственного террора не выжить и плох лишь частный, отдельный, групповой, местный. А это нашей власти не усидеть иначе как на штыках. Российское содружество крепче, чем кажется Путину, и отпади принуждение к сожительству, будь субъекты федерации или конфедерации полноправны, отношения были бы не хуже, чем в Британском содружестве. Мало кто ушел бы совсем.

Главный лозунг оппозиция «Россия без Путина!» А какая разница – Путин, Непутин, как их там звать? Школа КГБ дает в избытке умельцев тащить и не пущать. Смена смене всегда готова. А оппозиция все о личности, а не о порядке, который с Ивана Грозного не меняется. Так и бьют дубиной по головам.

Смысл нужных стране перемен лучше выразят лозунги «Россия без страха!», «Россия без государственного терроризма!». Когда появится законная власть, знающая, что страна не ее собственность и вообще не только для нее, когда компромиссы станут считать не поражением, а победой и признают победой договор Лебеда с Масхадовым, который Ельцин растоптал, оставив войне тянуться уже второе десятилетие, когда у русских и нерусских появится возможность показать себя делом, а не убийствами и самоубийствами, гражданская война кончится и террор прекратится. Но не раньше. Если, опять же, не станем жить совсем по-сталински, со всеми последствиями для всех.

ЗАБЫТАЯ МИРОМ РЕЗНЯ

"Зазеркалье: андижанская резня". Так называется документальный фильм Моники Уитлок, бывшей в 2005 году корреспондентом Би-Би-Си в Узбекистане. Он знакомит с фактами почти так же бесхитростно, как себя ведут в кадре жители Андижана. Но при этом картина проясняет политические проблемы постсоветского пространства, в том числе и России. Всплывает то, что у нас часто является предметом недомолвок и кривотолков. События проясняются тем, что извлечены на поверхность, натурально показаны.

В начале 2005 года в Андижане затеяли процесс над двадцатью тремя бизнесменами, начавшими свои дела после роспуска СССР и узаконения частного предпринимательства. Власть, хоть и не сразу, решила извлекать из чужой частной деятельности пользу для себя, а не только налоги для государства. Наткнувшись на отказы, она и затеяла процесс, а поскольку эти маленькие Ходорковские никаких преступлений тоже не совершили, их объявили запрещенной исламской сектой и судили в качестве таковой.

На Западе к тому времени ислам уже не жаловали, и разбираться, где потакают исламским фашистам, а где нарушают права честных людей, исповедующих ислам, европейским и американским властям не казалось важным. Но жители Андижана поняли, что от судьбы подсудимых зависит их собственная. И тысячи вышли на безмолвную демонстрацию, которая продолжалась больше трех месяцев. В фильме показано, как эти тысячи стоят на улицах города, не занимая проезжую часть. Просто стоят.

С чего узбеки поверили, что они обрели право на свое хозяйство, и почему такое множество людей решилось протестовать, когда над этим правом надругались? У нас-то протесты не обретали подобного масштаба. А потому, что роспуск СССР отозвался в тамошних умах прямой, чем в России. Наше имперское сознание при нас, тем паче что отделились лишь "союзные" республики, а "автономные" – иные побольше "союзных" – никуда не делись. А узбеки сочли себя независимыми от Москвы, от русских. Оттого и осмелели. Уже не боялись, что выйдет как перед распадом СССР в Казахстане, Литве или Грузии. Не допускали, что независимая узбекская власть станет стрелять в узбеков.

А она стала. Шесть лет назад в мае месяце кто-то напал на тюрьму и освободил арестантов. Неясно, кто это сделал. Но спецчасти обрушили огонь на мирную многодневную де-

монстрацию и убили несколько сот человек. И всплыла здравая мысль, что зло не в русских, не в "русскости", а в том, как устроено общество, и плохи не русские сами по себе, а имперские порядки, навязанные Узбекистану Москвой, но уцелевшие и вне империи, без русских.

Некоторые из спасшихся от резни попали на Запад. Один из героев фильма в конце говорит: "Я надеюсь вернуться в Узбекистан и рассказать, как здесь устроено общество". Хочется пожелать ему успеха. Но в России-то это знание есть, однако оно не находит применения и даже отвергается, причем не одной властью, а и немалой частью граждан. То ли знания мало, то ли его недостаточно соотносят с нашими реалиями.

Узбекистан так же освободился от колониальной власти, как многие другие страны Азии и Африки. В тех странах тоже власть часто доставалась авторитарным правителям и положение людей не только не улучшалось, но и становилось хуже, чем в колониальное время. И все-таки ситуация в Узбекистане изменилась. Она стала внутренним делом, решаемым лишь в противостоянии с авторитарным президентом Каримовым, попирающим права узбеков. Зло уже не в "русскости" и не в "имперскости". Это сугубо социальное противостояние - на Москву не свалишь, русофобией не смягчишь. Андижан это прояснил, и хоть Каримов держится, у него нет гарантий от судьбы Мубарака.

Россия, слава богу, уже более полутысячелетия как ничья не колония. Почти три века назад она даже формально провозгласила себя империей, а на деле ею стала еще более чем веком раньше. Даже была второй державой мира. Почему же при этом русские жили и живут несопоставимо хуже титульных народов других бывших империй - и Британской и Французской? Покуда ответ на этот элементарный вопрос замалчивается, из положения нет выхода. Империя после 1991 года сильно уменьшилась, но ситуация не сильно изменилась.

А ответ вполне ясен. Как бы далеко ни простирали свою власть англичане или французы, сколько бы ни перебирались их в поисках лучшей жизни на новые места, дома, в Англии и во Франции, люди не мирились с произволом, бунтовали и добивались улучшения общественных порядков и своей жизни. Там отвергали феодальную зависимость, выросшую у нас до крепостного права, создавали (в Англии еще в XIII веке) представительную систему, у нас введенную лишь в XX веке, да и то бесправную, не спорящую с монар-

хом, как в Англии, а лишь подающую царю советы, а ныне – чисто показную. Положение английских рабочих в XVIII – начале XIX веков было ужасающим, но они, как свободные люди, действительно боролись за свои права, а у нас великий модернизатор Петр строил крепостные заводы, фактически оставшиеся такими и при советской власти. Борьбы за права русских как основного народа метрополии, да и самой этой метрополии, не было.

Русские – и при Ломоносове, и еще при Некрасове – сами были в русской империи колониальным народом. Поэтому их положение оказалось не только хуже, чем у англичан и французов, но и не дало им той перспективы, которую дает колониальным народам освобождение: Узбекистан совершил в Андижане еще только первую попытку, а Эстония или Польша довольно быстро добились некоторых результатов.

Русским, которых слали на смерть в Афганистане и Чечне и угнетали не меньше других, внушали, что они заведомые интернационалисты, а жители колоний заведомые сепаратисты. Русских по-прежнему ценят главным образом как опору империи, не вникая, какова их жизнь и почему средняя продолжительность жизни мужчин немногим больше пенсионного возраста. Власть пугает злыми чеченцами и взрывами неизвестно где и когда. Мы, мол, тут русские, а они против всех нас. "Имперскость", прежде "социалистическая", все больше держится за "русскость", как опору и оправдание. Империалисты выдают себя за русских националистов, хотя на деле они обыкновенные нацисты.

В 1917 году обещали равноправие в "едином человечьем общежитье" "без России, без Латвий". А на деле латышам в Латвии надо было знать русский язык, а русским в Латвии знать латышский - необязательно. Такое "равноправие" сеяло русофобию, не давало решать сообща даже общие проблемы. Не все понимали, что отказ латышам, а ныне чеченцам и другим в праве жить так, как они хотят, - это отказ и русским.

Понемногу это сознается, и "русскость" тоже тянется к отказу от "имперскости", - эта тяга и противостоит русскому нацизму как всамделишный русский национализм. Ему нужно национальное русское государство, строящее добрые отношения и с Чечней, и с Татарстаном, и с другими. Не сея иллюзий, будто отношения с колониями бывают равноправны.

Нацисты любой ценой хотят удержать завоеванные царями земли. Но русское национальное государство будет успешным, лишь противопостав нацизму, как современная

Германия противостояла нацистской Третьей империи. Национальное государство не сводится к землям, на каких оно возникло тысячу или пятьсот лет назад. Петербург, стоящий на завоеванной финской земле в XVIII веке, бесспорно русский город, и отрывать его от России нелепо – не стоит равняться на то, что немцев выселили из Кенигсберга, построенного в XIII веке. Но многие народы поныне живут на землях исторического заселения, и абсурдно называть их стремление сохранить самостоятельность сепаратизмом. Ни Северный Кавказ, ни многие земли Поволжья, ни Бурятия Петербургами не стали. А упреки в сепаратизме бросают даже татарам, второму по численности народу страны.

У нас к тому же путают положение отдельных представителей нетитульных наций и их участь в целом. Это вещи связанные, но не идентичные. Чтобы люди были равноправны независимо от этнической принадлежности, достаточно соблюдать закон. Но народы заведомо не равны в возможности действовать самостоятельно, и преимущества имперской силы практически ущемляют огромные множества людей, а столичных удачников выдают за свидетельства широты и терпимости. Крупнейшая фигура русской православной церкви, ее главный реформатор патриарх Никон был мордвин. Но мордовская автономия, как и все другие, все еще в полной зависимости от Москвы. И практическое неравноправие сказывается на сознании и титульного народа империи, и колониальных народов.

Андижан показал, что независимость еще не гарантия демократии, что национальная власть бывает врагом собственного народа. Но он же показал, что независимость - обязательное условие демократии, которой Узбекистану надо добиваться новыми демонстрациями, или реформами, или революциями. А это стало там реально лишь после 1991 года.

У нас это еще невозможно. Не осознано, что независимость и самостоятельность, нужные для демократии колониальным народам, нужны и титульным. Подпирая империю, русские отказываются от шанса на демократию. Выходивший уже при Сталине из моды Энгельс именно о России сказал: "Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы". Ситуация изменится, если другим дадут самостоятельно решать свои проблемы. Тогда и Россия решит свои, и русским тоже будет прок от роспуска СССР.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ НАЦИОНАЛИЗМЫ

В России стали бранить не только «местных» националистов-русофобов, но и русских националистов. Боятся, что они сметут Путина, которого наперед равняют с Ганди. Другие боятся, что новоизбранный Путин возглавит националистов и наведет порядок. И кого только не кличут националистами – и озабоченных тяжкой судьбой русского народа, и уязвленных оскудением Русской империи, и создателей русского нацизма. Обсуждают «умеренный» национализм – терпеть его или пресечь, пока не ошалел. Коммунисты предлагают вписывать в паспорт «национальность», чтобы сразу видеть, кто русский. Для других русские – государствообразующий народ, уже не просто первый среди равных. Третьи хотят обратить Россию в плавильный котел и переплавить жителей – не иммигрантов, а живущих в местах, завоеванных Россией, – в русских.

Общего в этой пестроте лишь вера, что национальный вопрос решатся силой и размером. Три чеченских лидера перечили – всех убили из-за угла, четвертый послушен – золотом обсыпают, не жадные. Но усвоить, что национальный вопрос – вопрос социальный, не хотят. Он стоит отдельно, хоть знают, что биологические различия рас ничтожны, да и различия культурных традиций – не преграда добрым отношениям, если одни не ущемляют других. А иначе главные проблемы – у нас это нужда преодолеть советский строй – национальная рознь вымывает из повестки дня.

России необходимо самостоятельное всестороннее и эффективное развитие, невозможное без свободы. В 1917 году в борьбе за нее страна пришла к катастрофе и стала еще менее свободной, чем была. У советского правительства были иные задачи. А в августе 1991-го дух свободы воскрес.

Но, как после 1917-го, когда страна по ленинскому замыслу стала единым производственным комбинатом, Россия и после 1991-го висит на вертикали государственной власти и свободы не знает. Увеличение частной свободы, доступ к книгам и чужим странам, дарованный Горбачевым, – лишь первый шаг к экономической свободе, к возможности, по Конституции, производить и продавать что угодно, кроме наркотиков, не спросив ни у местных, ни у московских начальников. Этот шаг к свободе не совершен. Номенклатурный капитализм, как и административный со-

циализм, все еще зависим от спроса на нефть и газ, и на автомат Калашникова, за который еще не всегда платят. А главное, зависим от государства. По Медведеву, свобода лучше несвободы, но жить можно и при несвободе. А в XXI веке нельзя. Одностороннего развития мало. Нацелив водородные бомбы на весь мир, своих детей не прокормишь. России при несвободе не выжить. Не надо себя обманывать. Советский Союз потому и погорел, что не было свободы.

Дефекты техники, произведенной несвободными, не опасаящимися конкурентов предприятиями сказываются не сразу. Но отношения людей не скрыть. Отсутствие свободы преобразило большевиков, в 1917 певших «Интернационал», в шовинистов, перешедших на гимн Михалкова, поныне сохраняющийся. А добавочная трагедия русских в том, что Россия после Василия III, объединившего все русские земли, стала уже не национальным государством, а империей. И чтобы держать эту русскую империю, цари закрепили русский народ, а потом советские вожди, следуя традиции, закрепили его опять, на другой лад. Шовинизм, к которому они пришли, национальный по форме, по содержанию был имперским, и образцы этого шовинизма видны в изобилии. Он рядится национализмом, а на деле оказывается нацизмом, и его отношение к русскому народу, который империя посылает давить и душить покоренные ею прежде и новые народы, заметно по тому, как русский народ в массе своей живет.

Но нужно быть слепым или не знать свою страну, чтобы не видеть, что параллельно нацистскому складывается совсем другой, не агрессивный, а защитный, противостоящий империи русский национализм, стремящийся не усмирять чеченцев, а спасти русских, приносимых в жертву усмирению, и тратить силы не на то, чтобы внушать страх другим, а на благоденствие своего народа. Он не так хорошо слышен, поскольку пресекается, тогда как имперский поощряется.

Первое, что необходимо для выхода русских из положения, в котором империя, носящая их имя, для них же и тюрьма, это - русское национальное демократическое государство. Яшин и другие возражают: «Зачем создавать у большинства комплекс меньшинства?» Во-первых, затем, чтобы удержать его от комплекса большинства, то есть от великодержавного шовинизма. Но еще и от комплекса верности империи, от ощущения ее своей, поскольку принадлежит своему барину. Понятно, от Василия III прошло почти

пять веков, русские расселились по многим краям, где раньше и не бывали, и государство, объединяющее нынешние русские края и области, будет во много раз больше, чем тогда, но не станет силой удерживать земли, где живут другие, и насильно их переплавлять – только если кто сам захочет.

Без свободного и открытого обсуждения национальных проблем людям не разобраться, к чему на деле ведут те или иные призывы. В чем смысл слов «Хватит кормить Кавказ!»? В том, что хозяйство там разрушено, заядлые перебиты и, если не кормить, остальные передохнут и Кавказ заселят русские? Или, напротив, в том, что для России это непосильный груз и лучше дать им независимость, пусть кормятся сами? Скажите!

Это вовсе не означает непременно всеобщий разрыв, лишь независимость, возможную в конфедерации и других реально равноправных союзах, а не плакаты «Союз» и «Дружба» на тюрьме народов, где сидят не одни выселенные чеченцы, но и множество русских. Не русофобия, которую Москва плодит отказами терпеть самостоятельность автономий в любой малости, вплоть до анекдотического запрета перевести татарскую письменность на латиницу, но и не нацистский призыв «Россия для русских!» позволят мирно выйти из тупика подспудно выросших советских национальных проблем, чтобы, где самостоятельно, а где и вместе, но на равных, возродить и подхватить инерцию развития, которая рождалась в начале XX века в народах России. Век был трагичен, успехи в культуре и науке начальной поры, а иногда и советских времен, горько смотрятся на фоне загубленного за этот век. Но надо одолевая беду, а не самодовольно упиваться бесплодной военной мощью.

Пора различать очевидное: Гарибальди, человек левых взглядов, – националист, а редактор левой газеты «Аванти» Муссолини – фашист, консерватор Бисмарк – националист, а мракобес Гитлер – нацист. А у нас либо и национализм, и нацизм одобряют, либо оба бранят. Но кого ни сочтут сделавшим больше для безопасности отечества, Сахарова или Варенникова, все же один выступал против посылки русских на смерть в Афганистан, а другой вводил туда войска, а в ночь на 19 августа 1991 – вводил их и в Москву.

России страшно терять не Чечню, а импульс развития. Она жаждет губить тех, у кого перенимает машины. К чему такие грезы ведут, показали девяностые, этим и страшные, а

едва ли в следующий раз не встанет дороже и не больше будет крови. Так или иначе, русский нацизм, и нынешний, и еще коммунистический, – опора владык имперской вертикали. А русский самозащитный национализм – призыв опомниться.

УВАЖАЙТЕ ЧУВСТВА НЕВЕРУЮЩИХ

Верой в обиходе зовут веру в бога, людей делят на верующих и неверующих. А вера в бога — частный случай, одна из вер. Не зная, как оно на деле и что к чему, люди верят — и богам, и наукам, и политикам, и слухам. Вера восполняет недостачу знаний. Поэтому все люди верующие. Но не всему.

Считается, что советская власть преследовала верующих и мирволила неверующим. А она была не так проста. Не полагалось верить не только в бога, но и в Би-Би-Си, надо было верить, что товарищ Сталин — величайший гений всех времен и народов. Верующих в бога преследовали, особенно сурово — священников. Еще суровей — не верящих советской власти. За неверие страдало больше людей, чем за веру.

Хоть церкви (мечети, дацаны, синагоги) в большинстве были разорены, обращены где в конюшни, где в склады, а где даже в концертные залы, а чувства верующих оскорбляло уже само официальное мнение, что бога нет, верить не запретили, службы дозволяли, применяли даже формулу «уважайте чувства верующих». Она поясняла, что ругаться над ними можно лишь до известного предела и не всякому частному лицу, а только имеющим установку соответствующим органам. А неверию в советскую благодать снисхождения не было.

Был порядок. За правду выдавали несусветное вранье, но при этом подчеркивали, что правда — высшая ценность. Главная газета, только и делавшая, что лгавшая, называлась «Правда». В искусстве социалистического реализма, изображающем должное, как впрямь существующее, расцвел режиссерский талант Сталина, обошедшего Станиславского, изображавшего все, как есть. Попирая социальные ценности и мораль, Сталин и его ученики велели их чтить символически.

Но пришла новая пора. Верят в бога женщины из Pussy Riot или нет, неизвестно; возможно, верят, но вели они себя в храме несообразно с принятыми правилами, и церковь негодует. Их поведение, однако, кощунственно лишь для забывших, что при всей своей строгости православная церковь издавна допускала юродство как протест, выражаемый нелепым поведением аж до хождения нагишом, порой причисляя юродивых к святым. Храм Покрова на Красной площади

зовут именем юродивого Василия Блаженного, у его стен погребенного. Терпимость и даже уважение к юродству часто как раз и продлевали жизнь религии, не во всем отождествлявшей себя со светской властью. А нетерпимые светские идеологии запросто оправдывали казни протестующих.

Едва ли русский человек, москвич, да еще православный священник, да еще и патриарх, не знает про Василия Блаженного и других юродивых, бывших на Руси. Знает, конечно, но не хочет, чтобы другие знали. Как не хотели, чтобы показывали выставку Самодурова и Ерофеева, даже устроившую так, что навязать знакомство с картинами было невозможно - человек сам решал, глядеть ли в щелочку. А светский суд по просьбе церкви глядеть запретил. Точно так же не хочет церковь сегодня вспоминать традиции юродства и религиозного протеста, а требует арестовать и надолго посадить. Видимо, православная вера, став постсоветской идеологией, ушла от религии. Едва ли товарищи Чаплин и Гундяев гневались бы так, не задень современные юродивые светскую власть, а попроси мать божью продлить правление Путина на двенадцать лет. Этого женщины не сделали, и церковь, демонстрируя преданность власти, просит быть с ними построже. Тут и выясняется, что такое вера в нынешнем православии при нынешней власти.

А слова «Иисус Назорейский, царь Иудейский» – насмешку над тем, кто не был царем, но спасал от царства, от великой державы, губившей покоренных, – не смыли. Он учил, что хоть времена отчаянные и спасенья в земной жизни нет, но душу спасти можно. Мысль верная, даже если не верить в житие за гробом. Но патриарх Гундяев не видит, что нарушительницы обряда, понимая, что им это не сойдет, его нарушили, чтобы спасти свои души, и этим ближе к Христу, чем он и другие служители церкви, услужавшей державе и при Грозном, и при Тишайшем, и при Сталине, и ныне. Предписаниями насчет того, как надо молиться, церковь подменила мысли о том, можно ли молиться за царя Ирода, и все содержание веры Иисуса.

Но христианство – религию, а не церковь – потому и ценят и совсем не христиане, и вовсе неверующие, что светский мир многое из него перенял и развил в светских формах. Христианство сделало всеобщим само представление о вере, о ее взаимодействии со знанием, о логике не всеведущей мысли и понимании целостности мира, отчасти заданные уже иудаизмом, внутри которого оно родилось. В

христианстве Иисуса вера не залог послушания, как говорят у нас ныне, а дорога к личному осознанию ведомого и неведомого. Не все в учении Иисуса живо по сей день, но ход его мысли об индивидуальном спасении каждого не пропал и, пока есть люди, бессмертен.

Православие и другие религии были в СССР гонимы. Это к ним влекло. В православие на исходе советской власти обратилось не меньше людей, чем в протестантское христианство, именуемое в России «сектантством». Но не тайна, что официальное православие служило советскому государству. А ныне открыто выступает как государственная вера, оттого гонимые уже чаще верят другим. Церковь не забыла, как в 1918 году сбивали кресты, но не помнит о связях многих епископов и священников с КГБ. В своей гордыне она ни в чем не кается и выдает себя за безгрешную жертву. А на иноверцев и неверующих глядит так же, как наша светская власть на оппозицию.

Прежде люди верили в бога и в лозунги, когда ощущали в них правду, полоску света. Ныне эпоха десемантизации – содержание не ценят и все меньше сознают. Служат не верой и правдой, но лишь верой, а чаще ни той, ни другой. Вера занимает пустеющее место знания, а правда и есть знание, часто невыгодное власти. Тем и бесит неверующий, что не верит лжи. И ему случается ошибиться, но стоит уважать его чувства, чтобы не остаться обманутыми. Вера, не внемя другим, становится слепой.

Христианство и тут пример: веря в бессмертие души и жизнь вечную, оно чтит Писание, говорящее: «Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?», а то: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния». Более несовместимые с учением Иисуса, чем тексты Нади Толокно и других, эти оставлены в сознании верующих, чтобы оно было свободным, и во Христе спасались не принудительно, а свободно. От Гундяева и Чаплина понимания, почему Священное писание внутренне противоречиво, не дожидаться. Да и читали ли они его? Если бы читали, не просили бы семь лет заключения за инакомыслие.

СКОЛЬКО НАРОДОВ В НАЦИИ И В НАРОДЕ НАЦИЙ?

Поневоле задумаешься: а не прав ли отчасти был ушедший Грызлов, утверждая, что Дума не место для дискуссий? Не то что она не должна им быть, но не в состоянии. И в новоизбранной Думе разногласия до корня не доходят. А без этого какая дискуссия? Но заполнившие Думу товарищи по системе опасаются, выясняя корни, их подорвать.

Зюганов предложил сменить первую строку Конституции: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации.." на "Мы, русский народ и присоединившиеся к нему..." Путин возразил, что негоже делить народы на первый, второй и третий сорта. В СССР роль русского народа подчеркивали неофициально. Конституции молчали, но пропаганда внушала, что русский народ – первый среди равных.

Путин следует традиции. Зюганов от нее отступил. Прежде коммунисты хоть усердствовали в русификации, но анонимно, их выдавало потворство великодержавному русскому шовинизму. А Зюганов себя выдал. Или коммунисты стали откровенней?

Но полемики не вышло. Оба выражали общие соображения, минуя неувязку текста с этими соображениями. Формулой "многонациональный народ" в единственном числе замазано, что в России живут разные народы, да и лексически она нелепа. По-русски слово "народ" многозначно. Чаще всего оно обозначает "простой народ", противостоящие правящему слою массы рабочих и крестьян. Но обозначает оно и все население страны, всех ее граждан. Есть у него и третье значение - исторически сложившаяся общность, с единым языком, культурой, экономикой, общей территорией и нередко общим происхождением. Толковые словари обычно указывают, что в этом значении слово "народ" - синоним слова "нация". Но и слово "нация", как и слово "народ" имеет другое значение - страна и все ее жители.

Говорить "многонациональный народ" - все равно что говорить "многонародный народ" или "многонациональная нация". Народ (нация) в одном смысле состоит из разных народов (наций) в другом смысле. Что в России живут разные народы, лучше говорить прямо. Но тогда придется сказать, в каких отношениях меж собой разные народы вошли в одно государство. Советская власть это не любила вспоминать, и Конституция обошла, и Путин имеет причины в это не вдаваться.

Не хочет вдаваться и Зюганов – отсюда и "присоединившиеся". А разве Ермак Тимофеевич не покорял Сибирь, разве Ермолов не завоевывал Кавказ? А тогда, какие же присоединившиеся? Не присоединившиеся, а присоединенные! Что тут таить? Хорошо бы написать "Мы, добровольно объединившиеся народы России, русские, татары, чувашы, чеченцы, мордва..." и так далее. Но чтобы не лгать, надо подтвердить добровольность входа свободой добровольного выхода.

После распада СССР Ленина поносили за то, что настаивал на праве выхода для союзных республик. А Ленин ждал, что мировая революция включит в СССР новые республики. И понимал, что Германская и Французская вступят, только имея право выйти из такого союза, если их дела станут без них решать в Москве. А у нас до сих пор все не признают, что распад Советского Союза был не геополитической катастрофой, а катастрофа политики КПСС.

Неправда, что без московской узды Россию развалит. Это узда ведет к развалу. Избавившись от нужды всегда опасаться "центра", народы различат свои интересы, увидят, что равноправный союз с Россией им выгоден. Они и сегодня признают, что русофобия идет от неравноправия. От него страдает и русский народ, с которым центральная власть не рискует иметь дело в целом, лишь с отдельными краями.

Равенство прав и единообразие закона слишком у нас зыбки. На то и завели Конституции личного гаранта, чтобы вертел ее куда хочет. Отвечая коммунисту Бортко на предложение изъять из статьи об ограничении пребывания на президентском посту двумя сроками слово "подряд", Путин заметил, что его это не коснется, поскольку закон обратной силы не имеет. Если даже такой закон примут, его конечно, мало, чтобы лишить Путина поста на текущий срок. Но когда дойдет до следующего, придется вспомнить про его президентства 2000–2004 и 2004–2008 годов. Тем паче что законность третьего срока (2012–2018) не бесспорна. А он и четвертый срок оговаривает, на случай «если захочется». Какие уж тут Конституция, законность и права! Власть ими не связана, и, хоть стимулы к выходу на улицы миллионов, а не двух сотен тысяч еще только проклевываются, власть своим упрямством внушает, что кроме революции нет надежды изменить жизнь.

СЛЕВА НАПРАВО

1

Капитализм начался заменой зависимого работника наемным. Это социальная революция. Потом его упрочило машинное производство. Это промышленная революция. Отстаивая свободу, капитализм противостоял феодальному миру зависимостей, как левое движение. Потом внутри него свои права стали отстаивать рабочие. «Коммунистический манифест» в 1848 году призвал к новой революции, – к замене капитализма коммунизмом. Странников новой революции тоже называли левыми. Вроде и впрямь, и левые инициаторы капитализма, и левые вожди рабочих, и левые планировщики коммунизма, выступали за свободу, за права личности и честный суд. В XIX веке это была общая позиция самых разных левых. Случайно возникшее название «левый» означало сторонника свободы. Потом его смысл изменился.

Эдуард Бернштейн еще самому Карлу Марксу говорил: «Движение – все, конечная цель – ничто». Маркс, призывая заменить капитализм социализмом, коммунизмом, не был с этим согласен. И рабочее движение разошлось на два рукава. Уже потому, что социализм, как оговаривал Ленин, сам по себе рабочему сознанию чужд, и его надо в рабочее движение привносить. Но и потому, что рабочих в борьбе с капиталистами занимали не так отдаленные цели, как конкретные улучшения условий труда и повышение оплаты.

Переход от труда зависимых к труду наемных изменил организацию производства. Оно опиралось уже не на принуждение, а на согласие, на готовность трудиться. Но индивидуальные согласия свободных людей трудиться на другого возникают, как правило, тогда, когда одновременно это работа на себя, когда рабочая сила, служащая другому, покупается, оплачивается. Адекватность оплаты и стала ключом к отношениям рабочих и капиталистов.

Оплата – предмет сделки конкретного нанимателя и конкретного наемника. Но свершаемой не отвлеченно от других возможных предложений. Можно сказать, что ее наем зависит от общего спроса и предложения рабочей силы, что ее оплата – важнейшее проявление капиталистических, рыночных, отношений. Где нет рынка рабочей силы, нет капитализма. Маркс проявил прозорливость, именно здесь угля-

дев важное нарушение адекватности оплаты труда, – присвоение капиталистом прибавочной стоимости (ценности), созданной рабочей силой, но не оплаченной.

Это, однако, не единственное нарушение. Адекватность оплаты затруднялась уже тем, что рабочая сила, подлежащая оплате, долго не имела никаких мерил, и наемник трудился «по мере надобности», хоть до изнеможения. Не зря рабочее движение фактически началось с борьбы за сокращение рабочего дня. Время стало мерилом рабочей силы. Маркс другим не пользовался. А на результатах труда сказывались и личные возможности рабочего, и его знания, навыки, усердие и прочие качества.

Тем временем, техническая мысль продвигала производство, и роль рабочих, росшая в середине XIX века, к середине XX сокращалась. Рост производительности труда, больше за счет машин, чем усилий рабочих, позволил капитализму полностью (а то и с лихвой) оплачивать рабочую силу, включая и прибавочную стоимость. Это достигается не только повышением зарплаты и сокращением рабочего дня, но созданием системы социальных гарантий, пособий по безработице, помощи бедным, субсидированием медицины и образования. Там, где это происходит, рабочий класс ощущает себя полноправным участником буржуазного образа жизни, партнером капиталиста, а его – своим партнером. Что не отменяет борьбу за дележ доходов от совместного производства, частичными владельцами которого уже нередко выступают и рабочие, приобретшие его акции.

А сетовать на удержание прибавочной ценности, ими созданной, в развитых странах ныне вправе не так рабочие, как ученые и изобретатели машин, труд которых по мнению Маркса, в отличие от физического, ценности не создает.

2

Но там, где капитализму мешали развиваться в полную силу и удерживали феодальный порядок, он развивался иначе. Иным было и сопротивление трудящихся. Еще не столько капитализму, сколько феодальному порядку.

Александр II отменил крепостное право, оттеснил феодальную реакцию. Но феодальный порядок уцелел. Царь был освободителем, но полу-освободителем. Крестьян, не получивших земли и скованных общиной, мешавшей добиться личного успеха личным трудом, реформа не очень

радовала. Возникло народническое движение, вроде тоже левое, желавшее довершить освобождение. Оно звало отказать не от одних феодальных, но сразу и от буржуазных порядков, и строить социализм. Не первую стадию коммунизма по Марксу, сменяющую развитый капитализм, а укорененный в архаичной сельской общине, полезной помещичьим интересам. Народники звали народ свергать ради этого царя, но народ уклонялся, и они сами героически ратовали за крестьян без участия и сочувствия крестьян.

Они создавали тайные группы прямых действий. В «Бесах» Достоевского описана «Народная расправа» Сергея Нечаева, убившая товарища, заподозренного в измене. Серьезнее других была «Народная воля», убившая Александра II. Петр Ткачев создал целый план борьбы за народ без его участия. Он звал к централизации движения, захвату власти и удержанию государства. Социализм, на его взгляд, возможен лишь под руководством сознательного меньшинства. Не все народники жили этой логикой, но она преобладала. Европейские марксисты, особенно Энгельс, эту революционную левизну подвергали сомнению.

Движения народнического типа часто возникали в отсталых и колониальных странах вместе с ростками капитализма. В России оно сильно повлияло на рабочее движение, на русский марксизм. Ленин, расколов едва возникшую левую социал-демократическую рабочую партию, создал «партию нового типа», по образу мечты Ткачева. Она выступала, как радикально левая, и бралась не только выражать интересы рабочих и внушать им идеи социализма, но готова была, — как народники крестьянство, — подменить рабочий класс в общественной борьбе. Борьба за улучшение быденной жизни и общественного положения рабочих по Бернштейну казалась ленинцам-большевикам малостью, они мечтали сменить общественный строй, хотя до развитого капитализма, когда по Марксу, на которого они ссылались, бьет час его смены, в России было еще далеко.

После двух революции подряд, Февральской, свергшей царя, и Октябрьской, в которой большевики, взяв власть свергли Временное правительство, они свои цели и принципы прояснили. Сперва издали Декрет о земле и Декларацию прав народов России, и провели выборы в Учредительное собрание, — единственные за всю историю страны свободные. Можно бы счесть, что левая, освободительная революция, давно необходимая стране, победила. Но два с лишним

месяца спустя, когда депутаты собрались, большевики их разогнали, и свободных выборов в России больше не было.

3

Была установлена диктатура партии большевиков. Эта левая диктатура пренебрегла главным требованием левых – свободно избранным народным представительством, которого тремя месяцами раньше сама добилась. И шаг за шагом она пренебрегала левыми требованиями.

Ленин вслед Марксу были против частной собственности, и в России ее уничтожили. Но Маркс предполагал, что отнятыми у капиталистов заводами станут управлять их рабочие, а Ленин в шалаше у Разлива решил поручить управление хозяйством новому государству, и свой план изложил летом 1917 года в книге «Государство и революция». А с чего такое государство, овладевшее всем достоянием страны, станет отмирать, как сулил Маркс, так и не объяснил.

Уже отсрочка отмирания на неопределенный срок преобразила сознание большевиков. Партия, командующая государством, владеющим всем и вся, стала общественным классом, но не рабочим, а вечно правящим, не левым, оппонировавшим государству, а правым, дорожащим его властью, как своей. В Разливе преобразилось понятие о коммунизме. Прежде он значил свободу от собственничества, – и от отдельного частника, и от общего орудия частников, государства. Но уже в 1939 Сталин сказал, что государство и при коммунизме уцелеет, как общее орудие партийцев.

Прежде работодателей было много, и они конкурировали. Государство партийцев – монопольное. Прежний, частный предприниматель ссылался на закон и обращался в суд, новый, – государство, указывал законам и суфлировал судам. Прежний, конфликтуя с рабочими, просил государство помочь, порой даже оружием, но удовлетворялись не все просьбы. А став само владельцем всеобщего синдиката, государство стреляло в людей когда хотело. И за эту идеологию коммунисты стоят поныне.

Книга «Государство и революция» была лишь рукописью, текстом. Описанное там государство возникло не сразу. Но уже его замысел преобразил левое сознание, увел его от восприятия обновляющегося содержания происходящего. Идеология сменила язык, перешла с литературного текста на предметный, событийный, являя себя непосредственно

социальными и политическими действиями, все менее адекватными словесному выражению.

Левые движения изначально идеологичны. Можно принимать или не принимать утопию Маркса или утопию народников, но обе адекватно изложены словами. Согласны вы с Лениным или нет, - в чем до революции состояла его идеология, при чтении понятно. Но послеоктябрьские тексты, подобно религиозным, понятны лишь в сопоставлении с тогда совершавшимися делами. Идеология, именуемая «марксизм-ленинизм», непрерывно перечила сама себе, не даваясь пониманию. Если не сверять тексты с воплотившими их структурами и предпринятыми действиями, трудно сказать, какой идеологии с 1917 до 1991 держались коммунистическая партия и советское государство, и как идеология менялась. Тексты вуалируют содержание идеологии.

Идеологизация обыденной жизни свершилась, конечно, не вдруг. Победив, большевики ушли в практику, а идеологию к ней прилаживали. Хозяйство не сразу обновили целиком. Лишь ликвидировав НЭП Сталин завершил замысел Ленина, создал единое государственное хозяйство. Идеологию пополняли формулами, все менее объяснявшими социальный смысл происходившего. Расстрелы коммунистов, бравших власть в Октябре, выдавали перерождение правящей партии, но не случайно рассматривались, как итоги удачной ловли японских шпионов и борьбы с вредителями, без выяснения реального содержания внутривластного политического разлада, изображаемого бессодержательной борьбой за власть. Идеология служила пропагандой, но реальное понимание правящей номенклатурой своего государства, его классов и прав людей, хранилось в тайне, и мысли вождей проясняло не то, что они говорили, а то, что происходило.

Большевики упразднили свободу, как общее понятие. У крестьян отняли землю и волю, обязали на отнятой земле работать, закрепостили. У рабочих отняли право на забастовки, пособия по безработице. У людей умственного труда отняли право на самостоятельные суждения и даже доступ к научной литературе, к опыту зарубежных коллег. К искусству и литературе позволялись лишь государственные каналы. Хозяйство снова стало внеэкономическим, как феодальное. Страну изолировали от мира, ни временный, ни постоянный, выезд не позволялся. Погубили – от 17 (по Хрущеву) до 60 (по Солженицыну) миллионов человек. К надежде Маркса,

что государство отомрет, не только не приблизились, но его гипертрофировали. Ничему не давали быть вне государства, лишь внутри него, под его неусыпным оком. Новый тип всеобъемлющего и всевластного государства поздней был назван тоталитарным. Не много было и правых режимов, где люди были столь бесправны, как в СССР. Но не только сама коммунистическая партия считала и считает себя левой, ее продолжают считать левой другие политики, левые, и правые. Содержание преобразилось, а название осталось.

4

Левое движение родилось прокапиталистическим, потом стало антикапиталистическим, частично марксистским, потом его часть – ленинским, тоталитарным. Волна капиталистической левизны возобладала не только в Европе и США, но в разных странах, часто утверждаясь революциями. И победив, не топила оппонентов. Феодалские владения приняли буржуазные формы. Британию это привело к компромиссу победителей и побежденных мирным путем, к Славной революции. Победил капитализм, но есть королева и трон.

Нагледен и успех рабочей волны левизны, тоже не топившей оппонентов, а тоже ведшей к компромиссу. Европа и США кодифицировали права рабочих. Противостояние предпринимателям не исчезло, но борьба идет не так за полную компенсацию рабочей силы, как за увеличения доли прибыли, перепадающей рабочим. Полемика о ней – форма сотрудничества. Борьба противоположностей осмыслена их единством и взаимодействием. Думая, что рабочим достаточно свою противоположность уничтожить, чтобы попасть в непротиворечивый мир, Маркс забыл, что такого мира не бывает, не догадался, что место буржуазии легко займет левая большевистская номенклатура.

Ленинская волна левизны вознесла номенклатуру, как класс партийных менеджеров. Ни капиталисты, живущие экономикой, ни рабочие, живущие своим трудом, ни какой либо другой класс общества, ушедшего от феодализма, не владел рычагами власти в такой мере, как номенклатура, что и позволило ей сосредоточить власть, отвергнуть демократию и пренебречь компромиссами с реальной жизнью, терпящей ее власть. Она изначально тянулась к тоталитаризму. К нему Россию влекло и феодалское наследие, не-

развитость буржуазных форм хозяйства, слабые навыки экономических решений и непомерные – внеэкономического принуждения.

Вслед за Россией на тоталитарный путь ступила Италия. Как в России социал-демократы, здесь раскололись социалисты, и часть возглавленная Муссолини, назвала свою партию фашистской (то есть, партией единения) и своим первым принципом объявили единство, унитарность, и раньше исповедовавшуюся большевиками. Ленинскую резолюция о единстве партии X съезд РКП/б/ принял еще до победы итальянского фашизма, и она стала у нас законом не только партии, но всей страны.

Лидер итальянских фашистов Муссолини объяснял свой идеал конкретно: «Все в государстве, ничего вне государства». Русские большевики дали права государства своей партии. Конституция СССР говорила: «Руководящей и направляющей силой советского общества ... является Коммунистическая партия» – потому никакого выбора (и настоящих выборов) не предполагали. Потому принцип коммунистической партийности стал в государстве главным.

Был тут и дополнительный смысл. Государство – общий орган населения, партия – голос его части. Дело государства гармонизировать разные части населения, чему и служит взаимодействие партий в парламенте. У нас же прежде слова «государство» стояло слово «партия», что при однопартийной системе, означило, что эта часть населения выше остального и вправе решать их судьбы, как хочет.

До поры казалось, что пришедшие к власти в России и Италии левые партии привержены левым принципам хотя бы в национальной политике. Марксистская утопия, стремясь к мировой революции, была интернациональной, Итальянские фашисты тоже не сразу стали шовинистами, – сперва, как и русские большевики, брали в партию даже евреев. Лишь национал-социалистическая рабочая партия Германии, не столь связанная с левым движением, хоть и рядившаяся в его одежды, сразу была шовинистской, что объясняли жестоким поражением в Первой мировой войне. Но и в Италии и в России великодержавный шовинизм ожесточался, как неотъемлемое свойство тоталитаризма.

У нас неравенство наций закрепила уже сталинская Конституция. При создании СССР в 1922 союзные республики провозгласили равноправными, и номинально высший

орган власти, Президиум ЦИК, не имел единого председателя. Его роль по очереди исполняли Председатели ЦИКов республик. По Конституции 1936 года в Президиуме Верховного Совета был единый Председатель, а республиканские стали его замами. Это подчеркнуло растущую зависимость от Москвы. С конца войны, когда целые народы выселяли с мест исторического обитания, упраздняя их республики, и дискриминировали другие, национальное неравенство в СССР стало явным. Пресекалось стремление любого народа удержать национальный язык и культуру, и быть внутри Союза самостоятельным. Не поощрялась даже самостоятельность русских, главной опоры. Пели: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», но не дали Руси даже номинального национального представительства, формально данного другим, создали не Русскую союзную республику, а Российскую федеративную, и русская власть СССР все больше поощряя русский национализм, как опору империи, о благосостоянии не номенклатурных русских пеклась не больше, чем о благосостоянии остальных.

Жизнь показала, что ленинская волна левизны у власти не только чужда старым левым принципам, но прямо враждебна.

5

Коммунисты России, фашисты Италии, нацисты Германии, именовали свой строй социализмом, хоть и по-разному его толковали. Но нацисты и даже фашисты первоначально числились правыми, да еще проиграли войну, и с ней власть. А коммунизм, своими чудовищными преступлениями тоже нарушивший левые традиции, променявший свободу на режим партийной диктатуры, еще слывет левым.евой называют власть, державшую десятки миллионов в ГУЛАГе. А каторга – знак правого режима.

И буржуазные, и рабочие левые тянулись к свободе. Не абстрактно, а повседневно, они противостояли стеснявшему ее государству. Левый слыл оппозиционером. Когда во Франции социалист Мильеран стал министром, в надежде провести реформы, или в Англии лейборист Макдональд возглавил правительство, их винули в предательстве. А коммунисты изначально ориентировались на захват государственной власти. Они по Марксу называли ее «диктатура

пролетариата». Но Маркс, понимая чуждость государства понятиям о свободе, то и дело оговаривался, что это диктатура пролетарского большинства (которого в России не было), да и отмирание государства не заставит себя ждать.

Такую полемику о соотношении средств и целей вели уже народники. Для Ткачева средства не имели окраски, он считал, что средства царизма аморальны тем, что применяются против угнетенных, а примененные против угнетателей, сразу станут нравственными. Утопист Маркс говорил: «Не может быть справедливой целью, для которой нужны несправедливые средства». А прагматики Ленин и Сталин в средствах не стеснялись. И применяемые ими преображали не только цель, но и людей, ее добивавшихся. Левые стали правыми, общественники – государственниками, отлично зная, что их государство не выражает волю общества, а захватило над ним власть. «Государственная левизна», объявила государство продолжением революции, из которой родилось. А «левое» революционное государство от правых уже отличала разве что еще большая оголтелость.

В норме государство, органы которого избрали граждане, – их помощник и союзник общества. Оно призвано защищать жителей не от одних внешних угроз, но и друг от друга. Когда же одни обращают государство против других, оно становится тоталитарным врагом своей страны, а страна – жертвой правящего класса, внеэкономически придающего государству гипертрофированные права и привилегии. И крайне левые, пользуясь внеэкономическими государственными рычагами, становятся крайне правыми, что с большевиками и вышло.

Известную роль в том, что за рубежом на внутреннюю жизнь СССР закрывали глаза, помимо победы в 1945, играл марксизм, у российских коммунистов потерявший прямой смысл, но служивший им левым нарядом. Существенна тут и поддержка коммунистами освободительных движений в колониях западных стран, параллельная международной левизне. Колониальные движения, особенно после Второй Мировой, почти везде добились независимости. Не все чужие колонии стали зависеть от СССР, но большинство строило свои государства по примеру советского, так или иначе перенимая его тоталитарные приемы. Став массовым, тоталитаризм уже не казался маргинальным, но лишь альтернативным колониальной внеэкономической жизни и демократическому капитализму порядком.

Капиталистическое производство, хоть и не везде, уяснило себе роль физического труда, как источника ценности. Но оно еще не вполне сознает роль умственного труда, как источника ценности и даже как катализатора физического труда в этой роли. Социальная значимость научно-технических идей плохо осознана. Это тоже видно по характеру его оплаты. Но недаром в Америке немалая часть профессуры, сознавая или подсознательно ощущая, небрежение умственным трудом, держится левых взглядов.

Практикуемая однократная оплата изобретения не компенсирует труд изобретателя и ученого уже потому, что ценность того, что он сделал, наперед неизвестна. Повременная оплата тут, тем более, абсурдна. Здесь надобно авторское право, гарантирующее автору выплату определенного процента (или доли процента) от цены каждого предмета, воплотившего его мысль. При полной оплате умственного труда, стоит поощрять создание особых фондов из доходов от высокооплачиваемой интеллектуальной собственности для поддержки бесплатного общего и специального обучения успевающих, научно-технической деятельности, электронных и книжных библиотек и т.п.

Но важно еще помнить, что удержание предпринимателем «прибавочной ценности» от умственного труда, не только ущемляет ученых, как некогда рабочих, но сильно изменяет состояние финансов. Уже выплаты служащим банков сверх зарплаты миллионных бонусов побуждают задуматься, откуда эти миллионы берутся. А подарки ответственным клеркам – лишь малая часть присвоенной интеллектуальной ценности. Ее триллионы расширяют возможности присвоивших стать монополистами. А монополия открывает своим владельцам внеэкономические возможности, и они широко их используют.

Ленин в 1915 году в книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» прозорливо писавший о пагубной роли монополий в развитии хозяйства, в 1917 в книге «Государство и революция» предложил социалистическому хозяйству тотально-монопольную систему, в конечном счете сгубившую наше хозяйство. Но к внеэкономическим шагам влечет не только стремление преодолевать кризисы капитализма.

В нынешнем, все теснее сближающемся мире плоды благих, казалось бы, стремлений дают нередко обратные

результаты. Общий рынок и Евросоюз облегчили развитие стран, его создавших и к нему примкнувших. Де Голль, один из его отцов, говорил о Европе государств. Но часть Союза ввела общую валюту, и ныне Европу государств обращают в единое государство Европа. В пределах взаимно открытых границ, расширивших рынок товаров и умноживших рабочую силу, Евросоюз все усердней проводит внеэкономические диктанты по всем вопросам хозяйства. Он велит одним странам компенсировать дурные плоды хозяйственной политики правительств других. А даже пребывая в союзе, надо самим отвечать за свои поступки. Премьер Шотландии хочет быть независимым, сохраняя прежнюю валюту, то есть, имея поддержку англичан, валлийцев и ирландцев, хочет вести независимую от них политику. Но независимость предполагает ответственность. Греция страдает от былых решений своих властей и ждет помощи. Но если она ее получит, не приведя свое хозяйство в порядок, это будет значить, что Евросоюз перешел к внеэкономическому управлению. А отказываются отвечать за себя, но просят щедрой помощи, именно левые партии. Не только в России левые хотят внеэкономических отношений, на деле ведущих право.

7

Распутывать их потом не просто. Ни после смерти Сталина, ни после банкротства тоталитаризма к 1985 году, ни после 1991, Россия не определилась. Она лишь перекрасила строй. Чтобы одолеть реальность, немногим послушным олигархам, ею созданным, дозволили «независимый бизнес». И застенком непослушным. Лишь бы не было конкуренции в экономике и в политике. Тоталитаризм поныне жив вертикалью диктатуры, утратившей даже видимость законности. Ни суды, ни партии, ни телевидение, ни радио, ни печать, не самостоятельны.

Население, прошедшее школу советского режима, терпит нынешний. Ориентиры у людей разные: главные три известны, как право-либеральный, националистический и левый. Они идентичны схожим, вяло выражаемым тенденциям власти. Правые либералы создавшие нынешний режим, пеняют на реставрационные позы власти и отказ от их услуг. Но они и не выступали за свободу экономики, не шли дальше псевдо-капитализма на государственном поводке, а такому хозяйству нужен жесткий политический режим.

Правых либералов оттесняют национал-патриоты, стремящиеся всю нынешнюю Россию, и бывшие республики СССР и по возможности страны Варшавского блока, обра-

тить в русскую империю, преобразить в нее советскую, дав открытые преимуществ русским. В противовес имперскому шовинизму иногда звучат голоса национал-либералов, стремящихся создать национальное русское государство на землях населенных русскими. Они могли бы вместе с левыми либералами составить прогрессивную национальную партию. Но левые либералы из нашей политической жизни вытеснены, а понятия национал-либералов о советском прошлом порой упрощены до мнения, будто в СССР «русская нация не имела права на существование». Но ни одна нация не имела такого права, хоть Сталин лишь об одной сказал «евреи – не нация». Культуры были «национальные по форме, социалистические по содержанию». Своего содержания ни за одной не признали. Формально именуя украинцев или узбеков нациями, Кремль решал за них как им жить. Он решал и за русских, хоть их отдельность, как нации, признавал не формально. Их положение было специфично тем, что, как самый большой народ, их взяли за основу «советского» народа, и слова «русский» и «советский» часто служили синонимами, даже официально. Русским, как нации, это помогало не больше, чем узбекам формальная самостоятельность, но русскость, отождествленная с советскостью, стала привилегией, многие хотели быть по паспорту русскими. Это подпирало имперский национал-патриотизм и мешало национал-либералам объяснить, что империя – ядро и для первых среди равных.

Национал-патриоты не всегда отличимы от левых, порой кажется, что это единая партия национальной реакции. Но есть оттенки. «Левыми» слывут коммунисты, сохранившие партбилеты и новые большевики разного толка, на деле – правые реакционеры, отвергающие экономические отношения, свободу которых власть сама урезает, и требующие внеэкономических привилегий для России перед другими странами и народами. В Думе они голосовали против власти, лишь когда это не наносило ей ущерба. Их мечта – возрождение в том или ином виде, советского строя в более ожесточенном, сталинском виде. Национал-большевики не зря начали призывом «Сталин, Берия, Гулаг!»

Старое понятие «левый» во многом потеряло свой смысл в ходе трансформации партии большевиков. Но не только из-за нее. Россия знала лишь краткие миги свободы, – до монгольского нашествия, потом от стояния на Угре до Ивана Грозного и крепостного права, потом от февраля 1917

до января 1918, вот, собственно, и все. Потом - советский режим, пожестче царского, семьдесят четыре года числившийся «левым». Как тут смекнуть, что перемены, необходимые современному хозяйству, требуют сдвига к свободе, то есть, влево, но в первоначальном, а не в ленинском смысле. Но большевики, озабоченные военной техникой, возрождали в стране феодализм, Сдвиг влево от советского режима - это отказ от империи. А нынешний сдвиг вправо не дает свободы ни колониям, ни «колонизаторам». Колонии включены в самое тело России, как субъекты ее унитарного единства. При реальном сдвиге влево, кто захочет, уйдет, и Россия станет, как Германия, впрямь федеративной республикой, но не из нынешних восьмидесяти субъектов, а из объединившихся в 15-18 автономных русских земель, кормящих себя, а не кормящихся подачками Москвы. Эта Русская федерация могла бы составить с автономиями, дорожащими связью с Россией, конфедерацию.

Иначе страна остается в рамках предначертаний начальства, ожидающее лишь исполнительности, что заведомо ограничивает развитие тем, что вместились в черепные коробки немногих, а нередко и одного лидера, и обрекает на вечные упущения и нужду догонять. Такое положение несовместимо с жизнью всех жителей, а не только правящего класса на уровне развитых стран. Ныне развитие невозможно без личной свободы развивающихся, - и экономической, и интеллектуальной, и политической. Затем России и надо возродить либеральное движение, хотя бы облегчавшее феодальный пресс, чтобы сбросить еще более пагубную ныне зависимость от всевластного государства.

«Всемогущее» тоталитарное государство создано у нас социалистическим, коммунистическим, большевистским движением во главе с Лениным. Сочтя его деятельность изначально злокозненной, многие уже не видят нужды входить в происходившее в XX веке. Для них это лишь зло, чинившееся злодеями! Но суть русской трагедии в том, что и к благим, пусть даже утопичным целям, страну вел волюнтаризм, не глядевший на объективную реальность.

Ленин не был активен в борьбе рабочих за повседневные интересы, а напирал на внедрение социализма в рабочее сознание, при незначительной численности рабочих и неразвитости русского капитализма не имевшее перспектив. А без принуждения, без тоталитаризма, побудить людей делать то, что чуждо их сознанию волюнтаризм не мог. Всучая

рабочим добро насильно, не выясняя, чего они сами хотят, Ленин невольно сворачивал вправо от левых взглядов в старом смысле, от движения к свободе, и свободы не стало.

8

Поворот России к «левому», а на деле еще более правому, шел сперва подспудно. Ради казавшейся справедливой цели применяли несправедливые средства, и уже этим обращали левое в правое. В октябре 1917 года захватили власть и объявили ряд освободительных декретов. Но проект единого государственного хозяйства перечеркнул начальные декларации.

Отменяя после революции плату за трамвай, большевики не думали об оплате электричества и труда вагоновожатого. Их хозяйство и до 1991 трудно было толком просчитать. Цены и расходы часто определялись побочными соображениями. Цену на хлеб сильно занижали, чтобы, – хоть уровень жизни после голода тридцатых остался низким, – нового голода все же не было, и в шестидесятые, государство покупало хлеб за границей, а покупатели им кормили личный скот. А до революции Россия сама в изобилии выгодно продавала хлеб.

Социализм был внеэкономическим хозяйствованием, и, при монополии государства ничем иным быть не мог. Это делало его правым режимом, куда больше, чем дурные нравы или невежество властей, Когда с НЭПом появились отдельные от государства собственники и понадобились реальные деньги, а не расчетные бумажки, Сокольников, позднее погубленный, создал крепкие советские червонцы. То есть, возможности иного развития у России были не только до революции, но и до коллективизации.

Катастрофа Советского Союза – это не геополитическая катастрофа, а экономическая катастрофа социализма. В ней виноват не Горбачев, которого винят, и даже не лично Брежнев, Андропов, Устинов, и прочие, виновные лишь равнодушие к судьбе страны, в том, что и после Сталина не отвергли систему хозяйствования. Мирился с ней даже Косыгин, бывший министром финансов, видевший неладное и предлагавший реформу, так и не проведенную. И власть упорно не стесняла себя в непосильных стране расходах на вооружение, чем ее и разорила. Горбачев и другие хотели спасти СССР, но тоже, не рискуя перестроить хозяйство.

Всерьез не рискнул и Ельцин с Гайдаром и Чубайсом, лишь вычленившими из советской монополии концерны послушных «олигархов», вбросив их на мировые рынки сырья, и назвав это капитализмом. Россия осталась у правых, и правый Ельцин взял преемником правого из ГБ.

Путин и правящий слой держатся хрупкими ценами нефти и газа. Но замена его левым Удальцовым, национал-патриотом Демущиным или проверенным правым либералом Чубайсом не изменит уцелевшую и после 1991 внеэкономическую, государственническую, природу хозяйства и строя. Это под силу лишь лево-либеральному движению, какого в России, по существу, нет. Россия не обречена на гибель. Но чтобы спастись, ей надо сбросить власть прошлого, власть крепостного права и коллективизации. Инстинкты Гулага надо преодолеть и охране и заключенным. То есть, ощутить вкус свободы, быть по-настоящему левым, не нацистом, не коммунистом, не фашистом, не террористом, не кагебистом.

9

Ленин создал новый общественный порядок, - тоталитаризм. Типов общественного порядка немного. Порой их называют ступенями развития человечества. Сбивают в лестницу, объявляя подъем общества по ней законом, а следующую ступень – прогрессом. А одни перешли от первобытности к так называемому азиатскому способу производства, другие – к рабовладению, третьи – к феодализму.

Но до капитализма все общественные порядки были внеэкономическими. Капитализм – единственный покамест – экономический. Утопия Маркса тоже внеэкономическая. Будь она даже реальна, едва ли внеэкономическое развитие будет плодотворней экономического. Ленин и его преемники не только подорвали веру в это, но и лестницу поставили под сомнение. На следующую ступень Россия с ними не ступила, а свернула в сторону. От феодализма, как от первобытности, есть разные пути. Одним пошли Европа, США, Япония, на другой в 1918 году свернула Россия. Один – экономический капитализм, другой – внеэкономический тоталитаризм.

Это не значит, что такая уж у России судьба. Пути из первобытности определялись обстоятельствами. Ныне тоже – действиями предшественников. Наивно думать, что как они ни куралась, история выведет куда надо. Внеэкономиче-

ские альтернативы экономическому порядку – губительны. Одолеть надо не капитализм, а его болезни. Левое движение возникло в борьбе за экономические права, сперва капиталистов, потом рабочих. Названия остаются, а содержание меняется. Крайне левые большевики создали внеэкономический крайне правый режим. Но лишь смертные приговоры окончательны. Жизнь можно изменить, как изменили Россию в 1917 году. Через три поколения после коллективизации это трудней. Но сознание оставляет обществу путь к оздоровлению и освобождению.

ВМЕСТО ПРОРОЧЕСТВ

24 сентября – год с того дня, когда объявили, что Путин опять оформят президентом, и если не вся наша империя, то метрополия, Москва, зашевелилась. Пошли митинги протеста и пророчества, сколько он протянет. Павловский счел, что власть висит на волоске, Пионтковский, что осталось полгода, Ольга Крыштановская, знаток элиты, что шестилетний срок усидит, Марков, его сторонник, что и следующий досидит, а Ирина Павлова, его критик, что будет сидеть, сколько захочет.

Я не пророчествую. Хочу лишь уточнить, какой нынче в России общественный строй и какие возможны перемены. Лимонов, глава национал-большевиков, заявил: пошли бы не на Болотную, а на площадь Революции, а оттуда на Кремль, и жили бы в другой стране. А по мне, куда ни пойдешь, страна все та же, другой нет, и причины катастроф важнее их дат.

Самый распространенный нынче лозунг: «Россия без Путина». Но она и перед Путиным была такой, разве что не столь жесткой. С экономикой порешили до него, передали советские концерны так называемым «олигархам», летающим в Куршавель со своими девочками, но от власти зависящим кругом. По национальному вопросу его тоже не спрашивали. Поверившие, что суверенитета можно брать, сколько проглотить, получили бомбежки Грозного и массовые убийства. Курс определился до Путина. Он, конечно, руку приложил, но завел порядок не он. Он – продолжатель дела Ельцина, как Сталин – дела Ленина. Говорят, Путин создал нынешний режим, а на деле режим создал Путин.

В наш технологический век общество сочли машиной. Но его судьбу не свести к манипуляциям, к уловкам политтехнологов, она зависит от последствий вчерашней и даже позавчерашней жизни. Поэтому, обращаясь к нынешней ситуации, надо держать в уме исторические факты, без которых ничего не понять. Двести лет назад Россия была самодержавной и крепостной, а прочая Европа вводила новые порядки, и не то, что русский царь о них не думал, но победы Наполеона думать перестал. И плодом упоения той победой полвека спустя стало поражение в Крымской войне.

Новый царь вызов принял, освободил крестьян от личной зависимости, завел суд, какого не было прежде, и не

стало при коммунистах. Но представительную систему, хоть неравноправную, не ввел, выйти из общины крестьяне не смогли. И последний царь даже стойких монархистов, Витте и Столыпина, выступавших за перестройку, не выносил.

Когда в октябре 1917 года после восьмимесячного бездействия Временного правительства власть захватили коммунисты, большевики с никому не ведомым Лениным, и сходно провозгласили Декрет о земле, то есть, вроде дали землю, Декларацию прав народов России, то есть, вроде дали право на самоопределение, вплоть до отделения, и еще провели единственные за всю новую историю России свободные выборы в Учредительное собрание, то есть, вроде дали власть народу, могло показаться, что Россия свободна. Но эти долгожданные великие шаги были только отмычкой к общему замыслу, перед тем изложенному Лениным в книге «Государство и революция», Он хотел упразднить частную собственность и ценностные отношения, а все хозяйство страны свести в единый управляемый государством концерн.

В Учредительном собрании большевики получили четверть мест, но большинство – крестьянская партия, эс-эры. 5(18) января 1918 года оно собралось, а к утру его разогнали и завели первый в истории тоталитарный режим, который потом землю у крестьян отобрал, их самих закрепостил, возродил империю, и проводил выборы из одного кандидата. Новую власть именовали советской, поскольку формально власть взяли советы, избираемые населением, но на деле правили партийные комитеты, и верней бы звать власть комитетской, а страну – Союзом Комитетских Социалистических Республик.

Разгон Учредительного собрания вызвал гражданскую войну, но воевали большевики не так со сторонниками Учредительного собрания, как с оттеснившими их сторонниками самодержавия, не признавшими, ни раздел земли, ни самоопределение колоний, что и принесло большевикам победу. Но полностью отдаться строительству единого концерна мешало тяжелое экономическое положение, и Ленин с Троцким поняли: хоть и победили, а надо отступить, и объявили новую экономическую политику, дозволили частное производство и торговлю. Это было весной 1921.

А уже в 1922 Ленин сказал: мы год отступали, достаточно. Многие тогда надеялись, что частное хозяйство не погибнет и при большевиках, и надежда была не вовсе неле-

пой. После нас тоталитаризм утвердился в Италии, где Муссолини исчерпывающе выразил его общую суть: «Все в государстве, ничего вне государства». Но ценностные отношения в Италии все же удержались, хоть государство не всегда с ними считалось. Они обслуживали и немецкий тоталитаризм при Гитлере, и китайский при Дэн Сяопине. Да и у нас при НЭПе не зря выпустили золотые червонцы! И хоть Ленин хотел покончить с НЭПом поскорей, Сталин, возглавив партию, не торопился и прикрыл НЭП лишь в 1929-30 годах. Возможно, сперва он хотел лишь контролировать ценностное хозяйство. Но удержать стихию единоличников в едином концерне не смог. Причин тому много, но и как менеджер, он оказался не силен, и погнал крестьян в колхозы, контролируемые местными партийными организациями. Коллективизация возродила ленинский идеал послушного партии государственного концерна, и Сталин был ему верен.

С тех пор российский тоталитаризм, в отличие от китайского, немецкого, итальянского, был абсолютным. Вся власть была у партии. Она владела и распоряжалась всем. Пропала не просто частная собственность тех или иных лиц, но само понятие «собственность», как чье-то, кроме партии, право владеть, пользоваться и распоряжаться. А с ним и понятие «ценность», позволяющее соизмерять доходы, расходы и товары при обмене. Деньги, прежде служившие эквивалентом ценности, в качестве наличных стали простыми квитанциями об оплате труда, и их отоваривали по государственным ценам. Но внутри государственного хозяйства деньги выступали в безналичной форме, и переводу в наличные, как правило, не подлежали. Там ими измеряли распределение товаров. Однако, распределение было волевым и ценность товаров устанавливали тоже волевым порядком, не по затратам, не по спросу и предложению, а по воле партии. Сосчитать, что почем, было на деле невозможно. Возникло, по сути, натуральное хозяйство, но в масштабе огромной страны.

При таком хозяйствовании, чтобы выжить, стране были нужны дополнительные средства. Их давала продажа за рубежом ценного сырья. Но еще более важными их источниками были общее занижение оплаты труда, низкий уровень жизни населения, и, конечно, рабский труд, с одной стороны, нано-во закрепощенных в колхозах крестьян, с другой. — миллионы узников Гулага. Это не компенсировало абсурд абсолютного тоталитаризма. Он имел успех лишь на отдельных

участках, куда бросали все силы, и, прежде всего, в военной сфере, хотя, как показала война, и там не все вышло кругло.

Лишь после смерти Сталина попытались ввести ценностные критерии хозяйства – сперва Хрущев в 1957, потом Косыгин в 1965. Но чтобы заработали даже их куцые реформы, партии надо было хоть отчасти умерить свою внеэкономическую власть над хозяйством, чего она не хотела, и в семидесятые - начале восьмидесятых это повергло советский концерн в кризис, который Горбачев надеялся умерить перестройкой. Объявив гласность, проведя даже выборы, хоть еще и не свободные, но уже не из одного, он то ли не захотел, то ли не сумел, то ли не имел возможности, но не провел столь же значимых хозяйственных преобразований. Хозяйство продолжало жить по-советски, и кризис нарастал.

Он и привел к нынешнему строю. 19 августа 1991 года руководство партии, не сумев обычным закрытым порядком разрешить свои внутренние противоречия, вывело танки на улицы, уже не Будапешта, не Праги, а Москвы, но не рискнуло давить миллион безоружных москвичей, вышедших на улицы, да и не было уверено, что танкисты такой приказ выполнят, и отступило перед президентом РСФСР Ельциным, стоявшим вроде за более глубокие реформы, чем Горбачев. Он простил заговорщиков, отказался от марксизма-ленинизма и распустил СССР, – не только ради личной власти над Россией, но и справедливо полагая, что легче будет выбираться из кризиса, отрекшись от обязательства перед республиками.

Ельцин мог отвергнуть ленинский проект и разрешить частное хозяйствование, но это пугало. Он мог, как в 1921, наряду с государственным хозяйством, дозволить и в городе и деревне частное. Но крестьянства, получившего землю от большевиков и еще им верившего, уже не было. И оба варианта ослабляли правящую номенклатуру. Но был третий путь, поводырями на котором не случайно стали Гайдар и Чубайс, видные участники ленинградско-московского кружка, обсуждавшего, как сделать советское хозяйство эффективным. В Китае уже прошли реформы Дэна, и Ельцин тоже перевел страну на денежные отношения с контрольно указующим государственным перстом во всех существенных процессах. Сотне людей дали, как бы в частное владение, государственное имущество на условиях послушания государству, и назвали их олигархами.

Условность этого владения обнажило дело Ходорковского. Юридическая несостоятельность суда – не повод сводить его к самодурству и личной злобе. Конечно, дело, вроде первого, могли завести на любого «олигарха», но не заводили, а второе вовсе высосано из пальца. Но перед властью Ходорковский виноват в нарушении конвенции, в том, что вел себя как всамделишный капиталист. А Ельцин, Путин и правящий класс поняли собственность не как неограниченное право владеть пользоваться и распоряжаться, а как феодальное держание, и ждали от новых собственников вассального поведения. И хоть юридически Ходорковский невиновен, расправа с ним - не прихоть, а принцип нынешнего российского строя.

Ельцин заменил ленинско-сталинский абсолютистский и волюнтаристский тоталитаризм более реалистическим. Но России это не так помогло, как Китаю, – она уже была в совсем ином состоянии. Мы ввели тоталитаризм в 1918, а китайцы в 1949 году. Двадцать лет спустя он настолько утвердился в более развитой поначалу России, что она переосмысляла лозунги революции и уничтожала людей, ее совершивших. Вместо Троцкого и Бухарина пришли Жданов и Маленков. Победа в войне закрепила режим. А в Китае, хоть схожие тенденции тоже действовали, Мао все же не до такой степени перетряс партию и сократил население страны, хотя рождаемость сознательно сокращал. А, главное, к ценностной, хоть и подконтрольной, экономике Китай повернул через двадцать восемь лет, а мы через семьдесят четыре года, и свои людские ресурсы растратили в куда большей мере.

К возврату Дэна в Китае были сотни миллионов людей, а ко времени Ельцина русская деревня была разорена. Удержи Сталин контроль над хозяйством без отмены НЭПа, или, пройди реформы сразу после войны или хоть после его смерти, история могла пойти иначе. В Китае тягу к демократии оживили реформы Дэна, и он сам ее придушил на площади Тянь Ань-мынь, а в СССР вольности возникли сразу после Сталина и, хоть преследовались, но служили подспорьем и Хрущеву, и Горбачеву, и Ельцину, и придушить их по-китайски Ельцин не мог, как не мог уже и ГКЧП. Но завести подконтрольное ценностное хозяйство России было поздно, главной его опоры, дешевого труда, уже не было. А дать экономическую свободу власть не хотела и не хочет.

Один из самых ярких публицистов тех лет, покойный Юрий Буртин, парадоксально определил сложившийся строй, как «номенклатурный капитализм». От обычного его отличает то, что сам капиталистом при нем не станешь. Капиталистом тут назначают, поручают быть и помогают стать, то есть, капиталистические отношения сводят к минимуму. Хозяйством движут не стремления частных лиц, а воля государства. На вид - капитализм, а на деле - тоталитаризм, но более гибкий.

Китаю эта гибкость позволила стать мощной промышленной державой. Технологическая зависимость и внеэкономические партийные рычаги сделали его развитие количественным скорей, чем качественным, но успехи налицо. В китайском экспорте 80% - промышленные товары, а в нашем их - 15%, преобладает сырье. Их номенклатура живет дешевым трудом китайских рабочих, а наша дарами природы, нефтью и газом. Из застоя, в каком Ельцин Россию взял, ее одной гибкостью было не вывести. Требовалась уже не гибкость в стенах тоталитаризма, а свобода от тоталитаризма. Не великие стройки, а изобилие индивидуальных инициатив.

За двадцать лет после 1991 страна не совершила рывка в развитии, какой обычно приносит свобода. Но ей свободы и не дали, а частные инициативы власть пресекала. Названную элитой номенклатуру эти реформы спасли, но революция, вопреки уверениям, не произошла. Революция сметает правящий класс, или вынуждает его разделить правление с другими классами. А у нас вместо Секретаря Ставропольского обкома страну возглавил Секретарь Свердловского.

При Ельцине частная собственность неприкосновенной не стала, привычные советские суды от безвозмездных изъятий и сноса домов не защищали. Но пореформенная нищета и тяжелое состояние хозяйства, пришедшего в 1998 к дефолту с четырехкратным падением стоимости рубля, еще сдерживали беспардонность правящего класса. К тому же, свободу печати, сворачивавшуюся уже после 1993 года, еще не привели к общему знаменателю. Но после передачи власти Путину, на мировых рынках взлетели цены на нефть, и режим ощутил себя тверже. Нефтяной поток, а не Путин, облегчил положение части граждан, но укрепил этим Путина, который все меньше озирается на население, а массовую информацию присвоил полностью, за вычетом разве что интернета. Произошла тоже не качественная, а количественная перемена, но столь крупная, что кажется качествен-

ной. Государственные лица богатеют не таясь и чинят произвол.

А пропаганда внушает стране и миру, что у нас тот же строй, что в Европе и Америке. Но покойная экономистка Лариса Пияшева еще в гайдаровскую пору говорила: «Нельзя быть немножко беременной». Либо надо прямо сказать, что не была Россия беременна, не вполне поменяла командные отношения на ценностные, а в происходившем после 1985 или 1991 виноваты слабость Горбачева, пьянство Ельцина и недолгое тогда падение цен на нефть. И надо вернуть КПСС комитетскую власть, хоть вряд ли это обойдется без гражданской войны. Либо надо расстаться с номенклатурным капитализмом и перейти к реальному, его не идеализируя.

Капитализм, как и демократия, - плохой порядок, но все другие, к сожалению, еще хуже, еще менее эффективны и отдают судьбу страны на закрытое усмотрение монопольно правящей номенклатуры, а капитализм, в отличие от комитетской власти, не способен прекратить открытую классовую борьбу. В силу его конкурентного характера классовая борьба при нем, в отличие от других общественных порядков, обретает ненасильственные открытые формы, в которых нередко смягчает и даже пересиливает его пороки.

Стремясь одолеть их разом, Маркс рассматривал открытую французскими историками классовую борьбу в гегелевском свете ожидая, что, победив капиталистов, как свою противоположность, рабочие войдут в царство свободы от социальной борьбы. Он называл его социализм и коммунизм. Но Гегель говорил не об одной борьбе противоположностей, а о борьбе и единстве. Капиталисты и рабочие существуют в единстве. Его разлом еще не свобода. Тем более, как признавал Ленин, что рабочим чуждо социалистическое сознание. И победа не дает им свободы от противоречий, а ведет к новому единству и борьбе с новыми противоположностями.

Перебив буржуев, рабочий класс, не только в русской, но во всех социалистических революциях, угодил в новое единство с государством, ставшим его новым работодателем и, тем самым, новой противоположностью. Тоталитарное государство закрепило единство и пресекло социальную борьбу. Не это ли толкало Маркса оговорить, что при социализме и коммунизме государства не станет, что оно отомрет? Но социалистическое тоталитарное государство не от-

мирает, а набирает силу и убивает протестующие противоположности в застенках, обнажая утопичность светлой перспективы Маркса. Так было и в России, и в Китае, и везде. И если «все в государстве и ничего вне государства», иному не быть.

Номенклатурный капитализм от советского реального социализма отличается, но ему не противоположен, а обоим противоположен капитализм без прилагательного. Путин и другие в эти тонкости не входят и, изъясняя свой строй либеральной лексикой, посылают ОМОН против мирных протестов. Идеологию выражает уже не так слово, как действие. Чтобы ее понять, присмотримся к действиям.

Одна из главных проблем страны – сокращение населения. В отличие от Китая, у нас рождаемость не сокращали, но она упала, и не столько из-за войны, кончившейся шестьдесят семь лет назад, сколько оттого, что в России, с ее городским населением, как в других странах Европы, росло сознание ответственности деторождения, обязанности детей вырастить и выучить, часто непосильной не только от нехватки денег, но от всего устройства жизни. Большинству семей по силам лишь один-двое. А власти нужна рабочая сила, она готова оплачивать деторождение, не думая о возможностях семейной жизни и о том, кем вырастут новорожденные. При этом средний мужчина живет в России – 59-60 лет, до пенсии доживет, но ее не получает. Власть не заботит продление его жизни и работоспособности. В Европе они растут, отчего там и пенсию платят поздней. А у нас хотя бы новых работников, пенсию которым платить не придется.

Эта, на первый взгляд, не политическая проблема выдает ход мыслей номенклатурной элиты. За себя она спокойна, руководители СССР (если их не расстреливали) были долгожителями, как правило, а рядовые люди, как редкое исключение. Для номенклатуры люди – это исполнители ее заданий, рабочий скот, быдло. Но современное развитие успешно лишь при свободе, грамотности и активности многих людей. Сам по себе класс, живущий тоталитарностью режима, – тормоз развития. Но даже критики режима часто сводят беду к тому, что нет социальных лифтов, что места в элите расхватаны, и новым поколениям не пробиться.

Но это только часть, и не главная, наших социальных проблем. Большинству людей важно не начальниками стать, а своим трудом обеспечить себе достойную жизнь и социальные гарантии. Говорят, что люди в России никогда не

жили, как нынче. Некоторые, особенно в Москве, кто-то даже в Питере, действительно живут лучше. Но страна велика, многие живут не лучше, и слишком многие хуже. Власть не то, что нарочно совершает злодеяния, но определяет условия жизни и характер производства без оглядки на людей. Она, к примеру, задешево зовет на работу мигрантов, и не зовет своих граждан, не хочет им платить чуть больше и помочь в перемещении. Она отвлекается от конфликтов при переезде наших сограждан из автономий в русские области. Но главное, она не хочет видеть прямую связь нехватки рабочих рук с низкой производительностью труда, вчетверо ниже Америки, втрое ниже Европы. А модернизация производства и улучшение жизни ее бы подняли. То есть, на деле у России нет нужды в рабочей силе. Но реальная модернизация требует перемен в общественном порядке, а их-то власть и не хочет. Но не признает, что этим, хоть и ненамеренно, тормозит развитие.

Много говорят о коррупции, но не оглядываются на ее особенности в России. Коррупция имеет место всюду в мире, всюду продажные чиновники за взятку предоставляют частному лицу возможность обойти закон. Есть, конечно, такое и в России. Но тоже как исключение. А правило российской коррупции в том, что взятку приходится дать за возможность поступить по закону. Даже в СССР случались здоровые законы. И великолепные статьи в Конституции, даже в сталинской. Но в советском и в российском государстве, конституции и законы не имеют прямого действия, и следовать им можно лишь по оговоренному инструкциями разрешению начальства. Беря за него взятку начальник отнюдь не разрешает нарушить закон. Не он сделал закон никчемным без своего соизволения.

Зло не просто в том, что коррупция кормит элиту, прежде кормившуюся от прямых щедрот государства, это лишь одна из ее функций. Главное, что коррупция регулирует официально разрешенную частную деятельность сообразно ее выгоды элите, а отнюдь не гражданам и стране. Еще больше, чем воровством и продажностью чиновников, она страшна тем, что ведет к избирательной законности.

Богачи и крупные предприятия, которым откаты по силам, с ней живут, средним – трудней, а мелким и вовсе ее не осилить. В девяностые в России было создано больше трехсот тысяч сельскохозяйственных ферм, – остались единицы. А они бы, с тысячами мелких и средних не возникших город-

ских предприятий, внесли капиталистическую стихию, подрывающую номенклатурный капитализм.

Идейное давление тоже идет не прямо. В процессе «pussy riot» видят и нарушение свободы слова, и нарушение свободы искусства, и, конечно, нарушение правопорядка, предусматривающего за бестактную помеху законным занятиям других, административный штраф по 1000 рублей с каждой. А их предали суду, держали в предварительном заключении, и приговорили к двум годам. А не так давно на аналогичный случай власть реагировала совсем иначе. На выставке в музее Сахарова православные активисты бесчинствовали и ломали картины, что было не только бестактностью, а прямым хулиганством. Но схожие поступки, одинаково нарушившие право на дозволенные занятия в отведенном для них месте, и подлежащие одинаковому наказанию, идет ли речь о церкви или о музее, завершились по-разному. За хулиганство в музее не то что не судили, а даже не оштрафовали, а судили организаторов выставки, и они лишились работы.

Путин был в курсе дела pussy riot и, конечно, помнил, о деле музея Сахарова, но не вмешался. А был обязан, как гарант Конституции, сказать о вопиюще разных исходах схожих дел. И не сказав, выдал, что ему и всей властной машине религия, на них молящаяся, важнее светских норм. То есть, наше светское государство преобразовано в религиозное, в России введен персидский порядок. Путин сердится, что развитие страны требует признания ценностей, прежде числившихся несущественными. Но забывает, что в XV-XVI веках католическую веру в Европе защищали не менее рьяно, чем они с коллегой Гундяевым православие. Но жизнь менялась, и протестантство принесло новые ценности, и католичество смирилось с их признанием миллионами людей. Упор на традиционные ценности и инквизиционные гонения на другие тормозят развитие страны. Едва ли Путин сознательно не хочет развития. Но религия, оправдывающая захват власти номенклатурой, ему нужнее. Уже эти три примера из разных аспектов жизни говорят, что ситуация в стране всецело определяется волей власти, то есть, режим остается тоталитарным.

Нынешнее российское общество – классовое, в нем есть рабочие, есть деревенские работники, недавние колхозники, есть научно-техническая интеллигенция, и какие-никакие предприниматели, но ни один из классов, кроме

правлящего, не представлен в общественно-политическом поле партией или движением. Дума целиком представляет правящий класс, – союз силовиков, бюрократов и так называемых «олигархов».

В ней сидят партии тоталитарного правления: коммунисты – вчерашнего, «Единая Россия» - нынешнего, ни одна из думских партий не ратует за реальное представительство населения, за присутствие в Думе разных общественных сил.

Тоталитарная власть не терпит открытости политического поля и его регулирует. Народ безмолвствует. Но лишь потому, что люди не могут самоопределиваться, сопоставить свое знание реальности с политическими течениями. У тех нет возможности себя показать, у людей – их повидать. И хоть жизнью недовольны десятки миллионов, оппозиции, то есть, движений стоящих на иных политических позициях, чем нынешняя и вчерашняя власть, на практике нет. Тоталитарная природа размыта, и власть выступает по националистической, то левой, то либеральной, но не так реформирует, как маневрирует. И кроме власти, дозволены лишь эти три политических вектора: левые, либералы, националисты. Но левый на деле не левый, а либеральный - не либеральный.

Активнее других сторонники реставрации той или иной формы комитетского строя, числимого левым. Левыми считаются и традиционные коммунисты, и новые большевики, то примыкающие к старым, то выступающие, как обновители. Но за свободу и народное представительство большевики были до революции, а взяв власть, предпочли себе спецпайки, а прочим Гулаг, хоть и сами туда порой попадали, предпочли номенклатурный статус и диктат партийных комитетов, и переродились, перестали быть левыми. Ленина, написавшего Декрет о земле, от Ленина загнавшего хозяйство страны в единый государственный концерн, отделяет социальная пропасть, которую не обойти, ни ему, ни созданной им партии. Коммунисты не заглядывают в эту пропасть, - в деле Ленина они дорожат своим номенклатурным уровнем. А большевики-лимоновцы прямо начали с призыва: «Сталин, Берия, Гулаг».

Партии именуемые левыми, – не только в России, – за сто лет стали, по сути, правыми, возвращающими к тоталитарному абсолютизму. Наша страна лишилась подлинно левого движения. При нынешнем тяжком положении рабочих в

России нет независимого рабочего движения, занятого не изучением социализма, а защитой надлежащей оплаты труда и социальных гарантий. Нет и сильного движения в защиту авторского права, не только литературного, но научно-технологического, как важного условия развития. Псевдо-левые государственным насилием насаждают свою волю и выгоды. Жизнь других им чужда.

Либералами у нас числят сторонников чубайсодэновских реформ, требующих некоторого учета ценностных отношений, но эти реформы либеральны лишь в сравнении с натуральным хозяйством феодальных или советских времен. Не зря Гайдар и Чубайс сами звали себя правыми. Они впрямь правые, поскольку навязали частной деятельности государственный поводок, отвлекшись от его воздействия на социальные отношения. Само слово «либерализация» вошло в наш обиход с гайдаровской либерализацией цен, состоявшей в освобождении монопольного собственника, государства, от ограничений на продажные цены, и вздувшего их в разы. Это было прямым ограблением народов России, куда большим, чем выдача «олигархам» собственности, числимой «общей».

О каком либерализме говорить, когда лидер либералов Чубайс уверял, что в Чечне возрождается наша армия. Отдельные либералы в постсоветской России попадались, но либеральных движений, кроме вялого «Яблока» да правозащитных групп, к несчастью, нет. За двадцать лет экономическая свобода, обещанная в 1991 не окрепла, а ужалась. Немцов бранит Путина, которого сам сперва поддержал, за то, что стало очень уж круто, а крутые меры Путина охраняют номенклатурный капитализм Ельцина, который надо не охранять, а отвергать, как продолжение старого комитетского тоталитаризма.

Не отвлечься и от того, что и власть, и псевдо-левые и часто псевдо-либералы, так или иначе пронизаны сильным националистическим духом. Советская власть винила в национализме все народы, кроме русского, объявленного, как первый меж равных, эталоном интернационализма. В Литве мне говорили, что интернационалист это тот, кто знает один язык, а националист – знает, по крайней мере, два.

Положение изменилось. Хотя национализм обострился у всех народов, русский вышел на первый план. Но, в отличие от других, русский национализм не однороден. Основная, имперская, тенденция родилась еще при царях и про-

длилась в советскую пору. Это не столько даже национализм, сколько шовинизм, ставящий русских выше других народов. Где -народов России, где – народов, как говорят, «постсоветского пространства», где – Европы и других материков. Ныне он открыто проповедует «сверхнационально-русскую» империю и требует власти над «исторической» Россией, то есть над территориями за географическими границами, и откровенно призывает к экспансии. Примечательно, что призывы к экспансии, то есть, к войне, власть не считает экстремизмом. Доводы этого движения изложены во многих книгах, то анонимных, под девизом «Проект Россия», то под тем же девизом созданных авторскими коллективами, как «Русская доктрина». Многие тезисы оттуда, в не столь откровенной виде, берут на вооружение и власть, и псевдолевые, и даже некоторые псевдо-либералы.

Эта позиция не нова, но в советские времена редко всплывала открыто, ее опознавали не так по текстам, как по выселениям народов, при которых половина погибала, и по дискриминации инородцев в учении и на работе. При Сталине комитетский социализм, на словах интернационалистский, на деле уже был формой национал-социализма. Не потому, что «побежденные диктуют победителям свои законы», а потому, что тоталитарный режим, тяготеющий к унификации, не терпит иных. Этот воинствующий шовинизм маргинален, но активно популяризуется, и власть его не осаживает.

Есть, однако, в русском национализме и совсем иная тенденция, растущая из раздумий о судьбе своего народа. И она не нова. Создать национальное русское государство, отпустившее колонии и этим избавившее свой народ от нужды их удерживать, многие хотели после революции, когда советская власть образовывала номинальные государства даже малочисленных народов СССР, но не русского, по положению «первого среди равных» лишеного отдельного механизма выражения национальных нужд. После Чеченской войны русский народ острее ощутил несообразность жертв, принесенных им на протяжении последних пяти веков российскому государству, на словах его почитавшему, но обрекавшему жить куда хуже других европейцев. Царская власть на триста лет закрепила своих подданных, чтобы завоевать и удержать империю. Большевики, следуя примеру царей, закрепили крестьян в колхозах. Положение и ныне не сильно изменилось. Лозунг «Хватит кормить Кав-

каз!» плох тем, что не содержит в себе призыва отпустить Кавказ, чтобы сам себя кормил. Но и этот плохой лозунг – знак осознания русским народом, что империя у него на шее и уродует жизнь.

Трудно сказать, возобладают ли национал-либеральные взгляды над имперским шовинизмом. Признают ли национал-либералы, что лозунг «Россия для русских» неразделен с лозунгами «Чечня для чеченцев», «Татарстан для татар» и так далее? Смогут ли они, создавая демократическое русское национальное государство, вступить с автономиями в договорные отношения или вместе с шовинистами вынудят их желать полного отделения? Сложится ли в национальном русском государстве лояльность к обильной в русских городах многонациональной диаспоре и признают ли принадлежащих к ней полноправными гражданами? Без этого, ничего иного, чем есть, не получится. Имперские шовинисты кричат, что внимание к малочисленным народам дробит общность, сложившуюся веками. А оно помогает вырастить добровольную общность вместо принудительной, доводящей до бомбежек автономий, нуждающихся в автономности. Поэтому то или иное решение русского вопроса определяет будущее России, и наивно думать, что будущее можно устроить, делая вид, что такого вопроса нет.

Однако столь же наивно думать, что дело только в нем и сводить распад СССР и нынешние национальные распри к тому, что Горбачев и Ельцин (до Чечни) притушили советский имперский шовинизм. А распад Советского Союза – не геополитическая катастрофа, как уверяет Путин, а катастрофа тоталитаризма. Только и слышно, что СССР проиграл холодную войну, а Европа и Америка выиграли и разрушили СССР. Но холодную войну никто не проиграл и не выиграл. Америка, – возможно, поняв, что сверхдержавой не быть в одиночку, без противовеса в лице СССР, – даже пыталась уберечь его от распада. Президент Буш-отец ездил на Украину убеждать Кравчука не выходить из Союза.

Беда не в Америке, а в том, что не по средствам трагиться на сверхдержавность, наша страна не сводила концы с концами и, обладая самой сильной в мире армией, слабела от этого настолько, что за десять лет не могла справиться с Афганистаном, куда, хоть и поставляли стингеры, но не солдат. А при наглядной слабости Москвы, груз московских имперских бесцеремонных команд перевесил в сознании республик выгоды связи с Россией. В большой мере СССР рас-

пался в результате бессилия в афганской войне, чего советские руководители, ее развязавшие, в мыслях не имели.

Уже к 1991 году всякому, кого заботила судьба СССР и потом России, стала ясна ее зависимость от того, определяют внутреннюю жизнь имперские команды или взаимобязующие договора. 19 августа руководство СССР предпочло команды. Противоставшее им тогда руководство России, предпочло их три года спустя, начав войну в Чечне. И ныне судьба страны зависит от способности опять не разориться зазря. Пока нефть и газ в цене и Запад, заботясь о другом, помогает России и Путину удержаться, катаклизмы у нас не очень вероятны, хоть растущая тяга власти к советским методам и планы утроить военные расходы, глушит веру, что исключены.

У вооруженной атаки на власть, – хоть бы охотников участвовать в ней было больше, чем по 31 числам на Триумфальной, – при нынешнем состоянии страны шансов нет. Но даже если катаклизм изменит позиции людей, пока предпочитающих не встречать, и вспыхнет революция, не оранжевая, а кровавая, это не повод для оптимизма и веры, что новая власть будет демократической. Ни от псевдо-левых, ни от имперских шовинистов, ни даже от псевдо-либералов этого не дожидаться. А псевдо-легальная смена власти возможна лишь по сговору нынешней с другими мракобесами. Волеизъявлению масс мешает не просто фальсификация подсчетов, но невозможность опознать и выдвинуть лучших кандидатов, А среди власти сторонников хотя бы частичной демократизации не видеть. В конце восьмидесятых не только Яковлев и Шеварднадзе, не только Горбачев и Медведев, но и Громько, и Лигачев, сознавали нужду в переменах, хоть и спорили в каких. Все-таки были, какие-никакие политики.

А ныне партийная верхушка отдала власть не Путину, а спецслужбам, другие кандидаты на первую роль, Примаков и Степашин, тоже были оттуда. Это не тактический сдвиг, не поиск иных персональных качеств, чем у экономистов девяностых. Это стратегический возврат от бродивших в пост-сталинской коммунистической верхушке идей расширения общественной базы строя за пределы самой номенклатуры, к увядшему вместе с «культом личности» пониманию партийным шефом КГБ Сталиным власти, как диктатуры, в идеологии именуемой диктатурой пролетариата и персонифицированной в личной диктатуре вождя,

По мысли Маркса, диктатуре пролетариата, как власти класса составившего большинство населения, после революции, свергнувшей капитализм на высшем этапе его развития, надлежало быстро перейти к социализму и коммунизму. За полтора столетия с лишним лет этот расчет нигде не сбился уже потому, что с середины двадцатого века развитие капитализма вело к сокращению численности пролетариата и утрате им шансов составить большинство. А диктатуры революционных партий, начиная с ленинской, вместо власти большинства, насильственно подавляя большинство, установленные под тем же именем на неопределенный срок, неизбежно становились тоталитарными режимами. Зримее других диктатуры их воплощали органы прямого насилия, и сила Сталина в том и состояла, что он раньше других взял эти органы под непосредственный контроль. И если при Хрущеве они попали под контроль разных партийных начал, то Ельцин вернул им высшую власть, отдал ее целиком, в отличие от Сталина, ни лично, ни своим аппаратом их уже не контролируя. Путин может открыто провозгласить диктатуру. Ее может, устранив его, установить какая-то из близких ему групп. Но ни то, ни другое не сулит демократию, даром что оптимистов, верующих в «сладкую» диктатуру, не меньше верующих в «сладкую» революцию. За диктатуру и нашу-мевшая недавно статья Пастухова. Но смена диктатур лишь меняет кличку правящего класса, – не дворяне, а номенклатура, не номенклатура, а элита, а по «Русской доктрине» - аристократия. Меняют не жизнь, а названия.

Говорят, все у нас решается в Москве, и мощная мирная демонстрация свалит власть. Но для этого, во-первых, ей надо быть впрямь мощной, как 19 августа 1991, когда вышло около миллиона, а, главное, тогда люди вышли не валить власть, а поддержать президента СССР, устраненного заговорщиками, и президента РСФСР, по тем временам законных. Массовое сознание видело в ГКЧП нарушение порядка. 19 августа в России была не революция, а массовое выступление в защиту законности, против преступного заговора партийного руководства. И страна поддержала законные перемены, а не незаконный реванш.

Ныне нет ничего подобного. Тогда сложилась, как всегда при катастрофе строя, революционная ситуация, ведущая к революции. Революция не состоялась, но власть ощутила ситуацию, и соперники по номенклатуре ею воспользовались в своих целях. Ныне «оппозиция» целей не оглаша-

ет, зовет лишь к честности на выборах и требует от нового президента, чтобы старая система работала лучше, чиновники – не брали взятки, а полицейские и судьи соблюдали закон. Но при нынешнем строе это невозможно.

А перемены, без которых отечество идет в тупик, – не просто смена лиц. Петр Великий, при всех к нему претензиях, набравшись в Немецкой слободе ума и съездив в Англию простым рабочим, изменил страну. Но обстоятельства с тех пор переменялись, прошли промышленная и научно-техническая революции, и, чтобы стране быть среди первых, мало узнать чужие навыки, купить компьютеры и завести Сколково. Научного заповедника нынче мало, надо всей стране жить иначе. Это не организационная, а социально-политическая проблема. Жизнь изменяет уже не мгновенная революция, убирающая помехи развитию, а закрепляющая перемены долгая повседневная борьба с властью за нужды общества. Певшие «весь мир насилья мы разрушим», дивились, что «затем», в новом мире, который они строили, их расстреливают. И если революционер Ленин, впервые в России проведший свободные выборы, взяв власть, навсегда разогнал честно избранный парламент, неужто большевики Лимонов и Удальцов, увидав, что избран не такой парламент, как они хотели, с ним примирятся?

Авторы книги «Русская доктрина», – я, кстати, советуя желающим знать, что в головах большинства российской элиты, ее прочесть, – задавшись вопросом, чего же недостает РФ, чтобы стать могучей страной, Россией, себе отвечают: «людей», и учат готовить и внедрять супер-менеджеров так, как в СССР – разведчиков. И убогость такой элиты, толкает думать, что людей впрямь недостает.

Но Россия, в силу разных причин, как раз богата способными людьми, и спросить бы надо, что им мешает себя проявить. При комитетской власти мешали барьеры, то социальные, то национальные. Говорят, их не стало, но способных людей не прибавилось. Более того, за двадцать лет из России уехало больше десяти миллионов человек.

Уехавшее большинство евреев, – не больше миллиона, чеченцев уехали десятки тысячи, а большинство уехавших – этнические русские. И в союзных республиках их живет еще двадцать миллионов, в свое время туда посланных или высланных, и они тоже не спешат в Россию. Чего же этим, часто способным русским людям, в России недостает? А недостает свободы.

Свобода, которой недостает, – не просто отсутствие цензуры, с 1989 по 1993 практически прекращенной, – тогда можно было в печати ругать власть, как хочешь. Это и не только возможность читать книги или видеть чужие страны. С этим, хоть, ограничения сохраняются и даже растут, еще все же легче, чем было в СССР, но нет свободы практической деятельности, свободы частной инициативы. И ее не может быть при вертикально централизованной власти, где все держится тем, что элита, номенклатура, всегда права.

Галич пел: «Бойтесь того, кто скажет: я знаю, как надо». Это пелось о диктаторах с ружьем и властью, взгляды которых вносили в программы школ, как общеобязательные, даже если они не отвечали реальности. Эта вечная нерушимая правота власти и тормозит Россию и русский народ. Не суть, опирается она на марксизм-ленинизм или на православную веру. У государства не только вся собственность, но и вся истина, все у него под стражей, хоть не все птицы выжидают в клетке. И не зная татарского языка Москве решают, какая письменность татарам удобней, латиница или кириллица. И все так.

Вся власть сосредоточена в руках президента, названного еще гарантом и, то есть, толкователем Конституции, на практике исполнительная власть важнее судебной и законодательной. Разделения властей на деле нет. Доходы от всего производства страны забирает Москва, и как захочет потом распределяет. Федерация состоит из субъектов, в большинстве не способных себя прокормить и кругом зависящих от центра. Потому нет и разделения власти по уровням, высшая, дающая деньги, вмешивается в любые решения областной, а областная в решения местной. В такой системе отдельный город, даже великий, как Петербург, – провинция, а отдельный человек – винтик, как назвал его Сталин. Сталин придал системе стройность тем, что никто не мог остаться неуязвимым, независимым, – зависимость областей от подачек центра облегчала вертикали управление и побуждала правящий класс всей страны быть заодно в той войне, которую власть ведет с населением. А соединись нищие русские области в 15-20 краев, способных себя прокормить, из их самостоятельности росли бы инициативы. Обрети Питер, Нижний, Пермь, Самара, Новосибирск, Иркутск, не говоря об автономиях, некую самостоятельность, обнаружилось бы, что Россия куда разнообразнее и богаче людьми, чем позволяет система. И оказалось бы, что не во

всех регионах политические симпатии клонятся в одну сторону. А Путина звали, чтобы такого не допустил.

Эту тупиковую ситуацию преодолевает лишь демократия. Но и понимание демократии у нас изуродовано. Одни толкуют ее как высшую степень патернализма, как государственные раздачи благ. Другие ориентируются на Афины, откуда это слово. А в афинском народном собрании участвовали лишь свободные мужчины, уроженцы Афин. Ни женщины, ни иногородние, которых в Афинах было полно, ни вольноотпущенники, не говоря о рабах, голоса не имели. Но современная демократия живет по принципу английского парламента, еще в XIII веке включившего в себя не только баронов, но и представителей рыцарей и городов. Демократия — это социальный компромисс, состоящий в том, что гражданские войны, к которым толкают общество его противоречия, идут не на поле боя, а в парламенте, как месте для дискуссий, и на избирательных участках.

Чтобы придти к демократии, надо признать, что наша страна не только многонациональна, но любой ее народ и, тем более, русский, раскиданный по огромному пространству, не может быть во всем единым. Название правящей партии «Единая Россия» - нелепость, Россия, может быть, наименее единая, самая разнообразная страна на свете, Конечно, жизнь требует от сограждан согласия по многим пунктам, но добровольное согласие возникает лишь там, где у каждого есть права и с каждым нужно считаться.

Присматриваясь к корням согласия в странах, часто раздираемых избирательными битвами, замечаешь, что название страны United States of America переведено на русский не вполне точно, — «Соединенные Штаты Америки», - а надо бы Объединенные Государства Америки. И стало бы понятно почему, хотя Гор собрал больше голосов, Буш стал президентом. Да потому, что президента там выбирают не просто граждане, — большинство можно набрать в двенадцати из государств, — а все пятьдесят объединившихся. У каждого есть голоса, пропорционально числу его жителей, и каждое отдельно большинством голосов решает, кого предпочесть. Поэтому и меж выборами никем нельзя пренебречь, сказать: решает столица, а вы заткнитесь.

А у нас единство достигается запретом неугодного власти и прямым насилием. У нас общие нужды — это нужды правящего класса, он за всех нас их выражает, уже не на выборах. У нас даже от оппозиции ждут единения, и мажут

грязью любого, кто, критикуя власть, винит ее не в том, в чем большинство. А демократии нужны взаимоприемлемые решения.

Тоталитаризму они не нужны, его правящий класс ценит свою монополию на разрешение всех противоречий в свою пользу, и не ищет компромиссов с населением. Хунта, присвоившая власть в январе 1918 года, в переменном составе под разными знаменами уже скоро сто лет ведет никак не парламентскую гражданскую войну с населением. Потому и ситуация вечно напряжена, и, в отличие от всего мира, мы содержим внутренние войска, предназначенные отнюдь не для защиты родины от агрессора. А не смеем сказать, что власть не только четыре года вместе с нами воевала против Германии, но и в те годы и в другие воевала против нас, что миллионы жертв Сталина – жертвы той войны, которую правящий класс вел с населением, а политические заключенные – пленные той войны.

После пресечения нэповского компромисса о новом до Горбачева не было речи. Ельцин на него было пошел, да сам и подорвал, заставив население оплатить многолетние просчеты компартии, а Чеченской войной и вовсе пресек его дух, и опять правят бескомпромиссно, по комитетским обычаям. Потому страна и не совершила скачка. Главное, чего надо добиться, при Путине или без Путина, чтобы власть прекратила внутреннюю войну, которую ведет сто лет. России нужен внутренний мир, а у нашей власти все независимое, неправительственное, под подозрением. Она хочет безоговорочной капитуляции населения. Но, при всем уважении к регулирующей роли демократического государства в таких сферах, как финансы, правопорядок, иностранные дела, оборона и т.п., принцип Муссолини «Все в государстве. Ничего вне государства» нужно внятно отвергнуть. А противостоит ему не лозунг «Россия без Путина» (то есть, с Лимоновым или Сечиным), а не переходящий на личности: «Не все в государстве. Главное – вне государства». (Главное – это промышленность, сельское хозяйство, наука, культура, общественная деятельность, религиозное или светское мировоззрение, искусство, информация, семейная и личная жизнь.) И конкретно: «Выборы губернатора Петербурга без вмешательства центральной власти!».

Таких конкретных требований десятки и сотни. Хотя бы частичный их успех выявит новых людей, новые силы, и пойдет стране на пользу. Надо повседневно вынуждать

власть к частным необратимым компромиссам. Не идти к ней на службу, а заставить ее служить, – и не абстрактно России, а каждому ее гражданину. Оптимизма тут, понятно, меньше, чем у революционеров. Но, ощутив, что уступок хочет не горстка, власть научится уступать, поскольку от населения все же зависит, и не до бесконечности может глушить зависимость нефтяными наркотиками. А революционная стихия окажется не милосердной, чем в 1917. Лучше до нее не доводить.

В российской ситуации важна конкретность, а это, прежде всего, отказ от всевластия и признание прав отдельного человека, отдельной деревни, отдельного региона, отдельного народа, отдельного общественного класса, отказ от навязывания всеобщего единства, на деле служащего лишь правящему классу. Элите, как прежде номенклатуре, власть дороже страны. Оттого она и ожесточается, и собирает силы, и даже может пожертвовать Путиным, но мягче без него не станет. Ныне мы перед лицом ожесточения и гадаем, как повернут. А первоочередная нужда России – автономизация, спуск значительной доли власти с высот самодержавной ленинской партийной вертикали на региональные и местные ступени, где она больше зависит от воли населения. А если останется самодержавие, как бы ни звали царя, ничего, по существу, не изменится. Так все и будет.

ПАРАДОКС РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Германия встретила новое время реформацией, а Русь доведением феодальной зависимости до крепостного состояния. Энгельс назвал это «вторым изданием крепостного права». Феодальную зависимость знали крестьяне всей Европы, за вычетом разве Швеции и Норвегии. При Ярославе Мудром, да и при Иване III, позвавшем католика, итальянца Фьораванти, строить в Кремле Успенский православный собор, Русь была частью Европейского дома. Но Запад стал хозяйничать по-новому, а она продолжала по-прежнему. Чтобы закрепить Казань и Сибирь, закрепостила русского мужика. Через триста с лишним лет пришла расплата. В Крыму и солдаты наши были хороши, и адмиралы, и генералы, но социальный строй не позволил соперничать со свободными, технически развитыми странами.

Они-то с такой угрозой совладали. Не только у нас пытались закрепить крестьян. Восстание Уота Тайлера и Жакерия тоже более всего вызваны попытками усилить барщину. Английский и французский крестьянин либо противился, либо вконец разорялся. В центральной Европе, в Пруссии и Польше, «второе издание» было успешней, чем на западе, но тоже не то, что у нас. Феодализм, наново ожесточив крестьянскую зависимость, продолжился на Руси феодальной реакцией, из-за нее мы проиграли крымскую войну, и пришлось крепостное право отменять.

Революцией сверху реформа не стала. Очень уж была обходительна с прежним порядком. Крестьянин получал полевой надел с обязанностью отрабатывать его барщиной и оброком, и раньше, чем через девять лет, от него отказаться не позволяли. Многие и потом не могли отказаться, то есть, крепостное право на деле продлилось. Отмена крестьянской зависимости стала долгим процессом. А общину не трогали, и она сдерживала преобразование деревни и дифференциацию крестьянства. Не завели и представительную систему, хотя бы неравноправную. Лишь реформа суда шагнула к буржуазным отношениям, без него не реальным. Недооценная упущенное трехсотлетием крепостничества, реформаторы, даром что избавили, наконец, феодальный строй от тормозившей его глубокой реакции, не расчистили дорогу готовым открыться социальным возможностям.

И на реформу ответила волна крестьянских волнений, вдохновленных иллюзией, будто труд на помещика отмени-

ли, а он и местные власти злонамеренно нарушают указы о воле. Но раздел помещичьей земли и передача ее крестьянам в личное владение и тут не стали всеобщим кличем к мятежу. Возврат земли народу ожидался как передача ее общине.

Герцен не выдумал общинный социализм, он исходил из массового понятия русских крестьян о земле, как ничьей, божьей, да немного взял из европейских социальных утопий. Народники, пропагандировавшие герценовский крестьянский социализм, поддержанный Чернышевским, не так хотели дать крестьянину землю, как переустроить государство. Они несли свои планы в народ, но отвергая собственность на землю, не нашли понимания и поддержки.

А власть и после отмены крепостного права искусственно удерживала крестьянство, самый большой класс общества, в отсталом состоянии. Покупавшая их отсталостью свой расцвет, Российская Империя ей не противодействовала. Даже через полвека после правовой реформы самодержавие не спешило с аграрной, способной перевести страну из феодализма в капитализм. Николая II раздражали верные монархисты Витте и Столыпин, желавшие буржуазных реформ. Столыпин упразднил общину, но без крупных аграрных переделов, преобразить Россию не смог. Выдача земли бог весть где и прочие полумеры, лишь отчасти принятые крестьянством, положение не слишком изменили.

Декрет о земле большевики списали с сочиненного эсерами Примерного наказа съезду крестьянских депутатов в 1917 году. Декрет национализировал землю, обратив ее всю в государственную собственность. Он упразднил помещичью, удельную, монастырскую, церковную, крестьянскую частную собственность на землю, запретил ее продажу и аренду, Граждане могли пользоваться землей, обрабатывая ее лично, семьей или общиной. Крестьянское землепользование Декрет расширил, но крестьянство осталось отчужденным от земли.

Распространено мнение, что Ленин лишь из тактических соображений, чтобы привлечь крестьянство, взял за основу Декрета эсеровский проект. Но это только часть правды. На деле национализация земли влекла его самого. Как быть с землей, русские социал-демократы обсуждали давно, и Ленин, хоть соглашался, что частную собственность, уцелевшую после демократической революции надо, отняв у помещиков, отдать крестьянам, одновременно подчеркивал,

что надо выступать «Против частной собственности на землю за национализацию земли *при определенных политических условиях*». ⁵ А Плеханов считал, что по сравнению с национализацией раздел земель имел бы «то бесспорное преимущество, что он нанес бы окончательный удар тому нашему старому порядку, при котором и земля, и землевладелец составляли собственность государства и который представляет собой не что иное, как московское издание экономического порядка, лежащего в основе всех великих восточных деспотий». ⁶

Даже не входя во взаимные преимущества раздела и национализации, стоит видеть «политические условия», при которых по Ленину предпочел национализация земли. Судя по тому, что он в те годы писал, возможно, тексты имели в виду условия вполне демократические, как в Соединенных Штатах, где, как он сам не раз отмечал, бюрократия не имеет власти, а государство вполне подконтрольно гражданскому обществу. Но практически он проводил национализацию в условиях не имевших ничего общего с такими. А разгон Учредительного Собрания, не оставил места контролю представительных органов и гражданского общества за диктатурой его Совета Народных Комиссаров. Вот он и мог ввести продразверстку и поручить вооруженным продотрядам забирать у крестьян по твердым ценам (на деле даром) так называемые «излишки» хлеба и продуктов, добытые сверх предписанных им норм личных потребностей.

Национализация земли открыла дорогу новому закреплению крестьян, как бы логичному, если земля, на которой они работают, принадлежит не им, а государству, гражданским обществом не контролируемому. Не может такого быть, чтобы эти политические условия Ленин создавал и использовал, не понимая, что делает. Но попытка вернуть крепостничество сразу грозила большевикам, победившим в Гражданской войне, потерей власти. Крестьяне, за Декрет о земле, их поддержавшие, ощутили себя обманутыми. Чтобы удержать власть Ленин отступил, и весной 1921, не без колебаний, объявил новую экономическую политику. Тут, наконец, свершилось, хоть лишь условно, одно из двух главных дел российской буржуазной революции: был разрешен аграрный вопрос, – но оказалось, лишь временно.

⁵ Собрание сочинений, т. 12, стр. 254.

⁶ Собрание сочинений, т. 15, стр. 31.

Второе дело, провозглашенное Декларацией прав народов России, сбылось еще менее. Возглавив возникшие республики, большевики, державшие там Красную армию, в конце 1922 их объединили в СССР со слабой автономией, сведенной потом на нет. Революция решила национальный вопрос сугубо формально. Царскую империю большевики-интернационалисты обратили в советскую и усердно ее русифицировали. Формальное право выйти из Союза, оставшееся у республик, как осколком надежд на мировую революцию, – после нее союз всех стран мира иначе бы не сломать, – позволило СССР в 1991 разойтись мирно.

Но след аграрной революции, при всей ее условности и частичности, важен. Девять нэповских лет с землей (1921-1929) дали крестьянам опыт индивидуальной жизни, и новое понимание себя и своего места в экономическом обществе, понимание смысла и ценности крестьянского землевладения, как опоры индивидуальных прав и правоспособности.

Нэповские крестьяне ценили свою землю и в наново создаваемую общину – колхоз, большинство их возвращаться не хотели. Не только кулаки, но и середняки не хотели. Не один миллион за это поплатился, хорошо если ссылками, а часто лагерями. И высылали не так кулаков, как уклонявшихся от колхоза. Сам лозунг «ликвидации кулачества, как класса» надуман. Даже обличители кулачества, включая Ленина, не уравнивают его с классами буржуев и помещиков, рабочих и крестьян. Не особый это был класс, а лишь слой богатевших крестьян, и призыв его ликвидировать на деле разумел всех крестьян, которых и ликвидировали, как класс, сделав в колхозе крепостными рабочими, а в совхозе – наемными.

Права крестьянства, как класса, большевики не признали, хоть мелкие сельско-хозяйственные производители существуют с первобытных времен и все еще составляют большинство человечества. По Ленину кулак «либо идет за рабочим, либо за буржуазией». Его слова о союзе рабочего класса и крестьянства, как социальной основе СССР, означали, что рабочий класс (то есть, партия большевиков) союзом руководит, а крестьяне должны подчиняться. Но и у крестьян есть классовые интересы, и, став свободными, они их отстаивают. Они поддерживали буржуазные революции, воевали за Кромвеля и Бонапарта. От векового безземелья поддержали ленинский Декрет о земле. Они тоже хотели защищать в новых ситуациях собственные интересы. Конеч-

но, рост производительности труда сократил крестьянство в развитых странах, где оно уже не превышает 3-5%% населения, там это ныне – богатее фермерство, то есть, то самое «кулачество», от которого нашу деревню оберегали, держа в зависимом и отсталом состоянии.

Так или иначе, Декрет о земле, передавший землю, хоть и не в собственность, но в личное распоряжение крестьянина, на время сбылся. Чтобы не потерять власть, Сталин восемь лет терпел индивидуальные крестьянские хозяйства. Они в социальном плане и были главным положительным последствием Октября, какие бы расчеты и оговорки за ними ни таились. Нынче не берут в толк, что и замыслы, и результаты действий революционеров и властителей не всегда адекватны объективному ходу вещей. Иные, беря власть, шли в комнату, а попадали в другую. И не забывая, куда шли, надо видеть, куда попали и завели других.

Октябрьская революция, именуемая пролетарской, но фактически совершенная крестьянством, этим и любопытна. Ленин и большевики надеялись, преображая строй, совладать с терзавшими Россию проблемами, давно требовавшими решений, с которыми и Временное правительство мешкало. Но для большевиков то была лишь часть их грандиозного замысла – разжечь мировую революцию. Они ощущали себя борцами против всемирного угнетения и кризиса, формой которого была Мировая война. Но мировая революция не состоялась. Большевики не заметили, что происходивший кризис – не общий кризис капитализма, но смесь разных экономических ситуаций в разных странах, и нашедших, и не сумевших после войны найти в капитализме новые социальные ресурсы. В победившей Англии крупнейшей оппозиционной партией стала Рабочая (лейбористы), уже в 1921 набравшая большинство в парламенте и создавшая правительство. Немалая часть Европы из войны шла к демократии, что и сорвало мировую революцию большевиков, понимавших демократию иначе и разгоне Учредительного собрания показавших, как именно. Но не только в России возобладала силовая тенденция.

Без мировой революции Ленин не видел перспектив для русской. Он считал положение безвыходным, понимая, что построение социализма в отдельной, да еще отсталой, стране означает уже полный разрыв с Марксом, мыслившим коммунизм плодом мировой революции, разом победившей в развитых странах. Но не отказался от узурпации власти, –

хоть провел свободные выборы, не принял их результаты. Не то, что Ленин не понимал, что перечит воле и русского, и колониальных народов. Но понятия и принципы, которых он и его партия держались, не позволяли отдавать власть. Учение Ленина учит брать власть и не отдавать ни при каких обстоятельствах никому, чем бы это ни грозило стране и людям. Выученики этой школы правят Россией по сей день.

Большевики – не первые революционеры, которые взяв власть не могли осуществить свои замыслы. Многие революции, даже менявшие жизнь страны, хотя бы частично отступали. Менее, чем через год после смерти Кромвеля, верхушка армии вынудила его сына уйти, и вскоре страной правил сын казненного короля Карл II. Французская революция от Робеспьера до короновавшегося Бонапарта пережила не один сдвиг. Смещение от революционной власти к умеренной, даже к реставрации, не редкость. Левые часто, взяв власть, не могли воплотить свои крайние программы от нехватки социальной поддержки, и уходили. Но большевики не ушли, а стать такими, какими хотелось, не могли, жизнь не позволяла, и в результате изменились. До неузнаваемости.

Свершилось до тех пор небывалое. Крайне левая партия, ярая противница самодержавия, сторонница народо-властия и Учредительного Собрания, взяв в Октябре власть, но проиграв проведенные ею самой выборы, не отдала власть Собранию и не назначила новые выборы. Она объявила органом власти произвольно слаженные Советы, где верховодила. Ее главным принципом стала сама по себе власть, и ради нее левая партия у всех на глазах повела себя как крайне правая, отвергла народовластие, установила свое неограниченное самодержавие и завела тоталитарный режим.

Абсолютная власть повела к перерождению. Большевики все дальше уходили от марксистской утопии, переиначивая прежние понятия. До революции претендуя говорить от имени рабочих и крестьян, после нее они стали особым словом нового общества, в быту позднее названным «номенклатура», со своими особыми интересами. Ее функционеры образовали новый класс, и крестьянство стало их главным противником внутри страны, поскольку при всей условности своего владения землей, имело в нем некоторую опору.

До 1929 года положение крестьян было в Советской России особенным. Хотя земля была и не своя, но на практике как бы своя, каждый сам ею распоряжался. Потому кре-

стьяне вдруг и стали менее зависимым классом, еще способным устоять на поворотах. Не они одни питали надежды на продолжение при НЭПе жизни в привычных нормах, хоть и под советской диктатурой. Уже в 1921 году в Праге вышел сборник «Смена веж», авторы которого, приняв революцию «как свершившийся факт», надеялись на эволюцию большевизма к буржуазному развитию. Эти надежды власть развеяла процессами «Промпартии», «Трудовой крестьянской партии» и другими. Но неуправляемое множество самостоятельных людей, десятков миллионов крестьян с землей, оставалось вызовом нараставшему советскому тоталитаризму.

Крестьянство по Ленину винили в том, что оно «ежедневно и ежечасно рождает капитализм», хотя советские условия допускали это в очень малой, не грозившей власти мере. Читавшие Маркса большевики знали, что капитализм – это не обладание собственностью, – почему он и не возник в древности и в средневековье, хотя собственников хватало, – а изъятие из оплаты наемного труда прибавочной ценности (стоимости). Но еще и в 1929 очень немногие русские крестьяне нанимали батраков. Коллективизация была не так экономическим мероприятием, – производство в колхозах даже снизилось, и голод рос не только от продажи хлеба за рубеж, – как политической акцией, лишившей крестьянство точки опоры, которой был клочок земли каждого. Оно стало столь же бесправно, как другие слои тоталитарного государства. Даже еще бесправней, поскольку при введении вскоре паспортов, крестьянину паспорт не выдавали, и, кроме как при демобилизации из армии, он не мог сменить место жительства, то есть, на деле был закрепощен за колхозом. Политический смысл коллективизации обнажили миллионы выселенных за отказ вступить в колхоз. Тем и кончилась Октябрьская революция 1917 года, победившая благодаря крестьянству. До коллективизации верившему, что не зря.

До коллективизации революционные перемены образа жизни еще как-то шли. Революция несла не только смерть и разорение миллионам, – будь так, она бы не победила, – но и новации, – от свободы смешанных (межнациональных и межрелигиозных) браков до введения Охраны материнства и младенчества с тысячами детских консультаций, которые, хоть власть уже с тридцатых клонилась к реставрации, жили. Понятно, ни эти, ни другие частные положительные результаты Октября не оправдание пролитой крови, но стоит знать сколь многого не хватало былому обществу, не только

грубо материального, чтобы не дивиться непротивлению и даже сочувствию революции, о которой большинство не догадывалось, чем она обернется. Но недолгая относительная свобода крестьянства, обновившая его понятия о жизни, не стертые и новым закрепощением, была существенна. В начале семидесятых писатель-деревенщик Федор Абрамов после очередного разговора о положении в стране мне сказал: «Я старше вас на пять лет (он родился в 1920), это значит, что я хорошую жизнь все-таки видел, а вы - разве что совсем ребенком». Не он один сознавал, что в России не только впервые в истории возник тоталитаризм, но перед этим произошла и революция, и непонятно было лишь, как они совместились и чем вызвано взявшее в итоге верх обратное движение к крепостничеству и самодержавию в новой форме.

Еще в первые послереволюционные годы находились люди, понимавшие, что происшедшее в 1917 году не свести к ошибкам и преступлениям большевиков по ходу революции. Лидер «сменовеховцев» Устрялов в 1921 писал: «Какое глубочайшее недоразумение – считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю и, в частности, на историю нашей общественной и политической мысли. ...Нет, ни нам, ни «народу», неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис – ни за темный, ни за светлый его лики. Он – наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, - и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что девяносто процентов русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются «чужие руки», - душа у него, «нутро» его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское – интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне приобщившимися «русскому духу» в его нынешнем состоянии». Расстрелянный в 1937 году Устрялов уже не мог оценить большевистский национал-патриотизм, проявившийся вскоре этническими чистками, выселениями народов и

государственным антисемитизмом, Но, хоть и обольщаясь перспективами, он ясно видел, что революция имела место не по недоразумению.

Другое дело, что природу революции 1917 года, по существу, крестьянской, и в 1921 году не вполне сознавали сами большевики, не исключая Ленина, Троцкого или Сталина. Ее прояснил год великого перелома, 1929, когда большевики эту крестьянскую революцию задушили, уничтожили свободу крестьянства. В ее уничтожении выступила суть представлений большевиков об обществе и трудящихся. То не просто прихоть мужикоборца Сталина. Открылся объективный смысл ленинской национализации земли, наперед отчуждавшей десятки миллионов тружеников от предмета их труда и навеки отдавшей его государственной власти, призванной быть в неотъемлемом распоряжении партии большевиков. Уже в самой национализации невысказанно пребывал осуществленный в 1929 году, быть может, словесно не оформленный даже в сознании, замысел тоталитарного господства над населением, поголовно лишенным свободы.

А вскоре после триумфальной расправы с крестьянством, после семнадцатого съезда партии, съезда победителей, началось непредвосхитимое. В течение четырех лет – с 1 декабря 1934 года, когда в Смольном при темных обстоятельствах убили Кирова, до конца 1938, когда Наркомом внутренних дел поставили Берию, поручив ему умерить большой террор и упорядочить репрессии, прошло массовое истребление большевиков, вступивших в партию до революции или в первые ее годы, и разделявших идеалы, вброшенные революцией, беспартийных. Даже почитатели Сталина признают, что немногие открытые и многие закрытые процессы приговорили к расстрелу около миллиона, не считая десятков миллионов, загнанных в лагеря и там погубленных.

История не знает подобных примеров самоистребления победителей. Внятного объяснения ему не дают. Ссылаются на проникновение на руководящие партийные посты тайных врагов партии или лично Сталина. Но будь у партии и Сталина столько врагов, они проявили бы себя какими-то заметными действиями, а кроме голословных обвинений бывших лидеров в сотрудничестве с японской и другими разведками, ничего серьезного и доказанного не предъявили. Да и влияние былых лидеров, – и высланного из страны

Троцкого, и расстрелянных Бухарина, Зиновьева, Рыкова, Каменева, и других, в разрастающейся партии и в стране было крайне слабым, иначе их бы не высласть и не убить. Если, по слухам на семнадцатом съезде, при выборах тайным голосованием ЦК партии, Сталин и получил не самое большое число голосов, то оно, во всяком случае, превосходило 80% и причин беспокоиться не было. Самая жестокая расправа с давними противниками могла бы обойтись расстрелом одной-двух тысяч, но никак не миллиона человек. Ссылаются, на восточный характер Сталина, что нелепо, поскольку грузины – люди христианской, православной культуры и сам Сталин по образованию, хоть и чуть незаконченному, – православный священник. Нелепы и речи о его психическом расстройстве. Оно всегда характерно действиями в ущерб себе, что за Сталиным не замечено. Масштабам преступлений – ни коллективизации, ни четырехлетнего террора, – нет ни криминальных, ни других объяснений. Это социальные акции, объяснимые лишь социально.

Социальная логика лишила большевиков, подавивших крестьянскую революцию, которая дала им власть, возможности оставаться революционной партией, и они стали другими. Коллективизация, погрузив страну в круговую зависимость от государства и партии, завершила введение тоталитарного порядка. Но поддерживать такой порядок, управлять им под знаменем революционных идеалов, было невозможно. Большевистской партии надо было себя упорядочить, и правящему классу вести себя иначе. Парадокс в том, что у нас, в отличие от Германии, тоталитарный режим завела революционная, левая в прежнем смысле партия. Ее деятель формировала революция, они свободно обсуждали свои революционные идеалы и пути их воплощения. Чтобы убедиться, достаточно читать протоколы партийных съездов до семнадцатого, где импровизировали уже мало. После 1917 года в правящую партию шли не такие люди, как в подпольную, а поддерживавшие ее руководство и Сталина, как продолжателя дела Ленина, но партия не вполне еще стала вертикалью власти, необходимой тоталитарному режиму. Уничтожение крестьянства, совершившего революцию, показало, что и она, как революционная партия, тоже может быть уничтожена. Потому и стал возможен большой террор.

Он кажется странным если не помнить, что еще Ленин, обнаружив очередное безобразие советской власти, говорил: «Надо всех коммунистов Москвы посадить в тюрьму на

один час!» Наказание не строгое, но применяемое не к одним виновным, а ко всем коммунистам, выдает веру, что даже товарищей по партии, единомышленников, лучше всего убедит и воспитает тюрьма, насилие. Фразы вождя выдают ход его мыслей, вросших в большевизм. Маркс, прав он был или нет, объяснял события социальными процессами, а уже марксисты-большевики - действиями наемных агентов, независимо от взглядов общества. Для мыслящих так - террор дело естественное и заурядное.

Кого, однако, понадобилось в партии уничтожить, если к тридцатому году Сталин без всякого террора уже взял верх, и в Политбюро из заметных фигур революции, кроме него остались лишь Молотов и Калинин? Но и в таком политбюро, избранном семнадцатым съездом, уничтожили даже впервые избранного туда кандидатом Постышева, и впервые поздней дополнительно избранных Эйхе и Ежова, не говоря о поднявшихся после революции Косиоре, Орджоникидзе, Рудзутаке, Чубаре, об убийстве Кирова и странной смерти сорокашестилетнего Куйбышева. Постышев, Эйхе и Ежов, один из руководителей террора, - никак не троцкисты и не бухаринцы. Не отвечай их позиции всецело курсу Сталина, их в 1934 не двигали бы на самый верх. Но им явно не хватило абсолютной дисциплины, они выступали за Сталина, но с личными инициативами, внося индивидуальные краски. А это при тоталитарном порядке, который партии надо внутри себя поддерживать, чтобы навязать всему обществу, недопустимо.

Проект советского тоталитарного порядка принадлежит Ленину, но реализация – дело Сталина. За нее нынешние большевики, и партийные, и беспартийные, его и чтут. За трудную кровавую работу по преобразению состава партии и преобразению марксистской утопии в идеологию марксизма-ленинизма, после большого террора догматизированную до конца, и менявшую потом догматы по указанию начальства. С себя Сталин стирал след революции («Батум» Булгакова, изобразивший его молодым бунтарем, запретил.), но родоначальнику строя Ленину его оставил. Он установил консервативный крайне правый порядок, но в левых, чуть не революционных одеждах. Эту двойственность переняли многие революционные движения и страны. Читающие люди и тогда видели, что даже Ленин, не говоря о Марксе, понимал многие догмы советской идеологии иначе, чем Жданов, Суслов, Пospelов, Александров, Ильичев, ее оформлявшие.

Ленин все же признавал, что, «когда будет социализм, не будет государства», а по сталинской идеологии, если к коммунизму придет одна страна, чего по Марксу заведомо быть не могло, то государство будет и при коммунизме. И марксизмом-ленинизмом было именно то, чему учили Жданов, Суслов и прочие, А мнения Маркса и Ленина были частными, пока их публично не цитировали официальные лица.

Трансформацию коммунистической утопии в тоталитарную реальность ощущала страна, но не остальной мир. Для консерваторов Запада СССР был по-прежнему поджигателем мировой революции, а для левых - примером, хоть и безупречным. Ни те, ни другие, за вычетом Оруэлла или Ханны Арендт, не видели, что у нас со страной и строем, и вглядывались лишь в нацеленные на них ракеты. Тем более, ни в стране, ни за рубежом, не осознали ни состояние России от 1917 до большого террора, ни происшедшее по ходу войны, ни перемены после Сталина, ни после Брежнев, ни нынешнее состояние, хотя тоталитаризм вышел далеко за пределы России и не только под ее влиянием.

Маркс именовал насилие повивальной бабкой, акушеркой, истории. Социальные конфликты при упорстве сторон не обходятся без крови. Ее обильно пролили и французская, и русская революции, и даже более осмотрительные английская и нидерландская. Но дело акушерки – краткое, а растят дитя мать-кормилица, нянька, школа. Неизбывное насилие уродует, если не уничтожает, жизнь, поэтому за революцией обычно следует гражданский мир, компромисс, и не одни побежденные страдают, приходится и победителям сдерживаться. Условный гражданский мир большевики ввели в виде НЭПа, но потом подавили крестьянское большинство и НЭП в городах, и завершили революцию, восстановив самодержавие и поручив КГБ продолжать гражданскую войну.

Ленин, Троцкий, Бухарин и другие сперва хотели «как лучше», отчего и начали Декретом о земле, Декларацией прав народов России и выборами в Учредительное собрание. Это не чисто демагогические ходы. Но, оставшись правящей без выборов, партия переродилась, не так стремясь исполнить лозунги, которыми начинала, как удержать складывавшийся вопреки им режим и свою власть. А это даже внутренне переродившимся старым партиейцам освоить было не легко, требовались иные люди, не революционеры, а контр-революционеры. И в четырехлетнем самоубийствен-

ном «самоочищении» партия не только сменила руководящие кадры, но изменилась сама. А ни Россия, ни мир, не осознали, что и общественный порядок, и сознание, и искусство, и понятия о добре и зле, в стране уже другие. Произошел социальный переворот. Его не свести к личным порокам Сталина, хоть и руководившего переворотом, но с помощью запуганных партсобраний, вопивших: «Расстрелять!»

Верящие Ленину и Сталину, что общественный строй зависит не от экономики, а от воли партии, плохо верят, что экономика зависит от общественного строя, и терпят, что ею командует власть. Плоды приходят потом. В 1812 году наша феодальная реакция победила молодой капитализм, а в 1855 в Крыму уже не смогла, хоть русские солдаты не стали хуже. Но не только царская, а еще 74 года советская власть верила в крепостничество. Не сможем сами, купим или украдем! С тем СССР и рухнул. А дело уже не за отдельными достижениями, Реальному развитию нужны свобода и конкуренция. Но «вертикаль власти» перекрывает им путь.

Возможно, Ельцин надеялся, что отказ от старой идеологии и допуск под казенным приглядом как бы частной собственности избавят от кризисов. Но советская идеология не в словах, а в головах, в уверенности, что «нет крепостей, которых большевики не могли бы взять». Они верят, что государственная опека над псевдо частной собственностью, как при Муссолини или Дэн Сяо-пине, вместо абсолютной государственной, как при Ленине и Сталине, расширит тоталитаризму почву для развития, что ему не нужны правовые и политические структуры, рожденных буржуазными революциями, и он может жить бессрочно. Но развитию нужны гражданский мир и демократические компромиссы, горизонтальная власть и реальная автономность, представительная система и местное самоуправление. Если их нет, какие слова ни озвучивай, Россия – все еще Советский Союз, урезанное, идеологически размытое, но тоталитарное государство, опасное своим гражданам и всему миру.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Уже 130 лет, как нет Карла Маркса. Но в людском сознании он оставил две идеи: одну – верную, хоть развитую лишь отчасти, другую, умозрительно выведенную из первой, – утопию. Он различил, что при капитализме из платы наемному рабочему работодатель удерживает превышение над нужным, чтобы выжить, присваивает прибавочную стоимость, по-немецки *der Mehrwert*, что точней бы переводить, прибавочную ценность. Не то, что феодалы не грабили крестьян, работавших на них не по нужде, как в новое время рабочие, а по принуждению. Но принуждение и в средневековье, и в древности, было внеэкономическим, а на буржуазных заводах люди работали добровольно, ради заработка, жертвуя его частью, чтобы иметь хоть что-то. Так сложилось от избытка рабочей силы, созданного дифференциацией и разорением крестьянства.

Обнажив несправедливость присвоения, Маркс показал, что капитализм, общество экономических отношений, хоть открыл врата немислимому прежде прогрессивному развитию, еще не вполне отказался от внеэкономических средств. Потому Маркс и счел необходимым капитализм ликвидировать, и сделать общество социалистическим, коммунистическим. В 1848 году он издал Коммунистический манифест и призвал к революции. Но у него на родине, в Германии, как в России в 1917, еще не победила буржуазная революция, а Франция еще нуждалась в углублении победившей. Словом, для рабочей революции в Европе не было почвы. На практике Маркс потерпел неудачу.

Но почти полвека спустя его сподвижник Энгельс, во введении к работе покойного соавтора написал: «История показала, что и мы и все мыслившие подобно нам были неправы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства; она доказала это той экономической революцией, которая в 1848 охватила весь континент и впервые действительно утвердила крупную промышленность во Франции, Австрии, Венгрии, Польше и недавно в России, а Германию превратила прямо-таки в первоклассную промышленную страну, – и все это на капиталистической основе, которая, таким образом, в 1848 г. обладала еще очень большой способностью к расширению».

Энгельс не отрекся от призыва ликвидировать капитализм, но признал, что когда они с Марксом за полвека то того сочли, что его возможности исчерпаны, он «обладал еще очень большой возможностью к расширению». Маркс и Энгельс были честные люди, сохраняли способность хотя бы задним числом видеть, где реальность разошлась с их теорией.

Их последователи этого не видят. Ни в 1991, ни потом, советские коммунисты не признали, что те, кто в 1917 думали, как Ленин и большевики, ошибались, а состояние России не было столь зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства, что революция была ей нужна, но буржуазная, которая сделала бы ее первоклассной промышленной страной. А удушение буржуазной революции, пресечение развития капитализма, как раз и ввергло Россию на долгие годы в односторонне военное развитие за счет разорения других сторон хозяйства, прежде всего, сельского.

Ленинский волюнтаризм, перенятый разом и у народников, и у самодержцев, взявшись, вопреки Марксу, за «построение социализма в одной стране», где рабочий класс заведомо был меньшинством, обратил мировоззрение Маркса в идеологию, названную марксизмом-ленинизмом. Марксисты-ленинцы уверяли, что настал общий кризис капитализма, а капитализм продолжал развиваться.

«Капиталистическая основа» не оставалась незыблемой, в развитых странах после Второй Мировой войны начали отказываться от присвоения прибавочной стоимости физического труда. К тому же, число им занятых, при росте производства, там сокращалось. Доход давало, главным образом, присвоение прибавочной стоимости вошедшего в оборудование и технологию умственного труда, которому Маркс не придавал значения.

Он ведь создал свою картину капитализма, экстраполируя на неопределенный срок то, что видел. Физический труд и впрямь был при нем главным источником ценности. Машины, вошедшие в промышленный обиход с конца XVIII века, существенные для производства, на ценности производимого сказывались не сильно. Они стояли на заводах десятилетия, и ценность умственного труда, давшего им производительные возможности, как и ценность, потраченная на их производство, при переносе на производимые товары, сводились к почти ничтожной доле. Ныне положение

стало иным, и машинный парк регулярно обновляют. Потому умственный труд и стал в наши дни главным источником ценности, каким сперва не был. При Марксе не был.

Маркс и сырье не счел источником ценности, поскольку при его жизни предприниматель, покупая сырье, оплачивал лишь труд по добыче и доставке. Ценность самого сырья тоже ничтожной долей входила в ценность товара. За два века развивавшаяся промышленность сильно исчерпала не безграничные залежи, и, соответственно, выросли цены и ценность сырья. И участниками капиталистической экономики стали феодальные властители стран, обладающих сырьем. Это тоже проступило после смерти Маркса, а ему ход истории виделся продолжением того, что он наблюдал.

Казалось, что число рабочих будет расти, что они составят большинство, и в демократических странах, в Англии или Голландии, оно, свободно избрав рабочую власть, установит социализм и коммунизм, и в итоге нужда во власти отпадет, и государство отомрет. Но, поскольку демократия еще была редкостью, Маркс счел необходимой мировую революцию и на время диктатуру пролетариата, которую понимал, как власть большинства, – шло бы развитие так, как шло при нем, большинство граждан и впрямь были бы рабочими.

Но оно пошло иначе, умственный труд преобразил машины и технологии, сократил нужду в физическом труде, и теория Маркса, стремясь к материалистическому пониманию истории, (почему и опиралась на экономику), все больше расходилась с реальностью, и не могла материалистически ее осмыслить. И коммунизм строили каждый по своему, но никто по Марксу, даже не выясняя можно ли, вообще, осуществить его утопию.

Отчасти он сам виноват. Выученик гегелевской школы, он ценил диалектику, как ключ к противоречивости развития, но революционный порыв ее выпрямлял, классовое сознание упрощало классовые отношения. Гегель видел единство и борьбу противоположностей, а Маркс, справедливо сочтя предпринимателя и рабочего противоположностями, видя борьбу, пренебрег единством. А рабочий класс – это класс буржуазного общества. Предприниматель и рабочий сообща добывают прибыль и борются за то, как ее делить. Строй, который сменит капитализм, будет он тоже экономическим или снова тоталитарным, заведет иные производственные отношения и иные классы. Да и в буржуазном обществе их не только два, но Маркс другие не учел. А в рабовладельче-

ских Афинах или Риме тоже были не только рабовладельцы и рабы, но и свободные граждане, и при феодализме третье сословие родилось задолго до буржуазных революций.

Капитализм XIX века, победивший в Европе, в XX менялся, возможно, даже учтя теорию Маркса. Его изменили люди умственного труда, творцы паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, электромотора и компьютера, оттеснивших физический труд. А идеологическая инерция действовала. Борьбу против капитализма трактовали, как борьбу бедняков, гнущих спины, против праздных богачей, за государство, дающее работу и хлеб, словно не Маркс связал свободу и равноправие с отрицанием государства. Новые коммунисты цинично пренебрегали обязательными на его взгляд условиями диктатуры пролетариата: единством развитых стран и пролетарским большинством. И под разными флагами, где марксистскими, а где и вовсе не марксистскими, являлись диктаторские партии, именуясь социалистическими, и создавали тоталитарные государства.

Россия дала первый и чистый пример тоталитаризма, другие терпели капиталистов, согласных на покорность. Россия на такой частичный компромисс пошла лишь нынче, разоренная глубоким кризисом. Тоталитаризм, пусть в компромиссном виде, ныне правит везде, где, не заботясь о свободном развитии своей страны, хотят, умножая вооружение, взять верх над развитым миром.

А развитый мир не только слабо сознает висящую над ним угрозу, но не различает своих внутренних проблем, подобных поставленным Марксом, в XX веке во многом разрешенным, но ныне растущих на почве, которой Маркс не придавал значения. А даже если прибавочную ценность от умственного труда частично делят с работниками физического труда, факт присвоения это не оправдывает. Не стоит утешаться тем, что инженеры и изобретатели, не будут большинством населения, которым не стали и рабочие, и едва ли захватят власть. Присвоение прибавочной ценности, внеэкономическое действие, еще присущее капитализму, противоречит его экономической природе и в других сферах, и последствия тормозят развитие.

Уже присвоение прибавочной стоимости от физического труда, (урезавшее покупательную способность рабочих), сокращало развитие производства и прибыль. Еще пагубнее присвоение прибавочной ценности умственного труда. В руках предпринимателей и банков, хранящих их доходы, быстрее сосредотачиваются непомерные объемы ценности, ко-

которые им некуда инвестировать, что снижает доход от инвестирования. Ширится дешевое, но необеспеченное, кредитование, что вовлекает хозяйство в непредвосхитимый хаос, который потом государство оплачивает за счет граждан. Создаются мнимости, приносящие быстрые доходы и фальсифицирующие экономическую реальность. Ценности все больше концентрируют монополисты. И аппаратчики, и менеджеры, социально преобладают над учеными и практиками производства, как при тоталитаризме.

А сменить источник ценности, как некогда физический труд на умственный, уже невозможно - других объектов для присвоения прибавочной ценности нет. А сырье, как опора выживания, может не просто упасть в цене, но достижения умственного труда могут его обесценить. Изменить положение способно лишь закрепление за реальными авторами технического авторского права на каждый экземпляр товара, произведенного на созданной ими машине, по разработанной ими технологии. Это, прежде всего, рассредоточило бы поступление доходов и умножило число владельцев ценности и сфер ее вложения, что само по себе создало бы более благоприятную атмосферу для производства. Не менее важно и то, что ширилась бы возможность, хотя бы через особую налоговую систему, добиться всеобщего бесплатного обучения успевающих, вплоть до высших уровней, то есть, обогащения страны умственными кадрами. Именно их наличие и возможность их деятельности – ключ к развитию сегодня и в будущем. Игнорируя понятия людей умственного труда и само наличие в стране их сильного слоя, свободно занимающегося своим делом, менеджеры, – и американские банкиры, и русская номенклатура, – бесплодны.

Маркс такую ситуацию не загадывал. Надежды на развитие он возлагал на физический труд, и отстаивал его права. Но если пагубно одно внеэкономическое действие системы, претендующей быть экономической, не безвредны и другие. Между тем, правые оказались не способны к актуальным экономическим переменам. А числимые левыми, даже марксистами, и вовсе селятся сменить капитализм на внеэкономический порядок, в идеале тоталитарный. И люди ждут государственного внеэкономического спасения, – кто от правого застойного, тупого консерватизма, кто от левого тоталитарного воинствующего мракобесия. В том и трагедия современного общественного сознания.

Место и время публикации

- Воздух ученого КО 1988 №22
Метрополия или республика КО 1989 №25
Ассоциация поддержания власти НВ 1990 №7
Паралич всевластия НВ 1990 №18
Лимит времени исчерпан НВ 1990 №37
Имена и реальности КО 1990 №38
Причуды «командно-административной» системы
НВ 1991 №9
Мне милее Дмитрий Донской НВ 1991 № 16
Решать за себя, НВ 1991 №38
Скромное обаяние российской демократии НВ 1991 №42
Свобода – опора порядка КО 1992 №24
Антисемитизм XX века ВС 1992 №4-5
Не запутайтесь в кулисах власти НВ 1993 №28
Ищу русского националиста НВ 1994 №34;
А был ли посткоммунизм? КО 1994 №41
Внутреннее дело КО 1995 № 3
Власть и маска НВ 1995 №9
Русские в рассеянии и разделении НВ 1995 № 17
Уроки экстремизма КО 1995 № 23
Право выбора КО 1995 № 46
Проклятие реформаторов НВ 1995 №48
Обличья реванша КО 1996 №2
Предварительный итог КО 1996 № 32
Числа низкой жизни КО 1996 №36
Игры в социальном пространстве КО 1997 № 3
Патриотизм без границ НВ 1997 №40
Несостоявшаяся революция Нева 1997 №11
Одинокий голос либерала НВ 1998 № 21
Банкротство Ельцина ЗР 1999 №45
Крот истории ЗР 2000 № 76
Социализм или демократия? ЗР 2000 №85
Памяти Буртина, ЗР, 2000 №92
Страна все та же, другой нет, ЧП 2001 №25
Технология, как идеология ЗР 2001 №98
Такие разные «левые» ЗР 2001 №111
Новое платье тоталитаризма ЧП 2002 №4
Продолжение истории Публикуется впервые
Солженицын и еврейский вопрос –
Toronto Slavic Quarterly №14 2005
Перспективы русской демократии ПС 2009 15.6

Путин и правовое государство, Грани 2010 31.8
Плоды безотчетности, Грани 2010 27.9
Что потеряла Россия в Чечне? Грани 2010 10.12
Добровольная Россия, Грани 2011 5.1
Террор – это страх, Грани 2011 8.2
Забытая миром резня, Грани 2011 18.5
Такие разные национализмы, Грани 2011 4.11
Уважайте чувства неверующих, Грани 2012 9.4
Сколько народов в нации и в народе наций? Грани 2012 16.4
Слева направо, Open democracy (Лондон) 2.11
Вместо пророчеств, ПС 2012 18.9
Строй остается советским, ПС 2013 7.2
Парадокс русской революции, ПС 2013
Вместо заключения – написано для настоящего издания

Сокращения: ВС – Всемирное слово (СПб), ЗР – За рубежом (Тель-Авив), КО – Книжное обозрение (Москва), НВ – Новое время (Москва), ПС – Персональный сайт, ЧП – Час пик (СПб).

Подписано в печать 05.08.2013 г.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать лазерная.
Усл. печ. л. 29,0. Тираж 50 экз.
Заказ № 2769.

Отпечатано в ООО «Издательство "ЛЕМА"»
191014, Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Жуковского, д.41, тел./факс: 612-40-79
e-mail: izd_lemma41@mail.ru
<http://www.lemaprint.ru>